ISSN 0130-6545

2.1998

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР
Вообрази себе картину

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН
Сорок лет

МОСКВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)

Из общего тиража в 15 250 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2214 экз. журнала.

Главный редактор

А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, П.Л. ВАЙЛЬ,
М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА,
Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

2 февраль 1998

СОДЕРЖАНИЕ

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР — Вообрази себе картину (*Роман. Перевод с английского Сергея Ильина*)..... 5

ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ — Рассказы. Эссе (*Перевод с польского Л. Бухова*)..... 158

АУРА КРИСТИ — Колыбельная (*Поэма. Перевод с румынского и вступление К. Ковальджи*)..... 168

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН — Сорок лет. *Повесть о жизни (Главы из книги. Перевод с немецкого С. Фридлянд)*..... 171

Статьи, эссе

Е. ЭТКИНД — Вопреки всему. *О переводах французской поэзии: 1985—1995*..... 214

Посредник между культурами. *Памяти Льва Копелева.* МАРИОН ДЁНХОФФ — Лев Копелев: «Отвечаю только перед моей совестью». ЛЕВ КОПЕЛЕВ — Умершие приказывают — жить долго! (*Перевод с немецкого А. Егоршева*)..... 225

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Босфорское время (Стамбул — Байрон, Стамбул — Бродский)..... 233

Среди книг

С. ЗЕНКИН — Альбер Камю между частным и общим. ОЛЬГА ВАЙНШТЕЙН — «Мифологии» сорок лет спустя. ЭДУАРД ШУЛЬМАН — Откуда что..... 246

Авторы этого номера..... 255

© «Иностранная литература», 1998

В следующем номере «ИЛ»

Роман **Луиджи Малербы** «ИТАКА НАВСЕГДА», в котором известный итальянский писатель с присущим ему юмором и изяществом дает собственную трактовку взаимоотношений Пенелопы и вернувшегося домой после долгих странствий Одиссея.

В центре *«Литературного гида»* под названием *«ПОКОЛЕНИЕ ИКС»* — одноименный роман молодого канадского писателя **Дугласа Коупленда**, ставший культовым произведением для тех, кто вступил во взрослую жизнь в 80—90-е, и вызвавший множество дискуссий о проблемах этой генерации.

Эссеистика великого испанского мыслителя **Хосе Ортеги-и-Гассета**.

Цветные иллюстрации номера — работы голландского художника РЕМБРАНДТА ВАН РЕЙНА (1606 — 1669):

На 1-й стр. обложки — «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера» (1653)
На 2-й стр. обложки — «Урок анатомии доктора Николаса Тульпа» (1632)
На 3-й стр. обложки — «Автопортрет» (ок. 1629)
На 4-й стр. обложки — «Вирсавия» (1654)

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в следующих книжных магазинах:

«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Гилея» — ул. Знаменка, д.10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка при Литературном институте — Тверской бульвар,25
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу: http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

✉109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ☎953-51-47; факс 953-50-61, E-mail edit@inolit.msk.ru

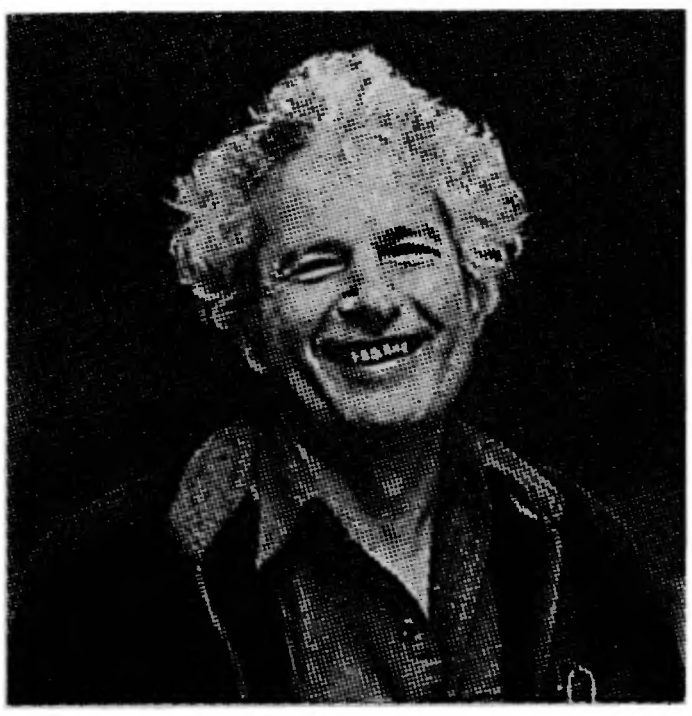
Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 20.01.98. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,34. Заказ №3104.

Тираж 15 250 экз.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР

Вообрази себе картину

РОМАН

Перевод с английского СЕРГЕЯ ИЛЬИНА

Трагедия — это подражание действию...

Аристотель, «Поэтика»

Прямая душа ставит честь превыше богатства.

Рембрандт

По-моему, Дьявол гадит голландцами.

Сэр Уильям Бэттен,
инспектор Королевского флота,
подслушано Сэмюэлом Пеписом,
19 июля 1667 года, «Дневник»

История — чушь, сказал Генри Форд, гений американский индустрии, почти ничего ни о чем не знавший

I. Вообрази себе картину

1

Размышляя над бюстом Гомера, Аристотель, пока Рембрандт погружал его в тени и облачал в белый саккос Возрождения и черную средневековую мантию, часто размышлял о Сократе. «Критон, я задолжал петуха Асклепию, — говорит Сократ у Платона, выпив чашу с ядом и ощущая, как онемение всползает от чресел вверх и приближается к сердцу. — Так отдайте же, не забудьте».

Разумеется, Сократ задолжал петуха не тому Асклепию, который — бог врачевания.

Торговец же кожей Асклепий, о котором мы здесь расскажем, сын врача Еврименида, недоумевал не менее прочих, услышав о таком завещании от раба, следующим утром явившегося к нему на порог с живым кочетом в руках. Власти также проявили живой интерес и взяли Асклепия под стражу, чтобы как следует расспросить. Поскольку он уверял, что сам ничего не понимает, и не желал объяснить, какой тут кроется тайный код, его приговорили к смерти.

© 1988 by Josef Heller
© С. Ильин. Перевод, 1998
Роман выйдет отдельной книгой в издательстве «Фолио».

2

Рембрандт, изображая Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, сам размышлял о бюсте Гомера, стоявшем слева от него на красной скатерке, накрывшей квадратный стол, и гадал, много ли денег сможет принести ему этот бюст на публичной распродаже его имущества, которая, размышлял он, рано или поздно станет более или менее неизбежной.

Аристотель мог бы сказать ему, что денег он принесет немного. Бюст Гомера был имитацией.

То было неподдельное эллинское подражание эллинской же копии со статуи, которую не с кого было лепить, потому что оригинала никогда не было на свете.

Существуют документальные свидетельства того, что Шекспир действительно жил, однако нет достаточных доказательств того, что он и вправду мог написать свои пьесы. У нас имеются «Илиада» и «Одиссея», но не имеется доказательств реального существования сочинителя этого эпоса.

В одном ученые сходятся: нечего даже и говорить о том, что обе поэмы мог целиком и полностью написать один человек, если, разумеется, человек этот не обладал гениальностью Гомера.

Аристотель помнил, что такие же бюсты Гомера попадались в Фессалии, Фракии, Македонии, Аттике и Эвбее на каждом шагу. Лица, если не считать пустых глазниц и разинутого в пении рта, всегда были разные. Всех называли Гомерами. С какой радости слепцу приспеет охота петь, Аристотель сказать не мог.

Относительно денег, которые удастся выручить за картину, сомнений не было никаких. Условия оговорили заранее в касающейся этой работы переписке между сицилийским вельможей и проживавшими в Амстердаме голландскими агентами, одного из которых, по-видимому, и следует поблагодарить за то, что он предложил Рембрандта в качестве исполнителя и свел две эти фигуры, занимавшие видное место в мире искусства семнадцатого столетия, но лично никогда не встречавшиеся, хотя отношения их, отношения художника и его покровителя, продлились долее одиннадцати лет, включив в себя по меньшей мере один обмен язвительными посланиями, в которых заказчик жаловался, что его надули, а художник уверял в ответ, что ничего подобного.

Сицилийским вельможей был дон Антонио Руффо; вполне вероятно, что этот рьяный и разборчивый собиратель произведений искусства до того, как заказать голландскому живописцу портрет философа, понадобившийся ему для коллекции, которую он создавал в своем мессинском замке, никаких работ Рембрандта, кроме оттисков его офортов, и в глаза не видел. Много лет прошло, прежде чем Руффо уяснил, что изображенный на картине человек — это Аристотель. Того, что человек, на голове которого покоится ладонь Аристотеля, есть не кто иной, как Гомер, он так никогда и не узнал. Ныне мы соглашаемся с тем, что лицо на медальоне, прицепленном к золотой цепи, коей нуждающийся художник украсил философа, скорее всего принадлежит Александру, хотя, если не особенно привередничать, в нем можно найти и сходство с Афиной, лица которой никто из встречавшихся с нею зарисовать, разумеется, не пытался.

Никто из писавших или ваявших Афину, включая и скульптора Фидия, создавшего гигантскую фигуру богини, которая приводила в оторопь всякого, кто дивился Акрополю, понятия не имел, как она выглядит.

Цена картины равнялась пятистам гульденам.

В 1653 году пятьсот гульденов составляли в Нидерландах немалые деньги — даже в Амстердаме, где стоимость жизни была выше, нежели в каком бы то ни было ином месте провинции Голландия или других шести провинций, вошедших в состав недавно признанных и довольно бестолково организованных Соединенных провинций Нидерланды, они же Голландская республика.

Пятьсот гульденов, гневно жаловался дон Антонио Руффо в письме, написанном девять лет спустя, в восемь раз превышают сумму, которую ему пришлось бы заплатить итальянскому художнику за картину тех же размеров. Дон Руффо не знал, что они, воз-

можно, в *десять* раз превышают сумму, которую Рембрандт мог бы в то время запросить в Амстердаме, где он уже вышел из моды и стоял лицом к лицу с финансовой катастрофой, сокрушительные последствия которой оставили его нищим до скончания дней.

Амстердам, население которого составляло примерно треть населения Афин в век Перикла, являлся главной коммерческой силой европейского континента и нервным центром империи, более обширной, нежели та, о какой могли мечтать самые амбициозные из греческих купцов и милитаристов, если, конечно, не считать Александра.

Огромная сеть голландских факторий и территориальных владений, раскинувшаяся на восток и на запад, объяв земной шар более чем наполовину, включала в себя и бескрайние плодородные земли на восточном побережье Нового Света, протянувшиеся от Чесапикского залива на юге до Ньюфаундленда на севере. Это гигантское пространство именовалось Новыми Нидерландами, а на самом его краю располагались те несколько бесценных акров, которые пролегли вдоль западной стороны Пятой авеню — это близ Восемьдесят второй стрит на острове Манхэттен — и с которыми Аристотелю предстояло соединиться неразлучно.

Ибо на этом-то клочке земли со временем и вырос нью-йоркский музей Метрополитен, прискорбного облика здание, в каковом наконец обосновалась картина «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера», пространствовав триста семь лет, — одиссея, протяженность которой во времени и пространстве много превосходит гомеровскую, не говоря уже об обилии глав, полных опасностей, приключений, тайн, борьбы за сокровища и комических эпизодов ошибочного узнавания.

Подробности совершенно зачаровали бы нас, если б мы знали, в чем они, собственно, состоят. Ибо лет примерно шестьдесят пять о местонахождении этой картины вообще ничего известно не было.

Она исчезла из Сицилии после того, как прекратился род Руффо. Она объявилась в Лондоне в 1815 году — в качестве принадлежащего сэру Абрахаму Юму из Эшридж-парк в Беркампстеде, Хартфордшир, портрета голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта.

Когда в 1907-м знаменитый торговец произведениями искусства Джозеф Дювин купил картину у наследников французского коллекционера Родольфа Канна и продал ее миссис Арабелле Хантингтон, вдове американского железнодорожного магната Коллиса П. Хантингтона, никто из участников этой сделки не знал, что они покупают и продают портрет Аристотеля работы Рембрандта, не зная, впрочем, и того, что Рембрандт написал такой портрет.

В 1961 году это полотно обошлось музею Метрополитен в рекордную сумму — 2 300 000 долларов.

В 1653 году в Амстердаме оборотистый ремесленник или лавочник мог вместе с семейством очень неплохо прожить целый год на пять сотен гульденов. На эти деньги можно было купить в городе дом.

Вдовому Рембрандту ван Рейну, купившему дом за тринадцать тысяч гульденов и *очень* неплохо прожившему те десять-одиннадцать лет, за которые его репутация приходила в упадок, а ставшие привычными доходы уменьшались, пятисот гульденов хватило бы навряд ли.

По прошествии четырнадцати лет на нем все еще висел превышавший девять тысяч гульденов долг за дом, который он некогда обязался оплатить в шестилетний срок. Страна воевала с Англией, своим недолгим протестантским союзником в пору долгой революции, направленной против Испании. К этому времени уже стало ясно, что победить Голландии не удастся. В городе объявилась чума. Финансовые затруднения приобрели эпидемический характер. Экономика приходила в упадок, капиталы скудели, а кредиторы становились все настойчивее.

Дом Рембрандта был роскошным городским поместьем голландского покроя, стоявшим в жилом квартале для избранных, на одной из самых широких и модных улиц в восточной части Амстердама, на Ст.-Антониесбреестраат. Слово «breestraat», которым

обычно обозначали этот великолепный проспект, так и переводится: «широкая улица».

Дом стоял вплотную к другому, угловому, среди таких же сдержанно элегантных жилищ богатейших бюргеров и чиновных лиц города, из коих некоторые были первыми патронами и поручителями живописца. Когда Рембрандт покупал этот дом, начальные выплаты делались из наследства его жены, Саскии, затем к ним добавились собственные значительные заработки Рембрандта — в ту пору Амстердам превозносил его до небес и как живописец он резко шел в гору.

За 1632 и 1633 годы молодой Рембрандт написал, как уверяют, пятьдесят полотен — со времени, когда в 1631 году он, двадцатипятилетний, перебрался из Лейдена в Амстердам, заказы лились на него рекой. Пятьдесят картин за два года — это одна, в среднем, картина за две недели.

Даже если эти цифры лгут, они лгут весьма впечатляюще, и уж совсем не приходится сомневаться в том, что Рембрандт и Саския, осиротевшая дочь прежнего бургомистра Леувардена, что во Фрисландии, и кузина почтенного торговца произведениями искусства, занимали видное место в городском среднем классе. В Голландии семнадцатого века средний класс и был высшим.

Теперь же Рембрандт оброс долгами, которых не мог заплатить.

Рембрандт, работая над Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера, нередко размышлял о том, что ему придется либо продать дом, либо занять у друзей денег, чтобы за него расплатиться, и уже сознавал, что занимать придется.

Добавляя все больше и больше черного к мантии Аристотеля и еще больше черноты к фону, состоявшему из неисчислимых темных теней, — Рембрандт любил смотреть, как его полотна погружаются во мрак, — он размышлял и о том, что, назанимав у друзей денег и расплатившись за дом, нужно будет переписать его на малыша сына, на Титуса, чтобы все те же друзья, когда они уяснят наконец, что возвращать занятое он не намерен, не попытались дом захапать.

Он больше не мог брать деньги из наследства Титуса, слишком маленького и потому не способного даже понять, что отец берет у него какие-то деньги.

Рембрандту было сорок семь лет, он скорым шагом приближался к банкротству.

Саския умерла одиннадцать лет назад. Из четырех детей, родившихся у господина и госпожи Рембрандт ван Рейн за восемь годов их супружества, только последний, Титус, прожил больше двух месяцев.

Аристотель, размышляющий о Рембрандте, размышляющем об Аристотеле, часто воображал, когда лицо Рембрандта приобретало мрачное выражение, схожее по чувству и угрюмому колориту с тем, которое Рембрандт придавал его лицу, что Рембрандт, размышляющий об Аристотеле, размышляющем над бюстом Гомера, размышляет, должно быть, и о скорбях своей жизни с Саскией. Смерть счастливой супруги, с которой ты был счастлив, — не шутка, Аристотель знал это по опыту, не говоря уж о смерти трех детей.

Теперь Рембрандт жил с женщиной по имени Хендрикье Стоффелс, которая пришла в его дом служанкой и которой вскоре предстояло понести от него дитя.

Это Аристотель тоже мог понять.

В своем завещании Аристотель, никогда не пренебрегавший щедростью в отношении женщины, бывшей его любовницей, просил похоронить его рядом с женой.

Аристотель отпустил на волю своих рабов. Его дочь, Пифия, и сыновья, Никанор и Никомах, пережили его. Аристотель с тоской вспомнил счастливую семейную жизнь, которой он некогда наслаждался, и на глаз его набежала слеза. Рембрандт смахнул ее кистью.

В тот год, когда Рембрандт и Саския поженились, каждый составил по завещанию, назначив другого единственным своим наследником.

В 1642 году, за девять дней до своей кончины, Саския переменила завещание, назвав наследником Титуса. В сущности говоря, она лишила Рембрандта наследства, назначив его, впрочем, единственным опекуном и избавив от необходимости держать финансовый отчет перед Палатой по делам сирот.

Женщина поумнее к тому времени уже поняла бы, что управляться с деньгами Рембрандт не умеет. Им владела страсть и к престижу, и к покупке картин, рисунков, скульптур, экзотических нарядов и прочих редкостей самого разного рода; этот живописец, с алчным видом слоняющийся по аукционам и галереям города, стал в них привычным зрелищем.

Когда Саския была еще жива, один ее близкий родич, сохранивший остатки надежд на ее наследство, заикнулся было о мотовстве супругов, и они тут же подали на него в суд за клевету и причиненный оной ущерб.

Торгашеское общество, полагал Платон, склонно к сварливости и сутяжничеству, что особенно справедливо в отношении торгашеского общества, к которому принадлежал Рембрандт.

По гражданскому праву Голландии каждый из супругов владеет половиной общего имущества. Завещав свою долю Титусу, за воспитание которого теперь отвечал Рембрандт, Саския эту самую половину сыну и оставила, когда же собственная Рембрандтова половина сошла на нет, все траты пришлось оплачивать из доли, полученной ребенком.

Из двадцати тысяч гульденов — такова сделанная задним числом оценка величины Титусова наследства — он, став молодым человеком, смог получить меньше семи.

Получив свои деньги, Титус с внушающей уважение сыновней преданностью расходовал их на то, чтобы содержать себя и отца, пока не женился в двадцать семь лет, меньше чем за год до собственной кончины.

У нас имеются причины подозревать, что увязший в долгах Рембрандт, не желая платить кредиторам, тайком продавал картины за границу, тем самым усложнив потомкам задачу отделения подлинных Рембрандтов от поддельных.

Аристотель, проявивший столько предусмотрительности и корректности при составлении своего завещания, временами дивился, о чем думал нотариус, помогавший Саскии ван Эйленбюрх составить его.

Хотя, не переведи она своего состояния на Титуса, ни отцу, ни сыну, как выяснилось в дальнейшем, вообще ничего не досталось бы после того, как Рембрандта официально объявили банкротом.

Аристотель мог, разумеется, слышать после того, как Рембрандт снабдил его ухом и затем, к великому удивлению и веселью философа, прицепил к нему серьгу, которую, будь она сделана из настоящего золота, а не подделана с помощью красок, можно было б продать на ювелирном рынке Амстердама по цене, значительно превышающей номинальную. И Аристотель услышал достаточно, чтобы понять, что голова создающего его живописца забита далеко не одними только мыслями о том, как бы закончить и это полотно, предназначенное для дона Антонио Руффо, и несколько других, расставленных по студии, над которыми он также работал. В приступах утомления и скуки, или в приливах внезапного вдохновения, или ожидая, пока на каком-то из полотен подсохнет краска, Рембрандт внезапно бросал одно и принимался за другое.

Часто он и не ждал, пока краска подсохнет, но намеренно проходился новой, набирая ее на почти сухую кисть, по еще мягким участкам, лессируя поверхность, налагая новый густой слой, обогащая разноцветие отражающих поверхностей различными пигментами.

Лучшие годы Рембрандта были позади, а лучшие полотна — впереди, и «Аристотелю», как мы теперь знаем, предстояло стать одним из первых в потоке ошеломляющих шедевров, наполнивших два последних, печальных десятилетия его жизни.

Лучшие свои работы он создал, ведя жизнь неудачника, и меланхолические размышления о деньгах уже начинали с завидным постоянством окрашивать собою выражения тех лиц, которые он писал, даже лиц Аристотеля и Гомера.

— Почему у вас теперь все люди такие грустные? — поинтересовался позировавший для Аристотеля высокий мужчина.

— Они беспокоятся.

— Из-за чего беспокоятся?

— Из-за денег, — ответил художник.

Впрочем, трепетная сосредоточенность этого рода отсутствовала в его собственном лице, которое глядело с висевшего на противоположной стене мансарды надменного автопортрета 1652 года; на нем Рембрандт стоит в своей рабочей тунике, выпрямившись, уперев руки в боки и представляясь ныне вызывающе несгибаемым любому зеваке, который рискнет помериться с ним взглядом в Венском музее истории искусств.

Мучительные размышления он сохранил для портретов других людей.

Есть скромная ирония в том, что созданное им замечательное изображение Аристотеля получило название, под которым мы его теперь знаем, лишь в 1936 году.

Только в 1917-м, через год после того, как были открыты архивы Руффо, картину удалось определенно идентифицировать как ту самую, которую дон Антонио заказал Рембрандту в 1652-м, а человека на ней — как самого что ни на есть Аристотеля.

Ни один из известных нам документов не подтверждает, что бюст изображает Гомера.

Ирония присутствует и в том, что одному из лучших среди наихудших полотен Рембрандта предстояло обрести наибольшую известность и стать именно тем полотном, за которое художника более всего превозносят.

Это групповой портрет восемнадцати изображенных под открытым небом и при дневном освещении вооруженных мужчин, членов отряда гражданского ополчения капитана Франса Баннинга Кока, движущихся в направлении пылающего пятна желтого солнечного света.

Называется она «Ночной дозор».

Стремление некоторых людей к бессмертию, говорит Платон, находит свое выражение в совершении ими деяний, за кои их с благоволением вспоминают позднейшие поколения. Египетские фараоны, желая свершить такое деяние, строили каждый по пирамиде. У американцев последняя порой принимает форму музея. Голландцы заказывали солидные портреты, как правило в черном, и выглядели на них людьми степенными, суровыми и основательными.

Из восемнадцати господ, заплативших по сотне гульденов каждый за привилегию попасть на картину Рембрандта «Отряд капитана Франса Баннинга Кока», по меньшей мере шестнадцать, по нашим оценкам, имели основания для недовольства.

Они заказали официальный групповой портрет наподобие тех, что висели по всему городу, портрет, на котором фигуры представлены формально, как на игральных картах, а лицо каждого, кто для портрета позирует, выглядит большим, ярко освещенным, бросающимся в глаза и мгновенно узнаваемым.

Получили же они картину огорчительно театральную, на которой их разодели, будто актеров, и заставили суетиться, как батраков. Лица у всех маленькие, повернутые в сторону, у кого заслоненные, у кого скраденные тенями. Даже два центральных, выходящих на передний план офицера — сам капитан Франс Баннинг Кок и его лейтенант, Вильям ван Рёйтенбюрх, — слишком подчинены желаньям художника, как выразился один современный критик, предсказавший, впрочем, что картина переживет всех своих соперниц.

«Ночной дозор» их пережил.

Это произведение, на которое чаще всего указывают в подтверждение гения Рембрандта, даже по барочным стандартам совершенно ужасно почти во всех достойных упоминания отношениях, включая и замысел художника, направленный на разрыв с традицией. Краски здесь кричащие, позы оперные. Контрасты смазаны, акценты беспорядочны. Караваджо, доживи он до возможности увидеть эту картину, перевернулся бы в гробу.

Она является самой популярной, благо единственной, приманкой Государственного музея в Амстердаме.

В 1915 году некий сапожник, ставший жертвой безработицы, вырезал квадрат из правого сапога лейтенанта ван Рёйтенбюрха.

Специалисты, починив сапог, восстановили картину. Предложение раскаявшегося сапожника сделать ту же работу бесплатно власти отклонили.

А в 1975 году бывший шкóльный учитель набросился на нижнюю часть картины с зазубренным хлебным ножом, прихваченным им из расположенного в деловой части Амстердама ресторана, в котором он только что позавтракал, и проделал в телах капитана Баннинга Кока и лейтенанта Рёйтенбюрха вертикальные надрезы. Картина оказалась рассеченной в дюжине мест. Из правой ноги капитана была выдрана полоска холста размером двенадцать на два с половиной дюйма. Злоумышленник заявил свидетелям происшедшего, будто он послан Господом.

— Мне было приказано сделать это, — сказал, как уверяют, учитель. — Я должен был это сделать.

Газеты объяснили его поступок умственным расстройством.

Десять лет спустя учитель наложил на себя руки.

Описание полученных картиной повреждений читается как отчет судебного патологоанатома. Картина получила двенадцать ударов ножом, причем, судя по характеру повреждений, колющие и режущие удары наносились с большой силой. Вероятно, вследствие этого лезвие ножа несколько уходило влево, отчего разрезы получили наклон, направленный вовнутрь полотна, а края их размахрились. Из бриджей Баннинга Кока был вырезан треугольной формы кусок, каковой и выпал из картины на пол.

Бриджи починил портной из Лейдена, а все остальные повреждения устранили профессиональные реставраторы наивысшего калибра.

В запустелых церковках Амстердама суеверные кумушки и поныне шепчутся о том, что в этого вандала вселился дух одного из безутешных мушкетеров, заплатившего сотню гульденов, чтобы его на память потомству изобразили в достойном виде, и обнаружившего, что он обращен в мелкую деталь писанной маслом безвкусной иллюстрации, годной разве что в афиши для оперетки.

Есть и другие, кто уверяет, будто то был сам Рембрандт.

Саския умерла в год «Ночного дозора», 1642-й, и Рембрандт наделил ее чертами резвую девочку, бегущую с освещенным лицом слева направо сквозь толпу мушкетеров. Она умерла тридцатилетней.

То обстоятельство, что именно в год утраты жены состояние Рембрандта пошло на убыль, следует, видимо, считать не более чем совпадением — вот и биографы его не приводят свидетельств в пользу противного.

3

Аристотель, изгнанный из Афин в последний год его жизни, поселился во владениях своей матери в Эвбее и писал завещание. Ему было без малого шестьдесят два. Аристотель чувствовал, что это последний год его жизни, и часто размышлял о Сократе, за три четверти века до того сидевшем в тюрьме, ожидая дня казни. Аристотель сбежал из Афин, спасаясь от суда.

Снова и снова его беспокоил желудок. Аппетит шел на убыль. Он, знавший так много, не знал, в чем тут дело. Его отец, умерший еще в дни Аристотелевой молодости, был врачом. Аристотель же был ученым-первопроходцем, написавшим больше научных трудов, чем имелось в его распоряжении для исследовательской работы.

Среди многого, что он узнал к концу жизни, было и то, что не знает он куда больше.

Он, разумеется, не знал также, что в Голландской республике семнадцатого века, в Амстердаме, Рембрандт напишет его портрет и что почти две сотни лет практически никто в мире не будет знать, чей это, собственно говоря, портрет.

Зато о Сократе у Аристотеля имелось ясное представление.

При этом практически все, что он знал о Сократе, исходило от Платона, который, как он часто теперь думал, отличался скорее умением принимать желаемое за истинное, нежели глубиной, и не всегда был надежен по части приводимых им фактов.

Почти все остальное было изложено историком, биографом и воином-наемником Ксенофонтом, который, проведя последние сорок лет жизни изгнанником из демократических Афин, тоже не всегда был надежен, в том числе и как воин.

Ксенофонт также описал суд над Сократом и его казнь. Однако когда все это стряслось, Ксенофонт находился в Персии. Прежде чем он смог вернуться, его изгнали за службу спартанцам в кое-каких военных предприятиях, в которых Афины поддерживали другую сторону.

У нас имеются еще фрагменты из писаний Эсхина Сократика и Антисфена Киника, которые подтверждают, что Сократ действительно существовал, и которые вполне могут быть подделкой.

Затем имеются «Облака» Аристофана, в которых Сократ осмеян как софист, — это самое раннее из упоминаний о нем, какие мы знаем. Комедия, написанная за четверть века до того, как Сократ предстал перед судом, свидетельствует о том, что он был широко известен в Афинах еще в те времена, когда Платон и Ксенофонт пребывали в дитятях, слишком малых, чтобы уразуметь, кто он такой.

Аристофан же, с другой стороны, был его современником и другом, он мог писать о Сократе, основываясь на личном знакомстве, которым другие похвастаться не могли.

Но с другой опять-таки стороны, Сократ никогда не был софистом.

Однако судьи помнили пьесу, а в философии не разбирались, вот они и приговорили Сократа к смерти, полагая, что он софист.

Хотя не это было главной причиной. Горестные последствия капитуляции перед Спартой включали в себя и чад политической неприязни, оставленный его прежней дружбой с Алкивиадом, изменником, и Критием, тираном, да и терпимость к сатирическому инакомыслию, которым славился Сократ, истощилась, благо многим оно представлялось не менее предательским, чем само предательство, только еще более неприятным.

Софисты учили за деньги. Сократ, выступая в суде, привел оригинальное доказательство того, что он никогда за деньги не учил и всю жизнь радел о благе общества: свою бедность.

На судей оно впечатления не произвело.

К той поре, как мы теперь знаем, блеск и величие Греции, олицетворением коих более века служили Афины, пришли к концу. Война со Спартой была проиграна, империя распалась, Эсхил, Софокл и Еврипид умерли.

Ко времени, когда Платон основал свою Академию, а молодой Аристотель приехал с юга, чтобы стать его учеником, от этого блеска осталось и того меньше, собственно говоря, от него мало что уцелело уже к рождению Платона. Первые свои двадцать четыре года Платон прожил в городе, втянутом в войну, которой он выиграть не мог и в которой большинство людей, блеском происхождения равных Платону, сражаться не желали.

Когда Платон родился, Сократу уже перевалило за сорок.

Ему было за шестьдесят, когда они познакомились, так что Платон не мог дольше десяти лет знать человека, коему предстояло вдохновить его на пожизненное служение мысли, человека, гибели которого предстояло наполнить его горьким, граничащим с ненавистью разочарованием в политических свободах и материалистической ориентации демократического города, накрепко связанного с двумя этими именами.

Век Перикла, ныне почитаемый нами золотым веком Афин, завершился — буквальным образом — со смертью Перикла на втором году двадцатисемилетней войны, в ходе которой этот самый разумный и конструктивный из политических лидеров неуклонно вел свой город к полному поражению, безоговорочной капитуляции и утрате мощи и империи. То был год моровой язвы, завезенной морем с верхнего Нила в обнесенный стеною город, второе лето подряд осаждаемый с суши войсками Спарты и ее союзников. Перикл, и без того истомленный парламентскими препонами, чинимыми ему консервативной аристократией, с одной стороны, и радикальным деловым сообществом — с другой, не говоря уже о череде личных трагедий, в конце концов и сам оказался среди десятков тысяч жертв этой болезни и умер.

Придерживаясь разумной военной стратегии, которой, по его соображениям, предстояло всего за год привести город к победе и почетному миру, он распорядился согнать всех, кто жил в окрестностях Афин, за Длинные стены, что окружали город и тянулись на

четыре мили, к портам Пирея. Множество людей ютились в палатках, разбитых на улицах, и помирали в них. Со стен, защищавших их от спартанцев, эти люди видели на многие мили вокруг, как предают огню их дома и посевы. Радости никто не испытывал. Периклу было от чего томиться.

Перикл, аристократический лидер радикальной демократической партии, не принадлежал к тем фигурам греческой истории, на которые Платон, аристократ, или Аристотель, представитель профессиональной элиты, могли бы оглядываться без значительной доли неприязни и неодобрения.

В последний свой час, лежа в постели, Перикл слушал, как родственники и друзья, думая, что он уже впал в беспамятство, перебирают его возвышенные достижения: девять трофеев, установленных им как стратегом в честь военных побед, здания и скульптуры великой красоты, подобной которой мир еще не знал, расцвет литературы и интеллектуальной жизни, расширение империи, развитие торговли и увеличение дани от подчинившихся Афинам городов и островов. Перикл открыл глаза.

— Почему же вы ничего не говорите о самом прекрасном и самом великом из моих притязаний на славу? — неодобрительно прервал он их разговор. — Ведь из-за меня никто из афинян не облачился в траур!

Они не стали ему возражать, потому что это было неправдой.

4

Аристотелю было лет семнадцать-восемнадцать, когда он приехал с юга, где отец его состоял царским врачом при дворе в Пеллах, в Македонии, чтобы поучиться у Платона в городе-государстве Афинах.

Академия Платона была основана двадцатью одним годом раньше. Уже вышли в свет платоновские диалоги Сократа, которые молодой человек проглотил с восторгом и пылом. Ему хотелось узнать больше.

Платону перевалило за шестьдесят, он уже махнул рукой на поиски истины.

Время шло, аналитическая мощь Аристотеля зрела, и он с разочарованием начинал понимать, что Платон произволен и причудлив в своих пристрастиях: им владела мистическая вера в божественность чисел и в теорию идей как реальностей, не зависящих от человеческого сознания, теорию, ведшую туда, куда Аристотелю идти никак не хотелось.

Этим двоим было далеко не всегда так уютно друг с другом, как поначалу надеялся Аристотель, хоть он и остался в Академии на двадцать лет, до самой смерти Платона, постигшей того в восьмидесятилетнем возрасте. Затем он покинул Афины. Руководителем школы — пост, который, возможно, желал занять Аристотель, — стал родственник Платона, мыслитель весьма посредственный. Аристотель вернулся двадцать лет спустя, чтобы основать свой Ликей. К этому времени в городе правили македоняне, сначала Филипп, потом Александр.

Платон чрезвычайно ценил Аристотеля. Он прозвал его «умником» и «чтецом». Платон питал слабость к прозвищам. «Платон» — это ведь тоже прозвище: он был широколоб, широкогруд и в молодости, говорят, преуспевал в борьбе. Так что Платон — никакой не Платон, а вовсе Аристокл, сын Аристона. Отец Платона уверял, будто род их идет от Кодра, царя афинского, существовавшего только в преданиях. Мать Платона происходила по боковой линии от законодателя Солона.

В семье, породившей также его дядю, не то двоюродного дедушку, Крития, не было недостатка в богатстве. За один-единственный год пребывания у власти дядюшка Платона, Критий, сумел заслужить почетное звание самого кровавого и корыстолюбивого тирана за всю историю города.

Когда-то давно Критий ходил в учениках Сократа.

С тех пор как харизматический Алкивиад обратился в изменника и переметнулся в

Спарту, не было афинянина, которого столь откровенно боялось и ненавидело столь подавляющее большинство населения города.

Алкивиад тоже считался последователем Сократа.

Прошло немалое время, прежде чем Аристотель понял, что в прозвищах, до которых был так падок Платон, таится раздраженное неодобрение, весьма отличное от добродушной иронии, каковой он наделил личность Сократа в своем «Государстве» и в многочисленных скетчах.

Аристотель с Платоном разнились и в философии, не только в возрасте и темпераменте.

Глава Платона витала в облаках, мысли его блуждали по небесам, похоже, он проповедовал, что единственные вещи, в которые человек может проникнуть взглядом, суть те, относительно которых ничего другого установить невозможно.

Аристотель твердо стоял на земле, и взгляд его проникал всюду. Ему хотелось побольше выяснить обо всем, что он видел.

Платон отвергал видимое: достигнуть знания можно лишь в отношении вещей вечных, а на земле ничего вечного не обретается. Он напирал на геометрию. Над входом в его Академию было начертано: «Да не войдет сюда никто из не знающих геометрии».

Аристотель же тяготел к определению, объяснению, систематическому исследованию и доказательству, даже в геометрии.

Платон, человек пожилой, предпочитал проводить уроки сидя.

Аристотель, человек молодой, будучи увлеченным новой идеей, не мог удержаться от ходьбы и подскакиваний. «В движении есть движение», — выпалил он однажды, когда Платон с саркастической вежливостью предложил ему попробовать посидеть спокойно. Есть также и восторг. Движение, объявил он однажды о своем открытии, убыстряет пульс, да и сердце начинает биться быстрее.

Интерес Аристотеля к биологии, физике и прочим естественным наукам и наукам об обществе, возможно, произрастал из научных склонностей его отца.

— Вот у меня в ладони жук, — заявил он как-то раз, — с цельным овальным покровом и восемью сочлененными лапками, а здесь, в другой ладони, я держу второго жука, светлее оттенком, с двенадцатью лапками, и покров у него подлиннее и разделен на части. Можешь ли ты объяснить мне различие между ними?

— Да, — ответил Платон. — Не существует такой вещи, как жук, ни в одной твоей ладони, ни в другой. Не существует и такой вещи, как ладонь. То, что ты полагаешь жуком и ладонью, суть лишь отражения твоего осознания идей жука и ладони. Существует только идея, она существовала еще до того, как эти вещи обрели бытие. Иначе как бы они его обрели? А форма идеи, разумеется, всегда является вечной и реальной и никогда не меняется. То, что ты держишь в том, что представляется тебе твоими ладонями, суть лишь тени этой идеи. Ты разве забыл пример с пещерой, приведенный в моем «Государстве»? Перечитай его еще раз. Различие двух твоих жуков есть достаточно ясное доказательство того, что ни тот, ни другой реальными не являются. Отсюда вытекает, что исследованию доступна лишь форма или идея формы, она же есть нечто такое, о чем мы никогда не сможем узнать больше того, что уже знаем. Только идеи и достойны размышлений. Ты нереален, мой юный Аристотель, я нереален. Сам Сократ был лишь подражанием себе самому. Все мы — только несовершенные копии формы, которая и есть мы. Я знаю, ты меня понимаешь.

Аристотель не стал в тот раз выспрашивать, сколько ног у идеи жука, на которую сослался Платон, — восемь или двенадцать, или была ли идея Сократа, копией коей он являлся, идеей Сократа молодого или старого. Если обоих, то платоновская теория идей, предвидел он, развалится вследствие самопротиворечивости и немедля растворится в пустоте невразумительности.

Под конец жизни Платон стал аскетом во всем — на пирах он из презрения к Диогену ел лишь оливки и фиги. Он снисходительно взирал на увлечение Аристотеля одеждами, перстнями и женщинами.

Аристотель не хотел обнаруживать несогласие с учителем, пока тот еще жив, вот

ему и пришлось двадцать лет, почти до сорока собственных, дожидаться смерти Платона.

К тому времени Аристотель осознал, что идеал царя-философа, проповедуемый в «Государстве», попросту глуп, и его огорчало, что Платон до самой старости преследовал совершенно непрактичную цель — посредством образования обратить деспота в философа. Ради этого донкихотского предприятия Платон трижды ездил в Сицилию. Две поездки из трех закончились тем, что он едва унес из Сицилии ноги.

Платон сильно переоценивал преобразующую силу образования, равно как и спрос на знание и разумение в общественных делах.

Платону следовало бы помнить, думал в изгнании Аристотель, что нравственное учение Сократа не оказало благого влияния ни на Алкивиада, ни на Крития и что взгляды, которые он пытался внушить этим зловредным людям, едва ли не легли в основу враждебности, пробужденной Сократом в его согражданах из среднего класса.

Аристотель не оказал большого влияния на Александра, да и не питал философической уверенности в том, что сумеет оное оказать.

Однако Платон не изменил своей мечте.

До знакомства с Аристотелем Платон побывал на Сицилии дважды. И вот теперь, уже семидесятилетним стариком, с изумлением увидел Аристотель, он снова отправился в Сиракузы ради все той же безнадежной затеи — вторично попытаться внушить царственную добродетель развратному тирану-правителю Дионисию II.

Едва прибыв туда, он стал объектом подозрений и скрытых насмешек в революционной дворцовой интриге, которая зрела вокруг, оставаясь незаметной лишь для него, философа из Афин.

Прежде чем ему разрешили уехать, он несколько месяцев просидел под домашним арестом.

Самое большее, чего Платон достиг за три своих путешествия, это то, что он выпестовал в Сицилии недолгую моду на геометрию. Жившие в Сиракузах сицилийские греки баловались геометрией, прежде чем напиться, завалиться в постель и предаться блуду.

Потерпев это окончательное фиаско, Платон впал в еще большую меланхолию и подавленность. Аристотель помалкивал, но понимал, что его теперь обучает философии человек, лишившийся иллюзий и озлобившийся, отказавшийся в конце концов от надежд на улучшение рода людского.

Перед смертью Платон трудился над «Законами» — мрачным, мизантропическим проектом тоталитарного общества, все члены коего являются узниками косной ортодоксии, которая не потерпела бы мыслителей, подобных ему и Сократу, и в которой кары за разного рода распространенные прегрешения были безжалостными.

Скажем, первое проявление нечестия каралось пятью годами тюрьмы. Второе — смертью без погребения.

Именно нечестие составляло один из двух пунктов обвинения, выдвинутого против Сократа.

Это же обвинение, предъявленное Аристотелю, заставило его за год до смерти бежать из Афин.

В «Законах» Платона торгаши — то есть люди, которые покупают по одной цене, а продают по другой, более высокой, — являются объектом стойкого презрения.

В этом новом идеальном платоновском обществе интеллект мог уцелеть лишь в качестве основного архитектурного элемента общественного порядка, при котором всякий иной интеллект ставился вне закона.

Аристотель сознавал то, чего не осознал Платон, — политика и благие намерения несовместимы.

Платону, критически полагал Аристотель, следовало бы помнить это хотя бы по защитительной речи, которую он приписал Сократу в своей «Апологии». Сколь долго, вопрошал, по словам Платона, Сократ у судей перед тем, как они осудили его на смерть, человеку, истинная цель которого — благо его страны, позволили бы остаться в живых, попади он в правительство?

Политика несовместима и со знаниями.

Правитель, вдохновленный любовью к философии, о которой говорили Сократ и Платон, мало имел бы времени для занятий государственными делами, да ему и не позволили бы долго ими заниматься. Интеллектуал в политике — не более чем очередной оратор.

Пребывая в изгнании, Аристотель с неослабевающим весельем вспоминал ту ночь, когда Филипп, царь Македонии, в тот раз для разнообразия трезвый, пересек огромный зал в Пелле и присоединился к небольшой кучке людей, слушавших Александра, с редкостным искусством игравшего на лире. Филипп молчал, пока не отзвучала музыка.

— И тебе за себя не стыдно? — с мягким укором спросил он сына, которого мог считать — а мог и не считать — наследным главой централизованного правительства, уже создаваемого Филиппом в разъятой на части земле независимых греческих городов, никогда никаких правительств не ведавших. — Тебе не стыдно, что ты умеешь так хорошо играть?

Царю достаточно наслаждаться, слушая музыку, хотел сказать он, поскольку человек, который очень хорош в чем-то одном, навряд ли годен для другого.

К той поре у двора имелись причины гадать, решил ли уже Филипп, кого он назначит наследником. Он отставил мать Александра, Олимпию, буйную дочь эпирского царя, управлявшуюся со змеями в диких ритуалах, которым она с упоением предавалась, и хваставшую в припадках варварского безумия, будто она даже совокупилась с одной из них, чтобы зачать Александра. Не так давно Филипп получил сына от новой жены, Клеопатры, от которой он, похоже, был без ума. Многим недовольным аристократам, так или иначе связанным с семьей его отвергнутой жены, Клеопатра казалась чересчур инфантильной, чтобы позволить ей стать царицей.

Александру, когда он начал учиться у Аристотеля, было тринадцать. Они провели вместе три года. Как обнаружили оба, этого хватило, поскольку Александр научился у Аристотеля всему, что ему требовалось, дабы стать тем, кем он стал.

Не будь он Александром, сказал, как сообщают, Александр, уже ставший царем — Диоген как раз попросил его отойти в сторонку и не заслонять собой солнце, — он стал бы Диогеном.

— Будь я Александром, — сказал ему советник, когда в выстроившееся на поле войско доставили от царя Персии мирные предложения, — я бы эти предложения принял.

Я бы тоже их принял, откликнулся Александр, не будь я Александром.

Александр любил Гомера, уверяют даже, будто он взял с собой в Азию отредактированную Аристотелем «Илиаду» и, как опять-таки уверяют, всегда держал ее под подушкой.

В шестнадцать он был регентом в отсутствие Филиппа, а в восемнадцать, в битве при Херонее, встал против рядов фиванцев, к тому времени одолевших Спарту, и возглавил бросок кавалерии, уничтоживший Священное войско.

Александру исполнилось двадцать лет, когда Филипп пал от руки убийцы.

Ему исполнился двадцать один, когда он покинул Грецию, выступив в волнующий воображение триумфальный, приведший к баснословным завоеваниям поход, до возвращения из которого он не дожил.

Он перешел Геллеспонт, и нога его никогда более не ступила на родную землю.

Тридцати трех лет он умер в Вавилоне — не то от лихорадки, не то от отравы — предзнаменования, получаемые при жертвоприношениях, уже несколько времени сулили недоброе.

Филипп тоже скончался слишком рано, его, сорокашестилетнего, убил молодой телохранитель, а случилось это на свадебном пиршестве, которое Филипп устроил единственно ради того, чтобы сплотить свои силы и окончательно обезопасить себя от врагов.

Со дня на день он собирался объявить себя богом.

Македонские пиршества, как хорошо знал Аристотель, отсидевший немалое их число, с обычными для них подачей неразбавленного вина и вспышками примитивного гнева, всегда отличались непредсказуемостью исхода.

Весть о кончине Александра достигла Афин в 323 году до н.э., немедля возбудив волну антимакедонских настроений и породив восстание против македонского ига, причем Аристотеля, уже двенадцать лет кряду преподававшего у себя в Ликее, первым делом обвинили в нечестии.

Аристотель сбежал, заявив, — подразумевая казнь Сократа, — что не намерен позволить Афинам вторично согрешить против философии.

Он хотел сказать, что не намерен представать перед судом.

Проведя последний свой год в изгнании, Аристотель уже не питал особого уважения к городу, прославленному в его времена как место, в котором зародились литература и наука.

Если не считать драматических авторов, ни одно из великих поэтических имен, первыми приходящих на ум, не принадлежит афинянам, то же относится к математикам, а если оставить в стороне Сократа и Платона — то и к философам. Лишь этих двух философов и породили Афины. Один никогда ничего не писал, другой почти ничего не написал от своего имени.

Как много иронии в том, что Аристотель, всегда подчеркивавший роль методологии наблюдения и проверки, оказался в итоге арбитром в решении вопроса о том, где кончаются мысли Сократа и начинаются — Платона. Ему оставалось только строить догадки. Платон не облегчил решения этой задачи, заявив в своем «Седьмом послании», что не написал и никогда не напишет ни одного трактата, в котором излагались бы его собственные воззрения!

К тому времени Аристотель знал достаточно, чтобы знать, что Платон привирает.

Аристотелю представлялось очевидным, что Платон тайком протащил в своего «Федона», в «Пир» и в «Тимея» философские теории, которых невразумительный Сократ, театрально изображенный им и в этих трудах, и в «Государстве», разделять никак не мог, а отсюда следовало, что принадлежат они самому Платону.

Истину Аристотель ставил выше, чем дружбу, о чем он неизменно сообщал в Ликее, приступая к обсуждению идей своего прежнего, глубоко им чтимого ментора. К той поре он ставил воззрения Сократа много выше воззрений Платона, хоть и не мог бы с уверенностью сказать, в чем состояли и те и другие.

— Сократ не верил в теорию идей, да и в теорию души тоже, в той мере, о которой твердит Платон в «Федоне» и в «Пире», — твердил он ученикам, прогуливаясь с ними по Ликею; это же утверждение сохранилось во множестве его подготовительных заметок к лекциям, каковые столетия спустя свели воедино и издали под видом будто бы написанных им книг люди, не имевшие к нему никакого отношения.

Хотя знать об этом наверняка Аристотель не мог, поскольку между рожденьем Сократа и его собственным пролегло без малого сто лет. Они никогда не встречались. Сократа казнили за пятнадцать лет до рождения Аристотеля, а когда Аристотель приехал в Афины, Сократ был мертв уже более тридцати лет. Старик обратился в воспоминание. Достоинство, безмятежная разумность и нравственная красота Сократа описаны в начале и в конце платоновского «Федона» с такой выразительностью, что всякий, прочитавший этот диалог, вряд ли сумеет скоро о них забыть.

Правда, Платон, как ясно дает понять Платон, при кончине Сократа не присутствовал.

Платон вообще не присутствует ни в одном из его диалогов.

Он появляется в них один-единственный раз, да и то для того, чтобы объяснить свое отсутствие: в день смерти Сократа, говорит Платон, он, больной, лежал у себя в доме.

Сократ же не оставил ни единого написанного им слова. Не напиши о нем Платон, мы ничего бы толком о Сократе не знали. Не напиши он о Сократе, мы бы и о Платоне знали немногое.

Впрочем, Платон, как говорит у него Сократ, входил в число его судей, и, вероятно, Сократ говорит в данном случае правду.

В число этих судей входил и Асклепий, честно признавшийся во время допроса, происшедшего на предварительном слушании — перед тем как Асклепию предъявили

обвинение, — что опустил свой камушек за Сократа, хоть он и понимал, что такая честность доброй пользы ему не сослужит.

Анит, громогласный глашатай стабильности, он же инициатор обоих обвинений и немаловажная, как и Асклепий, фигура в афинской кожевенной торговле, заявил, что никак не возьмет в толк, по какой причине честный афинский предприниматель мог бы не пожелать Сократу смерти.

— Стало быть, ты либо нечестен, либо врешь.

Судьи не поверили Асклепию, когда тот сказал, что это слишком сложно для его разумения.

Судьи подозревали его в том, что он пытается возбудить их подозрения.

С чего бы он стал говорить правду, если он и впрямь говорит правду, когда говорит, будто говорит правду?

С чего бы это человек, которому нечего скрывать, вдруг отказался солгать?

Он-де не понимает, какой, собственно, вред причинил Сократ кому бы то ни было.

Да речь вовсе и не об этом, раздраженно оборвал его Анит. Речь о том, что Асклепий отдал свой голос за спасение человека, обвиненного в преступлениях.

Асклепий проникся уваженьем к Сократу за его военные заслуги при осаде Потидеи, при поражении под Делием и в особенности при попытках отнять Амфиполис у спартанского генерала Брасида, когда Сократ, уже сорокашестилетний, вновь отправился биться за свой город. Асклепий не понимал, какую пользу могли принести суд и казнь, совершенные над человеком, дожившим до Сократовых лет.

— Что же, господа, если бы вы немного подождали, — вспоминал Аристотель речь, произнесенную у Платона Сократом, которого суд только что приговорил к смерти от цикуты, — тогда бы это случилось для вас само собою. Подумайте о моих годах, как много уже прожито жизни и как близко смерть.

Ему было семьдесят лет.

II. В Голландии

5

Когда умерла Саския, Титусу было девять месяцев, и Рембрандту понадобилась женщина, которая жила бы под его крышей, ухаживая за младенцем и помогая по дому.

Мы не знаем, как скоро после поступления к нему на службу Гертджи Диркс, вдова трубача, стала спать с ним или как скоро она надела драгоценности Саскии, которые отдал ей Рембрандт. Уверяют, что они принадлежали Титусу.

Или сколько времени понадобилось родичам Саскии, чтобы заметить это и рассердиться.

Среди упомянутых родичей был и художественный агент Рембрандта, Хендрик ван Эйленбюрх, в чьем доме на Бреетстраат Рембрандт некогда жил.

Зато мы знаем, в каком году Гертджи подала на него в суд за нарушение обещания жениться — это случилось после найма им новой служанки, Хенридкье Стоффелс, заменившей Гертджи в сердце Рембрандта, — и в каком году Рембрандт, вступив в тайный сговор с ее братом, добился, чтобы Гертджи упрятали в исправительное заведение, надо полагать, по причине ее аморальности и умственного расстройства, вызванного тем, что процесс против Рембрандта она проиграла.

Суд обязал Рембрандта ежегодно выплачивать на ее содержание двести гульденов.

Отчаянные попытки частным образом договориться с нею до суда провалились: Рембрандт согласился поддерживать ее и выкупить драгоценности, которые она успела

заложить, при условии, что она не заложит их заново и не изменит своего завещания, по которому все эти драгоценности должны были достаться Титусу. Возможно, этого хватило для умиротворения родичей Саскии.

Она заложила их заново.

После «Ночного дозора» прошло шестнадцать лет, прежде чем Рембрандту вновь заказали групповой портрет, — это способно сказать нам нечто о враждебном приеме, встреченном первой работой, но не многое о затруднениях, испытываемых им в Голландии.

У нас не имеется сведений о том, что после женитьбы Рембрандт хотя бы раз выехал за пределы Голландии.

Аристотель, чья способность к наблюдению, классификации, сопоставлению и построению заключений по-прежнему оставалась безупречной, мог усмотреть параллели между Сократом, ожидающим казни, и Рембрандтом, ожидающим банкротства.

Аристотель, названный за такие его сочинения, как «О душе», «О сознании и здравомыслии», «О памяти и воспоминаниях», «О сне и пробуждении», «О сновидениях» и «О жизни», отцом психологии, не видел ничего пугающе ненормального в том, что некоторые люди предпочитают смерть позору и разорению и что многие до его появленья на свет и после прибегали к самоубийству, чтобы не претерпеть и того и другого.

Аристотель мог усмотреть и сходство между Голландией, в которой он теперь воскресал на портрете, и древними Афинами, какими они были до его рождения и о каких он многое слышал, читал и писал, ибо эта крохотная, амбициозная нация мореплавателей, повсюду учреждавшая свои монополии и сферы влияния, казалось, вечно пребывала в ссоре со всем прочим миром.

К тому времени Абель Янсон Тасман уже, разумеется, отплыл курсом на восток через Индийский океан в Тихий, открыл Новую Зеландию, обогнул Австралию, установил, что это континент, и нанес на карту — на его северо-западном берегу — Новую Голландию, еще один заморский торговый форт Голландской республики.

За Атлантикой, по другую ее сторону от Европы, на восточном побережье Северной Америки располагалась голландская колония Новые Нидерланды, а в западной Африке голландцы добрались до Анголы, где добывали рабов, весьма полезных при выращивании и рафинировании сахара на бразильских плантациях, которые Голландия отняла у Португалии.

И Голландия, и Афины вели хлебную торговлю с Россией: Голландия через Балтику, Афины через Геллеспонт, Босфор и греческие города Византии, а там, переплыв Черное море, добирались и до Крыма, где закупали пшеницу, рис и ячмень, без которых город не смог бы выжить. Чтобы держать эти пути открытыми, Афинам часто приходилось воевать.

Афинские купцы торговали пшеницей всюду, где цены были повыше.

Впрочем, между Сократом и Рембрандтом имелись и различия, которых наш взыскательный философ, додумавшийся до определения определений, никак не мог игнорировать.

Подобно большинству афинских граждан, не обремененных работой, Сократ большую часть каждого дня проводил под открытым небом.

Подобно большинству голландцев, Рембрандт работал почти безостановочно и практически все время проводил под крышей.

Погода в Голландии не благоприятствовала жизни на вольном воздухе и долгим беседам в той мере, в какой склоняла к ним погода Афин, где на год в среднем приходится триста солнечных дней.

В Голландии их вообще не бывает.

Рембрандт жил в доме, а работал в мансарде, заполненной учениками, платившими ему за уроки, и набитой произведениями искусства — его собственного и покупными: причудливыми одеждами, оружием, украшениями; все это он фанатично собирал более двадцати лет, с тех пор как перебрался в Амстердам.

Вскоре всему имуществу Рембрандта предстояло пойти с молотка, включая и бюст

Гомера, использованный в качестве натурщика для бюста Гомера, в который он на глазах у Аристотеля с таким ошеломляющим мастерством вдыхал с помощью красок жизнь.

Грекам и не снилось, что возможны чудеса, подобные происходившему на холсте, и что красота столь трогательная может исходить от человека, не блещущего воображением и банального во всех иных отношениях.

Сократ и Платон этого не одобрили бы.

Живопись представляла собой одно из миметических искусств, каковые эти философы ставили ниже прочих, считая их подражанием подражанию. Занятия живописью, подобно занятию поэзией и музыкой, строго ограничивались цензорами в первой из деспотических утопий, предложенной Платоном в «Государстве», и почти полностью запрещались во второй из его деспотических утопий, обрисованной в «Законах».

Сократ лишь поглумился бы над этим выполненным на холсте красочным подражанием гипсовой либо каменной копии с мраморного подражания внешнему облику человека, которого никто не знал и никогда не видел и о самом существовании которого не имелось достоверных свидетельств, письменных или устных. Сократ покатился бы со смеху, увидев длинное лицо Аристотеля и его несусветное одеяние.

Для теперешнего же Аристотеля картина, частью которой стали он и Гомер, была чем-то большим, нежели просто подражание. Она обладала собственным неповторимым характером, не обладая при этом никаким предбытием, даже в платоновском царстве идей.

Пока Аристотель наблюдал за художником, тот добавил оливково-бурого и зеленого к белым рукавам стаккоса, и рукава остались белыми!

Он провел сухой кистью, вновь взяв на нее немного тусклых пигментов, по еще мягкой краске, и внезапно ткань обрела складки, одежда начала отражать цвет и тон ее стал богаче. Он прошелся короткими ударами толстой кисти поверх длинных мазков, нанесенных тонкой, оставляя следы щетины на поверхности, делая ее более грубой и плотной. Кончиком тонкой и нежной кисти он любовно изобразил мешки под глазами Аристотеля и морщины на его лбу.

Он наложил поверх тяжких слоев краски побольше минерального лака, углубляя и обогащая блеск драгоценных камней. С помощью крошечных вкраплений белого он сообщил золотистый блеск длинной, тяжелой цепи Аристотеля. И словно вдохновленный внезапной мыслью, сложил слева лесенкой книги, резко очертив геометрическую границу картины там, где никакой границы доселе не было, — вертикальную параллель голове и шляпе Аристотеля и бюсту Гомера. Он переносил медальон с лицом Александра с места на место, пока тот не повис на цепи в точности там, где ему требовалось; он снова и снова то увеличивал, то уменьшал поля Аристотелевой шляпы.

То, что он творил с бюстом Гомера, было непостижимым откровением для человека, любовавшегося в древности написанным Апеллесом портретом Александра.

Переводя взгляд с тусклой мазни, покрывавшей палитру голландца, на вибрирующие тона стоявшей на столе статуи, Аристотель следил за чудом преображения. Добавив угольно-бурого к ее кремовым тонам, Рембрандт даровал Аристотелю иллюзию плоти в неживом изваянии человека, который, казалось, наливался теплом бессмертной жизни под ладонью философа. Рембрандт одел Гомера несколькими простыми мазками — широкие и плоские, они создали на его одеянии темноватые складки.

Для Аристотеля оставалось загадкой, как может человек столь бесталанный обладать таким гением.

Аристотель, размышляя, смотрел мимо Гомера. Гомер, безглазый, таращился на Аристотеля.

Аристотель был поражен до того, что только дивился, почему же Рембрандт не написал до сих пор живого Гомера вместо статуи.

А неплохая мысль, решил Рембрандт, и лет восемь спустя, когда Аристотель уже обосновался в сицилийском замке, отправил дону Антонио Руффо на предмет размышлений наполовину законченное изображение Гомера, диктующего писцам,

а с ним и второй выполненный для дона Руффо заказ — поясной портрет Александра.

Гомера Руффо вернул для завершения, сопроводив его гневной жалобой на то, что Александр состоит из четырех сшитых вместе кусков: он был уверен, что его одурачили, использовав уже готовый головной портрет, мошеннически увеличенный до оговоренных в контракте размеров.

Зная Рембрандта, мы не знаем, насколько ошибся дон Руффо.

Известный лишь в переводе бесцеремонный письменный ответ Рембрандта на жалобу его покровителя обошелся бы собирателю рукописей в немалую сумму, если бы удалось отыскать или подделать оригинал.

Ныне «Александр» то ли висит, то ли не висит в Глазго, а «Гомер», поврежденный огнем и обрезанный до размера, позволившего вместить лишь главного персонажа и руку одного из писцов, пребывает в музее Морица в Гааге.

Нью-йоркскому музею Метрополитен пришлось, чтобы заполучить «Аристотеля», перебивать цены, предлагаемые Кливлендским художественным музеем и питсбургским Институтом искусств Карнеги.

Сократ и Рембрандт закончили жизнь бедняками.

Сократ ничем не владел, никому не был должен и потому не расстраивался.

Рембрандт горевал отчаянно.

Он незаконно пользовался крохотным наследством, оставленным его дочери второй из двух служанок, ставших его любовницами.

Титус умер за год до Рембрандта. То немногое, чем он владел, перешло к его беременной жене, обвинившей Рембрандта в том, что он и из этого кое-что утянул.

Одно из поздних полотен Рембрандта — это автопортрет смеющегося художника. Он способен разбить человеку сердце. Возможно, что он написан мастихином. В настоящее время автопортрет находится в Кёльнском музее.

Попробуйте купить его за миллион долларов, ничего у вас не выйдет.

В ранние его дни Сократу хватало средств, чтобы нести военную службу гоплитом, а этот ранг требует обзаведения доспехами и оружием за собственный счет. В поздние его дни у него только и осталось, что жена и трое детей. В разговоре с одним из друзей он сказал, что если б нашелся покупатель, то он, пожалуй, продал бы все, что у него есть, вместе с домом за пять мин.

— Живешь ты так, — однажды сказали ему, — что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина. Еда и питье у тебя самые скверные. Плащ ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой. Ходишь ты всегда босой и без хитона.

— Попытайся понять, — объяснил Сократ, — по моему мнению, не иметь никаких нужд есть свойство божества.

Он говорил, что кажется себе богачом, когда, проходя по рыночной площади, пересчитывает вещи, без которых, как он понимает, вполне можно жить.

Его отношением к бедности гораздо проще восхищаться, чем оное разделить.

Что касается жены Сократа, Ксантиппы, то о ней можно получить сведения, правда не очень надежные (из книги Диогена Лаэртского «О жизни и изречениях знаменитых философов» и Ксенофонтовых «Воспоминаний о Сократе»), сводящиеся к тому, что она обладала сварливым нравом и рыскала за мужем по всей рыночной площади, чтобы разодрать на нем плащ и выбранить его при всех за то, что в доме ничего нет, даже его самого. Порядочная, свободнорожденная афинская женщина носа не высовывала из дому, если могла без этого обойтись, и отсутствие у жены Сократа раба, который мог отправиться на рынок и проделать все вышеописанное за нее, свидетельствует о крайности, до которой был доведен ее дом.

Когда Сократа сочли виновным, обвинители потребовали его смерти.

Сократ не пожелал воспользоваться правом испросить менее суровое наказание — заключение в тюрьму либо изгнание.

Остается еще денежный штраф, не без некоторой сухости сказал Сократ. «Разве если

вы назначите мне уплатить столько, сколько я могу, — предложил он. — Пожалуй, я вам могу уплатить мину, ну столько и назначаю».

Естественно, его приговорили к смерти.

Он упомянул еще о том, что друзья велят ему назначить штраф в тридцать мин, а поручительство берут на себя, ну так он и решил назначить такую пеню.

Но его все равно приговорили к смерти.

Похоже, он был единственным, у кого не возникло при этом никаких возражений.

Стечение календарных дат даровало ему еще тридцать дней жизни. Когда друзья подготовили побег, он не пожелал о нем даже слышать.

Не ему нарушать законы своего города.

Шуточки насчет Сократа, содержащиеся в четырех пьесах Аристофана — «Облака», «Осы», «Птицы» и «Лягушки», — определенно показывают, что он был достаточно известен, чтобы толпа поняла, в чем их соль. Комический поэт Евполид написал о нем:

«Я ненавижу Сократа, который до всего доискивается и только не заботится, что ему есть».

Никто не поверил кожевнику Асклепию, когда тот поклялся, что ни разу не говорил с Сократом и не знает ни единого его изречения, за которое город приговорил его к смерти.

Его обвинители тоже ни одного не знали. На суде они привели лишь одно доказательство его порочности: он-де утверждает, будто Солнце — раскаленный камень, а Луна — земля.

Это хорошо известные положения Анаксагора, ухмыльнулся в ответ Сократ, даже малые дети стали бы смеяться над ним, если бы он попытался выдать их за собственные, не говоря уж о том, прибавил он, что это полная чушь.

III. Изобретение денег

6

Изобретение денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова привело к серьезным изменениям в экономической жизни человеческих сообществ, докатившимся и до Голландии семнадцатого века по Рождестве Христовом и позволившим живописцу Рембрандту купить себе дом на Бреестраат с первоначальным взносом двенадцати сотен гульденов, сделанным в день вселения.

Шесть месяцев спустя он заплатил еще двенадцать сотен и еще восемьсот пятьдесят гульденов через шесть месяцев после этого. Три платежа, произведенные в течение двенадцати месяцев, составили двадцать пять процентов от полной суммы.

Остаток можно было выплатить за пять или шесть лет, как будет удобно Рембрандту, — вместе с накопившимися процентами, начисляемыми по общепринятой ставке в пять процентов годовых.

Дом стоил тринадцать тысяч.

Рембрандт не сомневался, что сможет позволить себе подобные траты.

Почему бы и нет?

За первый свой год в Амстердаме он выполнил больше заказов, чем за всю прошлую жизнь. Следующие семь лет оказались не менее прибыльными.

Появившись в Амстердаме двадцатипятилетним человеком, он чуть ли не за одну ночь стал самым модным портретистом города. К 1639-му, когда Рембрандт с Саскией купили дом, он уже написал несколько картин для дворца принца Фридриха Генриха Оранского в Гааге. Два других его полотна принадлежали королю Англии Карлу I, которому предстояло в 1649-м расстаться с головой, но, правда, не из-за картин.

Тридцатитрехлетний Рембрандт зарабатывал кучу денег. Разве были у него причины сомневаться в том, что в дальнейшем он станет зарабатывать еще больше?

В той части Амстердама, в которую Рембрандт, лишившись дома, перебрался с се-

мьей, он поселился в жилище достаточно просторном, чтобы вместить его студию, Хендрикье, их дочь и Титуса, арендная же плата составляла ровно двести двадцать пять гульденов в год.

При покупке дома в 1639 году они с Саскией были женаты пять лет. Ко времени их знакомства она уже осиротела. Хотя восемь сирот поделили состояние отца Саскии поровну, ее доли тем не менее хватало, особенно в соединении с начальным достатком Рембрандта, на то, чтобы их траты бросались в глаза, навлекая на Саскию критические замечания родственников, что она-де бессовестно транжирит свое наследство.

Вместе со своей долей богатства Саския привнесла в этот многообещающий буржуазный брак явственный душок патрицианского общества, который Рембрандт очень ценил и которого он не смог бы приобрести никакими иными средствами. При той сутяжнической натуре, которой, как мы знаем, обладал Рембрандт, и при том пассивном расположении, которое мы склонны приписывать Саскии, они, надо полагать, хорошо ладили и брак их был, вероятно, вполне удовлетворительным, не считая, конечно, дурного здоровья Саскии и смерти, постигшей первых их трех детей вскоре после рождения.

Не существует свидетельств касательно того, чтобы кто-нибудь из членов семьи Саскии возражал против ее брака с сыном лейденского мельника, ставшим в Амстердаме знаменитым художником и предположительно допущенным ко двору принца Фридриха Генриха, при котором, насколько мы можем полагаться на документы, он если когда-либо и появлялся, то лишь по делам, связанным с его профессией.

Его семья также помалкивала, хотя жившая в Лейдене мать Рембрандта представила необходимое письменное согласие на брак, подписав его крестиком.

Ни один из членов его семьи на брачном торжестве не присутствовал; возможно, ни одного и не пригласили.

Рембрандт и его родичи не писали друг другу — разве что о смертях; нет также сведений и о его приездах в семью. По меньшей мере двое из его братьев жили в ничтожной нищете еще до того, как он и сам в нее впал.

Даже до переезда в Амстердам у молодого Рембрандта имелось достаточно денег, чтобы ссудить тысячу гульденов торговцу, продававшему его работы.

Тысяча гульденов была порядочной суммой, распоряжаться которой, не говоря уж о том, чтобы отдать ее в долг, мог далеко не всякий молодой человек.

Возможно, эта ссуда была вложением в деловые операции. Вероятно, именно Эйленбюрх побудил Рембрандта переехать в Амстердам, город куда более крупный, чем Лейден, и к тому же ставший источником наиболее важных заказов. В Амстердаме, по крайности до своей женитьбы, Рембрандт жил в доме Эйленбюрха на Бреетстраат, улице, на которую Рембрандт несомненно стремился вернуться, как только он сможет позволить себе собственный дом.

Саския и Рембрандт почти наверняка познакомились в доме ее кузена Эйленбюрха в один из приездов Саскии из Фрисландии. Вскоре Рембрандт стал самым знаменитым из обитателей этого дома, главной приманкой на сходках культурной элиты, сопряженных с расходами, которые Эйленбюрх скорее всего окупал, сбирая входную плату.

Ныне, в сорок семь лет, Рембрандт уже более года работал над изображением Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, и всего за пятьсот гульденов.

Хендрик ван Эйленбюрх был уважаемым дельцом-менонитом в отличающемся широтою взглядов городе, он поддерживал теплые отношения, личные и деловые, с людьми, обладавшими в Амстердаме, и не в нем одном, немалой властью, людьми, от которых в Голландии зависели решения, касающиеся не только назначений на государственные должности, но и выбора тех художников, которые смогут заработать на официальных и даже частных заказах. Великий морской порт Амстердам был в ту пору богатейшим и оживленнейшим в мире центром морской торговли.

Великий морской порт Амстердам, собственно говоря, и портом-то не был, поскольку располагался в добрых семидесяти милях от ближайших морских гаваней Северного моря.

Почтенный художественный агент Рембрандта имел обыкновение занимать деньги у всех своих живописцев, если, конечно, у них было что занять, взамен рекомендуя их амстердамским купцам и вообще людям разных профессий, способным стать прибыльным источником заказов на картины.

Одним из таких людей был доктор Николас Тюлп.

Датированный 1632 годом «Урок анатомии доктора Николаса Тюлпа» стал блестящим дебютом Рембрандта в этом новом для него городе, куда он приехал за год до того, имея репутацию, которую и подтверждал, не теряя попусту времени.

Теперь ему было двадцать шесть.

Его драматическое изображение хирургов, присутствующих на вскрытии, проводимом доктором Тюлпом, который, глядя в ученую книгу, дает пояснения относительно анатомированной им руки, представляет собой поразительный по смелости шедевр, в котором нет почти ни единой крупицы правды.

Доктор Тюлп не анатомировал руку, об анатомировании коей он читает на картине лекцию, которой внимают все остальные. Анатомирование начинается с вентральной полости, а она изображена нетронутой.

Люди, написанные Рембрандтом, были, все до последнего человека, чиновниками гильдии хирургов, а отнюдь не студентами медицины, возможно, никто из них и врачом-то не был, к тому же все, кто изображен на картине, за вычетом одного человека, заняты вовсе не тем, чем они были бы заняты, изобрази их Рембрандт занятыми тем, чем они занимались, пока Рембрандт их писал, а именно — позированием для картины.

Единственная правдивая фигура в «Уроке анатомии доктора Николаса Тюлпа» — это человек, известный под именем Адриен Адриенц ‘т-Кинт (‘т-Кинт означает «телок»), он же труп.

Человека этого повесили при большом скоплении публики за грабеж, сопряженный с насилием. Он спер пальто.

Доктор Тюлп, выдающийся ученый, профессор анатомии Амстердамской гильдии хирургов, олдермен и член городского совета, а впоследствии четырехкратный бургомистр, был сыном торговца готовым платьем.

В первой половине семнадцатого столетия в Амстердаме не считалось зазорным быть сыном торговца готовым платьем.

А также торговца солью, сельдью, мускатным орехом и гвоздикой, зерном, лесом, табаком, оружием и даже, к чему неизбежно приводит прогресс культуры, деньгами как таковыми.

К концу того же столетия на фабрикации готового платья, засоле и поставке сельди — вообще на всяком предпринимательстве, сопряженном с затратами труда и производством продукта, — напечатлелось некое социальное клеймо.

К концу того же семнадцатого столетия богатые торговцы, промышленники и судовладельцы Амстердама жаловались, что намного превосходящие их богатством государственные чиновники не желают более заниматься торговлей или производством товаров, а взамен того «извлекают доходы из домов, земель и дачи денег под проценты».

Аристотель почитал дачу денег под проценты подлейшим из множества извращений, каким может подвергаться это средство взаимных расчетов.

Нарождалась новая аристократия, дети богачей все чаще и чаще вступали в браки в своем кругу, объединяя состояния. Они начали приобретать загородные дома и одеваться на отличный от прочих, привлекательный манер.

Когда лавочники и мастеровые стали сами одеваться и жен своих и детей одевать на тот же манер, представители среднего класса предложили ввести закон, объявлявший преступниками всех, кто так одевается, кроме, конечно, представителей среднего класса.

Когда столь многие одеты одинаково, жаловались они, зачастую невозможно отличить людей, заслуживающих вежливого обращения, от тех, кто его не заслуживает.

Закон не прошел, однако в воздухе явственно запахло социальными переменами и новыми классовыми различиями, свидетельством которых он стал.

С изобретением денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова появилась масса возможностей извлечения прибыли, а там, где прибыль, там и люди, пуще всего на свете желающие ее извлекать. Там же, где из денег можно извлечь больше денег, чем из чего бы то ни было другого, усилия государства, как правило, направляются на увеличение производства все тех же денег, в которых общество, вообще говоря, и не нуждается, если оставить в стороне покупку предметов потребления, необходимых для поддержания здоровья и физического благоденствия, а также приобретение досуга для размышлений. Всякий раз, когда денег появляется больше, чем требуется для приобретения продуктов, они расходуются на приобретение еще большего количества денег. Банки становятся преобладающей в обществе силой, число юристов и бухгалтеров возрастает, а само общество оказывается дезорганизованным и ослабевает в военном отношении.

Появляется множество людей, которые процветают в подобном финансовом окружении, и еще больше тех, которые могут совершенно свободно катиться к чертовой матери.

В Амстердаме, где Хендрик ван Эйленбюрх занимал деньги у своих покровителей или позволял им вкладывать эти деньги в свое дело, обыкновение его состояло в том, чтобы выдавать в качестве обеспечения долгов картины Рембрандта и прочих, ибо он знал, что его кредиторы смогут копировать эти картины без разрешения авторов и без оплаты их труда.

Далеко не в одном случае он, в виде дополнительного залога, отдавал одни и те же картины разным кредиторам.

Эйленбюрх отдавал в обеспечение долга офортные доски и не мешал кредиторам делать с них оттиски на продажу.

Рембрандт продавал офортные доски одному португальскому еврею, тайком припрятывая несколько оттисков для себя, в нарушение условий сделки.

Рене Декарт, называемый отцом современной философии и основателем аналитической геометрии и большую часть своей жизни проведший в Амстердаме — как раз во времена Рембрандта, — заметил однажды, что люди, населяющие этот город, настолько поглощены преследованием собственной выгоды, что он мог бы провести здесь всю свою жизнь без того, чтобы его заметила хотя бы единая душа.

Декарт провел остаток своей жизни, а вернее большую его часть, в Амстердаме, и Рембрандт его не заметил.

Через месяц после женитьбы Рембрандт нанял поверенного для сбора мелких долгов, так и не выплаченных Саскии в Фрисландии. С этого дня и до конца его жизни едва ли найдется период длиною в два года, в который он не был погружен в денежные тяжбы.

Когда его любовницу и экономку Хендрикье Стоффелс призвали на заседание церковного совета по обвинению в развратной жизни с живописцем Рембрандтом, самого живописца призвали тоже. Он туда не пошел.

Когда «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера» близился к завершению, Хендрикье позировала голышом для полотна, на котором Вирсавия размышляет над письмом Давида. Помимо этого она, одетая в белую сорочку, служила моделью для чудесной картины, изображающей женщину, которая стоит, приподняв юбки, в воде, доходящей ей до колен.

Это простенькое полотно представляет собой едва ли нечто большее, чем набросок к картине.

Тем не менее Аристотель, трепеща от волнения, наблюдал за созданием этого полотна, за появлением предположительно плотной плоти, вещественных форм человеческого существа и белого облачения, возникающих почти из ничего — из одной лишь идеи и мастихина, дополненных косными контурами красного плаща, казалось, небрежно сброшенного на землю, и почти пророческим прозрением возможностей цвета, формы, пространства и текстуры холста.

Пока Хендрикье позировала голой или в рубашке, подол которой она приподнимала, Аристотель не отрывал глаз от бюста Гомера. То, что она была на пятом месяце бере-

менности, не увеличивало ни ее привлекательности для Аристотеля, ни шансов на оправдание ее церковными властями.

По меньшей мере в четырех английских биографиях Рембрандта невозможно найти ни единого доброго слова о нем — лишь о его творениях и о сочувственной трактовке им нищих евреев-ашкенази, которые стекались в Амстердам, спасаясь от войн в Германии и Польше, и на которых город, издавна плодивший евреев-сефардов наряду с большими количествами голландских кальвинистов и католиков, взирал с омерзением.

Рембрандт не принадлежал к богеме.

Всех трех женщин, с коими он определенно состоял в интимных отношениях, — Саскию, Гертджи и Хендрикье — он подыскал себе прямо в доме, в котором жил. И в домашнем хозяйстве, и в любви Рембрандт устраивался примерно одними и теми же способами.

В этих связях присутствовала экономность движения, и Аристотель, чья изложенная в «Метафизике» теория творения основывается на первичном движителе, который заставил Вселенную вращаться и больше никогда в нашу сторону не смотрел, не питал к ней особого уважения.

Рембрандта путешествия привлекали не более, чем Сократа, едва ли когда-нибудь покидавшего Афины.

Нам известны лишь два случая, когда Рембрандт выбирался из Амстердама: один связан с предпринятой ради женитьбы поездкой в Фрисландию, другой — с посещением Роттердама по некоему делу. Мы можем с уверенностью сказать, что он иногда выезжал за город, поскольку существуют написанные им невероятно скучные пейзажи, признаваемые кое-кем гениальными.

У него еще есть офорт, на котором монах предается блуду посреди поля.

Писал он и натюрморты, настолько жалкие, что люди, ими владеющие, не решаются высунуть носа на улицу и признать, что у них таковые имеются. Ни одного до сих пор не нашли.

О Рембрандте рассказывают, будто его ученики рисовали на полу монеты, чтобы посмотреть, как он кинется к ним и наклонится, чтобы их подобрать, но это, похоже, относится к числу тех анекдотических розыгрышей, которыми студенты-живописцы пробавляются или, во всяком случае, хвастаются где ни попадя.

Как и прочие голландские живописцы его времени, он заставлял учеников делать копии со своих полотен, которые затем продавал.

Чем лучше был ученик, тем более ценной оказывалась подделка.

Чем более ценной оказывалась подделка, тем пуще ценился ученик.

Бывали времена, когда Рембрандт зарабатывал на выполненных учениками подделках его полотен больше, чем на продаже собственных подлинников. В современных каталогах на одного подлинного Рембрандта приходится шесть копий, откровенно помеченных как таковые.

В Париже существовала когда-то прославленная коллекция банкира и ценителя искусств Эверарда Ябаха, целиком состоявшая из копий с работ, которыми он некогда владел. Среди прочего в ней имелся автопортрет Рембрандта 1660 года, на котором художник изображен с муштабелем, кистями и палитрой. Оригинал принадлежал впоследствии Людовику XIV, а теперь висит в Лувре.

В наше время замечательное собрание копий великих творений искусства, которыми некогда владел французский банкир Ябах, могло бы принести его продавцу целую кучу фальшивых денег.

До нас дошло примерно пятьдесят два автопортрета Рембрандта, некоторые из которых наверняка написаны не им. Трудно вообразить себе автопортреты, написанные не тем, кто на них изображен, и однако же вот они, полюбуйтесь.

Трудно представить себе голландца, да и кого бы то ни было еще, совершившего кругосветное путешествие наполовину, однако и таких имелось предостаточно.

Зенон Элейский, пожалуй, усмотрел бы парадокс в представлении о ком бы то ни

было, совершившем кругосветное путешествие наполовину, если бы только Зенон знал, что Земля кругла.

По меньшей мере четыре копии автопортретов Рембрандта считаются превосходящими их оригиналы, на которые, правда, негде полюбоваться. В двух из этих копий мастерство и владение кистью намного превосходят все, чего сумел когда-либо достичь Рембрандт. Если, конечно, эти копии не выполнены Рембрандтом, а все остальное кем-то другим.

Во что, как выразился Шиллиг, трудновато поверить.

Когда в 1656-м Рембрандта признали неплатежеспособным, его долги равнялись семнадцати тысячам гульденов, и более половины их составляли деньги, занятые ради спасения дома, которого ему предстояло лишиться. Одним из кредиторов оказалась Гертджи Диркс, притязавшая на финансовую поддержку после пятилетней отсидки в государственном исправительном заведении, куда ее удалось упрятать Рембрандту и действовавшему заодно с Рембрандтом брату Гертджи. Она померла, так и не получив ни единого стюйвера, каковой составляет двадцатую часть гульдена.

Вряд ли ей удалось бы получить даже стюйвер, проживи она и подольше.

Из всех его кредиторов только один, бургомистр, получил все, что ему причиталось.

С изобретением денег в седьмом столетии до Рождества Христова люди приобрели свободу делать, подобно Рембрандту, займы под проценты и по уши влезать в долги.

В древних Афинах тех, кто не мог расплатиться с долгами, продавали в рабство. Их жены и дети шли к ним в придачу. Мелкие крестьянские хозяйства разорялись. Город разделился на кредиторов и должников, богатых и бедных.

Когда движущей силой становится выгода, люди обращаются в расходный материал, а благосостояние общества — в дело десятое. Кому нужен рабочий класс, когда кругом полным полно рабов? Зачем тужиться, производить то, что можно задешево ввезти? И с какой стати продавать товар по цене, меньшей затрат на его доставку? За сто лет до Перикла богатые афинские землевладельцы вывозили из города собственное зерно на более прибыльные рынки, в то время как население города голодало.

Дело шло к революции.

Для предотвращения гражданской войны к власти призвали Солона, законодателя.

Он отменил продажу несостоятельных должников в рабство.

Дабы устранить нехватку зерна, он запретил вывоз любой сельскохозяйственной продукции, кроме оливкового масла, которого всегда имелось в избытке.

Землевладельцы насадили побольше олив и стали сеять меньше пшеницы.

Он доверительно поведал ближайшим друзьям, что намерен упразднить долги, сохранив при этом нетронутыми крупные владения.

Друзья назанимали денег и понакупили земель. Долги упразднили, земли остались у друзей.

Хочется верить, что сам Солон был безупречен.

Ныне Солон известен нам как мудрый законодатель.

Богатые разъярились оттого, что не получили своих денег, нищие — оттого, что лишились земли.

Солон сочинял стихи с куплетами вроде вот этого:

> Никто не в силах отобрать у человека добродетель;
> Меж тем у денег, что ни день, меняется владетель.

В подлиннике они выглядят еще отвратнее.

Люди, проникающие мыслью до таких глубин, как изобретение денег лидийцами в седьмом веке до Рождества Христова, понятия не имеют о жизни в семнадцатом веке по Р. Х. Сократ, живший в пятом веке до Его Рождества и проживший еще один год в четвертом, говорил на своем суде так, словно он-то и был самым что ни на есть Христом.

— Бог послал меня к вам и приставил к городу, как овода к лошади, — сказал он судьям, защищаясь в день суда. — Я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, но ради вас, чтобы вам, осудивши меня, не проглядеть дара, который вы полу-

чили от Бога. Я вам дарован. И если вы меня убьете, то вам нелегко будет найти еще такого человека.

Всю свою жизнь, поведал он судьям, он был единственным слушателем своего личного сверхъестественного голоса, чьи наставления, совершенствовавшие его, ему было бы грех оставлять без внимания.

— Мужи-афиняне, я чту и люблю вас, а слушаться буду скорее Бога, чем вас.

Слишком поздно было уговаривать Сократа отказаться от убеждений, за которые его сожгли бы как еретика в еще только предстоящие просвещенные Темные века, принявшие и впитавшие Платона, а Аристотеля открывшие вновь и провозгласившие «философом», к чему приложил руку даже такой человек, как Аквинат.

И было бы слишком рано рассказывать Сократу о сумасшедшем школьном учителе из Амстердама, верившем, будто Бог приказал ему отправиться в Государственный музей, к картине «Ночной дозор», прямиком из ресторана, в котором он завтракал, да не забыть прихватить с собой зазубренный хлебный нож.

7

Когда Сократу исполнилось шестьдесят пять, а Платону двадцать четыре, Афины блокировал с моря флот, финансируемый Персией и управляемый спартанцами, к тому времени на горьком опыте научившимися у афинян воевать на море. С суши город также был в очередной раз осажден. Население снова сбилось за стены — шел последний год борьбы, начавшейся двадцать семь лет назад.

Золото и серебро сдирали со статуй и памятников, стоявших на площадях и в храмах, дабы начеканить из них денег, необходимых для продолжения войны, которой предстояло вывести город из жалкого состояния и привести к еще более жалкому.

Все это сопровождалось невиданным расцветом театра.

Когда Рембрандту исполнилось сорок семь — он все еще писал «Аристотеля», — побережье Голландии было блокировано Англией, на опыте борьбы с голландцами научившейся строить большие военные корабли, способные нести тяжелые орудия, и, глядя на тех же голландцев, уразумевшей, что торговля приносит куда больше денег, чем землепашество и разведение скота, — голландцы некогда уразумели это, глядя на португальцев.

Англия, страна в коммерческом отношении отсталая и очень медленно наверстывавшая упущенное, начала понимать, что Нидерланды каждый год получают огромные барыши, вылавливая сельдь у берегов Шотландии, да и южнее тоже; она обнаружила также, что некрашеное полотно, вывозимое из Англии для окончательной обработки в Голландии, приносит куда больше доходов голландцам, нежели британским овцеводам, прядильщикам и ткачам.

Еще до конца этого столетия, после того как практичная Голландия уяснила, что перед Англией, обладавшей естественными преимуществами в отношении географии и населения, ей больше не устоять, практичные голландские страховщики принялись давать бывшим врагам уроки по части страхования и финансов, возглавив создание Банка Англии, Лондонского Ллойда и Английской фондовой биржи, вывозя, ради укрепления английской экономики, капиталы за рубеж, вместо того чтобы поддерживать свою собственную, и демонстрируя тем самым извечный пример того, что деньги подчиняются совсем иным законам, нежели что-либо иное в природе, быстро стекаясь не туда, где они нужнее всего, но туда, где они быстрее всего прирастают, ничего при этом не ведая ни о лояльности, ни о национальности.

Военные действия велись на море, главные сражения этой первой англо-голландской войны происходили в водах Ла-Манша, в которых морские суда Голландии имели обычно право свободного прохода. В самом столичном городе Амстердаме знамения войны оставались немногочисленными.

Рембрандту, поглощенному своей живописью и своими проблемами, похоже, ни-

как не удавалось сколько-нибудь основательно усвоить связь между тучами, сгустившимися над финансовой жизнью города, и зловещими переменами, от которых уже страдали голландцы.

Частому его гостю по имени Ян Сикс приходилось то и дело напоминать ему об этой связи.

Из долга за дом, просроченного уже на семь лет, целую тысячу гульденов составляли, как обнаружил Рембрандт, накопившиеся проценты.

Аристотель помалкивал. Дача денег под проценты — занятие неестественное, когда-то написал он, поскольку извлекаемая прибыль порождается отнюдь не процессом взаимных расчетов, ради обслуживания которого деньги и были изобретены.

— Конечно, — сказал Рембрандт, — мне не составит труда продать дом.

В стране серьезный спад, сказал Ян Сикс. Если бы Рембрандт продал дом, он не смог бы выручить за него столько, сколько сам заплатил.

— Так он же стоит гораздо больше.

— Люди сейчас осторожны в тратах, — сказал Сикс. — Быть может, оттого владельцы ваших закладных и требуют выплаты.

Сиксу было виднее. Его семья владела красильными и шелкопрядильными фабриками. Аристотель не знал, что тут посоветовать.

Сикс был моложе Рембрандта — ученый человек с артистическими наклонностями, принимавший активное участие в многосторонней кипучей жизни города. Он напечатал сочиненную им пьесу под названием «Медея», к которой Рембрандт сделал офорт.

Иллюстрация получилась вполне приличная, но чем больше делалось оттисков, тем более расплывчатыми они становились.

Это все печатник, несправедливо утверждал Рембрандт, вечно они небрежничают.

Несколько лет назад он изобразил Яна Сикса читающим у окна — этот офорт стал образцом, до которого не удалось подняться ни одному граверу города. Рембрандт и сам никогда больше до него подняться не смог, хоть мы и не знаем, предпринимал ли он такие попытки.

Впрочем, и эта доска прослужила недолго.

— Печатник, все печатник, — бормотал Рембрандт, виня человека, делавшего оттиски для Сикса. — Был бы поосторожнее, не испортил бы доску.

Рембрандт знал, что офортные доски не годятся для многократной печати, но упрямо не желал в это верить. Хотя в отношении доски с изображением Яна Сикса это было тем более верно. Помимо линий, протравленных кислотой, изобретательный Рембрандт процарапал на доске другие — сухой иглой и резцом, соединив различные техники гравирования и создав наплывы, обогащавшие мягкие штрихи бесчисленными оттенками черного цвета, но снашивавшиеся гораздо быстрее обычной офортной доски, так что оттиски вскоре стали бледнеть.

Сикс не жаловался. Его, похоже, заинтриговали приемы Рембрандта, отчего Сикс повадился заглядывать к живописцу единственно ради того, чтобы зачарованно следить за изменениями, кои претерпевали Аристотель, Вирсавия и иные, и рассуждать об увиденном. Почти не сознавая, что делает, он все норовил подойти вплотную то к одному, то к другому холсту, чтобы, пристально вглядываясь, постичь мельчайшие тонкости присущих каждому эффектов, которые чем дальше, тем пуще его завораживали.

— Вижу, вы снова его изменили, не так ли? — сказал он об Аристотеле. Даже если относиться к этому лишь как к оптическому явлению, продолжал Сикс, ему остается только дивиться, как можно создать столь захватывающую иллюзию человека, погруженного в глубокие размышления, пользуясь лишь волосками и краской.

— А также ножом и пальцем, — хмуро поправил его Рембрандт. С вежливой решимостью он втиснулся между Сиксом и мольбертом, не позволяя гостю подойти слишком близко. Он не желал делиться своими секретами.

— Хорошо бы вы меня написали, — внезапно сказал Сикс и поспешно добавил, когда Рембрандт, резко повернувшись, уставился на него: — В вашей манере, конечно.

— В моей манере? — явно удивился художник.

— Я хочу сказать — так, как вам захочется. Я бы не возражал, если бы получилось похоже вон на него.

— Портрет вроде этого? Но это не портрет.

— Я же не сказал «портрет». Мне нравится его грубая поверхность, эти ваши тени и темнота, ваш широкий мазок. Вы даете ясно понять, что здесь побывал художник и что он куда важнее того, что изображено на картине, ведь так?

Рембрандт хмыкнул.

— Было такое желание, — признал он.

— Я узнаю бюст Гомера, — сказал, кивая, Ян Сикс. — А на этом мужчине одеяние современное, но мантия, сдается, античная. Я не ошибся?

Рембрандт об этом понятия не имел. Просто он купил такую одежду.

— Вы и вправду не знаете? Да нет, просто говорить не хотите. А вот шляпу я не узнаю.

— Шляпу я выдумал.

— Вы ее опять изменили, верно? Поля стали шире.

— И опять меняю. Будут поменьше.

— А кто этот человек? Я его знаю?

— Аристотель.

— Похож на еврея.

Аристотель, рассвирепев, уставился на Сикса.

Рембрандт немедля пригасил его взгляд, добавив в глаза немного минерального лака.

— Такой мне и нужен, — сказал Рембрандт. — Для него позирует один из моих друзей.

— В этом костюме? Аристотель?

— А что, вам не нравится?

— И вид у него какой-то грустный.

— Таким я его себе представляю. Он стареет. Не знает, как жить дальше. Древний философ, а работы найти не может.

— Я еще кое-что заметил. Вроде бы на талисмане проступает лицо.

— Да вот, решил, пусть будет лицо. Не знаю, чье оно. Купил когда-то одну такую штуку.

— Назовите его Александром Великим.

— С чего бы это?

— Так он же учился у Аристотеля. Вас станут хвалить за глубину символического смысла. И с цепью тоже что-то произошло?

— Я делаю ее потолще.

— Как вам удалось сделать ее такой реальной?

— Пожалуйста, не подходите слишком близко. Вас может стошнить от запаха краски.

— И какой толщины она будет?

— Такой, какая мне требуется.

— Да, но насколько толще вы хотите ее сделать?

— Сделаю — узнаю.

— И еще мне очень нравятся руки.

— Могу и вам такие написать. Вам как, такие же простенькие? Ваши я мог бы прописать поподробнее.

— Вы ведь изобразили каждую всего несколькими мазками, верно? И тем не менее они совершенно естественны и пребывают в полном покое. По-моему, они изумительны.

— Движение мне не очень дается.

— Вы не пишете людей за едой или пьющими.

— Не часто. Хотите, чтобы я написал портрет селедки?

— Все остальные пишут.

— Мне нравятся люди с пристальным взглядом. Если я теперь изображаю людей без него, я потом не уверен, по душе они мне или нет.

— А с чего вы начинаете? Как решаете, что будете делать?

— Да так и решаю. Не знаю как. Вас я сделаю совсем по-другому, в три четверти роста. Одетого для заключения серьезной сделки. В плаще, натягивающим перчатки.

— Я не собираюсь заниматься торговлей. Это я вроде бы уже решил.

— Ну, тогда будете членом правительства.

— Не уверен, что мне и это по сердцу.

— Ладно, пусть будет просто государственная служба, на которой не придется особенно напрягаться. Семья ваша занимает слишком высокое положение, да и вы тоже. Влиятельные друзья мне не помешают. И новые заказы тоже, помогут расплатиться за дом. Пожалуй, я вас сделаю немного постарше.

— К тому времени, как вы закончите, я так и так стану постарше.

— Я изображу вас таким, каким вы будете, когда станете олдерменом или бургомистром.

Рембрандт улыбнулся, Сикс нахмурился. Рембрандт отложил палитру, прислонил к креслу муштабель. Молча поднял большой палец на уровень глаз, с минуту всматривался в будущий предмет изображения, чуть откачнул голову назад, потом кивнул — Сикс между тем не двигался, да, похоже, и не дышал.

— Попробую красный цвет поярче и золото возьму другое. Руки вам можно будет сделать одним мастихином. Пройдусь по ним ножом до того, как подсохнут. А может, еще и пальцем.

— И после передумаете, — негромко рассмеялся Ян Сикс. И шутливо добавил: — А будут там ваши печально знаменитые, немыслимые наслоения красок?

— Вам они могут и не понравиться.

— Нет, я не против.

— Ну, тогда обещаю потратить на краски для вас все, что вы мне заплатите.

— Я бы не отказался и от вашей светотени, которой вы столь бесславно прославились.

— И за которую надо мной потешаются.

— Потому что как же иначе люди поймут, что меня написал сам Рембрандт?

— Получится не очень красиво.

— Вы считаете меня человеком, который хочет получиться красивым?

Рембрандт не без самодовольства вздохнул и сказал ворчливо:

— Приятно, что в Голландии остался хоть кто-то, не помешавшийся на классическом искусстве.

— Я заказываю картину, а не картинку.

Рембрандт довольно всхрапнул.

— Черного будет побольше, чем здесь. Освещение я сделаю ярче. И шляпу вам придумаю почище этой.

— Я предпочел бы остаться в своей, — твердо сказал Ян Сикс.

— Будете выглядеть как человек, у которого я не хотел бы оказаться в должниках, — не без лукавства сообщил Рембрандт, улыбнулся и вновь занялся цепью Аристотеля, добавляя к ней золота.

Аристотель нахмурился: у него от таких, как Рембрандт, ум заходил за разум.

Когда Ян Сикс ушел, Рембрандт принялся напевать, без слов, но довольно громко. Можно будет перевести дом на сына, объявил он Аристотелю, вернувшись от двери и разглядывая его с искренним удовольствием.

— Тогда ему придется составить завещание, так? А я смогу стать попечителем, с правом получения доходов. Я это знаю так точно, как будто ты сам мне про это сказал, разве нет? А? Понял, господин философ? Ты не единственный умник в этом доме, верно?

Аристотель побагровел. Смесью белого с коричневой умброй Рембрандт стер краску с его лица и значительно углубил выемку на впалой щеке.

Поговаривают, будто в Утрехте и Зеландии подходят к концу запасы провианта. Сикс — еще один человек, громко поведал Аристотелю Рембрандт, у которого наверняка можно будет перехватить деньжат.

8

Для Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, непреходящее помешательство мира на деньгах оставалось такой загадкой, что он даже не сознавал, насколько ему не по силам ее разрешить. Он так и не смог уяснить, что деньги обладают собственной ценностью. Это всего-навсего средство взаимных расчетов. И совершенно невозможно понять, какое из их качеств делает погоню за ними более привлекательной, чем добрый ночной сон.

Изощренный ум — такой, как у Аристотеля, — находит неразрешимые дилеммы там, где люди попроще решительно никаких не находят.

«Человек не вправе ожидать, что, вытягивая деньги из общества, он будет еще получать почести» — так писал он, живя в Афинах и сочиняя «Никомахову этику».

В Сицилии его уверенность в этом несколько поколебалась.

В Лондоне и в Париже у него возникли сомнения.

В Нью-Йорке он осознал свою неправоту, поскольку все люди, пожертвовавшие средства на приобретение его портрета музеем Метрополитен, вытягивали из общества преизрядные деньги и, однако же, пребывали в великой чести, в особенности после покупки этого шедевра, ибо на вделанной рядом с ним в стену медной табличке имена Исаака Д. Флетчера, Генри Дж. Кизби, Стефена К. Кларка, Чарльза Б. Куртиса, Гарриса Б. Дика, Марии ДеВитт Джесуп, Генри Дж. Маркоунда, Джозефа Пулицера, Альфреда Н. Паннетта, Джакоба С. Роджерса, равно как и Роберта Лемана, миссис Чарльз Песон и Чарльза Б. Райтсмана стояли рядом с именами Аристотеля, Гомера и Рембрандта.

Гомер побирался, Рембрандт обнищал. Аристотель, которому хватало денег на книги, на его школу и музей, не смог бы купить изображающую его картину.

Рембрандт не мог позволить себе Рембрандта.

IV. «Я самый странный из смертных»

9

Сократа осудили при демократическом строе. Это стало еще одним из обстоятельств, сильно подействовавших на Платона, в котором уродливый, хоть и недолгий, режим Тридцати тиранов, за пять лет до того свергнутый восстанием демократов, оставил чувство устойчивого отвращения. Его дядья, Критий и Хармид, принадлежали к числу самых злющих из Тридцати. Они уговаривали его заняться политической деятельностью, обещая свое покровительство, но Платон отказался.

В ту пору ему было двадцать четыре года.

Ему было двадцать девять, когда Сократа казнили по обвинениям, выдвинутым Анитом, деловым человеком, Мелетом, поэтом, и Ликоном, оратором.

Сократ пережил беззаконное правление Тридцати, свободно расхаживая по городу и продолжая оставаться Сократом, хотя один раз его все же вызвали куда следует и предупредили.

Тиран Харикл призвал его к Критию, который ни слова не сказал о днях, когда он и Сократ пребывали в более дружеских отношениях, — в ту пору Критий, человек молодой, таскался за Сократом по городу, чтобы научиться у философа тому, чему он сможет научиться.

Он научился вести дебаты.

Чему он не научился, так это тому, что предметом дебатов являются не сами дебаты.

Существует закон, сказал Критий, который запрещает учить искусству слова.

Сократ не знал такого закона.

— А я его только что установил, — сказал Критий. Он установил этот закон, имея в виду Сократа.

Сократ сказал, что не понимает, какое отношение имеет к нему искусство слова.

— Я готов повиноваться законам, — продолжал он, нимало не кривя душой, и сразу же принялся, по своему обыкновению, упражняться в искусстве слова, — но я должен понимать их, чтобы незаметно для себя, по неведению, не нарушить в чем-нибудь закона. Вы можете дать мне точные указания? Почему вы приказываете мне воздерживаться от искусства слова — потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно, или потому, что неправильно?

Тиран Критий уже начал вращать глазами.

— Если — говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно. Если же — говорить неправильно, то, очевидно, я должен постараться говорить правильно. Чего именно вы от меня ожидаете?

Харикл раздраженно ответил:

— Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то вот что мы объявляем тебе простыми словами, понятными даже тебе, — чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал.

— Так чтобы не было сомнения в моем послушании, — сказал Сократ, — определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми.

— До тех пор, — ответил Харикл, — пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще неразумным. И ты больше не разговаривай с людьми моложе тридцати.

Сократ покивал.

— Предположим, — сказал он, — я захочу что-нибудь купить. Если продает человек моложе тридцати лет, тоже не надо спрашивать, за сколько он продает?

— О да, — сказал Харикл, — о подобных вещах можно. Но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что и так знаешь. Так вот, об этом не спрашивай.

Такой отзыв о нем Сократа ничуть не обидел.

— Если меня спросил молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий, должен ли я отвечать?

— О подобных вещах можно, — сказал Харикл.

— Но видишь ли, Сократ, — произнес Критий с выражением человека начальствующего, решившего покончить со всем, с чем ему угодно покончить, — придется тебе в разговорах о тех, кто правит страной, отказаться от твоих любимых предметов, от всех этих сапожников, плотников, кузнецов: думаю, они совсем уж истрепались оттого, что вечно они у тебя на языке, да и меня уже мутит, когда я слышу о них. Как ты знаешь, я помог устранить нашего старого друга Алкивиада. Так не думай, что на тебя у меня духу не хватит.

Будь Сократ побогаче, он мог бы кончить и хуже, ибо эти Тридцать тиранов были тиранами не только в классическом, но и в современном смысле слова.

Они алчно присваивали собственность тех, кто им противился, тех, кто оспаривал их действия, а также тех, на чье богатство они позарились; брали людей под стражу, словно преступников, без объясненья причин, и привычно приказывали напоить их цикутой, не затрудняя себя выдвижением обвинений.

Спарта назначила их, чтобы они создали для Афин, ставших вассалом завоевателя, новую конституцию, по которой сами они будут править городом как олигархи.

Однако они были представителями правого крыла афинян, людьми решительными и настроенными антидемократично. Они не видели особой нужды сочинять конституцию, которая позволила бы им творить все то, что они творили и без нее, и сразу впали в оргиастическое буйство гонений, грабежей, облав и ликвидаций. Особенно уязвимыми оказались богатые иноземцы. Над городом навис страх перед неожиданным арестом, внезапным стуком в дверь, платными осведомителями и тайной полицией.

Некоего умеренного члена Тридцати предали смерти за то, что он воспротивился жестокостям той самой партии, которую помогал организовать и ретивым членом которой стал.

За восемь месяцев правления Тридцати были казнены полторы тысячи людей. Сотни демократов бежали, обратившись в изгнанников. Пять тысяч граждан, не замеченных

в зримой и слышимой поддержке правящей партии, были согнаны в Пирей: в городе не хватало места для создания приличного концентрационного лагеря, не было земли для размещения каторжной колонии или гулага, не было, собственно говоря, ни времени, ни людских ресурсов, ни каких-либо из наших современных удобств, позволяющих быстренько поубивать столько народу, сколько захочется.

Политика Тридцати состояла в том, чтобы втянуть в свои преступления всех прочих граждан, дабы никто потом не смог обвинить их в делах, в которых сам не участвовал.

Не любо, не кушай — такой выбор предложили тираны народу Афин.

Анит, обвинитель Сократа, принадлежал к числу демократов, бежавших в Филу, в общину изгнанников и готовивших свержение Тридцати.

Сократ принадлежал к числу граждан, оставшихся в городе. Ему, похоже, было все равно, при каком правительстве жить — афинское, и ладно. Все они хороши.

И разумеется, настал день, когда Сократа призвали к Критию по государственному делу: ему и еще четверым приказали взять Леонта из Саламин и доставить оного Леонта туда, где его казнят.

— И какое же обвинение мы должны предъявить ему, если он спросит? — поинтересовался Сократ.

— Никакого, — ответил Критий.

— Никакого? Тогда на основании какого закона должны мы сделать то, что ты приказал нам сделать?

— Нет такого закона. И преступления нет. Единственное основание — это я. Мне нужна его собственность. И не тащите его сюда. Отведите прямиком в тюрьму и скажите начальнику Одиннадцати, чтобы они его прикончили.

Сократ ушел домой, ожидать участи, навлекаемой неподчинением. Четверо других отправились к Леонту Саламинскому, арестовали его и доставили в тюрьму, где его и отравили.

Изгнанники вторглись в Афины до того, как Сократа успело постигнуть заслуженное наказание. Сократа спасло восстание демократов. Критий с Хармидом, дядья Платона, оба погибли в Пирее, тщетно пытаясь одолеть повстанцев в битве при холме Мунихий.

Наступление мира, как правило, не полагает конца насилию, развязанному войной, завершение же этой войны не положило конца ненависти и вражде, ее породившим.

В Элевсине, куда бежали со своими приспешниками те, кто уцелел из числа Тридцати, была сочинена эпитафия Критию и прочим павшим тиранам:

Памяти отважных мужей, некогда вскрывших нарыв
раздувшейся гордыни проклятых афинских демократов.

И поныне встречаются люди, твердящие, что Критий — лучший из людей, когда-либо родившихся в Греции, а единственная его ошибка состоит в том, что он не успел перебить всех демократов.

Будучи зажатым между присущими олигархам алчностью и стремлением к господству и раздувшейся гордыней проклятых демократов, мыслитель, который, подобно Сократу, не питает уважения ни к тем, ни к другим, очень скоро оказывается задавленным до смерти, а идеалист, подобный Платону, обнаруживает, что деваться ему, в сущности, некуда — остается выбирать всего лишь между внутренним миром изолированного мышления и фантастической грезой диктаторского общества, явленной в его «Государстве».

Правление террора, насаждаемого олигархией, пришло к концу.

Правление террора, насаждаемого демократией, несколько задерживалось.

Прошло целых пять лет, прежде чем Анит, Мелет и Ликон потребовали суда над Сократом. В эти пять лет Сократ не сделал ничего отличного от того, чем он занимался всю жизнь, разве вот Аниту сказал, что сын его, в котором Сократ приметил большие дарования, способен, быть может, совершить в жизни нечто большее, чем торговать, по семейной традиции, кожей.

Подобная обида, нанесенная им Аниту, вряд ли способна объяснить враждебность, которой прониклись к Сократу афинские жители.

А вот беспечная веселость в сочетании с идеологическим нонконформизмом — могут вполне.

На суде Сократ сказал, что никогда не говорил частным образом ничего такого, чего не говорил бы открыто.

Видимо, в этом и была главная его беда.

— Я всю жизнь оставался таким, как в общественных делах, так и в частных, никогда и ни с кем не соглашаясь вопреки справедливости, ни с теми, кого клеветники называют моими учениками, ни еще с кем-нибудь, — сказал Сократ, подразумевая обвинения в том, что он учил Крития и Алкивиада, когда те были молодыми людьми, и, стало быть, несет ответственность за их безобразное поведение в дальнейшем, когда они стали государственными деятелями. Он не упомянул ни о том, что Алкивиад умер сорокашестилетним мужем, а ко времени суда над Сократом ему уже исполнился бы пятьдесят один год, ни о том, что Критий умер в пятьдесят семь, а теперь ему исполнился бы шестьдесят один.

— Да я и не имел никогда постоянных учеников, — продолжал он, — и никогда никого учить не пытался. А если кто, молодой или старый, желал меня слушать, то я никому никогда не препятствовал. И не то чтобы я, получая деньги, вел беседы, а не получая, не вел, но одинаково как богатому, так и бедному позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать то, что я говорю. И за то, хороши эти люди или дурны, я по справедливости не могу отвечать, потому что никого из них никогда никакой науке я не учил и не обещал научить. Если же кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего не слыхали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду. Истина же в том, что я убежден, что ни одного человека я не обижаю сознательно. Мне думается, что и вас бы я в том убедил, если б у вас, как у других людей, существовал закон решать дело о смертной казни в течение не одного дня, а нескольких. Однако закон требует, чтобы мы закончили сегодня. За такое короткое время трудно мне будет избавить вас от столь великих предрассудков.

Платона эта речь глубоко тронула. В старости Платон благодарил судьбу за то, что он был рожден человеком, а не бессмысленным животным; затем за то, что родился греком, а не варваром; и, наконец, за то, что родился во времена Сократа.

Анит, свободолюбивый герой войны, торговец кожей и стойкий защитник традиционных консервативных ценностей афинской демократии, вовсе не был благодарен судьбе за то, что ему выпало счастье жить во времена Сократа. Он разочаровался в собственном сыне, а винил в этом философа. Молодой человек, которому отец приказал заняться семейным делом — дублением кож — и запретил участвовать в диспутах, то и дело устраиваемых на первом попавшемся углу этим немытым, нечесаным, еретическим старым иконоборцем Сократом, пристрастился к вину и в конце концов стал ни на что не годным.

Вследствие чего в семействе Анита и возникла логическая проблема, касающаяся причины первичной, необходимой и достаточной: кто повинен в том, что молодой человек разочаровался в бизнесе и пристрастился к философии — Анит, Сократ или ни тот ни другой?

Найденное Анитом решение этой проблемы состояло в следующем: сговориться с двумя другими обиженными и обвинить Сократа в серьезных преступлениях, в которых нет и не было ничего серьезного, после чего Сократ, как всякий нормальный человек, тут же сбежит из Афин, побоявшись вверить суду свою жизнь.

Произнесение обвинительной речи следовало поручить поэту Мелету: Сократ поэзию не жаловал.

Сочинить же эту речь надлежало оратору Ликону: риторику Сократ и вовсе ни в грош не ставил.

— А кто уплатит штраф, если обвинение не наберет третьей части голосов? — спросил поэт Мелет.

— Да, — заинтересовался ритор Ликон.

Анит и оплатит.

Ликон возрадовался:

— Сократ говорун никудышный. Поскольку он не лицемер, он не унизится до того, чтобы читать защитительную речь, написанную кем-то другим. Поэтому каждый из нас должен либо начать, либо закончить похвалой его красноречию, а в конце либо в начале обвинительной речи остеречь судей, как бы он не обманул их своим ораторским искусством.

Клятвенное их заявление, сделанное перед судом против Сократа, сына Софрониска из дема Алопеки, состояло из трех положений.

Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества...

Троицу обвинителей не волновало то обстоятельство, что Сократ часто приносил жертвы богам как дома, так и на общих государственных алтарях, гаданием не пренебрегал и никогда ни словом, ни делом не согрешил против благочестия и веры. Он порицал поэтов, которые, подобно Гомеру и Гесиоду, рассказывают о богах недостойные байки. Для пущей убедительности троица добавила второе обвинение, истинную, чудовищную и непростительную кость в горле Анита: учительство.

...и повинен в том, что развращает юношество...

Эта формулировка, придуманная Ликоном, доставила Аниту такую радость, что он решил про себя никогда больше не поворачиваться к Ликону спиной.

Назови они сына Анита, дело пошло бы в гражданский суд, а не в уголовный. Благодаря же тому, что они скромно воздержались от упоминания каких-либо имен, в суд безмолвными свидетелями явились призраки тирана Крития и изменника Алкивиада.

...а наказание за то — смерть.

10

Он был самым странным из смертных, так он сам говорил, и знал, что способен порой доводить людей до белого каления.

Протагора, прославленного софиста, он, еще молодым человеком, поддразнивал в их прославленном споре:

— Я, на беду, человек забывчивый и, когда со мною говорят пространно, забываю, о чем речь.

Фрасимах из Халкедона, выведенный из себя, накинулся на него в «Государстве»:

— Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями, — ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать. Но нет, Сократ вполне отдается своей привычке: не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать.

— Так ведь я ничего не знаю, — простодушно ответил Сократ. — Ибо не знаю, что такое справедливость, а потому вряд ли узнаю, есть у нее достоинства или нет и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.

Знать, что ничего не знаешь, значит уже знать немало.

Мудрость состоит в осознании того, что никакой мудрости не существует.

Никто не воспринимал всерьез честного невежества, которым он прикрывался. Человек — животное политическое и общественное и, как правило, предпочитает фантастические ответы полному их отсутствию.

— Можно ли научиться добродетели или можно лишь достичь ее путем упражнений?— спросил Менон.

На что Сократ ответил:

— А что такое добродетель?

Вскоре Менон уже протестовал, исполнясь благоговейного обожания:

— Я, Сократ, еще до встречи с тобой слышал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. А еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое — я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она такое.

— От него невозможно добиться прямого ответа, — сказала жена Сократа, Ксантиппа, блестящему Алкивиаду, которому хватило нахальства спросить у нее, правда ли то, что он слышал о ней и Сократе. Ксантиппа не подтвердила, что вылила мужу на голову ночной горшок, но и отрицать этого не стала.

— Ты даже не представляешь, что он на самом деле собой представляет.

— Так расскажи.

— Стоит задать ему вопрос, — затараторила Ксантиппа, — и он примется выяснять, что ты имеешь в виду. Стоит попросить его сделать что-то, он тут же притворится непонимающим и попросит объяснений. Когда все объяснишь, он потребует новых объяснений. А когда решишь, что теперь-то уж все объяснила, он задаст новый вопрос и заставит тебя объяснять дальше.

Алкивиаду не составило труда ей поверить.

— А вот послушай, чего стоит добиться от него, чтобы он вынес отбросы. «Что такое отбросы?» — спросит Сократ. Если я начну объяснять, он притворится глухим. Если я обзову его тупицей, он назовет меня софистом. Попробуй-ка сам заставить его вылить ночной горшок. Тогда и тебе захочется показать ему, как это делается.

Он ее на тот свет загонит бесконечными примерами из жизни сапожников, пастухов, врачей и плотников.

Друзьям, дивившимся, почему он не прогонит Ксантиппу, Сократ отвечал: жизнь с женой, обладающей характером столь невыносимым, что другой такой и отыскать невозможно, это лучшая школа для человека, который готовит себя к жизни в реальном мире. Уж если он научился терпеть Ксантиппу, все прочее человечество ему нипочем. Наездник, добавил он, прибегнув к одной из тех неуклюжих аналогий, от которых стонала его жена, учится своему ремеслу, объезжая коней норовистых, ибо знает, что с более смирными у него затем хлопот уже не будет.

Сократ страсть как любил приводить в пример наездников, пастухов, сапожников и врачей, при этом его аналогии — Аристотель понял это еще при первом чтении Платона — ни в какие ворота не лезли.

— Много раз мне хотелось увидеть его мертвым, — сказал близкий друг Сократа, Алкивиад, в своей хмельной похвале, приведенной в «Пире» Платона.

В юности и в ранней молодости неотразимый Алкивиад был в Афинах одной из самых блестящих фигур, личностью совершенно непереносимой, так что молодежь подражала его поведению, а старики места себе не находили от злости. Сын Алкивиада и прочие молодые люди подражали его походке, экстравагантной манере одеваться и даже картавости. Красивого, богатого, родовитого, его преследовали женщины и баловали мужчины. Он еще увеличил свое богатство, женившись на порядочной женщине, которой привычно изменял, главным образом с городскими гетерами — ионийскими проститутками, отличавшимися образованностью и светским лоском, коего недоставало афинянкам. (Прославленная подруга Перикла, Аспасия, славилась, помимо прочего, тем, что содержала в Афинах прославленный дом гетер.) Не было в Афинах человека более гордого, тщеславного и заносчивого, чем Алкивиад, не было человека в большей мере пренебрегавшего приличиями или демонстративно претенциозного, не было более самоуверенного и менее склонного к раскаянию.

— Ничего особенного не делая, — продолжал Алкивиад рассказывать о Сократе на

пиру, на который его не пригласили, но куда он тем не менее явился с шумом, гамом и в стельку пьяный, — он заставляет меня стыдиться того, что я пренебрегаю самим собой и, поддаваясь соблазну, занимаюсь делами афинян. Он заставляет меня признаться, что нельзя больше жить так, как я живу. А стоит мне покинуть его, я соблазняюсь почестями, которые оказывает мне толпа. И потому я пускаюсь от него наутек, удираю, как трус, когда вижу его.

Сократ был неказист, глаза имел выпученные, губы толстые, а нос приплюснутый, походкою же смахивал на пеликана — переваливался и озирался по сторонам. У него лицо сатира, шутливо издевался над ним Алкивиад.

Сократ был неказист по понятиям общества, ценившего в мужчине приятную внешность. Миловидных юношей там называли красавцами, а отменных мужественностью молодых людей вроде Алкивиада, Агафона и Эвтидема воспевали и поклонялись им за их красивые лица, за атлетические и поэтические дарования.

Алкивиад, более всех из молодых людей его поколения привычный к ухаживанию и раболепному поклонению, ощутил, как он признается, обиду, когда Сократ не примкнул к череде мужчин постарше, донимавших Алкивиада знаками любовного внимания. В голове у него все перемешалось, и он, вывернув принятый порядок наизнанку, обратил Сократа в возлюбленного, а себя во влюбленного, стараясь лестью и уловками завоевать чувственную привязанность этого эксцентричного средоточия своих желаний и своего любопытства. В конце концов он смирился с неудачей и признавался, что в итоге проникся уважением к характеру, самообладанию и мужественному поведению этого человека, которого он прежде недооценивал и не понимал.

— Самое же в нем поразительное, что он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других. С Периклом — Нестора и Атенора, да и иные найдутся; и всех прочих славных людей тоже можно таким же образом с кем-то сравнить. А наш друг и в повадке своей, и в речах настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь человека, хотя бы отдаленно на него похожего.

Эти двое вместе столовались, служа в пехоте во время осады Потидеи, что в Малой Азии, — Алкивиаду было тогда восемнадцать лет. Алкивиада ранили, и Сократ спас ему жизнь — «не захотев бросить меня, раненного, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого» — отважное деяние, за которое Сократа много превозносили в ту пору, но которое не сослужило ему доброй службы впоследствии, когда Алкивиад дезертировал сначала в Спарту, потом в Персию и стал предметом всеобщего страха и всеобщих проклятий.

Награду за доблесть вручили Алкивиаду исходя из его высокого положения и несмотря на уверения Алкивиада, что заслужил-то ее Сократ. Сократ же и уговорил Алкивиада принять ее.

— Он еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не его, тут он не сможет ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, покамест сидит здесь и слушает с этим его лицом, как у сатира. Или я неправду о тебе говорю? Видите, молчит и, похоже, краснеет.

Награда за доблесть несла с собой, разумеется, высокие почести — из тех, что приносят их дателям даже больше почестей, чем получателям, — тем более почетно было присуждение ее человеку, рождением превосходящему Сократа, например красивому юноше вроде Алкивиада, воспитанного в доме Перикла, который принял его под свой кров после того, как благородный отец мальчика пал в великой битве при Коронее.

В великой битве при Коронее афинян разбили наголову.

Люди, пересидевшие эту битву дома, просияют от гордости, когда узнают, что блестящий Алкивиад получил награду за доблесть, и со всей присущей им честностью подтвердят, что это и вправду большая честь.

А если бы ее получил Сократ, они бы только удивились, и все.

Ну может, еще пожали бы плечами и спросили — за что?

Алкивиад рассказывал, как в зиму той кампании Сократ босиком ходил по льду и

переносил страшную стужу, даже не надевая добавочных одежд. Другие воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними.

Алкивиад подтвердил то, что знали и прочие друзья Сократа: его способность впадать в оцепенение, когда им овладевала какая-то мысль, и часами стоять без движения.

Как-то утром во время того же похода, свидетельствует Алкивиад, Сократ о чем-то задумался да так и остался стоять на месте до полудня. По лагерю распространилась весть, что Сократ с самого утра стоит на месте и о чем-то размышляет. К вечеру ионийские солдаты вынесли свои подстилки на воздух, чтобы посмотреть, долго ли он еще простоит. Смотрели, смотрели, да и заснули. А Сократ так и простоял всю ночь на одном месте. Шевельнулся он лишь к утру. Когда же рассвело, он просто помолился Солнцу и отправился по своим делам.

В наше время такое состояние называют каталепсией.

А сверхъестественный голос, о котором рассказывает Сократ, мы называем слуховой галлюцинацией.

Еще восемь лет спустя состоялось вторжение афинян в Беотию и сражение при Делие. При Делие афиняне потерпели очередное сокрушительное поражение — разгром настолько ошеломляющий, что Периклу пришлось навсегда расстаться с его грандиозной мечтой о материковой афинской империи. Алкивиад на сей раз служил в коннице и, по собственному его признанию, подвергался при отступлении сравнительно меньшей опасности. Едучи верхом, он хорошо видел, как Сократ отходит вместе с другими после проигранной битвы. Сократ шел пешком, но повадку сохранял столь решительную, что преследовавшие афинян беотийцы, завидев его, приостанавливались и затем объезжали далеко стороной, предпочитая гоняться за теми, кто в беззащитном ужасе улепетывал без оглядки.

— Должен вас предупредить, — говорил веселый во хмелю Алкивиад, — где Сократ, там другой на красавца лучше не зарься. Вы видите, Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя. Смотри, Агафон, не попадайся ему на удочку. В том-то весь и фокус. Всю свою жизнь он морочит людей и играет с ними, а ведь ему совершенно не важно, красив человек или нет, богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами — ничто. Могу добавить, что не со мной одним он так обошелся. Он и с другими притворялся влюбленным, между тем как сам был скорее предметом любви, чем поклонником. Учитесь же на моем опыте и будьте начеку.

Не следует забывать, что жена Алкивиада подала прошение о разводе, поскольку он проводил слишком много времени в постелях других женщин. Он явился в суд во время выступления жены, перекинул ее через плечо и отнес домой, где, по его разумению, и полагалось находиться почтенной супруге Алкивиада.

Афинские законы о разводе женам потачки не давали.

После разрушения Афинами нейтрального города Мелоса Алкивиад привез из него красивую рабыню, прижил с ней мальчика и вырастил его как своего законного сына.

В Спарте, вскоре после того, как он туда переметнулся, Алкивиад совратил жену царя; эта женщина потихоньку хвасталась подругам, что отцом ее сына, которого она, лаская, называла уменьшительным именем этого самого отца, на самом деле является красавец Алкивиад из Афин, сбежавший из города своего рождения, чтобы стать лакедемонянином и военным советником Спарты.

Сбежав и из Спарты, Алкивиад в конце концов обосновался в персидском городе, где и провел закат своих дней. Он лежал в постели с известной куртизанкой, когда посланные убить его подожгли дом, в котором он с нею лежал, принудив Алкивиада выскочить наружу с обнаженным для своей защиты мечом, и тогда те, что ждали его, чтобы убить, выскочили из засады и, пользуясь значительным численным превосходством, закидали издали копьями и стрелами.

Алкивиад, гордо и хвастливо провозглашавший свою не востребованную в прошлом

страсть к Сократу, вовсе не был человеком, неприязненно относящимся к соитию с женщиной.

— Всякому, кто решается слушать Сократа, речи его на первых порах могут показаться смешными, — говорил Алкивиад в своем похвальном слове Сократу, опубликованном Платоном, — ибо на языке у него вечно какие-то вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом — что речи эти почти божественны. Всякий раз, когда я слушаю его, сердце мое бьется гораздо сильнее, чем у беснующихся корибантов[1], то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая Перикла и других превосходных ораторов, я ничего подобного не испытывал. Они хорошо говорили, но душа моя не приходила в смятение и отчаяние от мысли, что нельзя больше жить так, как я живу. Ведь только перед ним одним из всех людей на свете испытываю я чувство стыда за себя и свои поступки. Я сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, я знаю, что если не заткну ушей, то так и состарюсь, сидя у его ног. Вот я и веду себя, когда вижу его, как беглый раб, — меня подмывает пуститься от него наутек. И много раз я понимал, что мне хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хоть я, с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо больше. Одним словом, я сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Мне просто ума на это не хватает.

Когда он замолк, чтобы перевести дыхание, все посмеялись, потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа.

Никто никогда не видел Сократа пьяным, едва ли не с завистью напомнил Алкивиад, да и нынче не увидит, сколько его ни пои.

— Дайте-ка мне ленты, — с насмешливым вызовом вскричал Алкивиад, — чтобы я украсил ими голову этого универсального деспота, который побеждал своими речами решительно всех.

Когда же Алкивиад закончил, поднялся страшный шум и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой.

Сократ, однако же, не был пьян, когда почти все остальные, включая и Алкивиада, разошлись по домам и заснули. На рассвете, сообщает один из свидетелей, только Аристофан да Агафон еще и бодрствовали с Сократом. Они пили из большой чаши, передавая ее по кругу, причем Сократ неотразимыми доводами подводил этих двух премированных драматургов к признанию, что человек, способный сочинить комедию, способен также сочинить и трагедию и что искусный трагический поэт является также и поэтом комическим.

Аристофан, пока слушал, уснул, а вскоре задремал и Агафон.

Что до Сократа, то он, увидев, что поговорить больше не с кем, встал и пошел в гимнасий, умылся там и провел остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой, отдохнуть.

Сократу было лет десять, когда к власти пришел Перикл, ликвидировавший прерогативы наследственного Ареопага, передавший законодательную власть Народному собранию, в которое мог теперь войти любой взрослый гражданин мужского пола.

Поскольку он происходил из патрициев благородных кровей, его, разумеется, назвали предателем своего класса.

Когда Перикл умер, Сократу было около сорока, и он находил в афинской демократии достоинств не больше, чем в любой иной предварявшей ее форме правления, а в теоретическом идеале, к которому решительно никто не стремился, находил их и того меньше.

Благодаря Платону с Сократом мы знаем, что при наличии двух конфликтующих

---

[1] Жрецы Великой Матери богов, славящие ее в экстатических оргиях под звуки флейт и тимпанов. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

политических точек зрения можно отвергать одну из них, не хватаясь за другую, и что даже когда этих точек больше двух, можно питать отвращение к ним ко всем, вместе взятым.

Самое большее, что Сократ мог сказать в пользу известной ему демократии, это то, что бывает и хуже.

Он избегал занятий политикой, если только на него не указывал жребий. При афинской демократии большую часть служителей общества избирали по жребию. Выборы, разумеется, были демократическими — по причинам, которые мы вправе назвать очевидными.

Сократ громко выражал свое удивление, почему это люди, которые не выбирают по жребию кормчего или строителя или иного ремесленника, прибегают к жребию при выборе судей или руководителей государства, ошибки которых чреваты куда более грозными последствиями. Удивляло его и то, что человек, который отыскивает беглого раба или потерянную овцу, отнюдь не желает предаваться поискам добродетели либо достойных черт собственной натуры.

Саркастические замечания подобного рода никак не располагали к нему людей, веровавших, что их система государственного устройства священна, превосходит все прочие и не подлежит аналитическому рассмотрению кем бы то ни было, кроме них самих.

— Кажется ли вам, что я мог бы прожить столько лет, если бы занимался общественными делами и стремился бы при этом принести пользу Афинам? — говорил он судьям, отвечая на упрек, что как человеку, твердящему о своем желании делать добро, ему следовало бы давным-давно поставить себя на службу обществу. — Подумайте хоть о том, сколь многие из вас желают убить меня за то малое, что я сказал, будучи обычным человеком. И я уверен, что если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, о мужи-афиняне, если я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, если кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен.

При Тирании, напомнил Сократ, он рискнул жизнью, не подчинившись незаконному приказу арестовать Леонта Саламинского.

Еще раньше, при демократии, также напомнил он, ему выпал жребий председательствовать в Народном собрании в тот день, когда члены оного пожелали огулом осудить на смерть восьмерых генералов, победивших в морском сражении при Аргинузах: генералы разгромили спартанцев, уничтожили множество их кораблей, но не успели в неразберихе сражения и преследования врага спасти собственных воинов, уцелевших на разбитых афинских триремах, и выловить из воды тела погибших. Соответствующие приказы подзапоздали. Внезапный шторм сделал их невыполнимыми.

Афинская конституция запрещала судить людей скопом.

Народ разгневался, когда Сократ отказался поставить на голосование незаконное предложение, всеобщий вопль требовал ареста генералов. Народ счел возмутительным, что гражданам свободного общества не позволяют, проголосовав большинством голосов, убить тех, кого им заблагорассудилось убить.

На следующий день председательствовал другой человек.

Генералов судили всех вместе, признали виновными и казнили.

В «Горгии» Сократ говорит Калликлу: «Я все время твержу одно: как обстоит дело в точности, мне неизвестно, но до сих пор я ни разу не встретил человека, который был бы в состоянии высказаться по-иному, не попав при этом впросак».

Ну не мог он поверить в иллюзии политических свобод, в то, что демократия неизбежно порождает единство, согласие, довольство, достойное правление, разумность, равенство, справедливость, честность, правосудие, мир и даже политические свободы. В демократических Афинах всегда существовали партии, ненавидевшие одна другую, и во

всех этих партиях имелись люди достойные и порочные, самовлюбленные и великодушные, свирепые и миролюбивые.

Однако нарушить закон ради спасения собственной жизни он не мог.

Он не знал, хорош ли этот закон, но знал, в чем он состоит, и не покинул Афин, чтобы уклониться от суда или избегнуть казни.

— Как нам тебя похоронить? — спросил под самый конец друг его, Критон.

— Как угодно, — ответил Сократ, — если, конечно, сумеете сперва меня схватить и я не убегу от вас.

Он верил в Бога и в бессмертие души, говорит Платон, еще до того, как кто-либо в мире понял, что такое душа, а его обвинили в нечестии и предали смерти.

Генезис души содержится в сочинениях Платона.

Он был весел в конце, когда пил свою чашу с ядом. Он не мог, так сказал он своему близкому другу, Критону, отречься от законов общества, в котором прожил всю жизнь, не отрекаясь тем самым от смысла собственной жизни.

Он был вдохновенным философом, не имевшим своей философии; учителем, не имевшим ни учебной программы, ни системы преподавания; наставником без учеников; человеком знания, признававшимся, что ничего не знает; мудрецом, верившим, что знание добродетели присутствует, нерожденное, в каждом из нас и, вероятно, может быть рождено на свет, если мы будем усердны в исследовании.

Он не любил книг, что, наверное, уязвляло Платона, написавшего их так много.

К людям, которые их читают, он большого уважения не питал.

Он не доверял книгам, как сам сказал в «Федре», потому что они не способны ни задавать вопросы, ни отвечать на них, да и глотать их приходится целиком. Он говорил, что читатели книг читают много, а усваивают мало, что выглядят они исполненными знаний, но по большей части таковых не имеют, а лишь изображают мудрость, в действительности отсутствующую.

Все это он говорил в книге.

Правда, книгу написал Платон, отвергавший драматические представления как подлог, поскольку писатель влагает в уста персонажей, притворяющихся живыми людьми, то, что он, автор, желает от них услышать.

Платон говорит это в драматическом представлении, в котором он влагает в уста Сократа и иных реальных людей именно то, что он, Платон, желает от них услышать.

Сократ невысоко ставил лекции и лекторов. Что должно было задевать Аристотеля, преподававшего посредством чтения лекций.

О преподавателях, читающих лекции, Сократ говорит в платоновском «Протагоре»: «Если кто-нибудь обратится к ним с вопросом, то они, подобно книгам, не в состоянии бывают ни ответить, ни сами спросить. Они подобны медным сосудам, которые, если в них ударить, звучат долго и протяжно, пока кто-нибудь не ухватится за них руками. Так и ораторы, даже когда их спрашивают о мелочах, растягивают свою речь, как долгий пробег».

На вкус Аристотеля, это походило на лекцию, растянутую, как долгий пробег.

Никто, пожалуй, не назвал бы его интеллектуалом.

Другие философы, включая и многих его последователей, не одного лишь Платона, основывали школы; но поскольку он был скорее скептиком, чем догматиком, философские школы, основанные его последователями, во множестве отношений противоречили одна другой.

У Сократа собственной школы не имелось.

У него не имелось библиотеки, как у Еврипида и многих его современников.

Он давным-давно утратил интерес к естественным наукам как полезному средству приобретения знаний, которые чего-нибудь стоят.

У него не имелось друзей-ученых, коллег или ассистентов, с которыми он вместе трудился бы или создал группу, не было движения, методологии или идеологии, вдохновителем которых он бы служил. У него не было честолюбия. Он даже статей в журналы и тех не писал.

V. Возникновение Голландской республики

11

Страна, в которой погрязший в долгах Рембрандт воскрешал одетого в расточительное облачение Аристотеля, в пятнадцатом веке, благодаря брачным союзам, перешла — как часть земель, включавших Фландрию и Брабант, — от Бургундского дома к династии Габсбургов и попала в состав Священной Римской империи, а затем, вследствие осуществления естественного и божественного прав наследования и престолонаследия, обратилась в суверенное владение короля Испании Филиппа II, то есть это *он* так считал.

Религия, просвещение, географические открытия, торговля и разнообразные последствия того, чему в дальнейшем предстояло получить название капитализма, значительно осложнили и запутали этот естественный исторический процесс.

Одним из последствий капитализма является коммунизм.

Во второй половине двадцатого века соперничающие супердержавы, капиталистическая и коммунистическая, сосуществовали в символическом равновесии двух необходимых зол, уживаясь друг с дружкой гораздо лучше, чем любая из них готова была признать.

Россия и Соединенные Штаты провраждовали семьдесят лет, однако в единственных двух войнах, в которых эти страны участвовали в нашем столетии, они были союзницами в борьбе против Германии.

В обеих странах, как и повсюду, правительства обыкновенно оставляли желать много лучшего.

Лидеры обеих стран, похоже, никогда не относились друг к другу с ненавистью, превосходящей ту, которую они питали к несогласным с ними представителям собственного населения и, подобно лидерам древних Афин, к нациям поменьше, пытающимся выскользнуть из сфер их влияния.

Правительство каждой из двух этих стран оказалось бы беспомощным без угрозы со стороны другого правительства.

Невозможно вообразить нацию, у которой все идет хорошо и гладко в отсутствие страшной угрозы полного уничтожения другой нацией.

Легко, однако ж, вообразить хаос, в который погрузились бы обе страны, если бы вдруг разразился мир.

Мир на земле означал бы конец цивилизации, какой мы ее знаем.

В мирной интерлюдии, последовавшей за первой мировой войной, грянула всемирная экономическая депрессия, которую так и не удалось смягчить до тех пор, пока суверенные нации цивилизованного мира не начали готовиться ко второй мировой войне.

Во всех столкновениях, происходивших между Россией и США в различных частях земного шара, идеология никогда не являлась ни их причиной, ни целью, преследуемой каждой из держав.

Каждая называла другую империей зла.

Зато крестовых походов больше никто не устраивал.

Даже в коммунистических странах верх брало правое крыло.

В древних Афинах динамика внутренней политики также преобладала над всеми иными движущими силами.

Мотив, которым руководствовались афиняне, насаждая повсюду демократическое правление, состоял не в насаждении демократического правления, но в устранении враждебных соседей и достижении абсолютного подчинения со стороны государств, руководимых вассальными по отношению к Афинам правительствами.

За восемьдесят лет военного соперничества, сотрясавшего Грецию после победы в персидских войнах, единственным дипломатическим принципом, утверждаемым афинянами в спорах с соседями, было право сильного давить слабого.

Оно провозглашалось при Перикле — на совете в Спарте перед началом Пелопон-

несской войны, и в афинском Народном собрании — демагогом Клеоном, предложившим разрушить город Митилену, и делегацией, посланной афинянами к народу Мелоса.

Дабы достичь абсолютного подчинения со стороны прочих свободных городов, свободный город Афины прибегал к захватам, депортациям, резне и порабощению.

Когда один из умеренных афинян высказался против предложения Клеона перерезать мужчин Митилены, а женщин и детей продать в рабство, Клеон назвал его трусом, врагом Афин, неафинянином, чувствительной душонкой и слабым в коленках либералом.

Демагог Клеон был радикальным демократом, первым в череде появившихся после Перикла политических лидеров-бизнесменов.

В древних Афинах радикальными демократами были как раз бизнесмены.

При обсуждении вопросов законодательных Клеон произносил трескучие, но действенные тирады. В отличие от своего предшественника Перикла с его благородным красноречием, Клеон, произнося речи, ревел и стенал, гневно вышагивал и пилил воздух руками, навлекая на себя обиженное презрение Фукидида, Аристофана и прочих представителей образованной элиты, которым вульгарность его призывов и неотесанность сторонников внушали отвращение.

Почти все политики, вышедшие из этого нового класса торговцев, отличались резким городским выговором, махали руками и дергали головой на простонародный и иноземный манер, порождая досаду и издевки со стороны аристократии, бывшей в прошлом кладезем афинской культуры и становым столпом афинской истории.

Подобно многим самовлюбленным и наглым политикам, Клеон был тонкокож, неуступчив, склонен к фиглярству, горласт и изнывал от жалости к себе.

Он требовал, чтобы ему объяснили, почему для управления правительством не годятся те самые методы, которыми он с такой выгодой для себя пользовался в своем кожевенном бизнесе, где его работниками были рабы.

. Если бы ему дали волю, демократ Клеон запретил бы всякую критику на театре и лишил бы всех и каждого права противоречить ему. Он казался скорее нашим современником, чем человеком классической эпохи, когда вопил в Народном собрании:

— Мне и прежде уже не раз приходилось убеждаться в неспособности демократии править империей!

Европейский император Карл V принадлежал, как говорят, к числу лучших в Священной Римской империи. Он отрекся от престола, чтобы уйти в монастырь. Своему сыну Филиппу II он передал трон Испании, испанские владения на Сицилии и в Неаполе, Испанскую Америку и все те территории на севере Европы, которые именовались Нидерландами, или Низинными Землями.

Большую часть своей долгой жизни Филипп II провел в попытках восстановить католицизм в Нидерландах, где люди в большинстве своем и без того были католиками, а также навязать себя в качестве короля населению, уже признавшему его таковым.

Однако во главе посланной туда армии он поставил герцога Альбу, человека бестактного и бессердечного. Жестокость и зверства герцога Альбы возбудили несмелые протесты и в конце концов подтолкнули оппозицию к вооруженному возмущению, продлившемуся восемьдесят лет.

В восстании Нидерландов сыграла определенную роль и традиция: поколения дворян, торговцев, крестьян и даже королевских чиновников уже привыкли к значительной местной автономии, от которой им вовсе не хотелось отказываться в угоду далекой центральной власти. Присутствие же на их земле чужеземных солдат вспоило чувство обиды и укрепило враждебность.

Вильгельм Оранский, бывший в качестве штатгальтера Голландии, Зеландии и Утрехта высшим в Нидерландах представителем испанской короны, в конце концов присоединился к голландскому сопротивлению и со временем возглавил его.

Прошедший лютеранскую выучку немецкий католик с отличавшимися терпимостью религиозными убеждениями, Вильгельм был наследным владетелем земель в немецкой области Нассау, а также княжества Оранского, что на юго-востоке Франции.

Когда выяснилось, что наиболее преданными его сторонниками являются кальвинисты, он принял их веру.

Поскольку испанские армии все глубже проникали во Фландрию, Вильгельм перенес свою штаб-квартиру из Брюсселя, а затем и из Антверпена в голландский город Дельфт. Голландские провинции Нидерландов и вправду выглядели провинциальными в сравнении с Бельгией, особенно если вспомнить барочные увеселения, которым предавался там фламандский двор, и человек с характером послабее мог бы уступить Филиппу, дабы вновь погрузиться в эту роскошь.

Голландская Война за освобождение была явлением удивительным, ибо началась она не как восстание, да и войной за освобождение ее никто не считал, пока после первых ее двадцати лет формальный акт низложения не придал этим словам нового смысла.

«Акт о низложении Господина Низинных Земель, Филиппа II» официально отменял подданство Филиппу как нарушителю подразумеваемого общественного договора между властителем и его подданными, в силу которого источником власти правительства служит просто согласие управляемых. Эта декларация независимости голландцев на двести лет опередила американскую Декларацию независимости и на шестьдесят — гражданскую войну в Англии.

Национальный гимн Голландии, сочиненный около 1570 года, еще в 1985-м содержал клятву верности испанской короне.

Из семнадцати провинций, изначально входивших в состав Нидерландов, независимость получили только семь северных. Из них по названию известны лишь некоторые — Голландия, Зеландия, Утрехт и, возможно, Фрисландия; за пределами, а возможно, и внутри Нидерландов не многие слыхивали о Гронингене, Оверэйсселе и Гельдернланде. В росте морской мощи страны участвовали лишь две береговые провинции — Голландия и Зеландия.

Вильгельм Оранский, известный также как Вильгельм Молчаливый, был отцом-основателем этой новой страны, к которой сам он никакого отношения не имел; и вот, за шестьдесят четыре года до завершения войны за освобождение, а именно в один из дней года 1584-го, в два часа пополудни, он был убит у себя в доме тремя пулями, выпущенными ему в грудь из пистоля, деньги на покупку которого он же и ссудил.

Убийца, Балтазар Жерар, вдохновленный главным образом объявленной королем Филиппом крупной наградой, был католическим фанатиком, проникшим в дом Вильгельма Оранского под личиной нищего кальвинистского фанатика, отца которого сожгли как еретика. Вильгельм дал ему денег на еду и приличное одеяние, а Жерар купил пистоль, пороху с пулями и застрелил своего сострадательного благодетеля.

Балтазар Жерар не был ни голландцем, ни испанцем, он был бургундцем. Его схватили при попытке сбежать.

Его предали допросу и пытке. В передышках между допросами и пытками он чувствовал себя вполне непринужденно и мирно беседовал со своими поимщиками.

Вынесенный ему приговор был ужасен, пишет Мотли в своем «Возникновении Голландской республики».

Его приговорили к смерти: постановлено было, что правую его руку сожгут каленым железом, что плоть его будет в шести различных местах отодрана от костей щипцами, что его заживо четвертуют и выпотрошат, что сердце вырвут из груди и бросят ему в лицо и что его, наконец, обезглавят.

Зрители благоговейно дивились поразительной выдержке, с которой он переносил каждое из названных наказаний. Под конец он даже улыбнулся толпе, когда у одного из палачей возникли на эшафоте некие комические затруднения. Он слегка вздрогнул, только когда в лицо ему бросили вырванное из груди сердце. Вскорости после этого он, как рассказывают, испустил дух.

Премия, назначенная Филиппом и доставшаяся родителям Жерара, представляла собой три цветущих сеньората, принадлежавших Вильгельму Оранскому, — Филиппу она ни гроша не стоила. Таким образом, пишет Мотли, демонстрируя изрядную ритори-

ческую соразмерность, щедрость принца оплатила оружие, которое оборвало его жизнь, а его имения образовали тот фонд, из которого была вознаграждена семья убийцы.

Тем не менее расходы, сопряженные с ведением войны, оказались для Филиппа великоваты. К концу столетия его одолело стремление к миру, и в 1609 году Голландия с Испанией подписали Двенадцатилетний мир.

После убийства Вильгельма Оранского руководство восстанием перешло к его сыну Морицу, графу Нассау, который остановил продвижение испанцев и вернул Голландии ее прежние границы. Он, однако, не преуспел в достижении цели более крупной — отобрать у Испании оккупированные территории Нидерландов, на которых располагались по праву принадлежащие его роду земли, а также земли других фламандских беженцев, жаждавших наступательной войны. Осуществлению честолюбивых помыслов Морица воспрепятствовало тупоголовое нежелание голландских бюргеров и дальше оплачивать войну, которая им больше не казалась необходимой, да к тому же и мешала торговле.

Всякий раз, как наступал мир, он наступал вопреки желанию очередного принца Оранского.

Существует анекдот про чистосердечного купца из Амстердама, приехавшего в Гаагу. Когда принц Фридрих Генрих пожурил его за торговлю с вражеским Антверпеном, купец бесстрашно ответил:

— Я не только буду и дальше торговать с вражеским Антверпеном, но если бы мне ради наживы потребовалось пройти через ад, я бы, пожалуй, рискнул опалить паруса моих кораблей.

Кромвель сказал о голландцах, что они предпочитают барыш благочестию. На это купец из Амстердама, пожалуй, ответил бы, что не видит между ними разницы.

— Клянусь Богом! — несколько позже, во время второй англо-голландской войны, воскликнул, по словам Сэмюэла Пеписа, инспектор Королевского флота. — По-моему, дьявол гадит голландцами.

Когда в 1625 году Мориц естественным порядком скончался, пост штатгальтера унаследовал его младший брат, принц Фридрих Генрих, ставший, как оказалось впоследствии, главнейшим из покровителей Рембрандта, ибо он приобрел у художника больше картин, чем кто-либо другой, — по меньшей мере семь полотен на религиозные сюжеты, пять из которых посвящены Страстям Господним, а также портрет своей жены Амалии ван Сольмс.

Скорее всего, Рембрандта порекомендовал Фридриху Генриху его секретарь, Константин Хёйгенс, писатель, отличавшийся широтою литературных и художественных интересов.

Его сыну, Кристиану Хёйгенсу[1], предстояло впоследствии приобрести международную известность как выдающемуся физику: он усовершенствовал линзы телескопа; правильно интерпретировал структуру колец вокруг Сатурна; открыл его спутник, Титан; первым использовал в часах принцип маятника; разработал волновую теорию света, в противоположность корпускулярной теории Исаака Ньютона; сформулировал для световых волн «принцип Гюйгенса», гласящий, что каждая точка волнового фронта является источником новой волны; и открыл поляризацию света известковым шпатом.

Аристотель с великим увлечением слушал рассказы Яна Сикса о стихах отца и несравненной математической и научной одаренности сына, хотя самого его кольца Сатурна и поляризация света известковым шпатом оставляли равнодушным.

Хёйгенс-старший наткнулся на Рембрандта в Лейдене, когда живописцу только-только минуло двадцать, и превознес его до небес, утверждая, что это расцветающий талант, имеющий колоссальное значение для будущего культурного величия Голландии.

Особенно расхваливал Хёйгенс Рембрандтова «Иуду, возвращающего тридцать сребреников», ребяческую работу, обличающую несравненную сноровку и сентименталь-

---

[1] Фамилия этого великого голландского физика и математика традиционно (начиная со школьных учебников) пишется у нас как «Гюйгенс».

ное воображение. Рембрандт еще много десятилетий зарабатывал на «Иуде», ссужая его для копирования.

Ко времени, когда Рембрандту, уже жившему в Амстердаме, исполнилось двадцать семь, Хёйгенс разочаровался в нем самым сокрушительным образом и уже навсегда. Хёйгенс дожил до девяноста, но ни разу не сказал о Рембрандте доброго слова.

Уцелели семь писем Рембрандта к Хёйгенсу. Все они касаются картин из посвященной Страстям Господним серии, причем в пяти содержатся просьбы заплатить побольше либо заплатить побыстрее.

В 1639 году Рембрандт в спешке закончил последние две из этих картин — «Погребение Христа» и «Воскрешение Христа» — и отослал их в Гаагу, даже не дав краске подсохнуть. Именно в тот год Рембрандт и купил свой дом. Биографы приходят к выводу, что ему нужны были деньги.

VI. Роль селедки в истории человечества

12

Процесс засола сельди прямо на судах был усовершенствован в 1385 году капитаном из Зеландии, создавшим тем самым рыболовецкую и судостроительную индустрии плюс колоссальную международную торговлю селедкой, что, собственно, и заложило основы процветания страны, которой предстояло стать и величайшей из торговых империй, когда-либо виденных миром, и мощнейшей среди морских держав. По мере того как возрастало значение селедки, голландцам требовалось все больше и больше соли, каковую они закупали в Бискайском заливе, главным образом у португальцев, на деньги, вырученные от продажи норвежского леса, а также русской и польской пшеницы, которые оплачивались барышами, полученными от продажи в балтийском регионе бочковой сельди, тысячами тонн поступавшей с бессчетных рыболовецких судов, бороздивших воды у берегов Шотландии. К семнадцатому столетию добыча голландцами сельди была юридически наиболее упорядоченным из всех товарных производств Нидерландов.

Каждую весну, когда паруса рыболовецких флотилий появлялись в водах к северу от Шотландии, их защищали голландские солдаты. Голландия правила волнами. Что до суши, то скромные вооруженные силы Голландии, образованные по преимуществу из навербованных в других странах протестантских наемников и добровольцев, набранных в низших слоях общества, числились среди наилучшим образом обученных и самых дисциплинированных в Европе. Поднявшись на борт корабля, эти люди обращались в бойцов, никому не уступавших в свирепости. Не было на море и на суше никого воинственнее миролюбивых голландцев.

Когда испанцы — в 1576-м и затем в 1585-м — разорили Антверпен, морская торговля, центром которой был этот фламандский город, начала в поисках более безопасных для захода портов смещаться к северу, в Зеландию и Голландию, и со временем сосредоточилась по преимуществу в Амстердаме, предприниматели коего отличались выдающейся деловой хваткой.

Когда же испанцы — в 1580-м — аннексировали Португалию и закрыли для голландских судов Лисабонский порт, голландцы пустились в заморские странствия — на поиски экзотических товаров, которые они закупали по одной цене и которыми затем, по нелестному выражению Платона, «приторговывали» по другой, более высокой. Вслед за португальцами они проникли в Индийский и Тихий океаны и нашли здесь то, что искали, — восточные острова пряностей.

Вскоре голландцы выжали с них португальцев.

Ныне трудно себе представить, каким образом удавалось заработать на гвоздике и

мускатном орехе, а также на корице с перцем деньги, достаточные для того, чтобы в Голландии мог расцвести ее золотой век; не следует, однако, недооценивать людей, ухитрившихся основать на одной только селедке процветающую национальную экономику.

В пору золотого века Голландии на воду ежегодно спускалась тысяча новых судов. Это дает в среднем почти двадцать кораблей в неделю, а ведь для достижения подобной цифры необходимо, чтобы в сорок, а то и в пятьдесят раз большее их число пребывало в различных стадиях постройки. Практически весь лес, металл, пенька, парусина и прочие материалы, потребные для строительства и оснащения этих судов, должны были поступать из-за границы, равно как и пушки, и их лафеты, и ядра, и порох.

Даже если эта цифра — тысяча кораблей в год — лжет, она лжет весьма впечатляюще, так что торговые и военные суда Голландии и Зеландии во всех мирных портах превосходили числом суда всех прочих наций, полностью вытеснив таковые с заграничных рынков и обеспечив на этих рынках монопольное влияние голландских компаний, созданных на основе правительственных концессий.

Голландской конструкции судно, называемое «flutie», превосходило все иные суда своего времени грузоподъемностью и дешевизной постройки, а команду имело самую маленькую, получавшую наименьшую плату, но зато наилучшую пищу.

Никто в Европе не перевозил грузы за меньшую цену.

Советники английских монархов внушали им, что Англии не следует и пытаться соперничать с Голландией на равных: покупные цены голландцев не перебьешь, а продажные не собьешь.

В 1648 году — это год Вестфальского мира и завершения Тридцатилетней войны — Амстердам был оживленнейшим морским и торговым центром мира, он стал им еще в пору восьмидесятилетней войны за освобождение от Испании. Почти все пряности, шелка, жемчуга и стеклянная посуда из Ост-Индии, Китая, Индии и Японии доставлялись в Европу судами Ост-Индской компании. Купцы Голландии слыли богатейшими в мире, ее товарное производство приносило наибольшие прибыли, ее методы торговли отличались наибольшей эффективностью, флот ее был сильнейшим на всех морях, по которым ходили торговые суда.

Вы, наверное, удивляетесь, откуда что взялось?

Меня не спрашивайте.

Де Монтерштейн называет процветание Голландии чудом человеческого усердия, явленным в стране, в которой й жить-то невозможно. Посол Англии Темпл полагал, что ключ к богатству голландцев кроется в том, что каждый из них расходует меньше, чем зарабатывает. «Они носят простое сукно, — писал он, — и питаются собственной рыбой и корнеплодами. Самую лучшую свою одежду они продают во Францию, а для себя покупают в Англии ту, что погрубее». Дефо писал, что они покупают только затем, чтобы снова продать, собирают, чтобы раздать, и вся их огромная торговля в том лишь и состоит, что к ним со всех концов света свозится то, что они затем развозят по всему свету.

В пору перемирия были годы, когда Испания направляла свой серебряный флот из Испанской Америки прямиком в Амстердам для оплаты огромного количества товаров, закупленных с тем, чтобы и прокормиться самой, и сохранить свои позиции в борьбе против Англии, Франции и все той же Голландии.

Даже воюя с Испанией, голландцы посылали в Средиземное море флотилии с балтийской пшеницей и скандинавским лесом — южная Европа едва ли не пять лет кряду страдала от неурожая, и бушевавший там голод внушал оптимизм и создавал идеальные рыночные условия. Голландские торговые суда плыли мимо Сицилии и Греции в левантийские гавани, чтобы продавать в них азиатские пряности, шелка и фарфор по ценам, с которыми сухопутные азиатские купцы, находящиеся куда ближе к производителям и рынкам этих товаров, соперничать не могли.

В 1600-м голландские оптики изобрели телескоп. Шесть лет спустя Галилей изобрел пропорциональный компас, а в Лейдене Гармен Герритс ван Рейн и его супруга Нелтье родили Рембрандта. Он весил семь фунтов четыре унции: крестильная запись в лейден-

ской Питерскерк описывает его как «крупного малыша». Спустя два года после его крещения голландский ученый изобрел телескоп получше. Когда Рембрандту стукнуло три года, несколько голландских семейств находились уже в пути к Манхэттену и Лонг-Айленду, в том же году был учрежден Банк Амстердама, а Испания с Нидерландами заключили Двенадцатилетний мир.

VII. Биография

13

Когда Рембрандт в 1606 году родился в Лейдене, голландской Ост-Индской компании исполнилось четыре года: компанию основал консорциум независимых судовладельцев Зеландии и Голландии, получивших преимущественные права управления монополиями в тех краях Дальнего Востока, где им удастся захватить или получить соответствующие концессии. Компании были дарованы единоличные права осуществлять операции в водах и на землях, лежащих к востоку от мыса Доброй Надежды, плюс разрешение вооружать принадлежащие ей суда, дабы защитить ее интересы. Капитал компании составил около семи миллионов гульденов, что равноценно пяти тысячам английских фунтов. Деньги были собраны путем публичной продажи небольших и недорогих долей владения. Спустя совсем недолгое время компания объявила, что выручка ее составляет от трехсот до пятисот процентов, и установила ежегодный дивиденд, равный сорока процентам. Стоимость этих долей владения, которые свободно покупались и продавались, подскочила до небес. Сами доли назывались «акциями», а их владельцы «акционерами».

Таково было первое из нынешних открытых акционерных обществ, основанных в первой из нынешних европейских республик.

Первые банковские чеки, также появившиеся в Нидерландах, назывались «кредитными письмами».

Передача права собственности на акции была делом настолько простым, а распространение их настолько широким, что они, совсем как тюльпаны в несколько более поздние годы того же столетия или картины Рембрандта в нашем, могли от случая к случаю заменять деньги в качестве средства взаимных расчетов. В пору эпидемии лихорадочных спекуляций, ныне известной как «тюльпаномания», люди в Голландии обменивали на луковицы тюльпанов целые дома.

В 1986 году американец из Бостона уплатил за одного Рембрандта 10,3 миллиона долларов.

Для страны, экономическое благосостояние которой зависело от морских путешествий, телескоп, подобно картам и иным облегчающим навигацию средствам, имел значение первостепенное, так что даже человек большого ума, вроде голландского еврея Спинозы, мог заработать себе на приличную жизнь шлифованием стекол. Философ Спиноза был еще одним искателем логической вразумительности в мире, который и нелогической-то не обладает; его изгнали из конгрегации сефардов после того, как он, не обнаружив в мире никакого разумения, предложил использовать свое собственное.

Примеры влияния язычника Платона неисчислимы.

Спиноза умер в сорок четыре года от болезни легких, вызванной, как полагают, частицами стекла, которые он вдыхал, добросовестно исполняя обязанности шлифовальщика стекол.

Меркаторовы проекции, эти карты, известные детям и взрослым всего мира, начиная с первых годов обучения и кончая всеми последующими, остаются незаменимыми в школах, путешествиях и войнах со времени завершения публикации «Атласа» Меркатора в 1595 году. Фламандский картограф Герард Меркатор выдумал их ради точного изображения нашего глобуса на плоской поверхности. Они не дают точного изображе-

ния глобуса. Ни единая в мире карта, напечатанная на листе бумаги, не является картой мира.

В своей семье он был четвертым из пяти оставшихся в живых сыновей, девятым ребенком из десяти, а между тем голландец, ввозивший чай из Китая в Европу, продиктовал условия Двенадцатилетнего договора с Испанией, покамест Генри Гудзон, англичанин на голландской службе, исследуя восточное побережье Северной Америки, открыл реку, носящую его имя.

Голландские портовые шлюхи предпочитали в качестве платы за их услуги чайные листья деньгам.

Ширина устья реки Гудзон до того поразила Гудзона, что он на минуту подумал, будто открыл северо-западный морской проход в Тихий и Индийский океаны.

Тогда как на самом деле он не открыл даже реки.

Река Гудзон — не река, хотя кое-кто и готов бы с этим поспорить.

Ист-ривер, что находится по другую сторону острова Манхэттен, тоже никакая не «ривер», сиречь не река. Четыре из пяти районов Нью-Йорка, этого сокровища нашей страны, расположены не на материке.

Исследователя Генри Гудзона вместе с его маленьким сыном взбунтовавшаяся команда отправила на маленькой лодчонке в вольное плавание, и больше его никто не видел.

Отец Рембрандта был мельником, а мать дочерью пекаря. По голландским понятиям их брак, вероятно, казался заключенным на небесах. Когда Рембрандт в шестилетнем возрасте поступил в начальную школу, голландцы заключили пакт с царем Канди и сцепились с английскими поселенцами в Индии, ведя тем временем торговлю мехами на Манхэттене. Португальцы уже успели повесить экипажи более чем двенадцати захваченных ими в Карибах голландских судов, превзойдя афинян, которые за год до своей бесславной окончательной капитуляции провели через законодательное собрание закон, в соответствии с коим всякому пойманному в море спартанцу надлежало рубить правую руку.

Рембрандт провел в начальной школе три года, так что голландские поселенцы успели основать в долине Гудзона форт Оранж — рядом с нынешним Олбани, а также форт Амстердам на южной оконечности нынешнего Манхэттена, голландский же мореплаватель Адриен Блок, исследуя пролив Лонг-Айленд-Саунд, наткнулся на остров Блок.

Совпадение имен изумило Блока.

Когда голландцы сменили португальцев на Молукках, что в Индийском океане, и установили свою мировую монополию на гвоздику и мускатный орех, девятилетний Рембрандт записался в латинскую школу.

Умер Шекспир. Пока десятилетний Рембрандт тягался с латынью, голландский математик Виллеброрд Снеллиус, исследуя преломление света, обнаружил, что отношение синуса угла падения i к синусу угла преломления r равно отношению показателя преломления преломляющей среды n к показателю преломления исходной среды n.

Что это означает, я не знаю и узнавать не желаю.

В 1617-м Рембрандт отпраздновал свой одиннадцатый день рождения, Снеллиус же разработал для картографии метод тригонометрической триангуляции, позволяющий с помощью Полярной звезды измерять долготы голландских городов Алкмар и Берген-оп-Зом.

На восьмом году Двенадцатилетнего мира голландцы совместно с Англией послали военные корабли на помощь Венеции, боровшейся против австрийских Габсбургов. Испания выступала на противной стороне. На море голландские и испанские корабли грабили друг друга всякий раз, как один из них натыкался на другой и обнаруживал, что обладает каким-нибудь преимуществом, — так Голландская республика и Испанская монархия коротали годы перемирия.

В Греции, после прекращения вражды, ознаменовавшегося Никиевым миром 421 г. до Р. Х., Афины подстрекали заговоры против Спарты в других городах и учинили вторжение в Сиракузы. Спарта выступала на стороне Сиракуз.

Все это позволяло Афинам и Спарте выполнять условия мирного договора, продолжая воевать друг с дружкой в городах «третьего мира».

Рембрандт закончил латинскую школу за два года до возобновления войны с Испанией, которая возобновилась через два года после того, как Вильям Гарвей из госпиталя св. Варфоломея в Лондоне объявил об открытии им кровообращения, тогда как в принадлежавшей англичанам Виргинской колонии ровно через двенадцать лет после основания города Джеймстаун появились первые негритянские рабы. А когда Ян Петерсон Коэн, генерал-губернатор заморских территорий голландской Ост-Индской компании, сровнял с землей город Джакарту и возвел на его руинах город Батавию — как раз на том месте, где в нынешнем суверенном государстве Индонезия стоит нынешний город Джакарта, — Рембрандта приняли в Лейденский университет.

Директорам компании, которые неизменно требовали от генерал-губернатора умеренности в обращении с туземным населением при попытках выбить из такового неумеренные барыши для голландской Ост-Индской компании, Коэн писал следующее:

«Нет в мире ничего, наделяющего кого бы то ни было наилучшими правами, нежели мощь и сила, к оным правам добавленные. Мне же всегда доставало изучения природы, равно как и деяний, совершаемых всеми народами от века до века».

Коэн проводил свою политику: он выгнал вон яванских и азиатских купцов, столетиями торговавших с молукканцами, и силой утвердил собственную монополию на произраставшие здесь гвоздику и мускатный орех, назначив цены столь низкие, что туземным рабочим волей-неволей приходилось бросать выращивание для него пряностей, дабы вырастить для себя сельскохозяйственную продукцию, которая позволит им и дальше влачить существование, выращивая для него гвоздику и мускатный орех.

Его корабли сновали вокруг островов, досматривая и топя чужие суда, выискивая в подзорные трубы незарегистрированные участки с посадками гвоздики и мускатного ореха, каковые голландцы палили огнем, травили химикатами и засыпали солью, чтобы земля больше не родила.

Голландцы умели извлекать соль из почвы, вновь делая ее плодородной, а никто другой этого не умел.

К истечению срока Двенадцатилетнего мира, то есть к 1621 году, голландцы закрепились на Суматре и Пуликате в Азии и на Амазонке в Южной Америке, а Рембрандт поступил в Лейдене учеником к Якобу ван Сваненбюрху — смешивать пигменты с льняным маслом и растирать гравировальную краску для человека, не весьма высоко ценимого в качестве художника и учителя, человека, у которого, как провозглашает общее мнение, он вряд ли мог научиться чему-то большему, нежели начатки рисования, живописи и гравирования.

Ему было пятнадцать лет. За те три года, что он проработал у Сваненбюрха, по образцу голландской Ост-Индской компании была создана голландская Вест-Индская компания, получившая от государства монополию на всю торговлю, производимую между восточным побережьем Америк и западным берегом Африки; кроме того, из Южной Америки привезли и начали успешно выращивать в Германии картофель.

В Европе имелись люди, для которых картофель был куда важнее, чем обучение Рембрандта или открытие кровообращения Вильямом Гарвеем. Если использовать в качестве мерки предположение, будто человеческая жизнь обладает какой-то ценностью, немногие продукты смогут сравниться с картофелем по количеству благодеяний, оказанных им человечеству.

В истории человечества трудно отыскать события, свидетельствующие в пользу предположения, будто человеческая жизнь обладает какой-то ценностью.

Все наши религии, за вычетом иудейской и греческой, больше хлопочут о нас мертвых, нежели о нас же — живых.

Той порой картофель свезли для разведения обратно в Америку, только уже в Северную, а Рембрандт перебрался в Амстердам, чтобы поучиться у художника более уважаемого, у Питера Ластмана.

Несколько времени даровитый юный Рембрандт с чрезмерным успехом имитировал натужные глупости Ластмана. По счастью, истолкование внутреннего содержания — как собственного, так и его сюжетов — вскоре стало притягивать Рембрандта сильнее, чем поверхностные фокусы с преувеличенными телесными усилиями; не менее притягательной оказалась и оставшаяся с ним на всю жизнь очарованность контрастами света и мрака, почерпнутая у принадлежавших к Утрехтской школе последователей Караваджо.

То обстоятельство, что во времена Рембрандта уже существовала школа искусств в Утрехте, еще одна в Лейдене и еще одна в Амстердаме, и все это в маленькой, промозглой стране, не имевшей особых художественных традиций, остается одной из загадок культуры, которые объясняются генетикой, географией или национальным характером не более успешно, чем поразительное возникновение еврейской, греческой или римской наций или прорыв голландцев в их золотом веке к ведущей роли в мировой торговле.

Рембрандт, хоть родители и записали его, четырнадцатилетнего, в Лейденский университет, занятий не посещал.

Мы можем заключить отсюда, что его врожденный талант и восторженное увлечение рисунком и цветом перевешивали всякую потребность в традиционном образовании по части естественных и гуманитарных наук. Мы можем также заключить, исходя из терпимости, с которой его родители относились к удивительной, хоть и несколько спорной одаренности их ребенка, что они были людьми широких взглядов и к тому же вполне обеспеченными.

Люди, которые страдали в Нидерландах, как, впрочем, и в иных странах до того или после, от бедности, страдали от нее чрезвычайно, а таких было многое множество даже в Амстердаме, не говоря уж о заштатных городах и провинциях страны.

Лейденские ткачи ютились в крохотных хижинах, всю меблировку которых составляли соломенные подстилки. Спасибо хоть продолжительность рабочего дня была у них так велика, что времени в этих лачугах они проводили всего ничего.

Национальной экономике очень повезло в том отношении, что беженцы из Фландрии и иных разоренных войной земель чуть ли не реками стекались в Голландскую республику, улепетывая от осад и сражений восьмидесятилетней войны и помогая поддерживать уровень заработной платы, достаточно низкий для повышения конкурентоспособности, которой отличались голландская промышленность и торговля.

Бедность нации есть залог ее процветания.

Преуспевающие вербовщики рабочей силы едва поспевали заполнять контракты по найму детей старше шести лет для работы на текстильных и прочих мануфактурах.

Они заполняли контракты для детей, которых им поставляли из сиротских домов, а также для тех, что попрошайничали вдоль дорог. Только в Лейдене один-единственный такой вербовщик поставил четыре тысячи детей старше шести лет.

Дети младше шести лет требовали ухода, отчего их и нанимать не стоило.

Сколь богата страна, обильная бедняками!

В периоды, когда преуспеяние становится всеобщим, ценность бедняков в стране возрастает и нациям, которые бедными небогаты, приходится ввозить нуждающихся из менее развитых стран, ибо для порядочных граждан труд становится унизительным.

Порой приходится даже повышать заработную плату.

Прогрессу цивилизации очень повезло в том отношении, что бедных всегда хватает.

Иначе кто бы стал исполнять грязную работу?

Голландцы, надо отдать им должное, были самым передовым в рассуждении социального обеспечения народом.

В 1646 году, в котором Рембрандту надлежало окончательно расплатиться за дом, детей в Голландии уже нельзя было заставлять работать больше четырнадцати часов в день.

Голландским кондитерам запретили даже выставлять в витринах наиболее изукрашенные произведения их искусства, «дабы оные не огорчали людей, слишком бедных, чтобы таковые купить, и не возбуждали в их душах прискорбно алчных инстинктов».

В 1632 году, когда Рембрандт написал «Урок анатомии доктора Николаса Тюлпа», муниципалитет Амстердама проголосовал в пользу запрета дальнейших религиозных диспутов между сектами кальвинистов, поскольку такие диспуты создавали препятствия для продуктивной деловой деятельности.

Рабство в Голландской республике было запрещено. А работорговля — нет, так что доставка черных из Африки в обе Америки стала одним из немногих успешных деловых предприятий голландской Вест-Индской компании, деятельность которой в конечном итоге не оправдала ожиданий.

Груз отличался хрупкостью, однако штучная цена раба была достаточно высокой, так что компания, ежегодно перевозившая до пятнадцати тысяч черных, за двадцать пять лет своего существования заработала на рабах около семи миллионов долларов.

Правили кораблями голландские кальвинисты, хорошо знавшие Библию и читавшие ее вслух как команде, так и плененным в Африке неграм. Вообще эти люди отличались обхождением со своим грузом куда лучшим, нежели принятое в ту эпоху промеж христиан.

Отцы-пилигримы Новой Англии, бежавшие сюда от проявлений религиозной нетерпимости, едва ступив на Плимутский камень, воодушевленно занялись преследованиями на религиозной почве.

Еще одним прибыльным, хоть и единовременным, финансовым достижением голландской Вест-Индской компании стал захват Питом Хайном в 1628 году всего испанского серебряного флота, направлявшегося с Кубы в родную страну.

Этот несравненный подвиг принес в виде чистого дохода *шестьдесят шесть фунтов* золота и *сто семьдесят семь тысяч фунтов* серебра, не говоря уж о тридцати одном корабле с шестьюстами восемьюдесятью девятью пушками на борту, о четырех тысячах людей и прочих товарах и припасах, стоивших больше одного миллиона двухсот тысяч долларов.

Компания объявила о пятидесятипроцентных дивидендах, расплатилась по долгам и поднесла десять процентов призовой добычи штатгальтеру Гааги.

За год до этого Рембрандт завершил своего «Ростовщика».

Не приходится сомневаться, что, когда он, семнадцатилетний, вернулся в Лейден и завел там мастерскую в студии, которую снял на пару с другим художником, Яном Ливенсом, дела у него шли хорошо, и в том же году было объявлено о подписании торгового договора с Персией, а территория, названная Новыми Нидерландами, была формально, хоть и без политического оформления этого факта, присоединена к Голландии в качестве провинции. Территории Нового Света в бессчетное число раз превышали размерами территорию их владельца, не представляя сколько-нибудь приметной ценности для нации, желавшей прежде всего живых денег и товаров для перепродажи, а уж затем земель, которые еще нужно колонизировать. Только в одном месте на земном шаре голландцы углубились в захваченные ими земли, чтобы основать постоянные поселения. Место называется Южной Африкой, и все мы видим, что из этого вышло. Ливенс был на год моложе Рембрандта и как живописец уже превосходил его известностью.

«Ростовщик» Рембрандта известен также под названием «Богатый дурак».

С возвращением Рембрандта в Лейден англо-голландский альянс решил послать в Атлантику корабли для борьбы с испанцами, и примерно в это же время голландцы казнили десятерых англичан, высадившихся на Амбоне в Молукках с опрометчивыми фантазиями насчет основания собственной торговли пряностями.

Когда Рембрандту исполнилось девятнадцать, принц Мориц умер, оставив наследником принца Фридриха Генриха, который выстроил в Гааге небольшой дворец, обзавелся скромным двором и до своей кончины в 1647 году успел купить у Рембрандта по меньшей мере пятнадцать полотен.

Прошло немного времени после вступления принца Фридриха Генриха в должность штатгальтера, когда его высококультурный секретарь Константин Хёйгенс наткнулся в Лейдене на двух молодых живописцев, возбудивших в нем восторг и надежды по части

национального искусства, которое сможет соперничать с итальянским, а фламандское с испанским и вовсе превзойдет, а еще годом раньше Петер Минуит, генерал-губернатор территорий голландской Вест-Индской компании в Северной Америке, купил остров Манхэттен у индейцев-ваппингеров, которым он не принадлежал, отдав за него партию бус и рыболовных крючков общей стоимостью в двадцать четыре доллара.

Петера Минуита сместили, и когда в 1667 году, по завершении второй англо-голландской войны, остров перешел к англичанам, ни компания, ни голландское правительство так и не получили обратно бус и рыболовных крючков общей стоимостью в двадцать четыре доллара.

Голландцы действовали в этой второй англо-голландской войне, стоившей им всех их владений в Северной Америке, гораздо успешнее англичан. Они неустрашимо заплывали в ближайшие к Лондону реки, чтобы захватить или уничтожить суда, составлявшие гордость флота Его Величества, а также высаживали десанты по всему английскому побережью.

Однако Англия представляла собой монархию и, стало быть, могла создать империю. Голландия же была республикой и создавала только торговые представительства.

Таким образом, по заключенному в Бреде мирному договору 1667 года Голландия получила открытый рынок рабов в Суринаме, на неисследованном берегу Южной Америки, в обмен на Новые Нидерланды, в которые и без мирного договора уже поналезло английских колонистов. Шестидесятиоднолетнему Рембрандту оставалось прожить два года.

Мильтон напечатал «Потерянный рай».

За год до того, как женился и умер Титус, Голландия захватила Суматру.

Десятая часть награбленного добра, полученная от голландской Вест-Индской компании, позволила принцу Фридриху Генриху вторгнуться в южные Нидерланды, пока его эрудированный секретарь Константин Хёйгенс писал на латыни замечательные мемуары, в которых предсказал, что двое молодых живописцев плебейского происхождения, найденных им в Лейдене, проявят таланты столь безмерные, что превзойдут всех своих предшественников. О Рембрандте он написал, что тот отличается отменной способностью проникать в самую суть изображаемого и охвачен стремлением перевести на язык красок то, что видит глазами разума.

Латынь Хёйгенса трудна для понимания, а суждения его ошибочны. Картина «Иуда», которой он расточает неумеренные хвалы, настолько комична по современным меркам, что способна довести до колик практичного американца, если таковой пребывает в игривом расположении духа.

Хёйгенс советовал Ливенсу продолжать писать портреты, а исторические полотна оставить Рембрандту.

Вследствие чего Ливенс принялся за исторические полотна. А Рембрандт создал множество портретов и статичных фигур, на которых главным образом и основывается убежденность наших современников в его гениальности.

Любая картина Рембрандта, на которой кто бы то ни было изображен в движении, либо нехороша, либо написана не Рембрандтом. Потрясающий «Польский всадник», находящийся в нью-йоркской «Коллекции Фрика», и нехорош, и написан не Рембрандтом. (Впрочем, офорт Рембрандта, на котором монах предается блуду посреди поля, это совсем другая история.)

Оба молодых живописца отвергли совет Хёйгенса съездить в Италию, дабы изучить Рафаэля и Микеланджело и уяснить, как их превзойти.

Они самонадеянно заявили, что лучшие итальянские полотна давным-давно перекочевали на север и что все итальянские влияния, какие им только потребуются, они вполне могут впитать, разглядывая полотна голландских художников, которые в этой самой Италии уже побывали.

Ливенс, надеясь разбогатеть, перебрался в Англию, где и разорился. Тогда он перебрался в Антверпен, где разорился вторично.

А Рембрандт перебрался в Амстердам — через год после того, как нидерландские рыболовы выловили рекордные тринадцать миллионов галлонов сельди, восемьдесят процентов которых пошло на экспорт. Он поселился в доме своего художественного агента на Бреестраат в том самом году, когда голландцы основали поселение на реке Делавэр.

После «Доктора Тюлпа» (1632) Рембрандт стал зарабатывать больше денег, чем когда-либо мечтал, больше, чем ему, как он ошибочно полагал, удастся потратить. Среди пятидесяти полотен, датированных Рембрандтом к концу 1633 года, имеется и прочувствованный портрет его матери, ставший собственностью короля Карла I Английского и написанный вовсе не Рембрандтом.

В 1633 году он отпраздновал обручение с Саскией, сделав серебряным карандашом ее портрет, а когда в 1634 году был оккупирован остров Кюрасао, они поженились. Саския выглядит милой и простоватой, имеющей склонность к полноте, общую у голландок той поры, пивших и евших, как уверяют, с не меньшей охотой, чем мужчины. Они отпраздновали медовый месяц, наняв поверенного для сбора долгов, недополученных Саскией.

На следующий год голландцы вторглись в Бразилию, дабы учредить там прибыльное сахарное дело, а также высадились на Формозе, Виргинских островах и Мартинике. Они разделывали китов на Шпицбергене, пока англичане строили поселения в Коннектикуте, а у Рембрандтов родился и умер первый ребенок, и в том же году Рембрандт написал «Автопортрет с Саскией», который показывает его восторженно купающимся в успехе с вульгарным хвастовством, не делающим чести им обоим.

Саския сидит у него на коленях, словно кабацкая шлюха. Рембрандт с безразличием собственника обнимает ее рукой за талию, а в другой держит наотлет бокал, провозглашая тост в собственную честь, и, похоже, гордится, будто павлин, теми яствами, которыми уставлен стол.

В последние годы его жизни, пишет голландский биограф, никогда с ним не встречавшийся, Рембрандт радовался, если ему выпадало в течение дня съесть кусок хлеба с сыром или селедкой.

Это один из двух автопортретов Рембрандта, на которых он улыбается во весь рот; на другом, сделанном в шестьдесят лет, художник походит на человека, далеко перевалившего за восемьдесят, и выглядит со своей обращенной временем в руины улыбкой совершенно безумным. Вот этот автопортрет безупречен.

К той поре они с женой уже перебрались из дома Эйленбюрха в снятое ими жилище, и Рембрандт беспечно транжирил время в аукционных залах и художественных галереях, пока в городе Кембридже, штат Массачусетс, закладывались основы Гарвардского университета, имевшего целью подготовку пуританских священнослужителей и выросшего в процветающую школу финансов и бизнеса, что и составляет его теперешнюю славу.

В год основания Гарварда Рембрандт закончил первое из трех последних полотен, живописующих Страсти Господни и предназначавшихся для принца Фридриха Генриха, что не помешало голландцам укорениться на Цейлоне за год до того, как они вышибли португальцев с Золотого берега в Африке, между тем как у них на родине потерпела крах торговля тюльпанами, что привело к ужасающим общенациональным бедствиям. Луковицы этих легко вступающих в мутации евразийских растений семейства лилейных упали в цене до того, что стоили теперь не больше, чем их собственный вес в золоте. Куча людей, разорившись, покончила с собой.

Голландцы оккупировали в Индийском океане остров Маврикий и, обзаведясь дубинками, начали с увлечением забивать до смерти птицу додо.

В 1639-м они сменили португальцев в Японии, переставшей с тех пор допускать к себе любых других европейцев, хотя в конце июля супружеская чета породила дочь, получившую при крещении имя Корнелия и через две недели скончавшуюся, а Рембрандт с Саскией в том же году возбудили дело о клевете против тех ее родственников, которые громко клеветали на Саскию, что она будто бы погрязла в мотовстве.

Они купили дом на Бреестраат.

А год спустя, в 1640-м, в июле, родилась еще одна дочь, которую в августе уже похоронили.

Год 1641-й оказался особенно благоприятным, ибо голландцы захватили Луанду в Анголе, получив надежный источник рабов, необходимых для производства сахара в Бразилии, приступили к захвату Цейлона, отняли у португальцев Малакку на западном побережье Малайи — это как раз посередке между Индийским океаном и Китайским морем, — а тем временем родился Титус, и не только родился, но и выжил!

Ко времени, когда Аристотель попал в Амстердам, в городе работало более пятидесяти рафинадных заводов и Голландия уже выращивала свой собственный табак.

Но хватка голландцев постепенно слабела, и Саския умерла. В доме появилась, чтобы заботиться о младенце, Гертджи Диркс, в Англии разразилась гражданская война, в чем был повинен Карл I, попытавшийся арестовать членов палаты общин и отправивший свою королеву к ее дочери и зятю в Гаагу, а армию своих кавалеров — в Йорк, дабы сокрушить пуританский парламент. Голландский губернатор Нового Амстердама приказал вырезать индейцев-ваппингеров, искавших у голландцев защиты от нападений могавков.

Более пятнадцати сотен индейцев-ваппингеров отправились вслед за додо.

К 1645 году в доме Рембрандта, возможно, жила уже и Хендрикье, а сам Рембрандт писал «Раввина» и также «Святое Семейство с Ангелами», на котором Иисус представлен младенцем, Мария — матерью, а Иосиф — плотником.

Недружелюбная критика порицала его за то, что он наделяет своих Вирсавий и Данай телесами голландских поденщиц, как будто эти женщины из преданий нашего прошлого были всего лишь обыкновенными женщинами из преданий нашего прошлого.

Его Вирсавия, пожалуй, и впрямь грузновата. Хотя, с другой стороны, и Давидова была, надо полагать, не худышкой. Не говоря уж о Марии Иосифа.

Расплатиться за дом надлежало в 1646 году. Нельзя сказать, чтобы его торопили с выплатой.

Национальная экономика процветала. Он получил от принца Фридриха Генриха новые заказы на полотна, трактующие религиозные темы, — на «Рождество» и «Обрезание», причем цена удвоилась против прежней, после чего Фридрих Генрих помер.

Проживи Фридрих Генрих достаточно долго, чтобы успеть разглядеть эти картины, он, вероятно, заметил бы в работах Рембрандта решительный поворот к индивидуалистической манере, при которой воображение художника почти полностью поглощают освещение, цвет, краски и форма, а возвеличивание выбранных сюжетов его как бы и не касается.

Теперь Рембрандт работал так, как ему хотелось, и начал утрачивать популярность, уступая ее своим же соперничавшим с ним ученикам вроде Фердинанда Бола и Говерта Флинка, с которыми он был на ножах.

Что до Флинка, то он был поверхностным приспособленцем. Выбрав Рембрандта в учителя всего на один год, 1635-й, когда на Рембрандте помешался весь Амстердам, он быстро научился имитировать мастера, да так сноровисто, что многие его полотна принимались за написанные Рембрандтом, а возможно, и продавались как таковые, и, вероятно, не без ведома самого Рембрандта.

Говерт Флинк что ни год, то менял манеру и уже имитировал прозрачность отделки и тщательную проработку деталей, присущие кому-то еще, когда консервативные высшие слои амстердамского делового сообщества обуяла любовь к классицизму, и Флинк тут же стал одним из художников, возглавивших это течение и противопоставивших его работам Рембрандта, благо последний стал пользоваться у многих дурной славой.

Эйленбюрх был, помимо прочего, художественным агентом и Флинка тоже.

Если Рембрандт и использовал деньги, полученные напоследок от Фридриха Генриха, для выплаты долга за дом или погашения набежавших по займам процентов, мы ничего об этом не знаем. Нам вообще не известен ни единый случай, когда Рембрандт расставался со своими деньгами, если только его к этому не принуждали.

Одно из его провальных деловых решений состояло в том, чтобы скупить все свои офорты, какие только удастся, создав их нехватку и повысив продажную цену тех, которые он скупит.

Это рыночное предприятие принесло бы Рембрандту изрядное состояние, проживи он еще лет триста.

В 1648 году Нидерланды осенил мир, а между тем свара Гертджи с Рембрандтом дошла до последней точки, и Испания признала независимость Голландии в особом Мюнстерском мирном договоре, а православное крестьянство Европы погрязло в буйстве еврейских погромов, намереваясь изничтожить всех, кто не примет христианскую веру.

Несколько позже в том же 1648 году был заключен Вестфальский мир. Кончилась Тридцатилетняя война, и Польша получила возможность предаться эпическим погромам, продлившимся десять лет и принесшим смерть более чем сотне тысяч евреев.

В нынешней Польше их столько и не сыщешь.

Не существует ни единой картины Рембрандта, датированной 1649 годом, в котором Гертджи Диркс потребовала его к суду за нарушение обещания жениться.

Хендрикье дала на суде показания касательно истерических выходок Гертджи, направленных против истца, а в Англии революционное правительство, возглавляемое Оливером Кромвелем, отрубило Карлу голову.

В инвентарной ведомости имущества покойного короля числится конюшня на сто тридцать два жеребца и тридцать семь кровных кобыл, а также две картины Рембрандта.

Один из этих ранних шедевров Рембрандта, портрет его матери, был недавно признан исследовательским проектом «Рембрандт» написанным кем-то еще, но безусловно не Рембрандтом, что привело к соответствующему уменьшению стоимости королевских сокровищ, принадлежащих Елизавете II.

— И ведь советовали мне продать его, а я не продал, — каялся после падения правительства прежний министр финансов. — Теперь за него уже никогда таких денег не выручишь.

Сэр Иан признался, что однажды при взгляде на эту картину его охватило «несколько странное» чувство.

Теперь эта картина стоит не многие миллионы долларов, как всякий подлинный Рембрандт, а всего-навсего несколько сот тысяч, как всякая подтвержденная подделка Рембрандта.

Рассуждая логически, говорит кое-кто из торговцев картинами, она должна бы стоить куда больше подлинника, поскольку подлинных Рембрандтов существует больше, чем его подтвержденных подделок.

Мы знаем, что Кромвель сохранил Рембрандтов, избавившись от жеребцов и кровных кобыл, кроме того, он привел к повиновению Ирландию и вновь допустил в Англию евреев, которых за триста шестьдесят пять лет до него изгнал из страны король Эдуард I. Вновь допустить в страну евреев склонил Кромвеля ученый голландский сефард, писатель и печатник Менассе бен Израиль, чья «Надежда Израиля», написанная и первоначально опубликованная им на древнееврейском, произвела на Кромвеля столь глубокое впечатление, что он пригласил Менассе бен Израиля в Англию, для разговора. Один из отпечатков сделанного Рембрандтом в 1636 году офорта, изображающего Самуила Менассе бен Израиля, скончавшегося от болезни на обратном пути домой, можно в настоящее время увидеть в Британском музее.

В 1650 году, через два года после окончания Тридцатилетней войны, Голландия обладала самым большим в мире торговым флотом, а также мощным военным, вдвое превосходящим военные флоты Англии и Франции, вместе взятые. Еще через два года Голландия оказалась в блокаде.

14

Драка шла из-за денег.

Аристотель скучал.

Непосредственным поводом этой первой англо-голландской войны стал навигационный акт Кромвеля 1651 года, цель которого, вполне им достигнутая, состояла в том, чтобы запретить голландским судам заходить в порты Британии.

Законы такого рода часто приводят к войне.

В 432 году до Р. Х. Перикл провел закон, закрывший для мегарских судов порты афинской империи. В итоге разразилась война.

И война эта породила долгую череду событий, на протяжении которой Афины потерпели поражение; империя развалилась; Сократ и Асклепий предстали перед судом, были признаны виновными и казнены; Платон придумал свою философию и основал школу; Аристотель приехал в Афины в качестве ученика и удалился из них в качестве беженца, а впоследствии, в ходе еще одной войны, был написан в Амстердаме Рембрандтом размышляющим над бюстом Гомера, который был копией, и, как следствие всего сказанного, по завершении нескольких столетий опасных странствий перебрался в 1961 году — и уж это-то является фактом более чем достоверным — из галереи «Парк-Бернет», расположенной на углу Мэдисон авеню и Семьдесят седьмой стрит в городе, который теперь называется Нью-Йорком, в Музей искусств Метрополитен, что на углу Пятой авеню и Восемьдесят второй стрит, в аккурат перед тем как Джона Ф. Кеннеди застрелили в передышке между корейской и вьетнамской войнами и заменили его в качестве президента Соединенных Штатов на Линдона Б. Джонсона, который, наслушавшись советов внутреннего круга, состоявшего из образованных ослов, вышедших главным образом из Гарварда и прочих престижных университетов, наврал американскому народу и американскому Конгрессу и тайком и обманом втянул нацию в неприкрытую войну в Юго-Восточной Азии, которой нация выиграть не могла и не выиграла, причем упрямо придерживался этого пагубного курса, проявляя не меньше решимости, чем Перикл, ведший Афины по пагубному для них пути войны со Спартой.

— Мы воюем ради того, чтобы жить в мире, — заявил Линдон Джонсон, цитируя Аристотеля, который при этом смутился, и перефразируя Адольфа Гитлера.

Стремление некоторых людей к миру часто становится причиной войны.

В 1652 году Голландия потерпела поражение при Даунсе близ Фолкстона, что в Дуврском проливе, а Рембрандт получил от дона Антонио Руффо из Сицилии заказ на голландскую картину, изображающую философа. В 1653 году, когда «Аристотель» был почти завершен, а «Портрет Яна Сикса» едва начат, голландцы проиграли морские сражения под Портлендом и Норт-Форлендом в Ла-Манше, а затем были разбиты и на своей территории, на острове Тексел, расположенном при входе в голландский залив Зейдер-Зе. После этого английские корабли встали на якорь вдоль голландского берега и принялись прочесывать Северное море, перехватывая суда, пытавшиеся прорвать блокаду.

За морем, в Новом Амстердаме, перепуганные голландские колонисты выстроили в южной части Манхэттена стену, чтобы защититься от предположительных атак английских поселенцев, создав тем самым улицу Стены — Уолл-стрит.

И то сказать, разве не справедливо, что люди, первыми додумавшиеся до почтовой системы и информационных бюллетеней как аксессуаров бизнеса, создали эпоним и для финансового района, который находится теперь на этом самом месте.

— Как по-вашему, нам следует ожидать мятежей? — спросил человек, которого звали Ян Сикс.

Рембрандт спросил: с чего бы?

Сикс приобрел озадаченный вид.

Цены на зерно летят вверх, а селедки уже днем с огнем не сыщешь. Банки прогорают один за другим.

— Даже когда вы его закончите, — сказал Сикс, ткнув большим пальцем в сторону

Аристотеля, — вам не удастся его отправить. Ни один баркас отсюда до Тексела не ходит. И ни одно судно не ходит с Тексела в Италию.

Аристотеля словно громом поразило. Он сразу стал молиться о мире.

— А я его уже закончил, — сказал Рембрандт. — Жду, когда подсохнет.

Аристотель чувствовал себя продрогшим и промокшим. Вынужденный целыми днями торчать, будто в тюрьме, в душной мастерской, в стране, чей облачный, промозглый климат внушал ему отвращение, он ждал и не мог дождаться окончания войны. Вон и глаза уже слезятся. Вид у него стал совсем удрученный, желтушный. *Его*, а не кого-то другого тошнило от запаха краски. И заняться было решительно нечем.

— Это будет трагедия, — почти беспечно сказал Рембрандт, — если мне придется остановиться теперь, когда я так хорошо работаю.

Он уже начал приискивать другой дом.

— И все же я предпочел бы продать мою коллекцию и остаться здесь.

— Еще большая трагедия будет, — сказал Ян Сикс, — если вы попробуете что-то продать, а никто не купит.

Трагедия? Аристотель с трудом сдержал презрительную усмешку. Какая же это трагедия? Разве они не знают, что трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее, путем страдания и страха, очищение подобных аффектов? Здесь же речь идет не о трагедии, а о пафосе, который образуется не более чем обычными горестями жизни, без благотворных искуплений катарсиса, которые несет с собою, как он уже говорил, трагедия.

То есть это трагедия, но без счастливого конца.

Рембрандт ничего не сказал Яну Сиксу о заработке, который сулили новые картины. Или о том, что, помимо денег, так и не выплаченных за дом, он задолжал еще восемь тысяч гульденов и, строго говоря, еще двадцать Титусу — из средств, которые мальчику одиннадцать лет назад оставила мать. Насколько мог понять озадаченный Аристотель, из бесчисленных картин, расставленных по чердаку и прислоненных одна к другой, только относительно двух — «Аристотеля» и «Яна Сикса» — угнетаемый заботами домовладелец, художник и отец мог с уверенностью сказать, что за них ему заплатят. Ни та, ни другая закончены пока что не были, хоть и Аристотелю, и Яну Сиксу зачастую не удавалось понять, в какой еще доработке они нуждаются. Рембрандт бесконечно менял цвета и манеру работы кистью, возвращаясь к холстам, которые уже много раз отставлял как завершенные.

Его безразличие к времени могло хоть кого довести до отчаяния.

Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, как показали рентгеновские снимки, несколько раз был близок к тому, чтобы поскрести в затылке, однако Рембрандт ему этого не позволил и в конце концов заставил его протянуть руку и положить ладонь, как бы шапочкой, на голову Гомера, застыв в позе, знаменующей неизменную тягу к исследованию.

— Должен вам прямо сказать, моя картина мне нравится, — сказал Ян Сикс, часто теперь приходивший, чтобы попозировать для портрета, посмотреть, как работает живописец и поболтать.

— Мне тоже, — сказал довольный Рембрандт.

Аристотелю она тоже нравилась.

Пока Аристотель стоял, прислонясь к своему мольберту и ожидая отправки в Сицилию, на свежем холсте перед ним возникал фантастический портрет молодого, широко образованного человека из богатой семьи, Яна Сикса. В жизни Сикс был худощавее, проще, безобидней, изящней; искусство наделило его внутренней силой, и с каждым прикосновением кисти или мастихина внешность его становилась все более властной.

Сердце Аристотеля замирало всякий раз, как Рембрандт приближался к одному из них с мастихином, да и не только к ним — к любой из картин. Сикс, получив передышку, оставил свое место и подошел к «Аристотелю», чтобы внимательно его разглядеть. Рем-

брандт протянул руку и уперся ладонью Сиксу в грудь, пытаясь удержать молодого человека на расстоянии.

— Вас может...

— Стошнить от запаха краски, — закончил Сикс за него. Сикс улыбался, Рембрандт нет. — Вы действительно его кончили?

Рембрандт, пожав плечами, отвернулся, ему не хотелось отвечать. Внезапно взгляд его приковало к себе нечто им не жданное. Он вздернул голову, затаил дыхание и, не произнеся ни слова, метнулся вперед. Затем, чуть кренясь влево, бросив через плечо встревоженный взгляд, он повалил вдоль чердака в ближний к двери угол. Остановившись там, Рембрандт нагнулся, потянулся к полу. И замер, не дотянувшись. Назад он шел медленно, с выражением отрешенного разочарования на лице, отдуваясь и шепотом сквернословя.

Кто-то изобразил на полу очередную монету.

— И написал-то всего-навсего стюйвер. — Аристотель готов был поклясться, что расслышал именно эти слова.

Рембрандт постоял, злобно разглядывая Аристотеля, меряя его угрожающим взглядом. Затем вдруг саданул мастихином.

— Вы знали, делая это, что зеленый цвет проявится и заиграет так живо? — просияв, поинтересовался Ян Сикс.

Сикс надел очки, которые снимал, позируя.

— Знали, — зачарованно продолжал он, — проводя сейчас лезвием по влажной краске, что золото заблестит ярче, а складки на шелке станут такими глубокими?

— Хотел это выяснить.

— А по-моему, знали.

— Я знал, что смогу снова все изменить, если мне не понравится то, что я увижу, — угрюмо ответил Рембрандт.

— Когда я вижу что-либо подобное, — сказал Сикс, — я начинаю понимать, насколько естественно, что мы, голландцы, опережаем весь мир в том, что касается оптики, — я говорю о науке. Мне кажется, всякий раз, меняя что-то в картине, вы совершенно точно знаете, какой результат вас ожидает.

— Пожалуй, я в нем еще кое-что поменяю, — внезапно выпалил Рембрандт.

Ян Сикс развеселился, Аристотель с трудом подавил рыдание.

— Как вам удается понять, что картина закончена?

— Картина закончена, — не оборачиваясь, ответил Рембрандт, — когда я вижу, что она закончена.

— Моего портрета это тоже касается? — рассмеялся Сикс. — Похоже, мне придется прождать целую вечность.

— Что касается вашего портрета, — ответил Рембрандт, отступая к рабочему столу, чтобы снова взять мастихин (Аристотель содрогнулся, увидев прикованный к нему, полный угрозы взгляд живописца), — я думаю, вам захочется, чтобы никто, кроме меня, никогда больше не писал ни вас, ни ваших домашних.

Вышло, однако, так, что Сикс не заказал больше Рембрандту ни единой картины, хотя своим портретом он был доволен настолько, что сочинил даже стихи, восхваляющие оконченную работу, — вполне вероятно, что этот портрет является в настоящее время самым дорогим из живописных полотен, все еще пребывающих в частных руках. Он принадлежит нынешним потомкам Яна Сикса, и увидеть его вы можете только с их разрешения.

Возможно, «Потрет Яна Сикса» работы Рембрандта сегодня удалось бы продать с аукциона какому-нибудь частному коллекционеру за сотни миллионов долларов, и, наверное, в мире имеется несколько сот людей, которым такая трата по карману.

Когда с вечерней работой было покончено, вошла Хендрикье с чаем, напитком по тем временам далеко не дешевым, и с липкими от сахара бисквитами. За нею робко следовал Титус, держа в руке тетрадь для набросков; он выглядел малокровным и сонным.

То был бледный, худой мальчик с рыжеватыми вьющимися волосами, прелестными темными глазами и повадками замкнутого одиночки; обыкновенно он хотя бы раз в день приходил в мастерскую вместе с Хендрикье и приносил тетрадь, посредством которой Рембрандт давал ему короткие, безучастные уроки рисования. Хендрикье задержалась, чтобы посмотреть, как пройдет урок; она молча стояла, улыбаясь собственным мыслям, подперев склоненную голову ладошкой, щеки у нее были круглые и румяные. Титус очень старался, что-то говорил негромко. Вот уже, помедлив в дверях, он застенчиво помахал рукой Аристотелю, улыбнулся, состроил рожицу, заговорщицки подмигнул и показал философу нос. Все это он проделал довольно быстро, но отец его выходку все же заметил.

— Это еще что? — резко спросил Рембрандт.

— Он мне подмигнул, — в смятении выпалил Титус.

— Ничего он тебе не подмигивал.

— Клянусь Богом.

Рембрандт хмыкнул.

— Вот так, что ли? — и он безо всякого предупреждения плюхнул шматок краски прямо в глаз Аристотелю, отчего у философа слиплось веко. Так же проворно Рембрандт снял большим пальцем краску, и глаз открылся.

Титус хихикнул.

Аристотеля охватила жалость к нему.

Аристотель вспомнил собственного сына, Никомаха, и беззвучно оплакал это кроткое, безобидное дитя одиннадцати лет, отец которого назанимал не так давно больше девяти тысяч гульденов, для возврата которых, как знали и философ, и живописец, у него никогда не найдется денег.

Ян Сикс стоя допил чай и поставил чашку на стол, собираясь откланяться.

— Ты тоже рисуешь? — спросил он у Титуса.

— Отец рисует.

— А вот мы ему покажем, — сказал Рембрандт.

Титус открыл тетрадь. Рембрандт водил его рукой.

— Вот так, видишь? Теперь здесь все на месте. Добавь немного света.

— А как? — спросил Титус.

— Добавив теней.

— Смешно.

Хендрикье тоже разулыбалась. Аристотеля охватила жалость к обоим.

— Завтра будем работать? — спросил от дверей Ян Сикс. — Время у меня есть.

— Принесите, пожалуйста, ваш красный плащ. Пора заняться цветом.

— Никак я к нему не привыкну, — сказал Ян Сикс с неловкой улыбкой и даже слегка порозовел от смущения. — Нет, он мне по-прежнему нравится. Но уж больно ярок. Боюсь, мне так и не хватит решимости надеть его.

— И наденете, и носить будете целую вечность, — хмуро откликнулся Рембрандт.

— Это если вы когда-нибудь кончите, — со вздохом сказал Ян Сикс.

— Да я же едва-едва начал. И перчатки не забудьте.

— Какого цвета?

— Не важно. Какого хотите. Цвет я сам придумаю. С вещами из моей коллекции получилось бы лучше, жаль, что вам непременно хочется остаться в вашей собственной одежде. А то бы я сделал вас похожим на него.

— Вот уж чего мне хочется меньше всего на свете, — весело отозвался Ян Сикс, — так это походить на него.

Аристотель готов был его убить.

В конце концов с Аристотелем было покончено, хоть и ушел на это еще целый год. Пришлось дожидаться Вестминстерского договора, подписанного весной 1654 года, зато потом ему здорово везло, и в Средиземноморье он попал еще до того, как кончилось лето. Голландцы купили мир ценой больших контрибуций, а португальцы тем временем выбивали их из Бразилии.

Аристотель радовался, покидая эту зловещую, сумрачную страну на севере Европы. Вестминстерский договор претворил в жизнь мечты философа об освобождении. Он чувствовал себя свободным, пока его перед морским путешествием укутывали с головы до ног и запихивали в деревянный ящик. Исполненный пронзительных предвкушений, он храбро взирал в будущее, в новый мир, который его ожидал.

Из Амстердама он выехал 13 июля 1654 года посыльным судном, имея при себе отгрузочный документ, вверяющий его попечению капитана грузового судна «Варфоломей», стоявшего на якоре у острова Тексел; судно это подняло паруса 19 июля того же года и ушло в Неаполь, первый порт его захода. В августе «Варфоломей» наконец добрался до порта Мессины, что на северо-востоке Сицилии.

Услышав об этом, Аристотель возрадовался, хоть и неприметно для окружающих. Про Мессину он читал у Фукидида, повествовавшего о походе афинян во главе с Алкивиадом на Сиракузы.

Упаковочную клеть, содержавшую «Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера», сгрузили на берег, затем явился получатель и по ухабистой дороге свез философа в замок дона Антонио Руффо, где его появления ожидали с сердитым и трепетным нетерпением.

Аристотель почти не дышал, пока его клеть вскрывали молотками, пока разворачивали и поднимали повыше его портрет. Лучшего приема и ожидать было нечего. Стоило людям увидеть его, как послышались крики изумления и восторга. Аристотель, питавший, как известно, склонность к показухе, безмерно обрадовался столь теплому приему, взволнованным и радостным воплям, коими сопровождалось его появленье на свет. Вот люди, умеющие выражать свои чувства! Не приходится сомневаться в том, что им с первого взгляда пришлась по душе его внешность. Картину подняли повыше и чуть не бегом потащили по галерее, чтобы вынести ее на балкон и полюбоваться ею при солнечном свете. Посыпались пространные итальянские похвалы его одеянию и украшениям — сначала золотой цепи, потом застежке на плече, медальону, серьге и красноватому перстню на мизинце, великолепно прописанным тонкой кистью глазам и игре света на шляпе и в темной бороде. Аристотель, распираемый гордостью и нескромным самолюбованием, бесстыдно нежился в изливаемых на него потоках непомерной лести. Наконец-то он оказался среди друзей, способных оценить его по достоинству.

— Интересно, кто он такой? — услышал Аристотель слова, произнесенные одним из присутствующих господ.

— Альберт Великий? — надумал другой.

— Похож на френолога.

Аристотель онемел.

VIII. Век Перикла

15

Век Перикла начался в пятнадцатый год одной войны и закончился в начале другой, продлившейся двадцать семь лет.

Руководимая Периклом партия либеральных демократов пришла к власти в 461 году до Р. Х. Список павших в 459 году до Р. Х. содержит имена афинян, которые пали в войнах, ведшихся в таких местах, как Кипр, Египет, Гела, Эгина и Мегарид. Официально этот год считался мирным. Войны, в которых они пали, не были войнами.

Они были полицейскими акциями.

В этом самом 459 году, когда Сократ был еще десятилетним мальчишкой, Перикл отправил к Нилу большую армаду, чтобы помочь восставшим против персов египтянам.

Предприятие, поначалу такое простое, растянулось на пять лет.

В 454-м, когда Сократу исполнилось пятнадцать, Афины послали в помощь армаде

подкрепление из пятидесяти с лишком трирем. Триремы пришли в Египет, не ведая, что первая экспедиция уже уничтожена. Новопоявившийся флот храбро вошел на веслах в устье Нила — и сел на сушу, когда персы отвели воду из рукава, в котором оказались триремы.

Все эти корабли и люди, плывшие на них, были уничтожены или захвачены врагом.

По оценкам афинского историка Фукидида, полные потери в Египте составили двести пятьдесят кораблей и пятьдесят тысяч человек, из которых шесть тысяч принадлежали к числу афинских граждан. Прочие были наемниками из городов греческой империи, предпочитавшими ратный труд мирному. Ни одна из греческих армий еще не терпела столь крупного поражения. Эта катастрофа была самой дорогостоящей в истории Афин, пока сорок лет спустя они не направили для захвата Сиракуз еще большей армады, которую также потеряли.

Вы могли бы подумать, что после разгрома в Египте Афины стали слабее, беднее, умнее, скромнее, и вы бы ошиблись, ибо афиняне, как было сказано, «не знают другого удовольствия, кроме исполнения долга, и праздное бездействие столь же неприятно им, как самая утомительная работа».

Еще не успев развязаться с Египтом, Перикл затеял захватнические войны на материке. Побежденный в битве при Танагре Спартанским союзом, а затем, десять лет спустя, соседями-беотийцами, он наконец заключил перемирие со Спартой, против которого возражало немалое число афинян, а также мир с Персией, вызвавший недовольство многих в афинской империи.

Он понаделал себе врагов в высших слоях общества, оказывая благодеяния тем, кто принадлежал к низшим. В древних Афинах прошлого занимать общественные должности могли только богатые люди. Теперь же такое право предоставлялось любому гражданину, однако бедные, разумеется, не могли себе этого позволить и власть по-прежнему осталась у тех, кому она и принадлежала, то есть у людей богатых и знатных, что, собственно говоря, зачастую сводилось к одному и тому же. Зато теперь свободные граждане Афин были свободны в выборе олигархов, которые станут ими править.

Он выдавал каждому гражданину по два обола в день за одно лишь присутствие на народных советах, так что бедняки могли позволить себе прийти на совет и проголосовать так, как требуется Периклу. (Клеон, дорвавшийся до власти после смерти Перикла, увеличил плату до трех оболов, так что бедняки уже не могли позволить себе не приходить на совет.) Перикл, впрочем, скупился, выдавая нуждающимся деньги, потребные для посещения таких общественных празднеств, как драматические соревнования, прославившиеся к тому времени по всему эллинскому миру.

Платон, который презирал и демократию, и саму идею оплаты общественной службы, лет семьдесят пять спустя написал в «Горгии», что Перикл превратил афинян в лодырей, трусов, пустомель и корыстолюбцев.

Перикл построил ограду в четыре мили длиной, шедшую от Афин к побережью, замкнув в треугольник из стен город вместе с портами, от которых зависела торговля и морская мощь государства. Афины стали неуязвимыми с суши и несокрушимыми на море, и больше уже Перикл за всю свою жизнь ни разу не позволил Афинам ввязаться в сражение на суше с силами, превосходящими афинские.

Он начал строительство Парфенона, занявшее долгое время, потребовавшее огромных расходов и облегчившее проблему безработицы мирного времени, к чему клонились и другие задуманные им проекты. Он создал постоянную армию и постоянно держал на плаву корабли морской охраны. Посредством субсидий, армейских призывов, программ строительства и правительственного обеспечения занятости он создал государство процветания для многих, одновременно расширив свою политическую базу.

Перикл укрепил национальное самосознание, проведя в 451 году закон об иммиграции и исключении иноземцев — шовинистический акт, по которому афинское гражданство предоставлялось только тем, у кого оба родителя были афинянами.

Есть идеальная справедливость в том, что ему же этот закон и вышел впоследствии

боком. Гражданства лишился единственный оставшийся в живых сын Перикла, рожденный его милетинской любовницей Аспасией, в которую он влюбился пятидесятилетним мужчиной и привязанность к которой сохранил до конца своих дней.

Периклово перемирие со Спартой закончилось в 446 году дракой между этими враждующими городами, развязавшей Афинам руки и позволившей им в дальнейшем воевать со своими союзниками и друзьями. Он не обращал внимания на протесты членов Афинского союза и безжалостно подавлял попытки выйти из него. Города, полагавшие себя равными Афинам, обнаружили вдруг, что являются подданными.

В Визáнтии и на Самосе вспыхнули восстания.

Византий, похоже, вечно приходилось у кого-нибудь отбивать — не у греческих олигархов, так у персов.

Что до острова Самос, самого сильного союзника Афин, то последние сочли необходимым влезть в малозначительный местный конфликт, совершенно их не касавшийся. Перикл послал ультиматум; Самос ультиматум отверг.

Перикл сам вышел с первыми сорока триремами. Кампания обошлась куда дороже, чем воображали Афины. Осада продлилась девять месяцев. Когда все было кончено, Афины срыли стены самосцев, отобрали у них корабли и наказали их большой денежной контрибуцией. Благодаря этой победе Перикла Афины обменяли мощного союзника на разрушенный город и потеряли множество людей.

Вернувшись в Афины, Перикл произнес первую из известных нам похоронных речей.

— Афины лишились своей юности, — сказал он, — и год лишился весны.

Павшие подобны богам.

— Никому не дано теперь увидеть этих павших героев, — такие памятные слова он сказал. — Но ведь и самих богов мы не видим, а заключаем об их бессмертии по тем почестям, которые они получают, и по тем благам, которые мы получаем от них.

Речь эту запомнили и повторяли многие сотни лет.

Павших же забыли еще до того, как он закончил.

16

Его называли «Олимпийцем»: за величественные строения, возведенные под его руководством, за явственное превосходство в достоинстве, разуме, честности и красноречии.

Комический поэт Кратин, тот, что обозвал Аспасию шлюхой, именует его «яйцеголовым».

Подобно всем великим лидерам демократий, более всего гордящихся свободой слова, Перикл не выносил письменной критики. Существуй в ту пору пресса, он бы от нее камня на камне не оставил.

Он ввел закон, запрещавший упоминать в пьесах о живых афинянах.

По требованию народа закон отозвали.

У него была удлиненная голова, и на всех портретах он неизменно показан в шлеме, скрадывающем несоразмерность его лицевого устройства, которого художники, по словам Плутарха, изображать не хотели.

Еще его называли «луковицеголовым».

Его порицали за то, что всякий раз, уходя из дому и возвращаясь в него, он целовал в дверях Аспасию.

Он редко посещал Совет и Народное собрание, посылая туда своих представителей, что добавляло весу тем заседаниям, на которых он присутствовал сам.

Свои появления на публике он свел к минимуму, не устраивая из них представлений и выступая с речами лишь в тех случаях, когда ему было что сказать.

Изречений, за ним записанных, сохранилось немного — лишь несколько государственных речей, имеющих характер такой же возвышенный, как Геттисбергское посла-

ние Авраама Линкольна, и вызванных, увы, теми же обстоятельствами — войной и поминовением павших на войне.

Он не ходил на званые обеды в чужие дома. В собственном доме Перикла царил умеренный достаток; круг его состоял преимущественно из учителей и одаренных людей, с которыми он близко сдружился: то были философы Протагор и Анаксагор, музыкант Дамон, скульптор и архитектор Фидий. Сдержанный и серьезный, с исполненными достоинства манерами, Перикл ходил по городу один — из дома в Совет или на рынок, где он покупал все потребное для повседневной жизни.

Скрупулезно придерживаясь приличий во всем, он установил в доме порядок, по которому его управляющий ежегодно продавал по оптовым ценам весь урожай, едва лишь его собирали в поместьях Перикла, а все необходимое Перикл сам покупал на рынке по розничным ценам. В первый год войны со Спартой Перикл объявил, что, если вторгшиеся в страну спартанцы пощадят его имение, он отдаст эту землю городу. Подобная щепетильность и бережливость приводили в отчаяние его домашних, считавших, что их безо всяких на то оснований лишают роскоши, которой они жаждали, и возможности от души потранжирить, как то приличествует их положению.

Старший из его сыновей тем не менее жил на широкую ногу да еще и женился на расточительной молодой женщине. Не спросясь у отца, он занял от его имени денег, которых не смог вернуть.

Перикл был непреклонен и с заимодавцем, и с должником, отвергнув их притязания с такой суровостью, словно и знаком с ними не был.

С этого времени сын враждовал с отцом. Он со злобным удовольствием пересказывал ухмыляющимся слушателям частные разговоры, которые слышал в доме, да еще и расписывал в смачных подробностях, как отец, глава афинского государства, пятнадцать раз кряду избиравшийся стратегом, совратил его молодую жену и возлегает с нею для собственного удовольствия.

Перикл на личные выпады не отвечал.

Плутарх рассказывает, как однажды недовольный чем-то гражданин Афин бранил его на рыночной площади. Перикл, не отвечая, занимался своими делами. Гражданин таскался за ним по пятам, изливая потоки поношений и разоблачений. Перикл молчал. Когда солнце село и стало смеркаться, Перикл отправился домой. Гражданин пошел следом, продолжая его оскорблять. Когда Перикл добрался до дому, уже совсем стемнело. Едва войдя в дом, Перикл приказал одному из слуг взять факел и проводить этого человека до самого его дома.

Рассказ Плутарха слишком хорош, чтобы быть правдивым, и, вероятно, таковым не является.

Но именно эта достойная уравновешенность и принесла Периклу прозвание Олимпиец.

Политических врагов у него всегда имелось в достатке. С одной стороны на него наседали радикальные демократы, требовавшие новых войн. С другой — консервативные аристократы, приверженцы Спарты, вообще никаких войн не желавшие.

Ни радикалы, ни консерваторы не считали демократию достойной формой правления.

Они и сейчас ее таковой не считают.

Реакционные поджигатели войны, именующие себя неоконсерваторами, покинули ряды демократических сторонников Перикла, чтобы присоединиться к аристократам. Обе партии их презирали.

Обвинений в гомосексуализме на Перикла не возводили никогда.

На него возводили обвинения в гетеросексуализме.

Помимо постыдных сплетен, распространяемых его сыном, горожане, хихикая, передавали друг другу слухи о том, что его друг Фидий, используя в качестве приманки работы, которые он осуществлял, завлекает к себе в студию свободных афинянок и укладывает их в постель Перикла, дабы этот Олимпиец смог удовлетворять свою похоть. По-

говаривали также, будто его возлюбленная Аспасия заводила дружбу с другими свободными женщинами, заманивая их в дом и в постель своего покровителя, защитника, любовника и отца ее единственного сына.

Его противники в Афинах, сознавая, что с самим Периклом им не сладить, нападали на близких ему людей.

Друга его, Дамона, с которым он так любил порассуждать о музыке и политических теориях, в самом начале правления Перикла подвергли остракизму.

Анаксагора обвинили в безбожии за теоретические соображения касательно того, что луна и солнце никакие не боги, а небесные тела, и единственная помощь, которую смог оказать философу Перикл, состояла в устройстве его побега.

Изучение и преподавание астрономии в просвещенных демократических Афинах находилось под запретом более пятидесяти лет.

Фидия судили сначала за растрату, потом за нечестие, в итоге он умер не то в изгнании, не то в тюрьме — в зависимости от того, предпочитаете ли вы верить Плутарху или кому-то другому.

Затем к суду притянули Аспасию, обвинив и ее в нечестии да уж заодно и в проперсидской деятельности. На сей раз Олимпиец появился на публике, причем с униженными просьбами. Его противники смилостивились. Политика — это всего лишь политика, и в этот раз они поняли, что перегнули палку.

Затем, в 423 году до Р. Х., Перикл, этот вождь демократов, строитель Парфенона, покровитель Эсхила и Фидия, ученик Зенона и Анаксагора и друг Дамона, уверовав в то, что война со Спартой — дело весьма вероятное, намеренно предпринял шаги, сделавшие ее неизбежной.

Речь шла вовсе не о безопасности Афин.

Спартанцы решились воевать, говорит афинянин Фукидид, поскольку боялись увеличения мощи Афин и видели, что большая часть Греции уже им подчинилась.

Спарта и иные греческие города, будучи встревоженными амбициями Афин, при всякой возможности создавали оборонительные союзы.

Афины, будучи встревоженными этими оборонительными союзами, принялись создавать собственные оборонительные союзы, направленные против оборонительных союзов, создаваемых, чтобы оборониться от Афин.

Вся Греция обратилась в пороховой погреб оборонительных союзов.

Каждая сторона называла другую агрессором.

Обе были правы.

Дипломатия оказалась бессильной.

Дипломатия всегда оказывается бессильной.

Люди, лучше всех разбирающиеся в дипломатии, не разбираются решительно ни в чем, а специалисты по международным отношениям, как правило, приносят своей стране не больше пользы, чем специалисты по хиромантии и френологии.

В жизненном цикле любой нации наступают времена, когда, какое решение ни прими, всякое будет неверным, и что ни делай, все равно сделаешь глупость.

Перикл начал с того, что закрыл для мегарян порты афинской империи.

Затем он удвоил дань, сбираемую с Потидеи, основанного коринфянами и подвластного Афинам города в Малой Азии. Потидея с этим не согласилась, и он отправил туда для долгой, затянувшейся на два года осады внушительную армию, в которой и служили Сократ с молодым Алкивиадом.

Когда город пал, Перикл уже покинул сей мир.

Затем он влез в конфликт между Коринфом и островом Керкирой, расположенным далеко к северу от западных берегов Греции. Керкира попросила о помощи. Афины увидели шанс набрать несколько очков, теоретически соблюдая условия перемирия со Спартой. Перикл послал на Керкиру корабли для осуществления миссии мира и защиты тамошних афинских интересов: пока эти корабли не пришли на Керкиру, никакие афинские интересы там и не ночевали.

— Теперь вы сами видите, — жаловались коринфяне на совете, собранном в Спарте, — что Афины строят козни против вас и ваших союзников. На наш взгляд, вам еще никогда не приходилось задумываться о том, до какой степени афиняне во всем не схожи с вами.

И коринфский оратор подчеркнул контраст:

— Афиняне — сторонники новшеств, скоры на выдумку и умеют быстро осуществить свои планы. Вы же, напротив, ничего нового не выдумываете, а просто держитесь за старое.

Ответ афинской делегации никак не назовешь примирительным.

— Соображения справедливости никого еще не заставили упустить представившийся случай расширить свое могущество с помощью силы.

Слабый должен уступать сильнейшему, это всегда было правилом.

— Затяжная война, — предупредили афиняне, — обычно приносит обеим сторонам разного рода случайности, которыми управлять невозможно, и как сложится дело в конце концов — неясно.

Спартанцы склонялись к тому, чтобы противодействовать афинянам, однако их царь высказался за переговоры.

— Я советую пока не браться за оружие, а сначала отправить в Афины послов с жалобами. Если афиняне хоть в чем-нибудь уступят нашим послам — тем лучше.

Когда страна затевает войну, сказал он, закончить ее не так-то просто, и достичь почетного мира — дело тоже не легкое. Он боялся продолжительной войны, которая достанется в наследство их детям.

— И пусть вас не смущают упреки в медлительности и нерешительности. Эта черта, в сущности, есть только сознательная благоразумная политика.

Спарта объявила мобилизацию и направила в Афины посольство.

Перикл был непреклонен, он не верил в благотворность компромисса.

— Пусть вас не тревожит мысль, что вы начали войну из-за пустяков. Если вы уступите в одном пункте, то они тотчас же потребуют новых, еще больших уступок, полагая, что вы и на этот раз также уступите из страха.

Он счел нужным посоветовать афинянам то же, что и ранее:

— Вы должны поддержать общее решение, даже если нас постигнет неудача. Если они нападут на нашу землю по суше, то мы нападем на них на море. И мы не должны в порыве гнева вступать с ними в решающий бой, ибо они далеко превосходят нас силами. Если мы даже и победим на суше, то нам опять придется сражаться с ними. А потерпи мы неудачу, мы потеряем и наших союзников.

Афинам следует тянуть время на суше, позаботиться о флоте и не делать ничего, что могло бы поставить под угрозу сам город.

— Я опасаюсь гораздо больше наших собственных ошибок, чем вражеских замыслов. Нам следует иметь в виду, что война неизбежна.

Такова была речь Перикла.

В первый год войны Спарта, не встречая сопротивления, вторглась в Аттику и опустошила земли за городскими стенами, между тем как Афины послали к берегам Пелопоннеса боевые корабли, дабы они опустошили тамошние земли и разрушили укрепленные передовые посты.

Перикл собрал внутрь стен сельских жителей с их имуществом, а их овец и скот переправил на острова. Непривычные к городской жизни и не доверяющие горожанам, эти беженцы летней войны не выражали особого удовольствия ни по поводу места, в котором они очутились, ни по поводу жалких условий, в которых им приходилось существовать. Они находили место для жилья там, где могли, по преимуществу на городских улицах и между Длинными стенами. В остальном же жизнь в переполненном городе продолжалась своим чередом и торговля в гаванях шла по-прежнему бойко.

Теперь в городе не было, разумеется, сколько-нибудь значительной партии мира. Зато имелись две партии войны: партия Перикла, предпочитавшая ограниченную войну, и партия его противников, желавшая войны тотальной.

Спарта оставалась несокрушимой на суше, Афины — неодолимыми на море, так что свара могла продолжаться до тех пор, пока та и другое не встретятся.

Однако Перикл верил, что война будет недолгой: Спарте хватит одного только года, чтобы понять, что победа недостижима, и согласиться на мир без уступок, которых она прежде требовала.

Стратегия Перикла была безупречна.

Эта стратегия провалилась.

Осенью того же года, после окончания первого «сезона» войны, пелопоннесцы ушли домой, на запад, их беотийские союзники вернулись в свои города на севере, Еврипид поставил свою «Медею», а Перикл произнес изысканную погребальную речь, написанную для него Фукидидом примерно через тридцать лет после того, как он ее произнес.

Останки павших погребли в государственной гробнице, располагавшейся в красивейшем предместье города. Когда наступил его черед говорить, Перикл вышел на высоко поднятый помост для того, чтобы слова его были слышны как можно дальше в толпе.

Его речь была данью величию Афин. Сказанное им о погибших говорилось и раньше на подобных же церемониях. Сказанное о городе невозможно было сказать ни о каком другом.

Афины — школа всей Эллады, сказал Перикл, пример для всей Греции, город, государственное устройство которого не подражает чужеземным установлениям, но являет пример для других.

И вправду это был город, куда стекались все греки, которым было что сказать или показать, дабы явить свои способности и получить им заслуженную оценку.

— И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, — сказал Перикл, — то наш государственный строй называется демократией.

Он не стал извиняться ни за развязывание войны, ни за создание империи.

Предки афинян своей доблестью сохранили свободу страны до нашего времени. А их отцы умножили полученное ими наследство, создав империю, которой Афины теперь владеют, и оставив ее ныне живущему поколению афинян.

На улицах и в лавках города можно услышать все языки мира.

— Когда труды наши кончаются, — сказал он, — мы предаемся разнообразным развлечениям для отдохновения наших душ, и наслаждение, которое мы находим в них, помогает рассеять заботы повседневной жизни. И со всего света в наши порты стекается все необходимое, и мы пользуемся иноземными благами не менее свободно, чем произведениями нашей страны.

Он сомневается, сказал Перикл, что в мире есть иное место, где можно найти человека, наделенного способностями столь же разнообразными, каковы они у афинян. Только Афины, если вдуматься, превосходят величием собственную славу, и будущие века станут дивиться им, как дивятся нынешние.

— Чтобы прославить нас, не нужно Гомера.

Все моря и земли открыла перед ними их отвага и повсюду воздвигла вечные памятники их бедствий и побед.

Склонность к прекрасному они развивают без расточительности, а любовь к наукам — не в ущерб силе духа.

Признание в бедности у них, сказал он, не является позором, но больший позор они видят в том, что человек не стремится избавиться от нее трудом.

— Только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем.

Здесь не существует государственной тайны.

— Мы всем разрешаем посещать наш город и никогда не препятствуем знакомиться и осматривать его из страха, что противник может извлечь из этого пользу.

Афинянам не приходится обращаться к вождям враждебных государств, чтобы узнать, снова ли собственные вожди им наврали или сказали в конце концов правду.

В частной же жизни они свободны и терпимы.

— Не только в общественной жизни мы остаемся свободными, но также свободны мы и от подозрительности друг к другу в делах повседневной жизни. Мы не питаем неприязни к соседу, если он поступает отлично от нас, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. При этом мы повинуемся властям и законам, законам писаным, а также тем, что хоть и не писаны, но нарушение коих все почитают постыдным.

Он мог бы, сказал Перикл, подвигнуть их словами на то, чтобы они и впредь противостояли вражеской осаде — будущей весной и летом, когда битва вокруг Афин возобновится.

— Но я предпочел бы, чтобы вашим взорам повседневно представала мощь и краса Афин, и тогда вы станете ее восторженными почитателями. И, радуясь величию нашего города, думайте о том, что все это создали доблестные люди, которые знали, что такое долг, и вдохновлялись в час испытаний высоким чувством чести; которые, даже при неудаче, все же не могли допустить, чтобы город из-за этого лишился их доблести, и добровольно принесли ему в жертву прекраснейший из даров, какой только могли предложить.

Он призвал уцелевших принять этих людей за образец и, «считая за счастье свободу, а за свободу — мужество, смотреть в лицо военным опасностям».

Щедрость Афин в отношении ее союзников он преувеличил, как и вечную память, уготованную тем, которых хоронили в тот день.

В остальном же сказанное им было, до известной степени, правдой.

17

На второй год войны теснота в городе была несколько разрежена моровой язвой. Погибла примерно треть населения.

Фукидид тоже пострадал от этой болезни, но выжил, чтобы рассказать нам о ней.

Впервые болезнь началась в Эфиопии и распространилась на Египет. В Афины она проникла через Пирей, жители которого поначалу думали, что это приспешники Спарты отравляют их цистерны. Затем болезнь пришла в верхний город, и тогда стало умирать гораздо больше людей. Ведь население города удваивалось всякий раз, как в него сбегались сельские жители.

У людей, до той поры совершенно здоровых, вдруг появлялся сильный жар в голове, а затем покраснение и воспаление глаз и внутренней части рта. Глотка и язык становились кроваво-красными. Дыхание — прерывистым и зловонным. Вскоре больной начинал чихать и хрипеть, и через недолгое время болезнь переходила в грудь, вызывая сильный кашель. Когда же она проникала в брюшную полость, то начиналась рвота с выделением желчи всех разновидностей, известных врачам. Тело больного было не слишком горячим на ощупь. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести веса даже тончайших кисейных покрывал и им оставалось только лежать нагими, а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Их мучила неутолимая жажда. Большинство умирало на седьмой или девятый день. У тех же, кто смог выжить, болезнь поражала крайние части тела: половые органы, пальцы на руках и ногах, иные даже слепли. Были и такие, кто, выздоровев, совершенно терял память и не узнавал ни самих себя, ни своих друзей.

Все это очень похоже на тиф.

Хотя много покойников оставалось непогребенными, птицы и четвероногие животные, питающиеся трупами, к ним не прикасались, а прикоснувшись, умирали тоже.

Больше всего погибло врачей, поскольку они чаще других соприкасались с больными. Средств от болезни так никаких и не нашли, ибо то, что одним приносило пользу, другим вредило.

И от иных доступных человеку ухищрений проку было мало.

Обращения к оракулам и моления в храмах оказались напрасными, и в конце кон-

цов недуг взял над людьми такую власть, что они и думать забыли о подобных средствах.

Но самым страшным во всем этом бедствии был упадок духа: как только человек понимал, что заразился, он сразу впадал в уныние и уже более не сопротивлялся болезни.

Ужасно и то, что люди заражались, ухаживая друг за другом, и умирали как овцы.

Это и стало главной причиной большего числа смертей, ибо, когда люди из боязни заразы избегали посещать больных, те умирали из-за отсутствия ухода, а если кто навещал больных, то погибал сам.

Больше всего проявляли участие к больным и умирающим люди, сами уже перенесшие болезнь, так как им было известно ее течение и они считали себя в безопасности от вторичного заражения. И выздоровевших не только превозносили как счастливцев, но и сами они тешили себя безрассудной фантазией, что теперь никакая другая болезнь не будет для них смертельной.

Бедствие отягощалось еще наплывом в город беженцев из всей страны, поскольку жилищ для них не хватало. Живя в храмах, в башнях стен, под открытым небом или в душных по жаркому времени лачугах, они умирали при полном беспорядке.

Умирающие лежали друг на друге; полумертвые, они перекатывались по улицам или сбивались, мучимые жаждой, к колодцам.

Недуг казался столь неодолимым, что люди, не зная, что станется с ними завтра, теряли уважение к любым законам, божеским и человеческим.

Все прежние погребальные обычаи теперь совершенно не соблюдались, каждый хоронил своего покойника как мог. Одни складывали мертвецов на чужие погребальные костры и сами их поджигали, другие наваливали принесенные с собой тела поверх уже горевших костров, а сами уходили.

И в иных отношениях моровое поветрие привело к беззакониям, до той поры невиданным. Поступки, которые раньше совершались лишь тайком, теперь творились с бесстыдной откровенностью. Люди старались побыстрее потратить деньги на те чувственные наслаждения, какие первыми подворачивались под руку, полагая, что жизнь и богатство одинаково преходящи.

И никто уже не тяготел к тому, что почиталось за честь, поскольку не знал, не умрет ли, прежде чем сумеет достичь ее.

Какой прок в благом поведении, если никакого блага от него все равно не дождешься?

Полезным и прекрасным теперь считалось минутное наслаждение.

Ни страх перед богами, ни страх перед законом уже никого не сдерживал.

Что до богов, то казалось — почитай их или нет, все будет едино, поскольку и добродетельные и нечестивые мерли одинаково.

Что до законов человеческих, никто не был уверен, что доживет до той поры, когда его притянут к ответу за дурные дела.

Таково было бедствие, постигшее афинян и жестоко их угнетавшее: в стенах города народ погибал от болезни, а землю разоряли неприятели.

Женщины гибли тоже.

Сестра Перикла.

Да и сам Перикл заразился и умер.

Но он еще успел увидеть гибель сына, с которым поссорился из-за денег. Вражда между ними так и не ослабла.

Он увидел и смерть младшего из двух своих законных сыновей. Когда пришло время надеть погребальный венок на труп младшего сына, он при всех разразился рыданиями, и слезы полились из его глаз, чего раньше не бывало с ним никогда.

Народ винил его во всех бедствиях афинян. Бедные, которым терять было особенно нечего, лишились и той малости, какую имели; богатые же лишались загородных имений, домов и дорогой мебели. А хуже всего было то, что война продолжалась.

Желая мира, они отправили в Спарту послов, но те вернулись, ничего не добившись.

Спарта уже успела перенять у Афин одно золотое правило: никогда не вступать в переговоры с позиции силы.

Сознавая горечь, с которой граждане во всем винили его, и необходимость успокоить город, Перикл созвал Народное собрание. Он обратился к пришедшим с резкой речью, последней из его великолепных речей, воссозданных Фукидидом не без помощи своего собственного немалого ораторского дара.

— Я ожидал вспышки вашего негодования против меня, — сказал он в начале речи. — Подавленные вашими домашними невзгодами, вы обвиняете и меня, убедившего вас воевать, и самих себя, проголосовавших за войну.

В этой речи он сказал гражданам правду, которую опускал в других: их ненавидят.

— Не думайте, что вы сражаетесь за одну лишь свободу. Нет! Утрата империи породит также опасность со стороны тех, чью ненависть мы возбудили, господствуя над ними.

Он также сказал согражданам, кто они такие: тираны.

— К нынешнему времени империя, которой мы владеем, подобна тирании, добиваться которой, может быть, и несправедливо, отказаться же от нее — весьма опасно.

Быть некое время ненавидимыми и порицаемыми — это общая участь, подчеркнул он, всех, стремящихся господствовать над другими.

То, что демократическое государство владеет империей, никому странным не показалось.

В конце концов народ проголосовал за то, чтобы оставить власть Периклу и придерживаться его терпеливой стратегии в надежде выиграть войну.

Перикл сам отплыл во главе флота из ста кораблей, включая и транспортные суда его собственной конструкции, несшие четыре тысячи вооруженных гоплитов и триста всадников, дабы захватить укрепленный город в южном Пелопоннесе и разорить земли и города, лежащие вдоль береговой линии. Земли он разорил, а с городом потерпел неудачу.

Он отправил те же суда, груженные осадными машинами, на север, чтобы покончить с сопротивлением Потидеи. Помимо прочего, они привезли с собой моровое поветрие. Корабли вернулись домой. Еще до их возвращения болезнь за сорок дней унесла тысячу пятьдесят гоплитов из начальных четырех тысяч.

Народ проголосовал за отставку Перикла и призвал его к суду по обвинению в растрате денег, которые пошли пятнадцать лет назад на взятку спартанскому царю.

Перикла сочли виновным и наложили на него штраф.

Затем народ проголосовал за возвращение Перикла к власти, поскольку хорошо сознавал, что никого лучшего для общественной службы ему все равно не найти, ибо не было в Афинах другого человека, способного, подобно Периклу, не только определить правильную политику, но и провести ее в жизнь, — человека, являющегося не просто патриотом, но патриотом еще и честным.

По названию это было правление народа, сиречь демократия, говорит Фукидид, а на деле — власть первого гражданина.

Истинная демократия наконец-то восторжествовала в Афинах лишь после смерти Перикла: правительственная власть перешла в руки дельцов, и тем самым город был обречен.

Демократия и свободное предпринимательство всегда идут рука об руку и всегда недовольны друг дружкой. Они идут рука об руку, оставаясь смертельными врагами, поскольку единственное, чем озабочено свободное предпринимательство, — это свобода предпринимательства. Потребность в справедливости в счет не идет.

Социализм оказался ничем не лучше, и даже Платон ко времени написания им «Законов» пересмотрел свои взгляды на общинную собственность.

Справедливое правительство существовать в цивилизованном мире не может. Об остальном мире у нас точных сведений не имеется.

Возвращенный к власти и восстановленный в должности Перикл обратился к согражданам со смиренной просьбой. И Афины специальным постановлением даровали гражданство его рожденному Аспасией сыну. Род Перикла не прервался, сын его мог занимать государственные должности.

В последней сцене присутствует некая Софоклова ирония.

Сын Перикла дослужился до адмирала и был среди тех, кого двадцать восемь лет спустя казнили после победы в морском сражении при Аргинузах.

Отец Перикла разбил персов при Микале и Геллеспонте, что пошло на благо всем грекам.

Перикл заслужил свои трофеи, побивая греков на благо Афин.

Десять лет назад, подавив восстание на Самосе, Перикл позаботился о том, чтобы погибших в этой войне похоронили с почетом, и произнес первую из своих надгробных речей, которая еще лет пятьсот цитировалась греками вроде Плутарха. Это в ней он сказал, что Афины лишились своей юности и год лишился весны. Когда он сходил с ораторской трибуны, женщины сбежались, чтобы воздать ему хвалы и возложить на него венки и ленты, как на победителя в состязаниях.

Все, кроме одной, сестры его предшественника Кимона, которого Перикл изгнал из города и место которого занял.

Она с сарказмом сказала ему:

— Храбрые дела совершил ты, Перикл, и достойные наших венков, погубив у нас так много доблестных граждан не в войне с финикийцами или персами, как мой брат и твой отец, а разрушая родственный и союзный город.

Спокойно улыбнувшись, Олимпиец ответил:

— Не стала бы старуха миром мазаться.

Я не единственный, кто и понятия не имеет, что он хотел сказать.

IX. На чьей стороне они были?

18

Никто ни в Афинах, ни в Спарте не смог бы объяснить, почему вообще между этими великими державами завязалась долгая война. Между ними не возникало ни торговых, ни территориальных споров. К особым захватам ни та ни другая не стремились. Спарта не нуждалась в морских портах Аттики, Афинам не требовались пахотные земли Пелопоннеса. Ни одна из сторон не желала поселиться на землях другой. Когда война завершилась, Спарта вернулась восвояси.

Тем не менее, как только война началась, стало казаться естественным, что она началась и, начавшись, продолжается. Афины выделяли на ведение войн определенные деньги и установили закон, карающий смертью всякого, кто предложит использовать их на что-либо иное. Поколение Платона не знало ничего, кроме войны, и не видело иного правительства, кроме военного командования.

Война представлялась естественной, как само естество.

Летом четвертого ее года пелопоннесцы и их союзники снова вторглись в Аттику. На этот раз они задержались на более долгий срок, да и корабли их начали действовать поактивнее, поскольку олигархи Митилены, крупнейшего на острове Лесбос города, сговорились со Спартой и восстали, стремясь освободиться от союза с Афинами.

Афины ответили десантом в тысячу гоплитов. Они высадились на Лесбосе и окружили город стеной. Митилена оказалась блокированной и с моря, и с суши.

Олигархи, руководимые спартанским военным советником, выдали гражданам города тяжелое вооружение. А граждане, вооружившись, отказались повиноваться властям и пригрозили сдать город, если им не предоставят равного голоса при решении государственных вопросов. Опасаясь, что они так и сделают, олигархи сами сдались афинянам при условии, что им разрешат отправить в Афины посольство, которое сможет оправдать их поступки, и что ни один из граждан Митилены не будет взят под стражу, обращен в рабство или казнен до тех пор, пока не поступит приговор, вынесенный гражданами Афин.

Приговор граждан Афин состоял в том, чтобы перебить их всех до единого — всех способных воевать мужчин города, включая и тех демократов, которые добились его сдачи, — а женщин и детей продать в рабство. Корабль с этим распоряжением ушел в тот же день.

Гнев афинян был вызван тем обстоятельством, что Митилена восстала, являясь не подвластным государством, а таким, которому разрешено было сохранить автономию и свободу.

Никакого особого противоречия афиняне тут не заметили.

Впрочем, проснувшись на следующий день, многие афиняне раскаялись в своей поспешности, ибо им пришло в голову, что решение, которое они приняли — уничтожить все население города, а не только тех, кто повинен в преступлении, — отличается чудовищной жестокостью. Когда таковые сомнения стали выражаться открыто, власти собрали народ, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.

Клеон пришел в ярость, поскольку предложение, за которое проголосовали афиняне — перебить мужчин Митилены, — исходило от него.

— На чьей ты стороне? — ревел он, обращаясь к человеку, внесшему предложение о пересмотре решения.

— Мне и прежде уже не раз приходилось убеждаться, — возопил Клеон, с презрением оглядев Народное собрание, — в неспособности демократии править империей! Проявляя сейчас снисхождение к Митилене, вы обнаруживаете мягкосердечие, которое вам принесет лишь опасность, а благодарности от союзников и подвластных городов вы никакой не получите, и любить вас сильнее они не станут.

И в язвительном раздражении Клеон повторил слова Перикла, чью стратегию ограниченной войны он отверг.

— Вы никак не желаете понять, что демократическая империя, которой вы владеете, стала ныне тираном, деспотией, навязанной вами подданным против их воли, ибо они повинуются вам лишь потому, что ничего другого им не остается. На дружбу их не рассчитывайте: они подчиняются нашему владычеству, лишь уступая силе.

Людям, настаивал он, по натуре их свойственно презирать того, кто перед ними заискивает, и, напротив, уважать тех, кто не дает им спуску.

— Сегодня я вновь увидел, что из простых и немудрящих людей выходят гораздо лучшие граждане, чем из людей более образованных, и что государство лучше управляется людьми средними, нежели теми, кто образован и желает выглядеть мудрецом.

Последние вечно норовят доказать, что они умнее вождей и законов. Вопросы величайшей важности нужны им лишь для того, чтобы показать, как много слов они знают, будто нет ничего значительнее их речей и мнений.

— А вследствие этого они обычно приводят свое государство к краху.

Наилучшая месть — это месть скорая.

— Если же месть задерживается из-за споров, как это происходит сейчас, меч гнева тупится.

Кто из них, глумливо полюбопытствовал он, осмелится не согласиться с ним и выступить с опровержением истины, которая самоочевидна? Наверное, это будет человек, настолько опьяненный собственным красноречием, что ему представляется, будто он способен околдовать их словами, заставив принять за истину то, что повсеместно считается ложью. Или человек, подкупленный и тайно переметнувшийся на сторону врага, а потому старающийся обмануть их и соблазнить.

О себе Клеон сказал так:

— Я остаюсь при прежнем моем мнении и удивляюсь тем, кто предложил пересмотреть вопрос о Митилене. Нечего нам винить аристократов и оставлять безнаказанным народ — все они действовали единодушно, восставая против нас. Ведь если они восстали по справедливости, значит, вы не вправе господствовать над ними. Если же вы хотите сохранить империю, вам надлежит, не помышляя о справедливости, покарать их с той поспешностью, которая отвечает вашим интересам. Иначе вам придется отказаться

от империи и мирно красоваться своим великодушием, которое вы тут проповедуете.

Он предостерег сограждан, дабы те не верили никому, кто осмелится высказать несогласие с ним: дебаты не развлечение, а граждане не зрители на риторическом состязании, но мужи, собравшиеся на совет, касающийся процветания государства.

Диодот — так звали человека, выступившего против него.

— Наиболее опасны из нас люди, подобные Клеону, — сказал он, — человеку, заранее обвиняющему ораторов, которые, как он знает, оспорят его взгляды вовсе не потому, что их подкупили деньгами, или потому, что они предают интересы Афин. Хороший гражданин должен доказывать свою правоту не путем запугивания противника, а в честном споре, как равный с равным. Эти же люди понимают, что, не имея способностей, необходимых для того, чтобы словами скрасить некрасивое дело, они умеют зато хорошо клеветать и тем устрашать своих противников и слушателей. А это наносит ущерб демократическому государству, ибо страх лишает его лучших советников.

Диодот утверждал, что наказание только тех, кто повинен в мятеже, пойдет на пользу Афинам, тем же, кто в мятеже не повинен, следует предоставить возможность и дальше жить в мире.

— При начале всякой войны народная партия восставших городов сперва принимает вашу сторону. Если же вы велите казнить весь народ Митилены, все будут знать, что вы будете одинаково карать как виновных, так и невинных. А оттого каждый раз, когда кто-то будет восставать против нас, его придется поддерживать всем, что и требуется нашим врагам. Я же полагаю, что, даже если некоторая часть населения повинна, вы должны смотреть на это сквозь пальцы, дабы и те немногие, кто еще остался у нас в друзьях, не перешли во вражеский лагерь.

На этот раз Клеон проиграл, недобрав, впрочем, совсем небольшое число голосов.

Афины немедля и в спешке выслали вторую трирему с драматической миссией милосердия.

Трирема, несущая приказы, отменяющие первое распоряжение, всю ночь шла на веслах, гребцы по очереди ели, спали и гребли, не останавливаясь ни на миг. А поскольку судно, высланное раньше, не особенно спешило доставить столь ужасный приказ, между тем как вторым судном правила надежда, то, хоть первое и вышло раньше и на место пришло скорее, второе отстало от него совсем ненамного, придя еще до того, как был выполнен ужасный приказ.

Вот эта малость и спасла Митилену.

Стены города были разрушены, афиняне забрали себе весь флот Митилены. Землю поделили по жребию между посланными на Лесбос афинскими колонистами, которые отдали ее для обработки митиленцам в аренду.

Женщины и дети Митилены остались свободными. Мужчины же, вина которых была наиболее тяжкой, по предложению Клеона были казнены в Афинах. Число их превысило тысячу.

19

Примерно в это же время защитники демократического города Платеи, не способные к дальнейшему сопротивлению без помощи, которой не могли предоставить им Афины Клеона, сдались спартанцам на тех условиях, что мужчин города будут судить поодиночке и никто, кроме тех, кого сочтут повинными в преступлении, наказан не будет.

Слово спартанцев считалось в ту пору таким же крепким, как слово голландского купца при сделках, совершавшихся в куда более позднее время.

Спартанские судьи разбирались с каждым из мужчин по отдельности, задавая каждому один и тот же вопрос: «Какие услуги ты оказал во время этой войны нам и нашим союзникам?»

После чего их по одному отводили в сторонку и убивали, и убили всех до последнего.

Так погибло более двух сотен платейцев, вместе с двадцатью пятью афинянами, помогавшими им при осаде. Женщин продали в рабство. Маленький город, девяносто три года остававшийся демократическим союзником Афин, был разрушен до основания и стерт с лица земли в тот самый год, когда на свет появился Платон.

20

Опять-таки в это же время разразилась гражданская война на Керкире, известной нам ныне как остров Корфу, а вскоре она перекинулась почти на весь греческий мир. Поскольку Керкира была первой, случившееся на ней запомнилось крепче всего. А именно: тайная организация восьмидесяти олигархов задумала, при поддержке Коринфа, силой свергнуть демократическое правительство. Неожиданно напав на Сенат, они закололи кинжалами и главу демократического государства, и с ним еще человек шестьдесят, как сенаторов, так и частных лиц.

Однако народ восстал против олигархов и отогнал их, отчего и началась гражданская война.

И если в мирное время никакая из партий, участвующих в гражданских распрях, не имела ни предлога, ни склонности просить о вторжении Афины либо Спарту, то теперь, когда два этих государства воевали, каждая партия любого из городов, возжелав революции, легко находила себе союзников, помогавших ей одним ударом сокрушить противника и укрепить свои позиции.

Там, где ведется война, есть и поборники войны, так что демагог Клеон отвергал предложения Спарты о мире, содержавшие условия, которые определенно принял бы Перикл.

То, что демократия может быть настолько воинственной, ничуть не странно.

То, что демократия может отказывать всем прочим в правах, которые для себя почитает естественными, тоже мало кого удивляет.

— На чьей вы стороне? — вот издевательский вопрос, с которым то и дело обращался к своим оппонентам Клеон и поддерживающий его радикальный кружок дельцов и милитаристов.

Людей, которые противились его военной политике и мешали его администрации присваивать непомерные полномочия, он злобно обличал как трусов, предателей, проспартанцев и неафинян.

Каждая из воюющих друг с дружкой партий провозглашала, что борется за свободу.

И каждая была права.

Демократы боролись с тиранией меньшинства.

Олигархи боролись с тиранией большинства.

В общем же и целом, богатые поглядывали в сторону Спарты, а бедные и не очень — в сторону Афин.

И Спарта, и Афины именовали членов тех партий, которых они поддерживали, «бойцами свободы».

И та и другая имели для этого основания.

Все эти партии боролись за свободу от правления других партий.

Клеон произносил громовые речи о заговоре «столь обширном», что он способен оледенить сердце всякого афинянина, в жилах которого течет горячая кровь. Он заявил, что может сию же минуту представить список трехсот пятидесяти афинян, питающих изменнические пролакедемонианские настроения.

Каждый, кто не был сторонником войны, являлся сторонником лакедемонян.

— На чьей вы стороне? — завывал и взрыкивал он, стуча ногами в помост Народного собрания. То же самое он заставлял повторять и публиковать членов своего кабинета и сочинителей его речей.

Клеон добивался, чтобы ему развязали руки по всем статьям, обвиняя каждого Кле-

на Народного собрания, каждого государственного деятеля и каждого военачальника, который ему противился, в том, что тот является либо ненамеренным прислужником спартанизма, либо намеренным приспешником спартанского правительства, если не хуже.

— Мы видим здесь, — орал он, стоя на подиуме, — подрывное влияние сторонников спартанского правительства, предпринимающего очень хорошо организованные усилия по воздействию на голосование членов Народного собрания. При нашей системе свободного управления такие влияния не считаются преступлением, носящим антиафинский характер, — соглашался Клеон, — но это не означает, что мы можем им попустительствовать.

Когда ему недоставало фактов, он разглагольствовал о моральных обязательствах по предоставлению военной помощи всем партиям и партийкам других городов, которые таковой помощи просят.

— Позорное поражение наших союзников в каком бы то ни было городе, — заклинал он собрание, — все равно вынудит нас ввести туда наши войска.

Он старался не упоминать о том обстоятельстве, что то один, то другой союзник Афин неизменно противился проводимой афинянами политике и что многие из кровопролитных войн, развязанных демократическими Афинами, были направлены против союзников, возмечтавших о независимости и праве на самоопределение.

То, что в Митилене, на Керкире и в некоторых других городах олигархические движения выпестовали заговоры, направленные на насильственное свержение демократических правительств, отчасти подкрепляло приводимые им аргументы и сообщало некоторую достоверность его доводам.

Он был циником, который, вероятно, и сам не до конца верил в собственные сенсационные россказни. Однако он понимал, что эти россказни помогут его политической карьере, и наслаждался властью над чувствами своих слушателей. Всякий знал, что на него работают осведомители; никто не знал, кто они и сколько их. Даже люди, которые не были его осведомителями, похвалялись своей принадлежностью к агентам правительства, а правду они говорят или врут — никто толком сказать не мог.

Предпочитавшие мир патриоты вроде Аристофана были ославлены как подстрекатели мятежа. Клеон призвал Аристофана к суду за пьесу, в которой тот винил Перикла в развязывании войны, а Клеона и афинян в том, что они ее продолжают.

Поскольку в Афинах существовала свобода слова, Аристофана оправдали.

На следующий год, в комедии «Ахарнейцы», Аристофан ответил ударом, нанесенным со сцены театра, заявив, что ненавидит Клеона, с которого следовало бы содрать кожу на сапоги для всадников, что Клеон притащил его в Совет, чтобы покончить с ним, и разразился бесконечным потоком клеветы, бурей брани, потопом лжи; при этом Аристофан обвинил Клеона в мошенничествах и интригах, назвав его девкой, отдающейся тем, кто больше заплатит.

На следующий год, во «Всадниках», он назвал Клеона «пафлагонийским дубильщиком», «наглым негодяем», «воплощением клеветы», высокомерным и бесчестным рабом, который делает жизнь других людей нестерпимой и от которого нужно избавиться, «свирепым хозяином», «ненасытным пожирателем бобов», который «громко пукает и храпит», «злюкой», «раболепной дворнягой», «скандалистом», «отвратником», «зияющей прорвой награбленного добра», «мерзавцем тысячу раз на дню», «притворой», «унылым плутом», «вором», «мошенником, перескакивающим от одного вымогательства к другому» и «гребущим обеими руками из общественной казны», «ревизором задниц», обладающим «образованностью свиньи», человеком, день смерти которого станет счастливым днем для всех афинян и для их потомства.

Все это Аристофан писал о единовластном правителе военного времени, достигшем пика своей популярности.

Афины проголосовали за присуждение обеим пьесам первых наград.

Как и за то, чтобы Клеон продолжал войну.

— На чьей вы стороне? — словно в бреду, разорялся Клеон. — Это голосование

относительно военной помощи и действий, которых я требую, покажет, стоит ли демократическая партия за меня и за интересы свободных Афин или за олигархов Спарты и Коринфа, не делающих тайны из своего намерения уничтожить Афины и все, за что мы выступаем.

Начав войну, Афины и Спарта почитали нормальным сеять раздоры в городах, склоняющихся на сторону противника. Там, где несогласие отсутствовало, они изо всех сил старались его посеять. Каждая из сторон погрязла в заговорах, имевших целью переманить в свой лагерь либо свергнуть — силой или иными средствами — правительства даже тех городов, которые желали остаться нейтральными. Беспорядки распространились по всему этому третьему миру, и олигархи, подстрекаемые Спартой, строили козни и восставали против демократов, а демократы, подстрекаемые Афинами, строили козни и восставали против олигархов.

И оттого мир греков постигли многие горести и бедствия, каковые случались и будут случаться до той поры, пока не изменится сама природа человека.

В пору мира и процветания государства даже отдельные личности проникаются сравнительно мягкими чувствами, война же, при которой людям уже не удается легко удовлетворять свои повседневные нужды, является, как говорит Фукидид, учителем насилия, сообщающим большей части людей черты и привычки, вполне отвечающие тем условиям, в которых они существуют.

Происходила порча языка.

Обычное восприятие слов в их отношении к вещам изменялось в соответствии с представлениями людей.

Безрассудная отвага воспринималась теперь как доблестная верность своей партии.

Благоразумная осмотрительность — как замаскированная трусость.

Умеренность — как личина постыдного для мужчины малодушия.

А умение видеть все стороны вопроса означало, что обладающий им человек ни на какие действия не способен.

Безудержная вспыльчивость признавалась подлинным достоинством мужа, а склонность к осторожному обдумыванию — благовидным предлогом, позволяющим уклониться от действия.

Горячие головы вызывали доверие, а те, кто с ними спорил, — подозрение.

Человек, преуспевший в составлении какого угодно заговора за спиною врага, признавался проницательным мудрецом, а человек, раскрывший заговор прежде, чем тот созрел, — мудрецом еще большим.

С другой стороны, о человеке, к заговорам не склонном, говорили, что он подрывает единство партии, что он-де трус, испугавшийся противника.

Короче говоря, ударить первым того, от кого ожидаешь вреда, считалось делом столь же похвальным, как и донести на того, кто никому никакого вреда причинять не желает.

Отомстить же было куда важнее, чем не потерпеть ущерба, дающего повод для мести.

Победа, достигнутая путем предательства, приносила победителю звание человека, обладающего великим умом.

И то сказать, большая часть мерзавцев предпочитает слыть скорее ловкими плутами, нежели честными простаками. Первое звание наполняет их гордостью, второе — стыдом. Причина же всех этих зол — жажда власти, коренящаяся в алчности и честолюбии.

Ибо люди, возглавлявшие украшенные звучными названиями партии обеих сторон, хоть и провозглашали кто «равноправие народных масс перед законом», кто «ограниченное владычество знати», кто «надежное и твердое правление консервативной аристократии», на деле стремились к единоличному господству над государственной машиной.

В этой борьбе за власть не существовало запрещенных приемов, и все эти люди упивались недолгой враждой, вынося неправедные обвинительные приговоры или насилием одолевая противников.

Что же до граждан умеренных, ни к одной из партий не примкнувших, то этих лупи-

ли с обеих сторон — либо за нежелание участвовать в общем деле, либо из чистой зависти к тому, что они глядишь да и выживут.

Так и получилось, что в результате всех этих революций греческий мир пропитался порочностью в чистом ее виде, отчего простейший взгляд на вещи, всегда служивший отличительным признаком благородных натур, стал предметом презрительных насмешек и понемногу сгинул, тогда как взаимная вражда двух идеологически различных миров в сочетании с всеобщим недоверием распространилась повсеместно.

И в массе своей наибольшую живучесть проявили люди с подлым складом ума, они-то и вышли победителями.

Эти люди начинали действовать не задумываясь. С другой стороны, их противники, полагавшие, будто нет никакого смысла приобретать посредством действия то, что достижимо рассуждением и познанием, утрачивали осмотрительность, облегчая тем самым задачу их уничтожения, отчего и гибли в больших количествах.

Природа человека, восторжествовавшая над законами и приобретшая обыкновение творить зло ни на какие законы невзирая, с радостью выявляла необузданность правящих ею страстей, враждуя со всем, что выше ее.

Именно на Керкире, окруженной шестьюдесятью афинскими кораблями, и произошло впервые большинство этих злодеяний, именно здесь люди в первый раз выказали страсти, владеющие ими в пору революции и гражданской войны.

Это уже было похуже морового поветрия.

Они похватали всех врагов, каких смогли отыскать, и всех казнили.

Затем они вошли в храм Геры, где, моля о защите, искали убежища остатки олигархической партии, не менее четырехсот человек. Около полусотни из этих людей они уговорили предстать перед судом и всех осудили на смерть.

Большая часть остальных, увидев, что происходит, решилась расстаться с жизнью прямо на этой священной земле. Одни повесились на деревьях, другие тоже управились с собой как сумели.

Все семь дней, которые оставался на острове командующий эскадрой с его шестьюдесятью кораблями, жители Керкиры продолжали резать тех своих сограждан, в которых видели личных врагов.

Смерть здесь царила во всех ее видах, и все ужасы, которым еще предстояло продолжиться в те времена, все произошли тогда на Керкире — и даже худшие.

Трудно поверить в это, но отцы убивали своих сыновей.

Легче поверить в то, что людей выволакивали из храмов и убивали на их ступенях, а то и резали на алтарях. Иных же замуровали в святилище Дионисия, где они и погибли.

Ответственность за окончательную резню, говорит Фукидид, следует во многом возложить на афинских военачальников: во-первых, они позволили обмануть себя и отдать населению пленных, сдавшихся под обещание, что им сохранят жизнь и судить их будут в Афинах; а во-вторых, они сочли разумным глядеть в другую сторону.

Керкиряне заперли пленных в большом здании. Затем они стали выводить их оттуда по двадцать человек, пропуская между двумя рядами гоплитов; связанные попарно пленники шли, получая удары дубинками и кинжалами от стоявших в два ряда людей, особенно усердствовали те, кто узнавал в проходящем личного врага. Следом шли люди с бичами, хлеща ими тех, кто, по их мнению, не слишком спешил.

Так из здания вывели около шестидесяти человек и всех убили без ведома тех, кто оставался внутри, полагая, что их товарищей отводят в какое-то другое место отсидки.

Когда же они поняли, что происходит, они воззвали к афинянам о помощи, говоря, что, если тем хочется видеть их мертвыми, пусть убьют их своими руками.

И они отказались выходить из здания и внутрь никого не впускали, насколько это им удавалось.

Керкиряне не стали ломать дверей. Взамен они забрались на крышу и, разобрав ее, стали швырять сверху черепицу и пускать стрелы.

Люди внизу пытались обороняться, как могли, и в то же время многие из них стали

убивать себя, вонзая в горло стрелы, пущенные врагами, или удавливаясь шнурами от каких-то нашедшихся в здании кроватей либо полосками ткани, нарезанными из собственных одежд.

И пока длилась ночь — ибо ночь пала на их несчастья, — все они погибли, кто убив себя тем или иным способом, кто — пораженный снарядами и стрелами, которые пускали в них засевшие на крыше люди.

Когда же настал день, керкиряне свалили тела на фуры, бросая их и вдоль и поперек, и сволокли за город, в общую могилу.

Захваченных женщин продали в рабство.

Так народная партия завершила затянувшуюся на долгое время революцию — по крайней мере в том, что касается этой войны; ибо в городе больше не осталось олигархов, которых стоило брать в расчет.

Афиняне же, увидев со своих кораблей, что порядок восстановлен, отплыли на Сицилию, дабы продолжить военные действия плечом к плечу с тамошними своими союзниками.

Война — учитель насилия, говорит Фукидид.

Ни одна из сторон не совершала жестокостей, которых не повторила бы другая.

Горло резали и там и тут.

В Афинах же жизнь текла обычным своим чередом. Несмотря на летние вторжения спартанцев, редко продолжавшиеся дольше сорока дней, были поставлены «Царь Эдип» и «Электра» Софокла, а также «Ипполит» Еврипида. Без перерывов проводились в греческом мире Олимпийские игры. Послы, шпионы и вожди террористов съезжались на спортивные соревнования, чтобы вступить в новые коалиции. Несколько позже Алкивиад устроил грандиозный спектакль, выставив на состязания квадриг семь экипажей, обошедшихся ему в небольшое состояние, и завоевав три из четырех первых призов. Празднуя эту победу, Алкивиад закатывал пиры и, желая показать, какое высокое положение занимает он у себя дома, использовал на них, как свою собственную, принадлежавшую Афинам серебряную посуду.

X. С деньгой нигде не пропадешь

21

Аристотель мог видеть, после того как Рембрандт приделал ему глаза, что человек, позирующий для него, ни в малой мере не похож на того, каким он себя помнил: низкорослого, кривоногого, лысого, с отчасти самодовольной, как у всякого денди, физиономией.

Этот человек был высок, желтолиц, с длинной черной бородой, черными же меланхоличными глазами и чертами не то славянскими, не то восточными, не то и вовсе семитскими.

Ему уже приходилось позировать Рембрандту. Так что они разговаривали как старые знакомые.

Они разговаривали о недвижимости.

Соседство меняется. Все больше евреев-сефардов перебирается на Бреестраат из квартала, расположенного совсем рядом, за углом. Неофициально и без какого-либо неодобрения улицу уже называют Юденбреестраат — это имя и закрепится за ней к концу столетия.

Рембрандта интересовало, не пойдут ли в итоге вниз цены на недвижимость. Его знакомый ничего об этом сказать не мог. Аристотель же полагал, что блокада и экономическая депрессия скажутся на ценах куда сильнее.

Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, кое-что уже понял в том мире, в

каком оказался, и пришел к заключению, что со времени его изгнания и смерти особых перемен к лучшему здесь не случилось. Шустрые страны вроде Голландии и Англии с их невеликими границами и все возрастающими флотами напоминали ему алчные Афины со множеством их шныряющих там и сям трирем. Обеим этим странам он предсказывал самый прискорбный конец.

Превращение городов-государств в государства национальные просто-напросто увеличило масштабы войн между ними, и те же прозаические и скучные катаклизмы, которыми отличались платоновские Афины, происходили спустя две тысячи лет и в рембрандтовских Нидерландах, где Аристотель начал неожиданно для себя самого воплощаться на мольберте Рембрандта, убедившись — отчего в глазах его появилось испуганно-изумленное выражение, которое Рембрандт не обинуясь пригасил и ослабил, — что живописец нимало не сомневается, будто это *его*, Аристотеля, и не кого иного, он возвращает к жизни.

В самом начале, когда Рембрандт, используя только черную краску, наносил прямо на холст очертания будущих фигур, Аристотель не мог с уверенностью сказать, кто тут появится. Когда же уверенность его окрепла, Аристотеля стало обуревать нетерпение, ему очень хотелось увидеть, на что он будет похож. Теперь он не взялся бы утверждать, что увиденное его сильно порадовало.

Протестантская Англия воевала с протестантским правительством Нидерландов. Католическая Испания воевала с католической Францией, между тем как католики истребляли евреев, живущих в Польше и на Балканах, а английские и шотландские протестанты истребляли католиков, живущих в католической Ирландии.

Зато крестовых походов никто больше не затевал.

Если все они дрались из-за денег, Аристотель мог бы им объяснить, что дело того не стоит. Истинные последователи Аристотеля сразу бы поняли, что дерутся эти люди из-за того, что, как он мог доказать логически, не имеет внутренней ценности. Правда, теперь он знал, что ни единый из истинных последователей Аристотеля ему бы не поверил.

Его «Политику» игнорировали и «Этику» тоже. Его научные выкладки, в течение многих веков принимавшиеся за святую истину, оказывались, одна за одной, ложными. Ему оставалось только дивиться, что кое-кто в Голландии все еще сохраняет о нем высокое мнение.

Аристотелю, размышляя о Рембрандте, пишущем «Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера», оставалось только дивиться, с какой стати Рембрандт, не знающий по-гречески ни аза, вообще взялся его писать и почему он пишет его не как-нибудь, а размышляющим над бюстом Гомера, смертельно ему надоевшего уже ко времени, когда он завершил редактирование «Илиады» для Александра. Спасибо Богу и за то, что Рембрандт не стал писать Гомера поющим или диктующим, как сделал он лет десять спустя, получив новый заказ от дона Антонио. Аристотель, как всякий взрослый человек, не любил, когда ему пели либо читали вслух.

Больше того, в своей «Поэтике» он неуважительно понизил Гомера в звании, поставив эпос ниже трагедии, как понизил в звании и Платона, что впервые было проделано им в сочинении, озаглавленном «О философии».

«Поэтики» он ныне стеснялся, и не только потому, что не смог ее закончить. Зачем, да простят его небеса, он расхаживал по Ликею, читая лекции об Эсхиле, Софокле и Еврипиде, когда Эсхил был мертв уже сто двадцать пять лет, а Софокл с Еврипидом — почти семьдесят пять?

Не обратился ли он, сам того не замечая, спрашивал себя Аристотель, в одного из тех напыщенных и пренеприятных людей, которыми кишели Афины и которые обладали столь же истовыми, сколь и авторитетными мнениями по любому предмету и не менее истовой потребностью эти мнения высказать?

Аристотель писал о поэзии по тем же причинам, по каким писал о насекомых и звездах, составляющих предмет анализа, подведомственного философскому исследованию, — по причинам, не лучше тех, которые заставляли его писать о риторике. Он от всей души

надеялся, что другие не вспомнят о том, о чем сам он сокрушенно старался забыть: о том, что царственный создатель «Этики» и «Метафизики» не поднялся в своей «Риторике» выше людей, прибегающих к разного рода фокусам ради иллюзорной победы в споре, достигаемой, в сущности, посредством искусной игры словами, то есть тем, за что Аристофан осмеял Сократа в своих «Облаках», — попыткой придать жалким доводам вид достойный, а достойным — жалкий.

Разве это этично?

По мере того как работа у пишущего его Рембрандта подвигалась, Аристотель все больше мрачнел. Мглистая, серенькая европейская погода вполне отвечала его настроению. Когда опускался туман, влажный воздух города пропитывался смрадом селедки, пива и табака. Теперь, в Голландии, он порою впадал в пессимизм, достойный Платона.

От «торгашества», которое его здесь окружало, Платона, пожалуй, вырвало бы.

Странный он был человек, этот Платон, — так много написал о других, а о себе не оставил ни слова. Весь юмор, присущий ему, он отдал Сократу. Аристотель пытался представить, как на самом деле отнесся бы Сократ к Платону и его философии. Вероятно, не лучше, чем циник Диоген. И уж наверняка куда хуже, тут Аристотель готов был побиться о заклад — денежный, разумеется, — чем легковерный св. Августин, который, Аристотель в этом не сомневался, из чистого простодушия принял на веру гораздо больше Платоновых писаний, чем смог бы принять Сократ.

Сократ, театрализованный Платоном в большинстве его писаных подражаний живому подражанию человеку, был, в сущности говоря, скептиком и прагматиком.

Нужно было близко знать Платона, чтобы понять, какую любовь, хоть и подавленную самым пуританским манером, питал он к музыке, поэзии и драме, которые порицал в своей философии и отдал во власть цензуре в своем образцовом обществе. Уж слишком они его волновали.

В Голландии отсутствовали рабы — Аристотеля это открытие повергало в оторопелый ужас до тех пор, пока он не уяснил, что голландцам никаких рабов и не нужно: им всегда доставало бедняков, которые пахали, точно ниггеры, получая ровно столько, сколько требуется, чтобы кое-как протянуть до новой получки, выходя в море и воюя на стороне тех, кто больше платил. Взятые в плен английские моряки поступали на голландскую службу за плату лучшую и выдаваемую с большей регулярностью, нежели та, какую они могли надеяться получить из истощенной казны короля Карла II.

Африканских же ниггеров перевозили туда, где в них имелась необходимость, — в скудно населенный, изобильный новый мир обеих Америк. Аристотель завидовал рабовладельцам Бразилии, Виргинии и Каролин. В мечтах он рисовал себе растящих тростник жителей Испанской Америки, а также растящих табак и хлопок жителей Северной как людей, обладающих всем потребным для счастья (он когда-то составил подробный реестр) и проводящих все дни своей идиллической, мирной, исполненной достатка, душеутешительной жизни в непрестанных размышлениях о науке и философии.

Каждому человеку, написал Аристотель, от природы присуща потребность в знании.

Рембрандт был первым из обнаруженных им исключений.

Все, что хотелось знать Рембрандту в один из вечеров 1653 года, когда он выставил на рабочий стол ряды принадлежащих ему бюстов римских императоров и прославленных греков, это — много ли они принесут, если продать их под видом коллекции.

Может, при штучной продаже удастся выручить больше?

Высокий темнобородый мужчина с грустными глазами, позировавший Рембрандту для Аристотеля, не меньше Аристотеля удивился, узнав, что ему предстоит изображать Аристотеля. Теперь его еще пуще озадачила логическая непоследовательность и то, что он счел несообразностью в отношении и искусства, и хода Рембрандтовой мысли. Аристотель исподтишка поглядывал на этого человека, как тот скребет в затылке и попыхивает трубкой, недоуменно уставясь на два ряда бюстов, выставленных Рембрандтом, дабы он оценил их и поразмыслил над ними. Наконец мужчина сказал басом, в котором неизменно слышалась хрипотца и извиняющиеся нотки:

— Знаете, Рембрандт, я что-то не пойму. Вы говорите, здесь есть бюст Аристотеля?

— Да, и может быть, я его продам, — Рембрандт улыбнулся удовлетворенно, словно торговец, уверенный в своем товаре. — Есть также Гомер с Сократом. У меня и императоров больше дюжины. Вот, пожалуйста, Август, Тиберий, Калигула, Нерон, Гальба, Отон, Вителлий, Веспасиан, Тит Веспасиан, Домициан, а вон того зовут Силий Брут. Потом еще есть Агриппа, Марк Аврелий, снова Вителлий, ну а это и вовсе не поймешь кто — безымянный.

— Тогда разрешите я вас спрошу. Зачем вы пишете меня?

— Как это зачем?

— У вас же есть бюст Аристотеля. Зачем вам понадобилось писать Аристотеля с моим лицом, когда у вас есть лицо Аристотеля?

Рембрандт посуровел.

— Ваше мне больше нравится. Оно выглядит более настоящим.

— Более настоящим, чем его?

— Да.

— Мое лицо больше походит на лицо Аристотеля, чем его собственное?

— Вот именно. Вы хоть не слепой.

— Но как же...

— Я знаю, что делаю.

— Но разве это честно?

Рембрандт не понял, о чем он толкует.

— Это же искусство. Что вы волнуетесь? Это не портрет.

— По-моему, это нелогично. Вы пишете меня, а говорите, что это он. Стали бы вы писать его и уверять, будто это я?

— Да я мог его на этой картине назвать кем угодно. Лишь бы был философ. Я считаю, что должен дать этому сицилийцу, за его пятьсот гульденов, картину, изображающую философа, который выглядит настоящим человеком.

— Это вы обо мне? Так ведь я не настоящий философ.

— А я вас малость изменил. Вы вон и улыбаетесь чаще. И в бороду я рыжины добавил. Да вы хоть на одежду свою посмотрите.

— Разве это его одежда?

— А разве ваша?

— Нет, я на одежду не жалуюсь. Я спрашиваю о картине, на которой вы меня изображаете.

— Я не вас изображаю. Я изображаю Аристотеля.

— Что ж, хорошо хоть она не останется в Амстердаме, а то люди глядели бы на меня и думали, будто я — Аристотель. Должен признаться, сама картина мне нравится, хоть вы и вставили в нее меня, а говорите, будто это кто-то другой. Но я все равно не понимаю, зачем вам понадобилось для него мое лицо, когда у вас прямо здесь есть его собственное. Вы могли и его одеть в такой же костюм.

— Лицо у него не очень.

— Мы вот с вами говорим о нем, а он становится все грустнее, грустнее. Почему он у вас такой печальный?

Рембрандт довольно хмыкнул.

— Под этой шляпой да при такой одежде лицо Аристотеля выглядело бы ненатуральным. Кстати сказать, только ваше натуральным и выглядит. Не хотите же вы, чтобы я отправил сицилийцу-заказчику картину, на которой одна статуя размышляет над бюстом другой?

Мужчина тоже рассмеялся.

— Да еще подписав ее — «Рембрандт»?

— Вы опять передвинули мой медальон.

— Он не ваш. И здесь он мне больше нравится.

— Так вы никогда не закончите. На нем еще и лицо появилось. Вы небось даже знаете, чье оно?

— Александра, естественно.

— Кого?

— Александра Великого.

Рентгеновское исследование картины Рембрандта «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера» обнаружило множество раз повторявшиеся изменения в расположении медальона с лицом Александра, а также постепенное увеличение печени Аристотеля, несомненно связанное с кишечным расстройством, на которое он жаловался под конец жизни.

С точки зрения Аристотеля сам Рембрандт не был человеком ни особенно интересным, ни сколько-нибудь приятным, однако Аристотель раз за разом дивился тому, что он творит со светом и тенью, и его совершенно непостижимому алхимическому колдовству по части золота. Все трое были совершенно очарованы изменениями, которые Рембрандт произвел с одеждой натурщика, прилаживая ее на Аристотеля.

— Ему она идет больше, чем мне, — обиженно сказал натурщик.

— Я просто добавил цвета, — сказал Рембрандт. — Не мог же я раскрашивать одежду прямо на вас, верно?

Он нанес тонкий слой краски на другой, плотный, покрывавший шелковую мантию, и, добавив минерального лака, обогатил игру теней. Он позолотил свет на пышных рукавах Аристотеля и рассеял лучи золотых рефлексов по другим белым участкам. Смешав зеленое с сине-зеленым, он добавил их к волнистым складкам рукавов.

Золотая цепь стала почти рельефной, он густо нанес на нее белую краску и затем, слой за слоем, стал покрывать ее желтой, коричневой и черной. Именно так Рембрандт изготавливал золото для Аристотеля.

— Золото выглядит почти настоящим, — сказал натурщик.

— Оно и есть настоящее, — пробурчал Рембрандт. Он не отводил взгляда от холста. Теперь он немного менял розоватый перстень, нанося на плотные белые точки, покрывавшие его поверхность, другие — крохотные, беловато-желтые, отчего поверхность начинала блестеть, словно он и впрямь творил золото из запахов краски, пользуясь тонкой кистью, будто волшебной палочкой. — То, что на вас, — поддельное.

— Не понимаю.

— Я пишу чистое золото.

— Черной, коричневой и белой краской?

— А ваши украшения, они из золота накладного. Перстень, серьга, все остальное. Цепь так и вовсе медная. Подойдите поближе. Посмотрите на цепь и посмотрите на картину. Видите разницу? Это золото — настоящее.

Золото на полотне выглядело более подлинным.

— Я вообще-то не об этом хотел поговорить, — подавленно произнес натурщик. — Вот вы упомянули о подражании, — нерешительно начал он и примолк, неуверенный, стоит ли продолжать. — Вы знаете, что Говерт Флинк пользуется все большим успехом благодаря картинам, которые пишет в подражание вашим, вам и вашей манере?

— Флинк был моим лучшим учеником, — кивнув, снисходительно ответил Рембрандт. — Он уже знал немало, когда пришел ко мне. И меньше чем за год научился писать в моей манере.

Натурщик тоже кивнул.

— Говорят, он теперь пользуется даже большим успехом, чем вы. И получает за картины, которые похожи на ваши, много больше.

Очень медленно отложив мастихин и палитру, Рембрандт взял тяжелую кисть, дочиста вытер ее о свою тунику и стиснул, выставив вперед, будто нож, ее толстый конец. Аристотель испугался за свою жизнь. Рембрандт походил на человека, способного пронзить ему грудь.

— Не понял, — холодно сказал Рембрандт.

— Говорят, что он получает за свои картины больше денег, чем вы за ваши.

— За свои картины, похожие на мои?

— И за них тоже.

— Быть этого не может. Разве такое возможно?

— В Амстердаме возможно.

— Бессмыслица какая-то. Он получает за подражания моим работам больше, чем я за оригиналы?

— На них спрос больше.

— Да как это может быть? Зачем люди станут платить ему больше денег за подражания моим старым работам, когда они могут купить у меня оригинал?

— Говорят, его картины лучше.

— Это как же они могут быть лучше? У меня просто слов нет. Ладно, на сегодня хватит. И что еще говорят? Давайте уже, рассказывайте все.

— Ну, раз вы спрашиваете, — сказал натурщик, переодеваясь перед уходом в свои собственные строгие черные одежды. — Среди художников ходят разговоры, будто ваша экономка брюхата.

— А мне что за дело? — спросил Рембрандт.

— Говорят, это ваш ребенок, — сказал натурщик.

— А им что за дело?

— Всего доброго, друг мой. Да охранит вас Господь.

— И вас тоже.

Декарт женился на служанке, с которой сожительствовал. Рембрандт, придерживавшийся более высоких социальных стандартов, не позволил себе пасть столь низко. Он так и не женился на Хендрикье, хотя однажды и назвал ее в юридическом документе своей «покойной женой».

Когда ближе к вечеру явился, чтобы позировать для портрета, Ян Сикс, Рембрандт первым делом спросил его, правда ли то, что ему рассказали о Говерте Флинке.

Сикс полагал, что правда.

— Он был моим худшим учеником! — раздраженно воскликнул Рембрандт.

— Его репутация растет, — сказал Сикс. — Как и его связи. Скоро от него будут зависеть все заказы в городе.

— В этом нет никакой логики!

— Если вам требуется логика, — сказал, забавляясь, Сикс, — познакомьтесь с Декартом. Или побеседуйте вон с ним, с вашим Аристотелем. Он, к вашему сведению, довел силлогизм до совершенства.

Не желает Рембрандт беседовать ни с каким Аристотелем!

— Флинк получает за своих старых Рембрандтов больше, чем я за моих новых? И вы хотите заставить меня поверить в это?

— По-моему, именно так дела и обстоят. Я же не говорю, что это справедливо.

— Но почему такое могло случиться?

— По обычнейшим причинам делового характера, я полагаю. Люди считают его работы более ценными.

Рембрандт гневно всхрапнул.

— Изумительно. Вы говорите, что люди находят его подражания моим оригиналам более ценными, чем сами оригиналы? Люди находят их более ценными? Это невероятно.

— Людям кажется, что они лучше.

— Но как такое могло случиться? Этот Говерт Флинк самый тупой из моих учеников, болван болваном! — он писал на моем полу такие гульдены, что я издали видел: подделка, — а теперь пишет в моей манере и продает свои подражания моим работам по более высоким ценам, потому что людям кажется, будто они *лучше* моих работ? Они что, обезумели все? С ума посходили? Или это я спятил?

— Вы слишком пренебрежительно говорите о подражаниях, друг мой, — ласково

произнес Ян Сикс. — Известно ли вам, что этот ваш Аристотель в своей «Поэтике»...

— Это не мой Аристотель. И вообще это картина, а не человек.

— И тем не менее. Аристотель утверждает, что все великие трагедии суть подражания действию. Хотя я полагаю, что у нас в Голландии, поскольку ничего на нее похожего в мире не существует, наши собственные национальные трагедии, возможно, еще являются оригиналами.

— Тоже мне трагедии. *Флинк* — вот это трагедия. То, что вы мне рассказываете, не имеет никакого смысла.

— Об Аристотеле?

— О Флинке. Аристотель меня не интересует. Вот вы человек образованный. Как могут его старые картины, написанные в подражание моей манере, превосходить мои собственные?

— У него глаже поверхность, цвета прозрачные, линии определяют форму и детали прописаны.

— Но это вообще не моя манера! — с мукой воскликнул Рембрандт. — Флинк надувала! Я так не пишу.

— Так, может, попробуете? — улыбаясь, предложил Сикс. — Если вам хочется вернуть былую популярность и получать столько же, сколько он.

— И тогда, — глумливо осклабясь, сказал Рембрандт, — мои полотна будут копиями его подражаний моим оригиналам, так, что ли?

— В точности так, — согласился Сикс. — Особенно если он снова станет писать как вы. И самое приятное, вам не придется больше тратить время на создание оригиналов, верно?

— И чьим же именем мне их придется подписывать? Своим или его?

— Я думаю, воспользовавшись его именем, вы заработаете больше. Хотя, может быть, вам удастся уговорить Флинка, чтобы он подписывался «Рембрандт».

— Он, значит, и подписываться в моей манере умеет?

— О да, этим он тоже занимается. Ему удается даже сделать вашу подпись более классической, чем ваша собственная.

— Так, может, мне прямо с вашего портрета и начать? — ядовито осведомился Рембрандт. — Прямо сейчас все и поменяем.

— Мой, пожалуйста, оставьте как он есть.

— Да нет, давайте обратим его в подражание тому, что сделает Флинк, подражая мне, когда начнет получать заказы на портреты наподобие вашего, выполненные в манере того, который я сделал для Яна Сикса, — после того как люди его увидят.

— Этот не трогайте.

— Я могу даже дату поставить более позднюю, чтобы сделать его более ценным, чтобы он походил на мою копию его подражания моему вашему портрету.

— Я хочу, чтобы над нашим портретом вы продолжали работать точно так же, как начали, и в точности так, как мы с вами договорились, — сказал Сикс. — Вот уж не думал, друг мой, что вы бываете таким шутником.

— Я вовсе не шучу.

— Мне очень нравится мое лицо.

— Оно не ваше.

— А вон то — не Аристотеля. Вы снова чуточку меня изменили, правда? Что-то вы со мной такое сделали с тех пор, как я был здесь в последний раз.

— Я собираюсь сделать вас немного постарше.

— Жестче, сколько я вижу. Почти безжалостным. И вы написали мне манжеты, и рукава подвернули, и воротничок отгладили. Как вам удалось сделать его столь чистым? Жаль, у нашей прачки так не получается. А руки как хороши! Вы их соорудили почти из ничего, верно? Несколько мазков, немного цвета. Это вы мне позволили увидеть. Может, и за остальным разрешите понаблюдать? Все ваши лучшие трюки вы проделываете в мое отсутствие, не так ли?

— Мне тоже нравятся руки, — ворчливо откликнулся Рембрандт и запыхтел от гордости.

Они и Аристотелю нравились.

Тут все трое держались единого мнения.

Восторги Сикса Аристотель принимал, почти не краснея. Он провел много поздних, утомительных часов, краем глаза наблюдая, как работает Рембрандт, работает уверенно, воровато и напряженно, используя различные оттенки белого, чтобы создать ощущение объемности воротника и манжет, о которых говорил Ян Сикс. Украдкой Рембрандт прошелся кистью с подсохшей на ней золотисто-желтой краской вдоль правой руки Сикса, создав намек на подвернутый над манжетами рукав его дублета, а когда Сикс спросил, как ему удалось добиться, чтобы ткань мерцала и выглядела столь свежей, отделался неразборчивым бормотанием. Аристотель знал: Сиксу и за миллион лет не догадаться, что такими же мазками Рембрандт сообщил объем и перчатке, обвисшей в руке Сикса, используя только цвет и форму для создания этой непритязательной части туалета, на которой держится равновесие всей картины.

— Вы меня и погрузнее сделали? — подивился теперь Сикс с чем-то вроде легкого неодобрения. Ему еще не исполнилось тридцати шести.

— Старше, не грузнее, — поправил его Рембрандт. — Более зрелым, мужчиной, полным силы и внутренней крепости. Не всегда же вы будете таким тощим и таким молодым. Я напишу вас как человека, способного всегда принять верное решение. Так вам и захочется выглядеть, когда вы станете правителем или бургомистром.

Когда приходил Сикс, разговор, как казалось Аристотелю, всегда принимал более интеллектуальный характер, особенно если Сикс рассказывал об Аристотеле.

— А знаете, в своей «Поэтике» Аристотель очень хвалит вас за этот мой портрет, — заметил Ян Сикс, и Аристотель навострил уши. Рембрандт немедля смазал его по уху черным лаком, и ухо вернулось в тень, где ему и полагалось находиться. — Разумеется, не называя по имени. Он там говорит о живописцах.

— И ничего не говорит о Рембрандте ван Рейне?

— Как и о Говерте Флинке. Аристотель советует драматургам следовать примеру хороших живописцев. О хороших портретистах он говорит, что они, ясно воссоздавая форму оригинала, добиваются сходства жизненного и все-таки более прекрасного. Мне кажется, именно так вы со мною и поступаете. По-моему, у Аристотеля нынче самое радужное настроение, в каком я его когда-либо видел. Он кажется почти веселым, словно ему нравится слушать, как я о нем рассказываю. Вы его опять изменили? Прежде он выглядел нездоровым.

— Скоро опять прихворнет, — клятвенно пообещал Рембрандт. — Я иногда слишком далеко захожу в каком-нибудь направлении, приходится возвращаться. У меня к вам деловой вопрос, на который, я думаю, вы сможете ответить. У меня в доме куча картин, и среди них больше семидесяти моих, которые я мог бы выставить на продажу.

— Подпишите их именем Флинка, — пошутил Сикс, — и вы станете первым богачом Амстердама.

— Вы думаете? — всерьез заинтересовался Рембрандт.

Сикс покачал головой.

— Продавать товар за деньги, говорит Аристотель, значит использовать его не по назначению. Обувь, к примеру, изготавливается для того, чтобы ее носить.

Аристотелю легко говорить, сварливо возразил Рембрандт, легче, чем любому из нас сделать. Он вернулся к холсту и с помощью тряпки и пальца стер с лица Аристотеля намек на улыбку.

Сикс дружил с поэтом и историком Питером К. Хофтом, который умер в 1647 году и с которым Аристотеля спутали в Лондоне в 1815-м. Сикс был дилетантом, членом мюйденского литературного кружка. Он беседовал с Декартом. Дружил со Спинозой.

И Аристотель, слушая разговоры, ведшиеся в этот вечер, вдруг содрогнулся, вспомнив другой вечер, когда ему, вот так же подслушивавшему, вдруг захотелось куда-нибудь

спрятаться. Сикс в тот раз рассказывал про Декарта и Спинозу, а Рембрандт перебил его, попросив взаймы тысячу гульденов. Аристотеля передернуло, когда Рембрандт сказал, что заплатит проценты.

— Если я одолжу вам денег, друг мой, — мягко укорил его Сикс, — то уж не для того, наверное, чтобы заработать на процентах.

Когда Сикс женился, портрет своей жены он заказал не Рембрандту, а Говерту Флинку. А незадолго до начала 1656 года Сикс со скидкой продал долг Рембрандта в одну тысячу гульденов человеку, который тут же потребовал выплаты, что в итоге и привело Рембрандта к банкротству.

Почему — мы не знаем.

Ни Сикс, ни тот, второй человек в деньгах не нуждались.

И Аристотель не помог.

К тому времени он уже пребывал в замке синьора Руффо в Сицилии — в той самой Сицилии древности, куда афиняне с таким самодовольством отплыли, дабы потерпеть чудовищную военную катастрофу, в Сицилии, из которой очаровательный генерал Алкивиад предпочел сбежать в Спарту, чем предстать дома перед судом по облыжным обвинениям, в которую впавший в заблуждение Платон трижды отправлялся полным донкихотских и самолюбивых упований и из которой он трижды униженно возвращался, претерпев разочарование и крушение надежд.

XI. Вы только представьте

22

Разрушение Мелоса произошло в ту пору затишья, что носила название холодной войны.

После того как пал в сражении блестящий спартанский генерал Брасид, противившийся миру, поскольку своим успехом и репутацией он был обязан войне, и после того как в том же сражении погиб Клеон, противившийся миру, поскольку сознавал, что во время войны люди вряд ли станут обращать внимание на творимые им безобразия и с большей легкостью поверят его клевете в адрес других политиков, — после всего этого появилась возможность покончить с войной.

Приятная особенность греческих войн той эпохи состояла в том, что люди, за них выступавшие, часто в них же и погибали.

Никиев мир был заключен на пятьдесят лет.

Продлился он семь.

Он мог бы длиться и вечно, если б Алкивиад не возжелал играть в делах нации более активную роль, что в итоге и вышло боком Афинам, Сиракузам, Спарте, Персии, Мелосу, Аргосу и Сократу.

Ну, если не вечно, то хоть семьдесят лет — до времени, когда Филипп победным маршем прошел из Македонии по полуострову, покорив все города и здесь, и в Пелопоннесе.

Алкивиад полез в политику, поскольку желал славы и денег. Он полез в нее в качестве ястреба, поскольку именно эта роль сулила славу и деньги. Никому еще не удавалось потрясти воображение нации, усердно борясь за мир.

Сущность договора была проста: Афины и Спарта взаимно признают границы друг друга, уважают союзы и соперничают только в нейтральных городах третьего мира.

Одним из таких городов был Мелос, стоящий на островке, расположенном несколько к югу от Критского моря, почти на одном расстоянии от Афин и от Спарты.

В случае Митилены, восставшего города, афиняне, как вы знаете, в последнюю минуту одумались. В случае Мелоса, который всего-то-навсего и хотел остаться нейтральным, они одумываться не стали. Восстание Митилены произошло во время войны, в год, когда Афины терпели ужасные поражения. Разрушение Мелоса имело место в спокойной, мирной обстановке.

Афиняне прибыли к Мелосу на тридцати своих кораблях, прихватив еще шесть с Хиоса и два с Лесбоса, высадили на остров двенадцать сотен гоплитов, три сотни лучников и двадцать конных стрелков из самих Афин, а с ними — сотен пятнадцать гоплитов, набранных среди союзников и жителей других островов.

Прославленные мелосские дебаты не отняли много времени. Афиняне с самого начала продемонстрировали ту практичную разумность реалистической политики, которой — разумностью — они превосходили всех греков и которая в современном мире является отличительным признаком практичного профессионала, подвизающегося в сфере международных отношений.

Высадившие крупные военные силы афиняне захватили инициативу в переговорах, сформулировав два безупречных положения:

1. Ненависть мелосцев представляет для Афин гораздо большую ценность, нежели их дружба.
2. Сильный давит слабого — таков закон цивилизации.

Диалог сторон происходил на берегу, за стенами города.

Мелосские лидеры не позволили афинянам обратиться через голову законного правительства прямо к народу.

— Ну хорошо, — сказали афиняне. — Поскольку нам не позволяют представить наши предложения народу, дабы он не услышал от нас соблазнительных и неопровержимых доводов, будем разговаривать здесь. Мы предлагаем процедуру, которая для вас вдвойне безопасна. Мы не будем произносить заранее приготовленные речи. Мы просто будем говорить, а вы — слушать. Вы тоже никаких речей произносить не станете. Однако вы можете прерывать нас и возражать по каждому отдельному пункту в случае несогласия с ним, и тогда мы вместе обсудим его, прежде чем перейти к следующему.

Это как — честно?

Было бы честно, отвечали мелосцы, если бы не угроза войны со стороны афинян: она представляется несколько противоречащей предложению побеседовать и попытаться без всякой спешки объяснить друг другу, чем хороша позиция каждого.

— Ибо мы видим, что вы пришли как судьи, с притязанием на окончательное решение в предстоящих переговорах. И, по всей вероятности, если мы при этом останемся правы, а потому не уступим, то будет война; если же согласимся, то нас ожидает рабство.

Если мелосцы пришли сюда, чтобы строить догадки о будущем или говорить о чем-то другом, а не об очевидных фактах, сказали афиняне, можно на этом и закончить и не тратить времени попусту. Мелосцы, озабоченные спасением своего города, пожелали переговоры продолжить.

Тогда, сказали афиняне, начнем с того, что вопрос о правах и справедливости мы оставляем в стороне.

— Давайте забудем о том, что честно или что правильно, а что неправильно, поскольку вы не хуже нас знаете, что право и честность имеют в человеческих спорах смысл только при равенстве сил обеих сторон.

Так уж устроен мир: сильный делает, что может, а слабый — что приходится.

Было бы целесообразно — мелосцам волей-неволей пришлось говорить о целесообразности, поскольку принцип права афиняне предпочли игнорировать, — чтобы афиняне не отбрасывали заодно и принцип общего блага. Не может ли случиться так, что афиняне себе же и повредят? Не станут ли жители иных островов, увидев, что произошло на Мелосе, страшиться, что афиняне и на них нападут?

— А нам того и надо, — ответили афиняне. — Мы больше полагаемся на страх других, чем на их преданность.

То же обстоятельство, что город Мелос меньше других городов, делает его подчинение тем пуще необходимым.

— Если мы позволим вам сохранить независимость, другие города решат, что причина тут в вашей силе, и если мы не нападем на вас, они станут думать, что мы испугались. Подчинившись же, вы укрепите наше владычество.

А на то, чтобы оставить мелосцев нейтральными, афиняне согласиться никак не могут.

— Ваша ненависть повредит нам не столь уж и сильно. Ваша дружба будет признаком нашей слабости, а вражда — доказательством мощи. Поэтому ваше подчинение, помимо расширения нашего господства, усилит нашу безопасность.

Нужно лишь понять, что афиняне пришли сюда ради сохранения своей империи и что подчинение Мелоса приведет к обоюдной выгоде.

— Но как же рабство может быть нам столь же полезно, как вам владычество?

— А так, что вам будет выгоднее стать подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша же выгода в том, что не нужно будет вас уничтожать. К тому же мы получим союзника и подвластный город.

Но посудите сами, сказали мелосцы, ведь если вы подвергаете себя столь великой опасности, как вы здесь рассказываете, чтобы сохранить свое господство, а уже порабощенные города идут на все, чтобы избавиться от него, то не проявим ли мы, мелосцы, пока еще сохраняющие свободу, трусость, отдавая то, чего сами афиняне никому давать не желают?

Вовсе нет, если только они примут добрый совет и обо всем здраво рассудят.

— Ведь это не состязание с равным противником, в котором выигрыш — честь, а проигрыш — позор, — говорили реалистичные афиняне. — Проблема, которая стоит перед вами, это проблема самосохранения — вы спасаете ваши жизни и ваш город вместо того, чтобы безрассудно сопротивляться тем, кто намного сильнее вас.

— Да, — сказали мелосцы, — но мы знаем, да и вам это известно, что военное счастье бывает иной раз беспристрастным и не всегда сопутствует тем, кто имеет безусловный перевес в силе. Если мы тотчас уступим вам, то лишимся всякой надежды. Если же будем действовать, то у нас останется хоть надежда выстоять, сохранив свободу.

Надежда — весьма недешевый предмет потребления, отвечали афиняне.

— Надежда действительно утешает во всякой опасности, особенно тех, кто обладает избытком средств. Таким людям надежда если и навредит, то хоть не погубит их окончательно. Но тот, кто ставит на кон все свое состояние, лишь в самый момент своего крушения видит, насколько она расточительна по природе. Не навлекайте же на себя, очень вас просим, такой судьбы по собственной воле, ибо вы слабы. И не позволяйте ложному чувству чести сбить вас с пути. Ничего нет бесчестного в подчинении величайшему городу Греции, когда он тихо-мирно предлагает вам стать его подвластным союзником, оставляя при этом возможность радоваться собственной свободе и уцелевшему имуществу.

Когда вам позволяют выбрать между войной и безопасностью, вряд ли имеет смысл хвататься за худший вариант.

— Самое верное правило, — внушали им афиняне, — состоит в том, чтобы противостоять равному, уступать сильному и проявлять умеренность в отношениях со слабыми.

Поскольку их дело правое, мелосцы склонялись к мысли довериться богам.

Афиняне и сами полагались на них без всякого страха, поскольку не оправдывали и не делали ничего противоречащего человеческой вере в богов или в то, что боги между собой признают справедливым.

— Ибо о богах мы предполагаем, о людях же из опыта знаем, что они властвуют, где

имеют для этого силу. Этот закон не нами установлен и не мы первыми его применили, мы лишь обнаружили, что он существовал до нас и после нас будет существовать, на все времена. Мы всего лишь пользуемся им, зная что и вы (как и весь род людской), будь вы столь же сильны, как и мы, несомненно, стали бы действовать так же. Так что со стороны божества у нас, полагаем, нет оснований ожидать неудобств.

Мелосцы могут рассчитывать на помощь Спарты.

Тут афиняне могли бы громко рассмеяться.

— Мы нынче со Спартой не воюем.

— И все же...

— Должны вам сказать, что спартанцы с наибольшей откровенностью отождествляют приятное для них — с честным, а выгодное — со справедливым. Мы преклоняемся перед вашим прекраснодушием, но не завидуем вашему неразумию.

Выгода и безопасность ходят рука об руку, а справедливость и честность приносят только опасность. Неужели похоже на то, что при господстве афинян на море и при наличии сдерживающего обе стороны мирного договора спартанцы переправятся на этот остров, чтобы помочь маленькому городу, который им решительно не нужен?

— Удивительнее всего для нас то, — сказали афиняне, — что вы в этой долгой беседе, несмотря на то что вы, по вашим словам, желаете договориться о собственном спасении, вовсе не выдвинули ни единого довода, которые обычному человеку позволяют надеяться, что он сумеет уцелеть. Напротив, крепчайшая опора вашей уверенности — это всего лишь розовые надежды на будущее, между тем как нынешние ваши возможности к осуществлению их слишком хилы в сравнении с противостоящей вам теперь мощью. Поэтому вы продемонстрируете весьма неразумную позицию, если не примете решения более здравого, чем те, которые вы до сей поры упоминали.

Когда афиняне удалились, мелосцы посоветовались между собой и решили, что не станут в один миг отказываться от свободы, которой город пользовался со времени его основания более семисот лет назад.

Они доверятся богам и надеждам на помощь Спарты.

— Мы предлагаем вам дружбу, не хотим ни с кем враждовать и просим вас покинуть нашу страну, заключив приемлемый для обеих сторон договор.

Афиняне лишь усмехнулись.

— Право же, таких, как вы, поискать. Ибо вы — единственные люди, для кого будущее достовернее настоящего, которое у вас перед глазами, и вы принимаете незримое за уже осуществляющееся, так как оно вам желательно. Вы все поставили на судьбу и надежду — так все и потеряете.

Несколько месяцев спустя, когда город, осажденный афинянами, пал, всех взрослых мужчин в нем перебили. (Исключение, возможно, составили несколько изменников из пятой колонны, изнутри помогавших падению города.) Детей и женщин продали в рабство.

Еврипид написал «Троянок».

Эту пьесу выбрали для драматического соревнования в городе, уже готовившемся к вторжению в Сиракузы, каковое также произошло в ту пору затишья, что носила название холодной войны.

В демократических Афинах всегда имелся излишек той самой, основанной на реалистической политике, изощренной политической мудрости, которой вечно недоставало другим греческим городам, так что двенадцать лет спустя Афины проиграли войну.

23

Переход от Афин до Сиракуз на веслах и под парусом примерно отвечал сегодняшнему путешествию из Калифорнии во Вьетнам или из Вашингтона, округ Колумбия, до Бейрутского аэропорта в Ливане или до Персидского залива.

Не затевайте войн в недружественной далекой земле, если не намереваетесь в ней поселиться.

Народ будет превосходить вас числом, жизнь ваша будет неспокойной, правительство, которое вы там посадите, чтобы оно поддерживало порядок, порядка поддерживать не станет, а победить сражающийся народ вам все равно не удастся, вот и придется прибегать к геноциду, чтобы справиться с непреклонным военным сопротивлением местного населения.

Генерал Никий, один из трех командующих, назначенных для сицилийской экспедиции, был человеком замкнутым, консервативным, религиозным и суеверным. Он обладал немалым чутьем на препятствия и выступал против экспедиции даже после того, как большинство за нее уже проголосовало.

Повод для интервенции предоставила распря между сицилийскими городами, причем союзники Афин, как водится, наврали относительно размеров денежной и народной поддержки, каковую они в состоянии обеспечить.

Для определения объема требуемой военной силы был собран Народный совет. Никий воспользовался им, чтобы поднять вопрос о самой необходимости для Афин выступать в этот поход.

— Не ввязывайтесь в войну, которая, в сущности, нас не касается, — остерегал он афинян.

Поскольку Никий был богатым и весьма уважаемым членом партии мира, афиняне с присущей им причудливой логикой назначили его, хоть он и протестовал, одним из командующих.

Он боялся, что воинственная партия ястребов, возглавляемая ныне Алкивиадом, использует конфликт между двумя городами для осуществления куда более обширных планов завоевания всей Сицилии.

Ему казалось неразумным выступать в поход, оставляя вблизи от дома множество врагов, да и вообще плыть в Сицилию, чтобы обзавестись новыми.

— Договор со Спартой остается договором лишь на то время, в которое сами мы ведем себя мирно. Если мы потерпим поражение, наши враги набросятся на нас. Даже если мы покорим сицилийцев, их все равно останется так много да и живут они так далеко, что сохранить наше владычество там будет трудно. Глупо выступать против народа, который, даже будучи побежденным, останется неуправляемым, глупо и нам пытаться еще больше расширить завоеваниями империю, пока мы не в состоянии обезопасить ту, что уже имеем. Сицилийские эллины стали бы нас уважать, даже если бы мы вообще к ним не приходили. Если же мы потерпим неудачу, они станут нас презирать и тотчас же нападут на нас вместе с нашими прежними врагами. И нынешние-то наши подданные подчиняются нам с раздраженным неудовольствием, а мы спешим на помощь Эгесте в Сицилии, ни больше ни меньше, которую вдруг объявили нашим союзником, которую будто бы обижают и которая заинтересована в том, чтобы налгать нам и заставить нас в эту ложь поверить. Сицилия не представляет для нас опасности. Так не будем же превращать ее в таковую. И если кто́ будет здесь ораторствовать перед вами, радуясь своему избранию в стратеги, и посоветует вам поскорее выступить в поход, имея при этом в виду только личные выгоды и то, как все станут им восхищаться из-за его прекрасных лошадей и какие барыши принесет ему пост командующего, не предоставляйте этому человеку возможности покрасоваться за счет государства. Вот таких-то молодых людей я и страшусь. И я призываю вас поддержать человека постарше. Если кто-то из вас сидит рядом со сторонником воинственной партии этого молодого человека, не давайте ему запугивать вас, не бойтесь получить прозвание труса из-за того, что вы подадите голос против войны. Оставьте сицилийцев в покое, пусть сохранят свои владения и договорятся между собой. К чему нам союзники, которым приходится помогать, но которые сами ничем нам в случае беды не помогут?

Вожди Сиракуз, по количеству населения второго после Афин города в греческом мире, призвали свой народ к сопротивлению.

Мы не должны бояться отваги и мощи Афин, сказал первый оратор, даже если слухи об их экспедиции правдивы.

— Ведь они могут причинить нам не больше вреда, чем мы им.

Редко великие походы эллинов и варваров в отдаленные страны имели успех.

— Они не смогут прислать столько людей, чтобы превзойти числом население этой страны и наших соседей; не исключено также, что их постигнет неудача из-за недостатка съестных припасов в чужой стране.

Афинянам придется пройти морем большое расстояние. Можно будет нападать на их отряды, когда утомятся гребцы. Возможно, что и с провиантом у них будет туго.

Затем выступил следующий оратор, вождь демократической партии:

— Только трусы и люди, лишенные патриотического чувства, не стремятся увидеть, как афиняне, окончательно обезумев, заявятся сюда и окажутся в нашей власти.

Слухи об экспедиции афинян тревожат его меньше, чем опасность того, что аристократы и олигархи Сиракуз воспользуются чрезвычайной ситуацией, чтобы присвоить власть над силами обороны и урезать свободы граждан.

— Мне возразят, что демократия и неразумна, и несправедлива и что люди состоятельные лучше всех способны управлять государством. На это я отвечаю: под словом «демос» понимают совокупность всех граждан, а под словом «олигархия» — только часть; и далее: богатые — лучшие хранители казны, разумные люди — лучшие советники, а народное большинство способно принимать наиболее правильное решение по обсуждаемому вопросу.

Демократия Сиракуз пребывает в опасности, ибо ей угрожает афинская демократия.

Даже если бы афиняне могли создать здесь такой же город, как Сиракузы, и, опираясь на него, начать войну, то и в таком случае едва ли они избежали бы гибели.

А когда вся Сицилия будет против них, они не рискнут удалиться от своих лагерных бараков, сколоченных из корабельных досок, не смогут далеко отойти от своих драных палаток и жалких припасов и продвинуться в любом направлении из-за сицилийской конницы и иных войск, окружающих их. Им останется только вернуться восвояси, *если* корабли их уцелеют, а гавань останется открытой.

Вынесенное на Народное собрание Афин предложение вторгнуться в Сицилию, чтобы навести там порядок, было лживым, безнравственным, глупым, шовинистическим, бессмысленным и самоубийственным.

Оно получило огромное большинство голосов.

Наиболее ревностно проталкивал его Алкивиад, тот самый молодой человек, о котором Никий сказал, что он-де жаждет всеобщего восхищения из-за выращенных им лошадей. Сверх того, ему не терпелось стать генералом, ибо он надеялся подчинить впоследствии и Сицилию, и Карфаген, одновременно преуспев в своем стремлении и к богатству, и к славе.

Ту пору затишья, что носила название холодной войны, Алкивиад коротал, разжигая новые войны и заигрывая с Аргосом и иными независимыми городами, входящими в антиспартанский союз, наголову разбитый в сражении при Мантинее.

Алкивиад называл это поражение славной победой, что позволило друзьям Алкивиада в Афинах объявить его национальным героем.

— Все это так уморительно и глупо, —восторгался впоследствии Алкивиад в частной беседе, — что воспринимать всерьез большую часть этой ерунды решительно невозможно. Приходится вновь отдать тебе должное, мой драгоценнейший друг. То, что ты говорил о демократии, равенстве, свободе и братстве, оказалось абсолютно верным.

— Что именно из сказанного мной тебе ты имеешь в виду? — поинтересовался Сократ.

— То, что все это полная чушь.

— Это я так сказал?

— И далеко не единожды. Видел бы ты, как они меня слушали, как превозносили, как назначали меня генералом. И все оттого, что им кажется, будто они ниже меня, и оттого, что сами они — стадо снобов. А все их разговоры о равенстве — чистое ханжество. Эти новые деловые люди из среднего класса жаждут равенства только с нами. И вовсе не желают, чтобы кто-либо, кроме нас, равнялся с ними.

— И потому теперь они дали тебе войну в Сиракузах, о которой ты попросил, — сказал Сократ. — Лично я не понимаю, что хорошего из нее может выйти. Пожалуйста, объясни мне, — продолжал философ, с минуту подумав, — истинные причины, по которым ты хочешь отправиться в Сицилию и воевать.

— Не уверен, что я их знаю, — сказал Алкивиад.

— Ну если не истинные, назови достойные. Каковы эти достойные причины, столь для тебя убедительные? Клянусь моей бородой, Алкивиад, будь я помоложе, я бы с неудовольствием отправился на войну вроде этой.

— А у нас людей больше, чем требуется. Но мы все равно берем всех подряд.

— Прошу тебя, дай мне путеводную нить. Что сильнее всего заставляет тебя желать этой опасной войны в Сицилии?

— Лошади, разумеется.

— Не нахожу слов.

— За время нашей дружбы это случается впервые.

— Тебе известен мой следующий вопрос.

— Выращивание и воспитание хороших лошадей, дорогой мой Сократ, дело куда более дорогостоящее, чем ты способен себе представить, — сказал Алкивиад с выражением беспечной шутливости, ставшим ныне его второй натурой. — Да и выставить семь колесниц на Олимпийских играх это тоже, знаешь, не дешево.

— Зачем же ты это сделал? — изумился Сократ. — Выставил столько колесниц, сколько никто до тебя не выставлял.

— Вот именно затем и сделал. Разве ты не помнишь? Ты сам учил меня с презрением относиться к богатству.

— Так преуспел я или потерпел неудачу? Из приведенного тобой примера ничего заключить невозможно.

— Я хотел привлечь к себе как можно больше внимания, произвести огромное, эффектное, вызывающее ярость впечатление.

— Ты никогда ничего другого не делал.

— Я хотел показать всему греческому миру, насколько я богат, — пояснил Алкивиад, — и сделать понятным, бросая богатство на ветер с такой открытой вульгарностью, как мало я его ценю.

— Однако, когда ты выступал в Народном собрании в защиту твоего предложения о сицилийской войне, — сказал Сократ, — ты утверждал, что выставил эти семь колесниц, чтобы продемонстрировать величие Афин.

— Неужели ты думаешь, что мой город дороже мне себя самого?

— Ты иронизируешь?

— Ты сам научил меня этому.

— Этому ты мог научиться и без меня.

— Я сказал ложь, которую им приятно было услышать. И они вылакали ее, точно пьянящий напиток. А теперь, после того как я с таким беззаботным презрением потратился на моих лошадей, мне необходимо это вторжение, чтобы вернуть то, что я потратил.

— Скажи-ка мне. Я кое-чего не понимаю.

— Теперь у нас я — учитель.

— Я всегда признавал, что ничего не знаю.

— Меж тем давая слушателям понять, что сам-то ты уверен, будто знаешь немало.

— Я не знаю, как человек, состоящий на службе у государства, может обогатиться, отправившись на войну от имени государства, на службе которого он состоит.

— А я и сам не знаю, — признался Алкивиад. — Но знаю, что хочу это узнать.

— В прошлом году, после разрушения Мелоса, ты привез сюда женщину.

— Военная добыча, — сказал Алкивиад и с насмешливой серьезностью добавил: — Впрочем, я настоял на том, чтобы заплатить за нее хотя бы самую малость. Поскольку идея насчет Мелоса принадлежала мне, я чувствовал себя обязанным подать пример. Ты ведь видел ее, да? Очень красивая, правда? Для женщины, конечно.

— Алкивиад, ты неисправим.

— Моя жена тоже так считает.

— Ты подвергаешь меня опасности, — ухмыльнулся Сократ. — Твои враги обвинят меня в том, что это я сделал тебя таким.

— Мои друзья обвинят тебя в том, что ты недостаточно постарался.

— В юности ты упражнялся в игре на флейте, — напомнил Сократ.

— У меня от нее лицо становилось смешным. Я же видел, что она делает с другими.

— И теперь все модники города отказываются учиться игре на флейте.

— На флейтах пусть играют флейтистки.

— И ты преувеличиваешь свою картавость. Прошу тебя, не пытайся меня обмануть — я слышал тебя пьяного, от твоей картавости и следа не оставалось. А нынче все у нас картавят. Твой сын, в детстве говоривший так чисто, старательно учится картавить.

— Я горжусь своей картавостью.

— Он теперь картавит еще картавее тебя.

— Это все мода, не более.

— Ты, Алкивиад, создаешь эти моды.

— А кого бы ты предпочел в роли их создателя?

— Ты разгуливаешь в длинной персидской мантии, волоча ее по пыли, и вот уже все делают то же самое. И в Народном собрании все следуют за тобой, как будто военная политика — это тоже вопрос моды.

— Война всегда в моде, мой добрый старый друг. Взгляни на нашу историю. В нашем золотом веке едва ли отыщется пять лет, в которые Афины не воевали. Большинство крупных сражений мы проиграли, да и побеждая, не умели удержать плоды побед. И все-таки город преуспевал и экономика процветала. А посмотри теперь, как неубедительно и жалко выглядит бедняга Никий каждый раз, когда он выступает в совете за приевшийся, истасканный, всем надоевший мир. Политик должен реветь, призывая к войне. Мира он может только униженно клянчить.

— Но почему, между тем как судьба была настолько добра, что сделала тебя незаурядным мужчиной, ты норовишь выглядеть заурядной женщиной?

— Помилуй, Сократ, разве ты ни разу не целовал меня, когда я был молод?

Сократ расхохотался.

— Этого ты и от других мужчин получал в достатке, мой милый Алкивиад. Я же просто увлекся эксцентричной фантазией развить твой разум и твою душу.

— И какой бы из этого вышел толк?

— Я надеялся увлечь тебя жизнью философа.

— А такая жизнь — кому она принесла много добра?

— Мне она, во всяком случае, дала постоянное занятие.

— Люди хотят большего. Не стоит слишком переоценивать мышление. Оглянись на историю, дорогой мой Сократ, и ты увидишь, что все могучие идеи, наиболее сильно трогавшие людей, были глупы и поверхностны, но никогда — глубоки.

— Наверное, мне следует быть благодарным за это, поскольку я оказался к ним невосприимчив и оттого имел достаточно времени, чтобы поразмыслить на свободе. Ты же удивляешь меня и своими политическими взглядами, — серьезно сказал Сократ. — Я готов был предсказать, что ты, с твоим воспитанием и происхождением, станешь проспартанцем и сторонником мира. А ты принялся замышлять новую войну со Спартой в тот самый час, как закончилась прежняя.

— А как бы еще я смог остаться политиком? — спросил Алкивиад. — Нынче среди политиков, желающих мира со Спартой, водятся даже демократы и дельцы. Ты ждал, что я встану за ними в очередь?

— Но что тебя так воодушевляет? Ведь если ты преуспеешь и отправишься воевать в Сиракузы, ты погубишь Никиев мир и у нас здесь снова начнется война.

— На это я и рассчитываю.

— Зачем тебе это?

— Затем, — сказал Алкивиад, — что этот мир называется Никиевым.

— Ага! А если бы он назывался Алкивиадовым?

— Тогда я объявил бы его божественным. Спартанцы обошлись со мной пренебрежительно. Им следовало настоять, Сократ, чтобы переговоры вел я. Моя семья всегда отстаивала их интересы в Афинах.

— Ты был тогда слишком молод.

— Для меня это не довод.

Мир, легкомысленно заметил Алкивиад, это действительно благословение божие. Мир предоставляет возможность затевать войны в других местах, и великая цивилизация вроде нашей выглядела бы полной дурой, упусти она такую возможность.

— Мы клятвенно обещали помощь нашим верным друзьям в Эгесте, — напористо произнес он в Народном собрании после того, как закончил Никий, и эти слова удивили многих, до той поры и не ведавших о существовании союза Афин с далекой Эгестой, равно как и тех, кто, подобно Никию, не считал, что к военным обязательствам, даже если они существуют, стоит относиться с уважением. Алкивиад намеревался преподать им урок. — Мы вынуждены замышлять новые завоевания, потому что наш успех привел нас к опасному рубежу...

Успех всегда приводит нации к опасному рубежу.

— ...за которым мы можем оказаться во власти других, если не будем сами властвовать над другими. Если мы не будем добавлять новые земли к нашей империи, мы рискуем потерять и те, что имеем. О пелопоннесцах скажу лишь, что они никогда не были более бессильны против нас. Они могут вторгнуться к нам только по суше — а это они в состоянии сделать, даже если мы не пошлем экспедиции. Что же до моей молодости и отсутствия опыта, напомню вам, что это я объединил самые могущественные из независимых держав Пелопоннеса, причем безо всякого риска и крупных расходов со стороны Афин, и принудил лакедемонян в один день выставить все свои силы в битве при Мантинее. Правда, они тогда одержали победу, но то была великая победа и для нас. Мы не потратили денег, не потеряли ни одного человека. Они же поняли, какие хлопоты мы им способны доставить, и разуверились в своей способности справиться с нами. Подумайте о том, что наш город, если он так и будет жить в мире, сам себя истощит, как уж случалось с другими, а искусность его во всех делах человеческих одряхлеет, и напротив, если он постоянно пребудет в борьбе, он станет обогащаться новым опытом и приобретет им больше, нежели привычкой к всегдашней обороне.

Никий рассчитывал припугнуть афинян, запросив ошеломительные ассигнования. Результат оказался противоположным. Ему предоставили все, что он попросил, поскольку афиняне сочли, что этот достойный, умеренный человек всего лишь подает им добрый совет, к тому же всех охватило истовое желание поскорее выступить в поход.

Сократу же Алкивиад пересказал теорию, которой он обольстил Народный совет, — теорию домино. Когда падут Сиракузы, один за другим падут, будто костяшки домино, и ближайшие к Сиракузам города, а следом и вся Сицилия, а за ней Италия, а за ней Карфаген, а затем, разумеется, как только Афины двинут вперед всех этих новых союзников и подданных, падет и Спарта.

Сократ слушал как завороженный.

— И все это так и случится? — спросил он наконец.

— По правде сказать, не знаю, — честно ответил Алкивиад, — да я и не собираюсь

заглядывать так далеко вперед. Мне просто не хочется стоять на месте. Я нетерпелив. Чем обдумывать все это, я лучше все это сделаю. Не будь со мной строг, Сократ. Я сознаю, что мне куда легче отыскать недостатки в чужой программе, чем представить свою, недостатков лишенную.

— Ты хорошо овладел сократическим методом, — добродушно сказал Сократ.

И Алкивиад улыбнулся тоже.

— Ты-то должен же понимать, дорогой мой Сократ, что я полез в политику по самым обычным причинам: чтобы блистать и выставляться, держать в своих руках власть и получить побольше денег.

— Ты так беспечно рассуждаешь об этом, — сказал Сократ. — Известно ли тебе, что ты стал для меня постоянным источником неприятностей?

— Ох, прошу тебя, не обращай внимания на неодобрение глупой городской черни. Ты же знаешь, они так и так не очень тебя жалуют. Меня народ и ненавидит, и любит и не знает, что бы он без меня делал. Вот он и выбрал меня генералом. Поскольку же они побаиваются моего безрассудства, они в виде противовеса назначили вторым генералом Никия, человека, который свяжет нас своей робостью по рукам и ногам. А третьим назначили Ламаха, единственного, у кого достаточно опыта для столь крупной военной кампании. Однако Ламах происходит из бедной семьи, и значит, прислушиваться к нему ниже нашего достоинства. Он захочет атаковать немедля, а я захочу сначала привлечь наших сицилийских союзников, потому как люблю покрасоваться, Никий же пожелает отправиться домой, так что мы, скорее всего, не сделаем ни того, ни другого, ни третьего. Может, отправишься с нами? Я был бы рад взять тебя с собой как гоплита, да и просто как старого друга.

Сократ покачал головой.

— У меня нет оружия. Ты ведь знаешь, Ксантиппа его продала.

— Она против наших войн?

— Она — жена, которой нужны деньги на хозяйство. Хочет, чтобы я просил подаяние.

— Ты мог бы давать платные уроки.

— Это я и называю «просить подаяние».

— Оружие я бы тебе дал. Этот плащ, что ты носишь, друг мой, если б его носил раб, вогнал бы в краску хозяина. А я бы дал тебе новый. Да еще одолжил бы мой золотой щит.

— Твой золотой щит это тоже сплошной скандал! Твой позолоченный щит с Купидоном, размахивающим, ни больше ни меньше, молнией, это чистой воды нахальство, оскорбляющее и обижающее многих горожан, превосходящих тебя годами. Алкивиад, о тебе говорят, будто ты переодевался в женское платье, чтобы присутствовать на женских мистериях.

— Обо мне говорят, будто я переодевался в женское платье, чтобы устраивать у себя на дому собственные мистерии — в насмешку над всеми прочими.

— Ты получил приглашение на пир у Антемиона и грубо его отклонил.

— Он знал, что я так поступлю. Я был ему нужен, чтобы произвести впечатление на гостей.

— А потом ты все же явился к нему в компании пьяных друзей и послал своих слуг, чтобы они вынесли из дому все серебро и золото, какое было у него на столе.

— И в итоге он произвел как раз то впечатление, какого заслуживал.

— А когда твоя жена пришла в суд, чтобы просить о разводе, ты заявился туда, перебросил ее через плечо и унес домой, не сказав ни слова.

— Таково мое законное право. Жена должна лично являться в суд, чтобы муж вроде меня мог избежать развода, если развод ему не угоден.

— Ты же этого в тот раз не сказал. Просто утащил ее, и все. И не произнес ни единого слова.

— Не снизошел, только и всего.

— Но судьи обиделись.

— Зато моя жена не обиделась.

— Я чувствую, что мне едва ли не угрожает опасность, — с гордой улыбкой сказал Сократ. — Не позор ли для меня, что люди верят, будто я был твоим учителем?

— Не позор ли для меня, — сказал Алкивиад, — что моим учителем был муж, жена которого вылила ему на голову ночной горшок?

— Но ты ведь только слышал об этом! — с шутливым гневом воскликнул Сократ. — Видеть-то ты этого не видел.

— Нет, да и слышать не слышал. Я сам это выдумал!

— О Алкивиад! Все-таки ты сведешь меня в могилу.

Этот, считающийся подложным, диалог между Сократом и Алкивиадом является последним из их диалогов, которыми мы располагаем.

24

Быстрота, с которой распространились слухи об участии Алкивиада в изуродовании герм, удивила даже тех, кто их распустил. Все-таки, как правило, в нечестие и измену отчаянного вояки люди верят с трудом.

Как правило, вояка почитается за человека искренне благочестивого и обладающего выдающимся умением сочетать свои религиозные верования с вполне мирскими поступками, человека, который, как отозвались афиняне о спартанцах, с наибольшей откровенностью верует, что приятное ему — правильно, а отвечающее его духовным и личным потребностям — всегда нравственно и наилучшим образом годится для нации.

Осквернение этих общественных икон произошло в самый канун отправки экспедиции в Сиракузы.

Город отличался религиозностью, так что повреждение каменных идолов было сочтено неблагоприятным для миссии предзнаменованием. На Алкивиада обвинения возводились теми из горожан, кто пуще прочих ему завидовал, они-то и заявили, что изуродование герм имело целью свержение демократии.

Трудновато поверить, что генерал, более всех прочих ратовавший за отправку экспедиции, совершил вместе с друзьями акт вандализма, который мог привести к ее отмене, однако представителям власти, не относившимся к числу друзей Алкивиада, это соображение не казалось особо весомым.

Обладавший отменным нюхом Алкивиад потребовал, чтобы его немедля отдали под суд и, если он будет сочтен виновным, приговорили к смерти, а если не будет — разрешили отплыть в Сицилию.

Но враги Алкивиада, опасаясь его популярности в армии, к этому времени собравшейся в городе, добились, чтобы он отплыл в Сиракузы в назначенный прежде срок. Они задумали, пока он отсутствует, состряпать еще более порочащий Алкивиада обвинительный акт, а там уж и отозвать его домой для суда, пока его приверженцы будут далеко.

Он отплыл в назначенный срок.

Стояла уже середина лета, когда флот афинян поднял паруса.

Союзники вместе с кораблями, несущими зерно и вооружение, в большинстве своем собирались на Керкире, чтобы затем единой армадой пересечь Ионийское море.

Сами же афиняне и те из союзников, что находились в Афинах, пришли под вечер назначенного дня в Пирей, дабы подготовить корабли к выходу в море. Прочий народ, фактически все население Афин — и граждане, и иностранцы — также пошли с ними, посмотреть, как они отплывут. Зрелище получилось волнующее. С теми из уходящих в море, кто родился на этой земле, пришли, чтобы проводить их, близкие люди — друзья, родные и сыновья, — и в поход воины уходили полные надежд и полные в то же самое время сожалений, ибо, думая о победах, которые могут их ожидать, они думали также о тех, кого они, может быть, никогда уже не увидят, ибо долог был путь, в который они отправлялись.

В этот миг, когда они расставались с близкими, размышляя о риске, ожидающем их впереди, предстоящие опасности представились им яснее, чем в день решающего голосования в Народном собрании.

И все же мощь собранной армии и открывшийся перед ними вид разнообразнейшего вооружения укрепляли их дух.

Определенно в эту экспедицию уходили самые дорогостоящие и красивые эллинские войска, когда-либо выступавшие из одного-единственного города. Другие армии, быть может и превосходившие эту числом, отправлялись лишь в короткие походы и вооружены были обычным образом. А эта экспедиция задумывалась как долговременная, и вооружение ее предназначалось для двух видов сражений — морских и сухопутных. На все корабли были набраны самые лучшие команды, какие удалось отыскать. Было к тому же объявлено, что капитаны получат плату сверх той, что предоставляется государством, и они немало потратили средств на носовые фигуры и общее убранство кораблей, ибо каждый из них старался, чтобы его корабль выделялся красотою и быстроходностью. Что до наземных сил, то их составляли самые отборные мужи, и здесь тоже было много соперничества, и много было усилий приложено каждым по части вооружения и доспехов. Таким образом, афиняне соревновались друг с другом, остальным же эллинам все это представлялось скорее демонстрацией богатства и мощи, чем военным предприятием, направленным на сокрушение врага.

Ста тридцати четырем триремам и еще двум пятидесятивесельным кораблям с Родоса предстояло, выйдя с Керкиры, вместе пересечь Ионийское море и затем направиться к Сицилии. Из этих трирем сто принадлежали Афинам, остальные же Хиосу и прочим союзникам. Они несли пятьдесят одну сотню гоплитов, из которых пятнадцать сотен образовал личный состав афинской армии, а еще семь были набраны из малоимущих классов, представители коего служили обычно гребцами, но в особенных случаях, вроде этого, поступали гоплитами в десантные войска. Лучников было полным числом четыреста восемьдесят, из них восемьдесят с Крита, имелось также семьсот пращеметателей с Родоса и сто двадцать изгнанников из Мегары, состоявших в легких войсках; один конный транспорт вез тридцать лошадей.

Таковы были силы первого экспедиционного корпуса, отправившегося воевать за море.

Припасы для него везли тридцать транспортных кораблей, на которых находились также пекари, каменщики, плотники и разного рода орудия для строительства стен; а помимо транспортных было сто небольших вспомогательных судов. И кроме всего этого множество судов и суденышек добровольно сопровождало экспедицию, имея торговые цели.

В Пирее, когда подготовка закончилась и армия погрузилась на корабли, звуки трубы призвали всех к молчанию, и, перед тем как отплыть, были вознесены обычные в таких случаях молитвы — не каждой судовой командой в отдельности, но всеми сразу, повторявшими слова за глашатаем. Вся армия налила в чаши вино, и все, начальники и воины, совершили возлияние из золотых и серебряных чаш. Затем, когда гимн был допет и возлияние совершено, они вышли в море, плывя поначалу колонной, а затем, до самой Эгины, двигаясь наперегонки. Афинские корабли показали хорошую скорость, плывя к Керкире, где собирались прочие союзные силы.

Тринадцатилетий Платон видел, как они уходили. Он стоял на подпорной стене вместе с дядей своим, Критием.

Никто не видел, как они возвращались.

Да они и не вернулись.

В самом скором времени из трех генералов остался один Никий.

Ламах пал в бою, а Алкивиад, вызванный на родину, чтобы предстать перед судом, вместо того отправился в Спарту, унося с собой множество секретов и полезных рекомендаций. В одном из городов Сицилии, через которые он проезжал, какой-то афинянин узнал его.

— Ты не доверяешь своей родине, Алкивиад, не веришь, что она поступит с тобой по чести? — неодобрительно спросил этот человек.

— Верю, во всех прочих делах, — ответил Алкивиад. — Но когда на кону моя жизнь, я не поверю и матери, чтобы она при голосовании не положила ошибкой вместо белого камня черный.

Спартанцам же он сказал:

— Демократия смехотворна. Вы только взгляните, что сотворили эти демократы со мной!

Он посоветовал спартанцам направить на Сицилию военных советников высокого ранга, а также триремы и войска, посоветовал вновь вторгнуться в Аттику и *остаться в ней* вместо того, чтобы возвращаться каждую осень домой, как они делали прежде. Наивернейший способ навредить врагу состоит в том, чтобы узнать, какого рода нападения он боится сильнее всего, и оное произвести.

— Вот вы только что и узнали — от меня.

К этому его совету спартанцы отнеслись с недоверием.

— Получится, что мы нарушили договор и положили конец перемирию.

Алкивиад откинул голову назад и расхохотался.

— Вы действительно верите, что не воюете с афинянами сейчас, нападая на друзей противника и помогая его врагам? Воюете, да еще как.

Он растревожил их, изложив свою теорию домино, но не сказав, однако ж, что сам ее выдумал.

— Если вы не сразитесь с ними сейчас, в Сиракузах, позже вам придется драться с ними в Спарте, и на их стороне будет вся Сицилия. Откуда вы получаете зерно?

— По большей части выращиваем сами.

— А остальное?

— Привозим из Сицилии.

— Не нужна вам никакая Сицилия. Афиняне сделали глупость, отправив войска в Сицилию, а себя оставив без защиты.

Того, что это была его идея, он им тоже не сказал.

Спарта последовала его совету, и с превосходными результатами. Алкивиад же завоевал сердца своих новых земляков, отпустив длинные волосы, купаясь в холодной воде, питаясь грубым хлебом и вообще с невероятной стремительностью приспосабливаясь к их образу жизни.

Одно из завоеванных им сердец принадлежало жене царя Агиса. Рожденного ею ребенка она, лаская, называла Алкивиадиком.

Из Спарты Алкивиад едва унес ноги. Он поступил на службу к персу Тиссаферну. Успев послужить и Афинам, и Спарте, он мог дать хороший совет касательно и тех и других.

В Сицилии Никий к этому времени потерпел поражение.

Впрочем, сначала он запросил и получил вторую армаду, не меньшую первой. Этот маневр Никия, имевший целью отзыв миссии, провалился. Война продолжалась. В последней из происшедших за два ее года битв Никий со своей армией в очередной раз отступил и разбил лагерь в горах.

Корабли они потеряли, гавань была заперта.

На следующий день сиракузяне напали, захватив их врасплох, атакуя со всех сторон и до наступления ночи осыпая метательными снарядами. Обратившиеся в бегство афиняне и без того пребывали в жалком состоянии из-за недостатка съестных припасов и всего самого необходимого. Когда пришел день, Никий возобновил отступление, сиракузяне же с союзниками продолжали теснить их.

Афиняне двинулись к реке Ассинаре, частью из-за того, что считали — атакуемые отовсюду конницей и иными войсками, — будто, перейдя реку, они улучшат свое положение, частью же по причине утомления и жажды. Дойдя до реки, они в беспорядке бросались в нее, причем каждый желал перейти ее первым. Враги же, тесня афинян, зат-

рудняли переправу. Так как афиняне были вынуждены продвигаться вперед густой толпой, они падали под ноги друг другу и топтали упавших, и некоторые погибали сразу, а иных, опутанных снаряжением и отягощенных поклажей, уносило потоком. Между тем сиракузяне, выстроившись на противоположном обрывистом берегу реки, осыпали стрелами афинян, большинство которых, оказавшись на глубине, жадно пили воду. Что до пелопоннесцев, принимавших участие в этой войне, то они, разумеется, подошли к самой кромке воды и убивали афинян, главным образом находившихся в реке. Вода сразу стала нечистой, но афиняне продолжали пить ее, илистую, окрашенную кровью, и многие даже дрались между собой, чтобы первыми утолить жажду.

Наконец, когда мертвые уже грудами лежали в воде и большая часть армии была уничтожена — одни погибли в реке, другие, ее пересекшие, были изрублены конницей, — Никий сдался, сказав, что с ним они могут поступать как им угодно, но пусть прекратят избиение его солдат.

Сиракузяне и их союзники объявили сбор войск и, прихватив добычу и столько пленных, сколько смогли, вернулись в свой город.

Никия они предали мечу — человека, говорит Фукидид, который меньше всех из эллинов своего времени заслужил столь несчастную участь, ибо он в своем поведении всегда следовал добрым обычаям.

Благородный Никий сколотил состояние, ссужая городу рабов для работы в серебряных копях.

Попавших в плен афинян и их союзников отправили в каменоломни, где за ними было легче присматривать.

Первое время с ними в каменоломнях обходились жестоко. Слишком много их было, сгрудившихся в узкой яме, в которой, поскольку крыши над головой не имелось, они страдали днем от солнечного жара и духоты, между тем как ночами, поскольку уже наступала осень с ее холодами, температура падала и многие заболевали.

Вдобавок по недостатку места им приходилось здесь же и совершать все естественные отправления; к тому же трупы умерших от ран и болезней, вызванных температурными перепадами, валялись тут же, нагроможденные друг на друга, и потому стоял нестерпимый смрад. Кроме того, узники страдали от голода и жажды. В течение восьми месяцев сиракузяне выдавали им ежедневно по полпинты воды и пинте еды. Вообще же, все возможные бедствия, которые приходится терпеть людям в подобном положении, не миновали пленников.

Так они прожили почти десять недель. Затем все, кроме афинян и присоединившихся к ним сицилийских и италийских греков, получили свободу — их продали в рабство.

Трудно сказать точно, сколько там было пленных, однако полное число их наверняка превосходило семь тысяч.

Таково было величайшее из военных событий той поры, величайшее, известное нам в истории Греции.

Победителей ждал самый славный успех, побежденных — наигорчайшее поражение, ибо разгром оказался окончательным и бесповоротным. Страдания их были неописуемы, они потеряли все, армия, флот — все погибло, а из тех, кто отправился воевать, вернулась лишь малая горстка. Только одного из уцелевших мы и знаем по имени — Алкивиада.

Афинскую империю сотрясли восстания.

Почти невозможно поверить в то, что афиняне продолжали бороться еще девять лет.

— Пусть себе дерутся, — советовал Алкивиад своему персидскому благодетелю, Тиссаферну. Вскоре ему предстояло без ведома Тиссаферна пообещать его помощь тем, кто намеревался низвергнуть демократическое правительство Афин и установить власть олигархии. — Дайте Спарте денег на постройку судов, но немного. Поддерживайте слабую сторону, чтобы они изматывали друг друга, сражаясь между собой, а не с нами. Кто бы ни победил, он все равно не станет нашим союзником.

В 407 году афинская демократия, ради свержения которой он строил козни, вновь избрала его генералом. А вскоре затем, несправедливо обвиненный в морском поражении при Нотиуме, он бросил все и бежал во Фракию.

Конец Афинам положил Лисандр своей победой при Эгоспотамах: сто восемьдесят афинских судов оказались захваченными на берегу, и только девять сумели выйти в море и спастись.

За год до того Афины в грубой спешке приняли постановление, повелевавшее афинским командирам рубить правую руку каждому пойманному в море спартанцу. Один из капитанов пошел даже дальше, побросав за борт всех спартанцев с двух захваченных им кораблей.

Теперь Лисандр отомстил. Сказанному капитану он приказал перерезать горло. Взятых в плен афинян казнили — кроме одного человека, о котором было известно, что он выступал в Народном собрании против упомянутого постановления. Затем Лисандр повел свои корабли на блокаду гаваней.

Вопль отчаяния распространился из Пирея в город вдоль Длинных стен, ужасная весть переходила из уст в уста, и никто в эту ночь не спал. Все скорбели — не только о погибших, но и о самих себе, ожидая, что теперь и им придется претерпеть то же, чему они подвергали других: мелосцев, гистийцев, скионейцев, торонейцев, эгинян.

Однако Спарта не пожелала допустить разрушения города, столь много потрудившегося для всех греков, отчего спартанские союзники Коринф, Фивы и Элида отказались подписать договор, назвав его предательским и продажным.

Афинам разрешалось сохранить двенадцать кораблей, однако стены их надлежало срыть.

Только когда в городе иссякли припасы, афиняне отправили наконец послов в Спарту с просьбой о мире. По возвращении послов их окружила многочисленная толпа: все боялись, что они вернулись ни с чем, а ждать больше нельзя было, так как очень уж много народу погибло от голода.

Послы доложили Народному собранию условия, на которых лакедемоняне предлагают мир и снятие блокады. Они убеждали народ принять эти условия. Кое-кто возражал, но большинство согласилось с послами, и наконец постановлено было принять мир. После этого Лисандр приплыл в Пирей, изгнанники, желавшие вернуться, получили на то разрешение, а пелопоннесцы с ликованием принялись разрушать стены под музыку флейтисток, восхваляя этот день как начало свободы Греции.

Афинян, слушавших музыку и восхваления, ошеломило то обстоятельство, что капитуляция их демократического города провозглашается прочими греками возвращением свободы всем остальным городам.

В том же году Алкивиад пал жертвой персидских убийц. Произвести покушение потребовала Спарта по настоянию афинских тиранов. К этому времени лидеры всех трех государств были им сыты по горло.

Женщина, в чьих объятиях он лежал в ту ночь, говорит Плутарх, подняла его тело, завернула в свои собственные одежды и похоронила, насколько было возможно, торжественно и почетно.

25

Enfants terribles[1] плохо переносят старение, и к Алкивиаду это относится тоже.

Нашлись и в Афинах почтенные замужние женщины, которых порадовали вести об обстоятельствах его кончины. Ксантиппу, жену Сократа, они нисколько не удивили. За

[1] *Enfant terrible* — букв.: «ужасный ребенок» (*франц.*). В данном случае — своевольный, дерзкий, неуемный человек.

что боролся, на то и напоролся, сказала она, это доказывает лишь то, что она и так всегда знала, — что кончит он очень плохо.

Сократ же сказал:

— Такова жизнь.

XII. Литературное наследие

26

Афинские граждане славятся среди прочих эллинов как великие говоруны, пишет Платон. Что касается голландцев вообще и Рембрандта в частности, справедливо скорее обратное.

Литературное наследие Рембрандта образуется всего-навсего семью письмами, написанными его собственной рукой, плюс сделанный кем-то неведомым перевод на итальянский его письма к Руффо. Все письма касаются дела. Дело касается денег.

Кроме писем имеется также короткий меморандум, написанный Рембрандтом для Руффо по поводу незаконченного «Гомера», которого он приложил к «Александру» в надежде, что сможет продать сицилийцу третьего из трех греков, изображенных в «Аристотеле». В меморандуме значится:

> Поскольку каждая вещь имеет в ширину 6 ладоней, а в высоту 8, размер их хорош и Господин не сочтет цену их слишком высокой.
>
> Почтительный Ваш слуга
>
> *Рембрандт ван Рейн*

Семь писем, написанных собственной рукой Рембрандта, адресованы первому его влиятельному поклоннику Константину Хёйгенсу и касаются последних трех полотен из серии Страстей Господних, заказанной принцем Фридрихом Генрихом.

Письмо, переведенное на итальянский, представляет собой ответ на жалобы дона Антонио относительно «Александра». Заносчивый тон и непочтительная независимость Рембрандта, возможно, могут объяснить его разрыв с Яном Сиксом, Константином Хёйгенсом и иными покровителями, которые ему помогали.

Помимо писем существует еще несколько высказываний, о которых уместно здесь упомянуть. Три из них являются письменными, два других — устными, обращенными к людям, которые их затем повторили. Почти все, что еще приходилось от него слышать, так или иначе занесено в судебные бумаги и финансовые соглашения. Отраженная в них высокопарность его речей вполне совмещается с впечатлением напыщенности, оставляемым в нас его личностью, а также с высокомерной повадкой, которая проявилась в автопортретах, написанных Рембрандтом в те времена, когда его постигали наихудшие горести.

Двадцати восьми лет, в Амстердаме, он записал в альбоме немца-путешественника нижеследующее, сказав, что таков его девиз:

> Прямая душа ставит честь превыше богатства.

Мы находим в жизни Рембрандта только два случая, когда он выражает нечто похожее на истинное чувство. Первый связан с подписью к изображающему Саскию рисунку, сделанному в память об их помолвке. Второй — горестное восклицание, перед самой кончиной обращенное к служанке.

Подпись к портрету Саскии гласит:

> *Срисовано с жены моей, Саскии, когда ей был 21 год, на третий день после нашего обручения — 8 июня 1633.*

Рисунок выполнен серебряным карандашом на специально подготовленной бумаге — существовала во времена Ренессанса такая деликатная процедура. На Саскии соломенная шляпа с широкими полями и цветами. Она выглядит здоровой, пожалуй даже, соблазнительной и старше своего двадцати одного. На набросках, сделанных к концу ее жизни, девять лет спустя, Саския кажется изнуренной болезнью и, как правило, лежит в постели.

Они поженились в 1634 году во Фрисланде, где жила сестра Саскии с мужем, поверенным, занимавшим также пост секретаря городской управы.

Мы не имеем причин для вывода, что Рембрандт-де предпочел столь удаленное место, чтобы уклониться от необходимости представлять кругу людей, из которого происходила его невеста, свою католичку-мать и плебеев-братьев. Отец, по некоторым сведениям ослепший к старости, к тому времени уже скончался.

Мы не имеем также причин полагать, что он пригласил бы их на свадебную церемонию, даже если бы таковая происходила в Амстердаме.

Они поженились в июне, в день двадцать второй.

Месяц спустя, дабы отметить эту дату, Рембрандт подписал документ, предоставлявший его новоиспеченному зятю, секретарю городской управы и практикующему законнику Герриту ван Лоо, право собирать во Фрисланде долги от имени Саскии.

Семейству ван Лоо, в которое ввело сестру Саскии супружество, предстояло участвовать в юридических затруднениях Рембрандта до конца его жизни и даже после нее. Титус взял в жены ван Лоо; когда Титус умер, она, беременная, вынашивала еще одного ван Лоо, обладавшего потенциальными, внутриутробными правами на всякую ценность, оставленную живописцем или его сыном.

Только у малоразвитых народов мира законникам приходится попотеть, чтобы заработать себе на кусок хлеба.

Первый ребенок, Ромбартус, был крещен в декабре 1635-го. Когда его два месяца спустя похоронили, Рембрандт написал первое из писем Хёйгенсу, сохранившееся в его литературном наследии. А два месяца спустя воспоследовало первое из нескольких касающихся наследства Саскии судебных разбирательств, которые Рембрандт и Саския затевали в качестве истцов.

При жизни Саскии Рембрандт во всех судебных процессах значился жалобщиком; в процессах, шедших после ее смерти, он почти неизменно оказывался ответчиком. Нам следует со всей честностью признать, что судебные решения по делам о наследстве Эйленбюрха всякий раз выносились в пользу Рембрандта и Саскии. Мы можем, однако, предположить, что аппетит к сутяжничеству, приобретенный Рембрандтом на взлете его карьеры, более чем поугас еще до конца его жизни.

В первом из семи писем к Хёйгенсу Рембрандт сообщает своему Господину, Его Милости господину Хёйгенсу, что, как он надеется, Его Милость не затруднит сообщить Его Высочеству, под которым Рембрандт разумеет принца Фридриха Генриха, что он, Рембрандт, усердно трудится, дабы сколь возможно скорее завершить три посвященные Страстям Господним картины, которые Его Высочество лично ему заказали: «Погребение», «Воскрешение» и «Вознесение Христа».

Рембрандтовы «Воздвижение креста» и «Снятие с креста» были выполнены тремя годами раньше. Из этих новых картин, пишет Рембрандт, одна уже закончена. Две другие написаны более чем наполовину. Это послание Рембрандт заключает словами:

> А пожелают ли Его Высочество сразу получить эту законченную работу или все три полотна вместе, о том прошу моего Господина дать мне знать касательно этих дел, дабы я мог, сколько умею, удовлетворить пожелания Его Высочества Принца.
> И не могу также удержаться и не представить моему Господину, в знак моей смиренной почтительности, некую из моих самых последних работ, веря, что оная будет принята настолько благосклонно, насколько сие воз-

можно. Посылаю Вашей Милости почтительнейшие приветствия и благодарю Бога за дарованное Вам здоровье.

Господина моего смиренный и преданный слуга

Рембрандт

Если б Его Высочество пожелал получить все три полотна вместе, ему пришлось бы прождать еще три года — пока Рембрандт не купит дом и не начнет сорить деньгами.

Мы знаем, что отосланные картины были приняты не без некоторого разочарования, ибо в своем втором письме Рембрандт высказывает готовность приехать в Гаагу и посмотреть, насколько его «Вознесение» «сочетается» с предыдущими полотнами. В письме содержится также чувствительный — для Рембрандта — вопрос касательно денег:

Что же до платы за картину, то я определенно заслужил за нее 1200 гульденов, но буду доволен тем, что Его Высочество мне заплатят. Да не сочтет Господин мой сего за неуместную вольность, но я не оставляю без воздаяния ни одного доброго дела.

Самое лучшее повесить ее в галерее Его Высочества, поскольку свет там силен.

Рембрандту заплатили те же шестьсот гульденов, какие он получил за первые две картины. До посылки им прославленного третьего письма прошло три года. Этот период был не лишен своих радостей.

В апреле 1636-го состоялся связанный с наследством Саскии процесс, в ходе которого Рембрандт, Саския и ее брат Идсерт восторжествовали над доктором Альбертом ван Лоо и прочими в тяжбе, касающейся фрисландской недвижимости, принадлежавшей всем Эйленбюрхам.

В марте 1638-го Геррит ван Лоо, зять его Рембрандт, Франсуа Купель, еще один зять, и доктор Иоаннес Макковиус, а также братец Идсерт возбудили процесс против другого брата, доктора Ульрикуса Эйленбюрха, и с ним еще одного человека по делу о продаже фермы — и выиграли.

В том же году, в июле, родилась дочь, которую похоронили в августе, и в том же июле Рембрандт и Саския затеяли дело о клевете и съездили на суд, состоявшийся во Фрисланде.

Истцы обвинили доктора Альберта ван Лоо, уже проигравшего один из предыдущих процессов, а также сестру его Мэйке в том, что оные заявляли и продолжают заявлять, будто Саския «проматывает наследство своих родителей, хвастливо выставляя себя напоказ, тщеславясь и щеголяя».

Мы не можем с уверенностью утверждать, что ответчикам был известен Рембрандтов «Автопортрет с Саскией», хотя Рембрандт и Саския им, похоже, известны были.

В поданной им жалобе Рембрандт, в частности, писал:

Истец и жена его люди вполне обеспеченные и многажды благословенные свыше всевозможным земным богатством (за что им никогда не удастся высказать благому Господу нашему достаточной благодарности).

И поскольку таковые оскорбления, хвала Господу, полностью противоречат истине, Рембрандт не может оставить их без внимания и просит о возмещении ущерба в виде извинений и уплаты шестидесяти четырех золотых гульденов за оскорбление его имени, а к тому еще шестидесяти четырех золотых гульденов за оскорбление имени Саскии, настоящим особо оговаривая, что готов понести судебные издержки.

Доктор ван Лоо ответил, что ни он, ни сестра его никаких таких заявлений, в коих их обвиняют, не делали. Однако если истцам, каковые суть «просто живописец и его жена»,

требуется некое возмещение, ответчик предлагает им восемь золотых гульденов, что составляет достаточную плату за любое оскорбление их имени.

В этом судебном преследовании, вызванном обвинениями в расточительности, возведенными на него и на его жену, Рембрандт не преуспел. Суд обязал каждую сторону оплатить издержки, а шесть месяцев спустя расточительный Рембрандт купил дом.

С покупкой дома литературная деятельность Рембрандта внезапно возобновилась в приливе творческой активности, свидетельством коей стало также завершение тех самых двух картин из серии Страстей Господних, которые он три года назад обозначил как написанные более чем наполовину, сообщив о себе, что он «усердно трудится, дабы сколь возможно скорее завершить» их.

Всего через девять дней после покупки дома Рембрандт, прервав трехлетнее молчание, пишет свое третье письмо Хёйгенсу и организует его доставку с передачей из рук в руки 12 января 1639 года.

Вследствие великого рвения и преданности, кои я проявил, дабы достойно исполнить две картины, каковые Его Высочество мне заказали, — одну, на которой мертвое тело Христа опускают в могилу, и другую, на которой Христос возносится, к великому испугу стражей, — две эти картины ныне завершены благодаря моему усердному прилежанию, чего ради я расположен отослать оные, дабы доставить удовольствие Его Высочеству, ибо на двух этих картинах выражаются величайшие и натуральнейшие чувства, какова и была основная причина, что исполнение их заняло столь долгое время...

И поскольку мне приходится второй раз беспокоить моего Господина по этим делам, я в знак признательности добавляю полотно в 10 футов длиной и 8 футов высотой, которое будет достойным дома моего Господина. И желаю Вам всякого счастия и благословения Небес. Аминь.

Ваша Милость, моего Господина смиренный и преданный слуга

Рембрандт

Сего дня 12 января 1639

Господин мой, я живу на Бринен Амстель. Дом называется кондитерской.

Хёйгенс не пожелал принять картину, возможно сочтя ее взяткой. Однако Рембрандт все же отправил ее с сопроводительным письмом, под конец которого снова затрагивается щекотливый вопрос о вознаграждении:

Я с чрезвычайным наслаждением прочел послание Вашей Милости от четырнадцатого числа. Я усматриваю в нем благорасположение и привязанность, а потому ощущаю сердечную обязанность ответить Вашей Милости и службой, и дружбой. По этой причине я и посылаю прилагаемое полотно вопреки желаниям моего Господина, надеясь, что Вы не сочтете сего за вольность с моей стороны, поскольку это лишь самый первый знак признательности, который я посылаю моему Господину...

... Я просил бы у Вашей Милости, чтобы вознаграждение, которое сочтут нужным пожаловать мне Его Высочество за 2 картины, я мог бы получить здесь елико возможно скорее, поскольку сейчас это было бы для меня в особенности удобно. Если мой Господин не против, я ожидаю ответа на это письмо и желаю Вашей Милости и всему семейству Вашему всяческого счастия и благословения помимо моей признательности.

Вашей Милости смиренный и искренне любящий слуга

Рембрандт

Писано в спешке сего дня 27 января 1639 года.

Пусть мой Господин повесит эту картину там, где есть сильный свет, и так, чтобы можно было встать на некотором расстоянии от нее, тогда она явит весь ее блеск.

Рембрандту так не терпелось получить свои деньги, что две эти новые картины были отправлены еще до того, как краска на них совершенно высохла. Свежие слои краски не успели закрепиться на тех, что лежали под ними, вследствие чего «Положение во гроб» и «Вознесение» Рембрандта с самого начала стали для реставраторов устойчивым источником дохода.

Сопроводительное письмо Рембрандта отличается краткостью:

Мой Господин,
С дозволения Вашего посылаю Вашей Милости эти 2 полотна, которые, полагаю, будут сочтены столь превосходными по качеству, что Его Высочество выплатят мне на сей раз не менее тысячи гульденов за каждое. Впрочем, ежели Его Высочество не найдут их достойными такой цены, Они могут заплатить мне и меньше, как то им будет угодно. Полагаясь на умудренность и вкус Его Высочества, я с благодарностью приму то, что Они скажут.

Со всей почтительностью остаюсь смиренным и преданным слугой

Рембрандтом

За рамы и упаковочную клеть мне пришлось выплатить вперед всего 44 гульдена.

Из следующего письма Рембрандта, шестого в ряду его литературных произведений, мы узнаем, что запрошенной тысячи он не получил.

Достопочтенный Господин,
Я совершенно уверен в доброй воле Вашей Милости касательно всякого дела и, в частности, в отношении вознаграждения за 2 последних картины и не сомневаюсь, что если бы вопрос сей был разрешен согласно желаниям Вашей Милости и со всей справедливостью, то никаких возражений против указанной мною цены не воспоследовало бы. Что до ранее доставленных мною работ, то за каждую было уплачено не более 600 королевских гульденов. И если Его Высочество не удается со всей почтительностью подвигнуть на более высокую плату, хотя картины с очевидностью оной заслуживают, я буду удовлетворен, получив по 600 королевских гульденов за каждую, при условии, что мне возместят также мои расходы на две рамы черного дерева и клети, которые обошлись мне в 44 гульдена. Того ради сердечно прошу моего Господина, чтобы я мог получить заплаченное здесь, в Амстердаме, сколь возможно скорее, веря, что, благодаря оказанной Вами мне доброй услуге, я вскорости получу эти деньги, и оставаясь между тем благодарным за всякую такую дружбу. Что до Господина моего и всех его ближайших друзей, то да пошлет им Бог долгое здравие.

Вашей Милости смиренный и преданный слуга

Рембрандт

Распоряжение о платеже последовало немедленно, но Рембрандт об этом не знал и денег не получил, поскольку главный казначей с присущим всем главным казначеям инстинктивным стремлением попридержать чужие денежки лживо уведомил его, что будто бы счет, с коего должны поступить деньги, покамест не полон.

Рембрандт провел лихорадочное расследование и установил истину.

Интересно сравнить «Седьмое послание» Платона с седьмым письмом Рембранд-

та. Оба писаны раздраженным тоном, многословны и исполнены своекорыстия. Впрочем, письмо Рембрандта выглядит как напоминание и жалоба попрошайки:

> Мой Господин,
> Мой благородный Господин, не без колебаний решаюсь я побеспокоить Вас моим письмом и делаю это по причине сказанного мне контролером... которому я пожаловался на задержку моего платежа... И как таково есть истинное положение дел, я прошу моего доброго Господина, чтобы распоряжение было подготовлено без проволочек, дабы я смог наконец получить заслуженные мною 1244 гульдена, я же всегда готов буду отплатить за это Вашей Милости почтительными услугами и доказательствами дружбы. На этом я сердечно прощаюсь с моим Господином и выражаю надежду, что Бог на долгие годы сохранит здоровье Вашей Милости и всячески Вас благословит. Аминь.
>
> Вашей Милости смиренный и искренне любящий слуга
>
> *Рембрандт*
>
> Я живу на Бринен Амстель в кондитерской.

Следует сказать, что Рембрандтово седьмое в отличие от «Седьмого» Платона — то действительно письмо, тогда как Платоново «Послание» представляет собой тщеславное сочинение, написанное для публикации и имеющее целью представить автора в чрезвычайно выгодном свете как современным читателям, так и последующим поколениям вроде нашего.

Рембрандт получил свои деньги. Кстати, это последнее из известных нам свидетельств общения между ним и Хёйгенсом, хотя Рембрандт прожил еще тридцать лет, а Хёйгенс ухитрился перевалить за девяносто, оставив множество дневников.

В июле 1640-го Саския родила еще одну дочь, скончавшуюся в следующем месяце, а на тринадцатый день того месяца, в который она умерла, Рембрандт назначил поверенного для контроля за наследством, полученным Саскией от тетки, умершей шесть лет назад.

В сентябре 1641-го родился Титус.

Девять месяцев спустя умерла Саския.

Назвав в завещании, написанном за несколько дней до кончины, единственным наследником Титуса, Саския назначила Рембрандта единственным его опекуном и предоставила ему право пользоваться доходами от ее собственности при условии, что он станет нести расходы по воспитанию Титуса, и до тех пор, пока он не женится вторично.

Рембрандт не женился, что могла бы засвидетельствовать Гертджи Диркс. В 1649 году она подала на него в суд за нарушение обещания жениться, жалуясь, что

> ответчик дал устное обещание жениться на ней и подарил ей кольцо в залог сего. Сверх того, он спал с ней более нежели один раз. А потому она требует, чтобы он женился на ней или как-то иначе ее обеспечил.

Письменный ответ Рембрандта, хоть он наверняка и составлен при участии его поверенного, выглядит скорее презрительным, чем примирительным:

> Ответчик отрицает, что обещал жениться на истице, и сверх того заявляет, что он не обязан признавать, будто спал с нею. Истица сама подняла этот вопрос и сама обязана предъявить доказательства.

Судьи не приняли целиком ни сторону истицы, ни сторону ответчика: они обязали Рембрандта выплачивать ежегодно двести гульденов на ее содержание, однако не приказали ему жениться на ней.

Две сотни гульденов в сорок раз превышали сумму, которую предложил он сам.

В апреле 1650 года Гертджи предоставила своему брату права на ведение всех ее дел. А в июле брат Гертджи стакнулся с Рембрандтом, дабы упечь ее в исправительное заведение в Гауде. Проделано это было так сноровисто, что друзья Гертджи не знали, куда она подевалась, до тех пор, пока Рембрандт не перестарался, попробовав получить у них показания, которые позволили бы продержать там Гертджи по меньшей мере двенадцать лет.

Гертджи выпустили через пять лет, в конце 1655-го, когда Рембрандт отчаянно пытался предотвратить свое банкротство.

В 1655-м и 1656-м, когда столь многое угнетало его, Рембрандт тем не менее нашел время для того, чтобы сделать попытку снова упрятать Гертджи в сумасшедший дом; для того, чтобы добиться задержания ее брата, не желавшего отдать долг в сто сорок гульденов; для того, чтобы убедить Титуса подписать завещание; и для того, чтобы закончить «Урок анатомии доктора Яна Деймана», «Иакова, благословляющего сыновей Иосифа», «Христа и самаритянку», «Титуса за своим столом», «Читающего Титуса», «Читающую старуху», «Купающуюся Хендрикье», «Хендрикье у открытой двери», два полотна, на которых жена Потифара обвиняет Иосифа; два портрета Александра (это не те, что пошли дону Антонио) и еще одно полотно, являющееся, возможно, осознанной попыткой символического автопортрета, — «Убитый вол»; и это не считая куда большего числа рисунков и офортов, чем требуется нам для демонстрации того, что напасти, обрушившиеся на Рембрандта в эти бедственные годы, сказались на его артистической плодовитости столь же мало, сколь и на недобросовестности его обращения с деньгами и на безобразном обхождении с другими людьми.

«Аристотель» был заказан Рембрандту в 1653 году и завершен в 1654-м, литературная же его продукция за 1653 год состоит в основном из подписей под документами о займе денег и взыскании долгов.

Между январем и мартом 1653-го он подписал долговую расписку на 4180 гульденов, занятых у очень важного официального лица Корнелиуса Витсена, со временем получившего все свои деньги обратно, беспроцентную долговую расписку на 1000 гульденов, занятых у Яна Сикса, получившего назад лишь часть своих денег, продав эту расписку со скидкой, и расписку на 4200 гульденов, занятых под пять процентов у знакомого, Исаака ван Хеертсбека, никаких своих денег назад не получившего.

Дважды за этот год он подписывал и поручения о взыскании долгов, а также расписался на картине «Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера». Рембрандт — первый известный нам голландский художник, который подписывал свои работы одним только именем.

В июне следующего года, как раз когда «Аристотеля» упаковывали для переезда в Сицилию, Хендрикье Стоффелс, беременная на пятом месяце, получила вызов в консисторию кальвинистской церкви Амстердама, где ей предстояло защитить себя от обвинений в блудодейном сожительстве с живописцем Рембрандтом.

Рембрандт тоже получил вызов. Он его выбросил.

Он не принадлежал ни к этой церкви, ни к какой-либо другой.

Хендрикье принадлежала.

— И ты позволишь мне пойти туда одной? — спросила она при забиваемом в клеть Аристотеле в качестве свидетеля.

— А я им, похоже, не очень и нужен, — ответил Рембрандт. Они же ничего не пишут о его блудодейном сожительстве с нею, заметил он. — Да и сделать тебе они ничего не смогут.

Разве что от церкви отлучат.

В церковных записях значится, что она «запятнала себя прелюбодейством с Рембрандтом», что ей было предписано покаяние и что ее отлучили от причащения Господу.

Через три месяца она родила дочь, Корнелию.

В общем и целом Аристотель так и не поколебался в своем отрицательном отноше-

нии к Рембрандту как к человеку, преклоняясь перед Рембрандтом-художником, сохраняя как сокровище свои золотые украшения и изумляясь Рембрандтову мастерству в использовании наслоений красок и лаков и волшебному разнообразию присущих его кисти оттенков красного, коричневого и черного в приглушенной цветовой палитре, в которой ему не было равных.

Посетители музея Метрополитен, приезжающие из дальней дали, чтобы полюбоваться Аристотелем, размышляющим над бюстом Гомера, и поныне продолжают шептать ему похвалы. Тем не менее Аристотель впадает во все более мрачную подавленность, ибо замечает, что они уже не сбегаются к нему толпами, столь же многочисленными и восторженными, как поначалу. Он хандрит. Гордость его уязвлена, крупные музеи, в которых шедевры, какими бы они там ни были, попадаются на каждом шагу, больше не кажутся ему удачным местом для размещения полотен столь высокого качества, как у его собственного. Теперь на лице Аристотеля нередко появляется такое выражение, будто он вот-вот расплачется. Он считает, что его недооценивают.

Он часто тешит себя надеждой, что его кто-нибудь украдет.

Относительно же года, в котором Хендрикье отлучили от причастия, у нас имеется свидетельство женщины по имени Трийн Якобс, подруги Гертджи, о словах, услышанных ею от Рембрандта, когда она сказала ему, что едет в Гауду — попытаться вызволить Гертджи.

— Не советую, — сказал он, по клятвенному заверению Трийн Якобс, а затем выставил в ее сторону палец и с угрозой добавил: — Ты можешь пожалеть об этой поездке.

Приехав в Гауду, она с изумлением обнаружила, что магистрат уже получил от Рембрандта множество писем с настоятельными требованиями продлить срок заключения Гертджи. Эти письма не сохранились.

Выйдя на свободу, Гертджи снова назначила брата поверенным и предъявила Рембрандту претензию касательно денежного обеспечения за этот год.

Рембрандт попробовал снова упечь ее, но безуспешно.

По нашим сведениям, вскоре она умерла.

А Рембрандт в год ее освобождения завершил трогательное, находящееся сейчас в Роттердаме полотно «Титус за своим столом», картину, относительно которой Шварц пошутил, что она вполне могла бы называться «Титус, пишущий завещание», если бы не то обстоятельство, что Рембрандт сам написал завещание за мальчика.

У четырнадцатилетнего Титуса было меньше, чем у Рембрандта, причин для вражды с семейством Саскии. Завещание называет Рембрандта единственным наследником, исключая из раздела имущества всех его родственников по матери и запрещая какой бы то ни было третьей стороне вмешиваться в касающиеся наследства дела.

Поскольку авторство завещания Титуса нельзя надежно приписать Рембрандту, мы исключаем этот документ из канона его литературных трудов.

Несколько позже в том же году Рембрандт предпринял кое-какие шаги, вероятно ужаснувшие тех, у кого он назанимал денег два года назад с обещанием выплатить долг по истечении двухлетнего срока.

Он арендовал зал и принялся избавляться от своего имущества, выставляя его на публичную распродажу. Нам неизвестно, что именно он продал и сколько выручил денег. Нам известно, что он не воспользовался этими деньгами для уменьшения долга за дом.

В мае 1656 года он перевел дом на Титуса.

Думая защитить дом от кредиторов после финансового краха, приближение которого он предвидел, Рембрандт наивно недооценил политические возможности бургомистра Витсена, склонившего Долговой суд аннулировать притязания Палаты по делам сирот, продать дом и полностью выплатить ему причитающееся, а остаток средств заморозить в интересах Титуса.

Всего через два месяца после перевода дома на Титуса Рембрандт подал прошение касательно «cessio bonorum», то есть добровольной передачи его имущества кредиторам вследствие понесенных им ущербов и потерь, написав, что причиной его неплате-

жеспособности стали «потери, кои он претерпел в сделках, равно как и ущербы и потери, понесенные им на море». Это была чистой воды отписка. Деловое банкротство считалось почтенной формой разорения и обеспечивало банкроту значительно большую личную неприкосновенность. Он избежал тюрьмы, но остался без гроша.

Кажется совершенной фантастикой, что в год таких бедствий он завершил не только «Урок анатомии доктора Яна Деймана», но и завораживающего «Иакова, благословляющего сыновей Иосифа», чье мощное построение и поразительные, безупречные тона сливаются в совершенном настроении несказанного покоя. Ни один отец не глядел на сыновей с большей заботой и лаской, чем Рембрандтов Иосиф; слепой Иаков, руку которого направляет божественное провидение, благословляет младшего сына, Эфраима, между тем как старший, Манассия, и жена Иосифа, Асенефа, завершают вертикаль геометрической группировки фигур.

Темой этой сцены является наследство.

Картина завершена в год банкротства.

«Урок анатомии доктора Яна Деймана» является, в отличие от «Доктора Тюлпа», истинным произведением искусства, в котором Рембрандт на свой манер соединяет конграсты Караваджо со свободным мазком и атмосферой Тициана и иных венецианцев. Кое-кто уверяет, что здесь не обошлось также без Рафаэля и Леонардо.

Устрашающие цвета идеальны. Покойник выглядит настоящим. Вентральная полость вскрыта и опорожнена. Крышка черепа аккуратно срезана. Большая часть картины обгорела. То, что осталось неповрежденным, изображает труп человека, казненного днем раньше за попытку ограбить мануфактурную лавку и обнажившего нож при аресте.

В Амстердаме человека могли казнить за кражу пальто и пригласить в ратушу после того, как он украдет состояние.

Реестр имущества Рембрандта, выставленного после его банкротства на публичную распродажу, включает среди сотен прочих вещей принадлежавшие ему бюсты Гомера, Сократа, Аристотеля и шестнадцати римских императоров, три рубашки, шесть носовых платков, двенадцать салфеток и три скатерти, а также некоторое количество воротников и манжет, о которых сказано, что они находятся в стирке. На распродажу было также выставлено более семидесяти его картин и более сотни рисунков.

Аукцион состоялся в пору наихудшего экономического спада, какой кто-либо мог припомнить.

Все живописное собрание Рембрандта, включая семьдесят картин и более сотни рисунков, пошло за 2516 гульденов. Шесть сотен дали его рисунки, а на долю семидесяти картин и всего прочего осталось чуть больше 1900 гульденов, то есть всего-навсего в четыре без малого раза больше, чем он получил за одного только Аристотеля.

Акции голландской Ост-Индской компании также стремительно падали.

Дом был продан с аукциона за 4658 гульденов, и в том же году Рембрандт закончил величественный автопортрет, пребывающий ныне в «Коллекции Фрика» в Нью-Йорке, портрет, на котором он, облаченный в роскошную меховую накидку и вызолоченную мантию, сидит в кресле, будто на троне, сложив ладони на серебряном набалдашнике трости, которая вполне могла оказаться скипетром, и выглядит так же царственно, как, вероятно, выглядел сам мистер Генри Клэй Фрик, король стальной индустрии, и уж никак не менее пышно, чем, скажем, Фрик, Корнелиус Вандербилт, Генри Форд, Джон Пирпонт Морган и Лоренцо ди Медичи, вместе взятые.

Вам бы и в голову не пришло, что перед вами банкрот.

Четыре картины Рембрандта, выданные им в обеспечение долга в сто шестьдесят гульденов, были выставлены судом на продажу и принесли чуть больше девяноста пяти.

Правила гильдии живописцев запрещали художнику, чьи картины попали на распродажу, когда-либо вновь продавать в Амстердаме произведения искусства.

Это правило Рембрандт сумел обойти с помощью Титуса и Хендрикье, подписав контракт, в котором он определялся в служащие компании по продаже картин и прочего, основанной этими двумя: ему оплачивались стол и кров и выдавалась вперед малая сум-

ма на житейские расходы, которую *запрещалось* использовать на оплату долгов, он же исполнял за это должность советника и обязывался передавать фирме все новые работы, какие исполнит до конца своих дней.

Они жили в доме на Розенграхт в Йордане, где квартирная плата составляла двести двадцать пять гульденов в год.

Нам неизвестно, как был получен от дона Антонио Руффо второй заказ. Однако в 1661 году, когда «Аристотель» уже находился в Мессине, туда прибыл и Рембрандтов «Александр».

За всю свою жизнь не слыхал Аристотель столь яростной ругани! Воздух гудел от мерзостных непристойностей и ужасных посулов сицилийской мести. Несколько дней все вокруг расхаживали вооруженными. Свирепый племянник с рапирой, склонный вспыхивать по всякому поводу, злобно поглядывал на Аристотеля и орал, что он и ему отрезал бы яйца.

Со временем синьор Руффо оправился от потрясения и призвал к себе писца.

Из более чем двухсот картин его коллекции, образованной произведениями лучших мастеров Европы, негромко диктовал он, стараясь сохранять спокойствие, ни одна не походит на эту, состоящую из четырех пришитых один к другому кусков. Швы выглядят просто ужасно. Ясно, что картина изначально представляла собой голову Александра, которую Рембрандт решил нарастить до поясного портрета, прикроив к ней недостающие куски.

В возмещение ущерба, причиненного столь дурной работой, синьор Руффо намеревается оставить у себя «Александра» и взять предлагаемого «Гомера» за двести пятьдесят гульденов вместо пятисот запрошенных. В противном случае он угрожает вернуть «Александра», ибо никто не обязан держать у себя картину столь дорогую и притом столь плохо исполненную.

Рембрандт, чьи картины, будучи выставленными на распродажу, принесли в среднем значительно меньше тридцати гульденов каждая, выказал в ответе своему готовому заплатить пятьсот гульденов покровителю все что угодно, кроме смирения. Это последнее из литературных произведений Рембрандта, какими мы располагаем, дошло до нас лишь в переводе.

> Я весьма удивлен тоном, которым мне сообщают об Александре, столь превосходно исполненном. Уверен, что в Мессине не много отыщется ценителей искусства. В добавление к этому Ваша Милость жалуется и на цену, и на холст, но ежели Ваша Милость пожелает отослать картину обратно за собственный счет и на свой страх и риск, я готов написать другого Александра. Что до холста, то я обнаружил, что он несколько маловат, уже во время работы, отчего и оказалось необходимым увеличить его длину, однако если повесить картину так, чтобы свет падал на нее должным образом, то никто совершенно ничего не заметит.
> Если при этом Александр удовлетворит Вашу Милость, то все в порядке. Если же Ваша Милость не пожелает сохранить сказанного Александра, то наинизшая цена за новую картину составит 600 гульденов. А за Гомера 500 плюс стоимость холста. Расходы, разумеется, будут производиться за счет Вашей Милости.
> Ежели Вы пожелаете, чтобы я исполнил для Вас какую-нибудь другую картину, не откажите в любезности прислать мне сведения о точных размерах, кои для Вас желательны. Ожидаю Вашего ответа, каковой послужит мне наставлением.
>
> *Рембрандт ван Рейн*

В конце концов дон Антонио сдался, шумно вздохнул, выкатил глаза и беспомощно уставился на Аристотеля, спросив у него:

— Разве этого сумасшедшего переспоришь?

Аристотель с невыразимым сочувствием отвел взгляд в сторону.

Руффо сохранил «Александра» (сегодня мы рады были бы знать, где он находится) и заказал «Гомера», заплатив пять сотен гульденов.

Рембрандт казался неукротимым.

В 1661 году он написал «Портрет художника в виде апостола Павла», на котором он щеголяет шапочкой пекаря и читает совершенно явственную факсимильную копию «Уолл-стрит джорнэл».

В то время наибольшим спросом пользовался в Амстердаме Говерт Флинк, скончавшийся в 1660-м. Многих художников попросили написать картины для новой городской ратуши. Рембрандта среди них не было. Флинк получил роскошный заказ: двенадцать полотен для главной галереи, по тысяче гульденов каждое, полотен, в большинстве изображающих восстание батавов, от которых вели свое происхождение голландцы, против римлян.

Когда Флинк умер, не успев даже закончить эскизов, отцы города выбрали Рембрандта для написания самой первой из этих картин — «Заговор Клавдия Цивилия: Клятва».

Его огромное полотно было отвергнуто и через год возвращено.

Посмотрите на него в Стокгольме, и вы поймете, в чем дело. Нанесенные мастихином слои охры и умбры позволяли членам общины и гостям ратуши хорошо разглядеть разъяренную физиономию первобытного вождя, кривого на один глаз, что, как мы знаем от Тацита, отвечает исторической истине.

Ничего, кроме холста, Рембрандт на этой картине не заработал. Возможно, он испытал разочарование.

Картина была огромной, самой большой из когда-либо написанных Рембрандтом, мерки оригинала составляли почти девятнадцать футов в одном направлении и почти девятнадцать футов в другом. Чтобы ее легче было продать и чтобы холст не пропадал зря — мы считаем себя вправе сделать эти предположения, — Рембрандт собственноручно отрезал почти четыре пятых картины, которая могла бы по эпическому размаху и ошеломляющему воздействию встать вровень с «Афинской школой» Рафаэля в качестве одного из величайших шедевров западноевропейской живописи.

На следующий год он продал могилу Саскии. Цена неизвестна.

Возможно, он испытывал разочарование.

Хендрикье хворала.

В 1662 году, том самом, в котором он продал могилу Саскии и писал для Руффо «Гомера», Рембрандт завершил также большой групповой портрет «Избранные должностные лица гильдии ткачей», часто называемый «Портретом синдиков гильдии ткачей», и, возможно, в том же году создал еще одно из лучших творений своей последней поры — прославленную и загадочную «Еврейскую невесту».

«Синдики» определенно входят в число величайших групповых портретов мира. Рядом с Рембрандтом бледнеет и «Тайная вечеря» Леонардо.

Следует помнить, что, говоря о великой картине, мы вообще-то ни о чем великом не говорим. Мы говорим только о картине.

В великой картине Рембрандта «Синдики гильдии ткачей» истинный замысел композиции полностью раскрывается лишь при визуальном контакте со стоящим перед ней зрителем, которого в упор разглядывают неулыбчивые должностные лица. Мы им помешали. Мы им не нравимся, им хочется, чтобы мы поскорее ушли. Попробуйте представить себе этих чиновников в Королевском музее, когда никто на них не смотрит, и вы обнаружите, что представить их занимающимися чем бы то ни было, кроме их основной работы, невозможно.

Их основная работа состоит в том, чтобы зарабатывать деньги.

«Еврейская невеста» — это абсолютно правильная картина, в которой все кажется неправильным.

Мужчина и женщина выглядят странновато. Мы не знаем, кто они, не знаем, в ка-

ком году написана картина и почему она названа «Еврейской невестой». Друг о друге они не думают. Зрителю тоже никто из них ничего сообщить не желает. Бесконечное число слоев краски, лака и мазков на правом рукаве мужчины не под силу скопировать ничьей руке, кроме, может быть, той, что написала и левый рукав женщины тоже и соединила обе фигуры в узкой амбразуре сияющего цвета. Его рука, лежащая на ее груди, ошеломляет своей интимностью в сцене, где никакой иной интимностью и не пахнет. Оба погружены в размышления и бесконечно далеки друг от друга. Сколько-нибудь осмысленного истолкования этого монумента живописного искусства не существует до сих пор. Мы не ведаем ни кто эти люди, ни кого они предположительно изображают, ни что они тут делают. Мы не ведаем даже, женаты они или нет, не говоря уж о том, что и мужчина, и женщина похожи на евреев не больше нас с вами.

Еще большую популярность, чем эти две картины, приобрел незабываемый шедевр Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме», который находится в Западном Берлине и который написан не Рембрандтом. Теперь нас уверяют, что это не только не Рембрандт, но что полотно это и на порядочную картину-то не очень похоже.

В двадцатых годах Рембрандту приписывалось более семисот картин. К 1969 году их число сократилось до четырех сотен. Эксперты Уолл-стрит предсказывают, что к концу нашего столетия не останется не только *ни единого* Рембрандта, но и следов интереса к книгам о самом выдающемся из художников семнадцатого века, работ которого у нас нет вовсе и который, следовательно, ни одной скорее всего и не написал.

Хендрикье умерла в 1663 году в возрасте сорока примерно лет, судя по всему, от чумы. Ее похоронили во взятой в аренду могиле. Стоимость аренды нам неизвестна.

То немногое, чем она владела, Хендрикье оставила Корнелии, назвав Рембрандта опекуном.

Через год после ее кончины Новый Амстердам сдался — в самом начале второй англо-голландской войны — подошедшему к нему отряду, состоявшему от силы из двухсот англичан, тут же переименовавших его в Нью-Йорк.

Новый Амстердам был сдан без борьбы генеральным управителем Новых Нидерландов Питером Стайвесантом, изувером с деревянной ногой, поощрявшим религиозные преследования католиков, евреев, англикан и протестантских сектантов любого вероисповедания, в чем-либо отличного от строгого учения тутошних кальвинистов.

Это он сдал Уолл-стрит.

Попробуйте-ка теперь получить его назад без драки.

Исходя из обилия мест, учреждений и организаций Нью-Йорка, названных именем Питера Стайвесанта, можно предположить, что он был незабываемой исторической фигурой, заслуги которой выходят далеко за пределы капитулянтства и изуверства.

В сентябре 1665 года Титус достиг совершеннолетия и получил 6952 гульдена, оставшихся от наследства его матери. Что произошло с этими деньгами, ведает один только Бог, ибо уже через год им не хватало средств на арендную плату.

Титус женился в 1668-м и выехал из дому.

Титус умер.

Он умер меньше чем через год после женитьбы, пока Исаак Ньютон строил свой телескоп-рефлектор, а голландец Антон ван Левенгук, глядя в микроскоп на человеческую кровь, составлял первое точное описание красных кровяных телец.

Его молодая жена, Магдалена ван Лоо, вскоре пожаловалась, что Рембрандт присвоил средства, оставленные Титусом и по закону принадлежащие ей и ее младенцу.

Последние известные нам слова Рембрандта он произнес, обращаясь к служанке:

— Придется потратить деньги Корнелии, чтобы покрыть наши расходы.

По счастью для них обоих, жить ему оставалось не долго.

Рембрандт умер в 1669 году, через год после Титуса, в возрасте шестидесяти трех лет.

Через тринадцать дней похоронили вдову Титуса.

От всей семьи Рембрандта остались пятнадцатилетняя Корнелия и его внучка, семимесячная Тития.

После смерти Рембрандта в доме его нашли четыре незаконченные работы и еще двадцать две, описанные как и законченные, и незаконченные одновременно.

Так приятно сообщить, что весть о смерти Рембрандта вызвала взрыв горестных сожалений в стране, забывшей о нем при жизни, и что внезапное повышение спроса на оставшиеся в его собственности картины обеспечило его дочке и внучке достаточно комфортные условия существования до скончания их дней.

Однако это неправда.

Константин Хёйгенс даже не упомянул о его кончине в чего только не содержащем дневнике, где вы найдете рассуждения касательно смерти других голландских художников, о которых вам никогда больше не доведется услышать.

Опекун Титии возбудил дело против опекуна Корнелии на том основании, что она незаконнорожденная, и лишил ее доли во всем ценном, что могло остаться от Рембрандта.

У Рембрандта не было даже одной мины, которую Сократ предложил на суде в виде выкупа за свою жизнь.

Корнелия вышла замуж за сына своего опекуна и уехала с ним в Батавию, что в голландской Ост-Индии, где родила двух детей, мальчика и девочку. Мальчика она назвала Рембрандтом, а девочку Хендрикье.

В год смерти Рембрандта турки отняли у Венеции Крит, последнее из ее колониальных владений.

XIII. Платон

27

О том, что Платон ездил в Сицилию, у нас имеются достоверные сведения, извлеченные из его тринадцатого «Послания», пять из которых, если не все тринадцать, являются подделками.

Греческий врач и писатель Гален, живший в Риме во втором столетии после Христа, сообщает, что тамошние библиотеки уже тогда платили немалые деньги за рукописи прославленных деятелей прошлого, создавая чрезвычайно прибыльный рынок поддельных документов, производимых искусными фальсификаторами.

Документ, в котором Гален сообщает об этом, вполне может быть поддельным.

Алчность человеческая ненасытима, говорит Аристотель.

Платон не обзавелся в Сицилии сколько-нибудь серьезными личными связями с привольно живущими, падкими до наслаждений, потворствующими своим прихотям греками, которым он представлялся мудрецом и отчасти спасителем. То были люди, позднее жаловался он в своем «Седьмом послании», которые обедали дважды в день и никогда не ложились в постель в одиночку.

В Афинах над ним порой потешались за его серьезность и сознание собственной значимости, он часто служил мишенью для насмешек комическим поэтам и объектом язвительных колкостей для таких, как Диоген, находивший его претенциозным, а лекции его называвший скучной тратой времени.

Когда Платон читал свой диалог «О душе», говорит Фаворин, из всех собравшихся послушать чтение до конца досидел один Аристотель, прочие же встали и ушли.

О душе, которую он полагал бессмертной, Платон говорит, что она, переселяясь, облекается во многие тела и обладает числовым началом. С другой стороны, тело обладает началом геометрическим.

Аристотель не был уверен, что видит в этом какой-либо смысл.

Душа, говорил Платон, это живое дыхание, распространяющееся во всех направлениях.

Аристотель не испытывал уверенности, что и в этом можно усмотреть какой-либо смысл.

Платон также говорил о душе, что она самодвижется и состоит из трех частей: разумная часть имеет седалище в голове, страстная часть — в сердце, а вожделительная — при пупе и печени.

Он наговорил о душе больше, чем когда-либо сказал о душе кто бы то ни было другой. Душа существует до нашего рождения и переживает тело после нашей смерти. Она старше всего сотворенного вещества, старше Вселенной.

Из середины со всех сторон душа окружает тело по кругу, состоит она из первооснов и, будучи разделена гармоническими расстояниями, образует два круга, кои соприкасаются дважды, так что вместе с внутренним кругом, который разделен шестью разрезами, получается всего семь кругов.

Внутренний круг движется по поперечному влево, а другой, внешний круг — по стороне вправо. Таким образом, один из них является высшим, потому что он един, а другой, внутренний круг, разделен. Высший круг есть круг Тождественного, а другой — круг Иного, и этим, говорит Платон, он хочет сказать, что движение души есть и движение целого, и обращение планет.

Когда Платон рассуждал о душе, мысли Аристотеля часто отвлекались, обращаясь к женщинам и украшениям.

Из двух начал всего — Бога и вещества, утверждал Платон, вещество бесфигурно и беспредельно и из него рождаются сложные сущности; и некогда оно было в нестройном движении, но Бог, предпочитая строй нестроению, свел его в единое место. И это вещество, говорит Платон, обратилось в четыре первоосновы — огонь, воду, воздух и землю, — а из них возник мир и все, что в мире.

Платон говорит об этих четырех элементах, что земля одна из всех не подвержена изменениям, и лишь по причине странности образующих ее треугольников.

В других трех первоосновах, поясняет он, продолговатые треугольники, из которых все они сложены, единообразны. Для земли же были использованы треугольники необычайной формы. Первооснова огня — пирамида, воздуха — восьмигранник, воды — двадцатигранник, земли же — куб. Поэтому ни земля не превращается в иные первоосновы, ни сами они в землю.

Кругом одна геометрия.

Аристотель часто от этого ошалевал.

Платон первым ввел в рассуждения вопросы и ответы, первым объяснил аналитический способ исследования, первым употребил в философском обсуждении такие понятия, как «противостояние», «первооснова», «диалектика», «качество», «продолговатое число», «открытая плоскость граней», а также «божественное провидение», первым стал рассматривать возможности грамматики.

Вера Платона в превосходство чистой мысли над индуктивными построениями позволила ему в своих рассуждениях о бессмертии души и о неизменяющемся мире идей и духа свести воедино мечтательные помыслы орфиков.

Орфизм имел своим происхождением рассказ об Орфее, одну из нескольких дохристианских историй о воскресении, наличествующих в греческой мифологии, —другими являются истории Персефоны и Адониса.

Разумеется, никакого Орфея никогда не существовало.

Орфики утверждали, что душа существует, что происхождение она имеет божественное, что она заключена, будто в темницу, в наши тела, кои склонны грязнить ее и потому ее недостойны.

Жизнь есть борьба за сохранение в этом мире душевной чистоты, которая позволит воспринять благословение мира следующего. После смерти, говорили орфики, чистота получает вечное блаженство, непоправимое зло — вечные муки, а всем остальным приходится страдать в чистилище, возмещая каждый грех десятикратно, пока не наступит время нового воплощения и рождения.

Они были вегетарианцами.

Платон перенял у них многое, и его теория идей, в которой вводится понятие духовной жизни, а также подчеркивание им превосходства духовной жизни над телесной считаются наиболее важным, возможно, вкладом, когда-либо сделанным в философию религии.

Не бог весть что, по правде сказать.

О Платоне говорят, что его идеализм, его ощущение неизменного мира реальностей, скрытого за видимым миром ощущений, и его концепция Бога и отношения веры к морали оказали глубочайшее влияние на Цицерона, Квинтиана, св. Августина, Спенсера, Аддисона, Колриджа, Шелли и Вордсворта.

За все это его тоже можно простить.

В молодости Платон писал обращенные к молодым мужчинам и женщинам любовные стихи, которые были ужасны.

Он написал пьесу, предназначенную им для городских состязаний, но предал ее огню после знакомства с Сократом. Он до того опасался нежного воздействия музыки, что ограничил ее исполнение в обоих тюремных государствах, которые задумал в качестве идеальных.

То, что Платон был способен понять шутку, следует из множества таковых, приписанных им Сократу. В его «Законах» Сократ отсутствует, и шутки тоже.

Учительствуя, Платон определил человека как двуногое животное без перьев и был много превозносим за это проливающее столь яркий и новый свет описание.

Диоген ощипал куренка и притащил его на следующую лекцию Платона, говоря: «Вот человек Платона».

Платон добавил к своему определению: «и с широкими ногтями».

Мы знаем от Диогена Лаэртского, что Сократ, послушав, как Платон читает «Лисия», воскликнул: «Клянусь Гераклом! сколько же навыдумал на меня этот юнец!»

Что касается системы правления, то Платон еще молодым человеком обнаружил то, чему все мы научаемся с большим опозданием: рано или поздно любая оказывается несовершенной. Поэтому он выдумал свою собственную. Такую, что паршивее некуда.

Платоново «Государство», сочинение, с начала и до конца которого Сократ, разумеется, остается привлекательнейшим персонажем, представляет собой написанный в форме диалога, занимающий сотни четыре страниц литературный отчет о разговоре, происшедшем будто бы одним вечером 421 г. до Р. Х., лет за пятьдесят до его обнародования, в пору которого Платону было уже ровно семьдесят.

Его идеальная республика представляет собой коммунистическое государство, в котором фашистские отряды стражей поддерживают порядок, установленный правящей элитой философов, — это несмотря на то, что все философы, известные ему и его друзьям, были, как они согласились, либо беспринципными прохвостами, либо считались миром за людей совершенно никчемных.

Имущество и жены принадлежат общине, которая и пользуется ими совместно. Детей при самом рождении разлучают с матерями и выращивают в общинных группах, так что ни единая мать в этом совершенном мире не знает своего ребенка и ни единый отец не может с уверенностью сказать, что вот этот — его.

Платон ценил женщин даже больше, чем Аристотель, и считал, что образование и обязанности их должны быть такими же, как у мужчин.

— Следует ли нам позволить им выходить обнаженными на площадку для борьбы? — говорит у него Сократ. — Поначалу это может показаться нелепым, особенно когда увидишь, как старые женщины упражняются со стариками, но мы к этому привыкнем.

Платон был на суде или заставил Сократа *сказать* в «Апологии» написанной Платоном, что был там, — и навряд ли при этом солгал, поскольку у него хватало литературных соперников вроде Ксенофонта, всегда готовых его уличить.

Невозможно переоценить чувство соперничества, порой возникавшее между одним греческим философом и другим, между одаренным учителем и одаренным учеником.

Зато легко представить себе радостное удовольствие, с которым Аристотель отмечает в начале своей «Никомаховой этики», что, хотя Платон ему и дорог, истина еще дороже. Или отчаяние, которое могло терзать Аристотеля, узнавшего, что воздействие Платона на будущие поколения куда сильней его собственного.

Аристотеля называли отцом логики, психологии, политической науки, литературной критики, физики, физиологии, биологии и прочих естественных наук, эстетики, эпистемологии, космологии, метафизики и научного исследования языка, а уж по части этики он мог сообщить гораздо больше кого бы то ни было.

Не диво, что Платон получил куда более широкое признание.

Христианские Отцы Средних веков, пишет Гамильтон, говорили, что находят в первом предложении Платонова «Тимея» предвидение Троицы. Это первое предложение, произнесенное Сократом, выглядит так:

— Один, два, три, а где же четвертый из тех, что вчера были нашими гостями, любезный Тимей, а сегодня взялись нам устраивать трапезу?

Платон слышал на суде, как Сократ, признанный виновным и получивший последнюю возможность испросить наказания меньшего, чем смерть, сказал:

— С какой стати?

Поскольку Сократ не знал, что́ есть смерть — зло или благо, — он ее не боялся. А поскольку он был уверен, что никогда не причинил вреда другому, он, конечно, не стал бы вредить себе самому, предлагая любое наказание, которое есть зло.

— Назвать вечное заточение?

Но ради чего стал бы он жить в тюрьме рабом меняющихся что ни год тюремщиков — официальных Одиннадцати?

— Денежную пеню и жить в заключении, пока не уплачу?

Но для него это сводится к тому же, потому что сколько-нибудь значительных денег у него нет, так что ему все равно придется оставаться в тюрьме. Если бы, с другой стороны, деньги у него были, он мог бы назначить пеню, которая ему по карману, — и чем бы он тогда отличался от человека, повинного в преступлении, за которое его осудили?

— Или назначить изгнание?

К этому они, возможно, с охотой бы его присудили, этой-то просьбы они и ждут.

Но так легко отделаться он им не позволит.

Не хочет он никуда отправляться.

— Сильно бы должен был я ослепиться отчаянной любовью к жизни, если б не мог вообразить вот чего: вы, собственные мои сограждане, не были в состоянии вынести мое присутствие и слова мои оказались для вас слишком тяжелыми и невыносимыми, так что вы ищете теперь, как бы от них отделаться, ну а другие легко их вынесут? Никоим образом, афиняне, не очень это похоже на правду. Хороша же в таком случае была бы моя жизнь — переходить на старости лет из города в город, вечно меняя место изгнания и будучи отовсюду изгоняемым. Я ведь отлично знаю, что, куда бы я ни пришел, молодые люди будут везде меня слушать, так же, как и здесь. И если я буду их отгонять, то они сами меня выгонят, подговорив старших, а если я не буду их отгонять, то их старшие выгонят меня из-за них же, как вот вы теперь.

Но не мог ли бы он просто держать язык за зубами, уйдя куда-нибудь в другое место?

Нет, не мог бы.

— Вот в этом-то, я знаю, всего труднее убедить вас. Ибо если я скажу, что это значит не слушаться Бога, и потому-то я и не могу держать язык за зубами, то вы не поверите мне и подумаете, что я шучу. С другой стороны, если я скажу, что ежедневно беседовать о доблестях и обо всем прочем, о чем, как вы слышали, пытаю я и себя, и других, есть величайшее благо для человека, а жизнь без такого исследования не есть жизнь для человека — то вы поверите мне еще меньше. На деле-то оно как раз так, но убедить вас в этом нелегко.

Он ходил по городу, расспрашивая людей, надеясь найти человека мудрее его. Он думал, что много времени это не займет, поскольку знал про себя, что никакой он мудростью не обладает, ни малой, ни большой.

— И клянусь, о мужи-афиняне, — собакой клянусь! — уж вам-то я должен говорить правду, результат моей миссии был таков: те, что пользуются самою большою славой, показались мне самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, — более мудрыми и одаренными.

Сначала он пошел к человеку, который слыл особенно мудрым, человеку государственному, имени которого он не стал называть, и поневоле убедился, что на самом деле человек этот мудрым не был, а только казался мудрым другим и особенно самому себе.

— Уходя от него, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, будто что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю.

От него Сократ пошел к другому, обладавшему еще большими притязаниями на мудрость, и убедился в том же самом.

— И оттого получил еще одного врага.

Люди государственные озлоблялись, узнавая от Сократа, что неспособны мудро говорить о политике, которую они проповедуют.

Одаренные поэты также не смогли толком объяснить лучшие места своих сочинений или происхождение своих метафор.

— Брал я те из их произведений, которые всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них чему-то. И поверите ли? Чуть ли не все присутствующие здесь сегодня лучше могли бы объяснить их поэзию, чем они сами.

И в то же время они, будучи поэтами известными, мнили себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было.

Ремесленники, с которыми он беседовал, грешили тем же несовершенством разумения, заслонявшим их достоинства. Они знали многое, чего он не знал, и этим были мудрее его. Но даже хорошие ремесленники впадали в ту же ошибку, что и поэты, — поскольку они хорошо владели своим искусством и каждый знал что-то свое, они верили также, что разбираются в разного рода высоких материях, и утешались мыслью, будто знают вещи, которые были выше их разумения.

Сократ же утешился мыслью, что превосходит их всех в одном отношении: он знал, что ничего не знает.

— Вот от этого самого исследования многие меня возненавидели, притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет. Ибо мои слушатели всегда воображают, что сам я мудр в том, относительно чего отрицаю мудрость другого.

Тогда как мудрость его состоит в знании, что ничего его мудрость не стоит и что мудр только Бог.

Какое же наказание может он назначить себе как самое заслуженное?

— Не ясно ли, что в этом состоял мой долг? — сказал он. — Чему должен подвергнуться человек за то, что ни с того ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя, за то, что не старался ни о чем таком, о чем старается большинство: ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о семейных интересах, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы говорить в Собрании и руководить народом, вообще об участии в заговорах либо в тайных партийных организациях? За то, что, считая себя, право же, слишком порядочным человеком, чтобы быть политиком и остаться целым, я не шел туда, где не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а ходил себе частным человеком, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом, — как бы ему быть что ни на есть лучше и умнее, и заботиться также о характере государства прежде, чем заботиться о его интересах. Итак, чего же я заслуживаю, если я именно таков? Несомненно, чего-нибудь хорошего, о мужи-афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, что бы для меня подходило. Что же подходит для человека заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге ради вашего же назидания?

Для подобного человека, сказал он им, нет ничего более подходящего, как хорошее

содержание, предоставляемое городом и даруемое обычно победителям в Олимпии. Вот это он себе и назначает — даровой обед в Пританее, который, как он уверен, заслужен им в куда большей мере, чем гражданином, завоевавшим награду на Олимпийских играх верхом или на паре.

— Мне он нужен гораздо больше. У него и так всего есть в достатке, а я нуждаюсь. И он старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы ими были.

Несколько раньше он заявил им со всей прямотой:

— И могу вам сказать, о мужи-афиняне: поступайте так, как добивается того Анит, или не поступайте, оправдайте меня или не оправдайте, но сделайте это с пониманием, что поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз, о афиняне! Не шумите, а слушайте меня! Мы вроде бы договорились, что вы дослушаете меня до конца. Я намерен сказать вам и еще кое-что, от чего вы, наверное, пожелаете кричать, только я верю, что выслушать меня будет для вас благом. Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне.

Под конец он согласился уплатить штраф в одну мину, который он, пожалуй, смог бы осилить.

И затем прибавил:

— Правда, мои друзья — Платон, Критон, Критобул, Аполлодор — велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя; ну так назначаю тридцать, а поручители в уплате денег будут у вас надежные.

Ясное дело, все это не походило на раболепную мольбу о милосердии, ожидаемую самодовольными судьями, число коих равнялось пятисот одному и кои, возможно, склонны были оное милосердие даровать.

Его признали виновным двумястами восемьюдесятью голосами против двухсот двадцати одного. Перепади тридцать голосов с одной стороны на другую, сказал Сократ, и он был бы оправдан.

Он удивляется лишь числу голосов на той и другой стороне, сказал Сократ. Поскольку я за собой никаких преступлений не знаю, бесстрашно пошутил он, я был совершенно уверен, что меня осудят гораздо большим числом голосов.

Число проголосовавших за смертную казнь и оказалось гораздо большим: триста шестьдесят против ста сорока одного.

Восемьдесят судей проголосовали за то, чтобы предать Сократа смерти за преступления, которых он, по их убеждению, не совершал.

28

Столь большое число голосов, поданных за смертный приговор Сократу, не облегчило положение кожевенника Асклепия, молившего о милосердии, когда сам он месяц спустя предстал перед судом. Право голосования, презрительно заявил Анит на предварительном слушании, есть драгоценная свобода Афин. Асклепий дважды потратил это право впустую, проголосовав за освобождение преступника, которого огромное большинство его, Асклепия, сограждан сначала признало виновным, а затем сочло необходимым умертвить.

Но насколько мог судить Асклепий, ничто на суде не доказало виновности Сократа в каждом из преступлений, в которых его обвиняли.

А какая, собственно, разница? — огрызнулся Анит. Важно, что большинство сочло его виновным, желало его виновности и проголосовало за его виновность — в отличие от Асклепия. Вопрос стоял о целостности государственной системы, а не о жизни одного-единственного семидесятилетнего старика.

И система сработала.

Асклепий заявил под присягой, что никогда не одалживал Сократу ни петуха, ни иную какую птицу, а также не предоставлял ему товаров и услуг равной ценности.

Уверения Асклепия в собственной невиновности, сделанные перед лицом столь серьезных обвинений, судьи сочли доказательством злоупорного нежелания признать свою вину.

Зачем же Сократ сказал, что задолжал петуха Асклепию, если на самом деле этого не было?

— Может быть, — запинаясь, произнес Асклепий, — он говорил о боге врачевания, о том, чтобы принести ему жертву?

— С какой это радости человек, который вот-вот помрет, станет приносить жертвы богу врачевания?

Обвиняемый тоже не усматривал в этом особого смысла.

— Тогда, возможно, он пошутил? — безнадежно предположил обвиняемый.

— После того как выпил цикуту?

Иных соображений у кожевенника не нашлось.

Он смутно помнил, как Сократ говорил на суде, что не боится смерти, так что, выходит, пошутить-то он, пожалуй, все-таки мог. Другие подобных воспоминаний не имели.

И в протоколах ничего такого не значилось.

Платон тогда еще не издал своей «Апологии».

Исторические свидетельства гласят, что Платон и еще кое-кто из людей, известных своими связями с Сократом, после его казни на время благоразумно удалились из Афин, вероятно, опасаясь дальнейших кровопролитий.

Асклепий же не удалился, каковая самоуверенность и вызвала пристальное к нему внимание — с чего это он ведет себя так, словно последние слова смертника вовсе его не обличают?

Асклепий отвечал, что поскольку он ничего дурного не сделал, то полагал, что и бояться ему нечего.

Афины кишмя кишат людьми, определенно повинными в дурном, совершающими преступления каждодневно и знающими, что никакие наказания им не грозят.

Так какое же право имеет человек невиновный предполагать, будто для него закон не опасен?

Обвинение потребовало смертного приговора.

Платон прожил еще пятьдесят лет. Писал книги. Основал Академию. И постепенно утратил упования на возможное самоусовершенствование человека и общества.

Каждое из существующих сообществ управляется плохо, писал он в своем «Седьмом послании», если, конечно, его «Седьмое послание» действительно написано им. Если же «Седьмое послание» написано не Платоном, оно написано кем-то, умевшим писать, как Платон, не хуже Платона.

Все государства, говорит Платон, пребывают под властью эгоистических интересов правящих классов. И потому реформирование уже существующих институтов власти является не менее затруднительным, чем создание новых.

Убежденный, что знание есть благо и что всякое знание врождено каждому человеку и может быть открыто посредством неустанного поиска, он облек свои представления об образцовом обществе в концепцию «добродетельного тирана», человека, обладающего абсолютной властью и достаточно артистичного, чтобы стать царем-философом. И три раза ездил в Сицилию, теша себя обманчивой надеждой, будто отыскал такого.

При первом визите Платона в Сиракузы местный тиран-правитель, как рассказывают, все не мог решить, что лучше — казнить его или продать в рабство, и в конце концов остановился на последнем. История гласит, что от рабства Платона спасло случайно под-

вернувшееся Аристотелево драматическое узнавание низшего разряда, а также большие деньги, за которые его выкупил некий благодетель.

Во второй раз он поехал в Сицилию после смерти отца и воцарения сына — Дионисия II, при этом у него имелся там могучий покровитель — дядюшка нового правителя; могучего покровителя изгнали по подозрению в том, что он привез философа, дабы запудрить правителю мозги философией и самому захватить власть.

Когда его, уже старика, пригласили в третий раз, он поехал, не ожидая ничего хорошего. Несколько месяцев он просидел под домашним арестом и получил свободу лишь благодаря усиленным просьбам интеллектуалов из других частей острова.

Вернувшись на родину, говорит Диоген Лаэртский, он больше государственными делами не занимался, хотя из его сочинений видно, что установления правительства и принимаемые им меры вызывали у философа неизменный интерес.

Теперь ему, родившемуся в год восемьдесят восьмой Олимпиады, в седьмой день месяца фаргелиона, было уже семьдесят лет.

В семьдесят лет он объяснил свои неудачи в Сиракузах, написав, что никакой город не сможет пребывать в спокойствии ни при каких вообще законах, «если люди полагают правильным растрачивать свое имущество в расточительных выходках и почитают за долг предаваться праздности во всем, кроме еды, питья и усердного разврата».

В довершение сицилийских унижений Платона Дионисий II, когда его свергли и вытурили из страны, написал, почитая себя теперь знатоком всяческой философии, книгу, содержавшую истолкование платоновской.

Именно кислая реакция на эту пародию и заставила Платона на удивление всем заявить в «Седьмом послании», что он никогда не писал и не напишет трактата, посвященного доктринам, коим отдал всю жизнь. Можно, разумеется, предположить, что Платон на самом деле не был автором седьмого послания. Из чего, впрочем, придется сделать вывод, что и ноги его никогда в Сицилии не бывало.

Тот род знания, которым он обладает, писал Платон, не передается словами, но возгорается в душе внезапно, подобно пламени веры, которое пронзает душу, будто свет, пришедший из другой души.

Странно слышать такие слова от человека, который до самого дня своей смерти учил других посредством одних только слов.

Он умер после свадебного пира. Не от переедания.

Остается лишь пожалеть, что он не прожил достаточно долго, чтобы успеть закончить свои «Законы» и переписать, ради пущей непротиворечивости и внятности, преподносимые двум слушателям Афинского Странника многословные наставления касательно Образцового Города, в котором единственной свободой является свобода подчинения и в котором самому Платону запретили бы распространяться и на эту тему, и на все остальные.

Вся власть в новом обществе «Законов» должна быть отдана старцам, говорит старец Платон, поскольку старцы консервативны.

Имеются также рабы.

Имеется также двенадцать родов, и в каждом роду по четыре класса, а принадлежность к классу, совершенно как в древних Афинах Солона, определяется обладанием собственностью. Чрезмерное богатство запрещено, стремление к наживе запрещено, запрещены также разведение скота и торговля. Тем не менее заседать в правящем Сенате могут лишь те представители двенадцати родов, которые владеют собственностью и вообще занимают высокое положение.

Запретив богатство, он отдал власть богатеям.

И перед нами снова возникает классическая греческая олигархия, которая, как ее ни называй, всегда триумфально вылезает на передний план. Аристотель был, вероятно, первым, кто отметил, в письменной форме, что при всех конституциях собственность есть главное средство достижения политической власти. А отсюда следует, заявляет он в своей «Политике», что обеспечение дополнительных привилегий для не владеющих соб-

ственностью и не состоящих при власти граждан усиливает их лишь в малой мере, зато весьма помогает внушать им чувство довольства.

Право голоса как раз является одной из таких дополнительных привилегий, которые не оказывают почти никакого влияния ни на государственную политику, ни на перераспределение собственности либо политической власти.

Вот что сказал Корнелиус Вандербилт, в некоторых биографических словарях все еще по старинке именуемый американским капиталистом девятнадцатого столетия: «Закон? Чего мне думать о законе? Разве я не у власти?» Не получивший высшего образования Корнелиус Вандербилт тем не менее сформулировал на простом английском языке принцип политической науки, ныне повсеместно известный как Вандербилтов первый закон правления.

Теперь в Америке никаких капиталистов не сыщешь: они теперь все — промышленники, мелкие предприниматели, менеджеры, финансисты, учредители того-этого и филантропы.

Мы забыли, как звалось славное американское семейство, основы финансовой династии которого были заложены посредством продажи правительству гнилого мяса во время Гражданской войны. Или другое, продававшее племенам американских индейцев одеяла, зараженные оспой. Или еще одно, дававшее скоту лизать соль и пить воду, прежде чем загнать его на весы мясного рынка в Нью-Йорке. Мы, впрочем, помним имя человека, разбогатевшего на продаже негодных мушкетов Армии Союза. Им был Дж. П. Морган.

Нынче серьезные деловые решения подобного рода принимаются привилегированными корпорациями.

Приморские государства нестабильны и привержены погоне за прибылью, говорит Платон и добавляет, что города торговцев и лавочников всегда будут недружественны и нечестны в отношениях как с другими народами, так и с собственными гражданами.

В 1947 году, после второй мировой войны, Военное министерство США, ведомство американского правительства, существовавшее с 1789 года, было ликвидировано и затем преобразовано в Министерство обороны, а военного министра переименовали в министра обороны.

С того дня и по нынешний опасность войны никогда больше не угрожала Соединенным Штатам Америки.

Им угрожала опасность обороны.

Город, вооружившийся против своих соседей, говорит Платон, не может не вызвать опасений в соседнем городе, не может не понудить его вооружаться для своей защиты, не может, следовательно, не обратить в реальность угрозу, которой он сам опасался, или не привести к нескончаемой гонке вооружений, а та, скорее всего, закончится войной, ради сдерживания которой она и была затеяна.

Не кто иной, как Уильям Генри Вандербилт, сын Корнелиуса, заложил в 1882 году основы изучения политической науки как академической дисциплины, для чего ему хватило афоризма, известного ныне всему просвещенному миру в качестве Вандербилтова второго закона правления:

«Плевать на народ».

В тоталитарных странах вроде Китая и России народ оплевывают посредством указов, регламентации, полиции и террора.

В индустриальных демократиях его оплевывают простым актом пренебрежения.

И фаворитизмом.

В Платоновых «Законах», имевших целью искоренение всяческого зла, содержатся десятки предписаний, а также предписания о карах для тех, кто предписаниями пренебрегает.

— Невысокого же ты мнения о людях, — заметил один из его слушателей.

Людские дела навряд ли стоят серьезного рассмотрения, говорит Платонов Афинский Странник, чьей аудитории, состоящей из двух человек, едва удается вставить словцо на протяжении всех двенадцати книг, заполненных бессвязными рассуждениями, в равной мере замешанными на мизантропии и злобе.

В сравнении с Платоном «Законов» Джонатан Свифт выглядит Санта-Клаусом.

Людские дела, на взгляд Платона, серьезного рассмотрения, может быть, и не стоят, однако среди преступников против веры, для которых он устанавливает суровые наказания, имеются и те, кто, подобно Аристотелю в его «Метафизике», верит, что боги к людским делам равнодушны.

Платон в своих «Законах» более суров, нежели судьи, приговорившие Сократа к смерти за нечестие, а позже предъявившие и Аристотелю то же самое обвинение.

Всякий, преподающий знания о Гомере или ином сочинителе, у которого боги не непременно справедливы, нравственны и благожелательны к людям и друг к дружке, при первом таковом преступлении заключается в тюрьму на пять лет. В случае рецидива его ожидает смерть без погребения.

Гесиод и Гомер, говорит Платон, распространяют ложь наихудшего сорта. Кто распространяет ложь наилучшего сорта, он, к сожалению, не говорит.

Детей следует воспитывать на единообразный манер: если они будут играть в одни и те же игры, по одним и тем же правилам и при одних и тех же условиях, а удовольствие будут получать от одних и тех же игрушек, то они и вырастут один в одного и во взрослой жизни не станут стремиться к новшествам или желать изменения законов и обычаев государства.

На празднествах надлежит иметь три хора — детский, юношеский и еще один, составленный из людей от тридцати до шестидесяти лет, петь же им всем надлежит одно:

Добродетель и счастие неразделимы.

Закон, понятное дело, превыше всего. За Стражами приглядывают Надзиратели, за Надзирателями — Ночной Совет, однако все правители суть просто слуги Закона, совершенного и неизменного.

Платон по-прежнему держался о женщинах более высокого мнения, чем Аристотель. Он верил, что они способны научиться чему-то, так что женщинам предстояло получать то же образование, что и мужчинам, дабы они не оставались и впредь никчемным бременем, каким были всегда.

Всего же граждан должно быть ровно пять тысяч да еще сорок.

Эта обрисованная им конституция будет, конечно, не лучшей из конституций, с некоторым раздражением и досадой признает Платонов Афинский Странник. Самую лучшую, то есть коммунизм его более раннего «Государства», приходится отставить как непригодную для граждан, воспитанных на описанный им манер.

Граждане Платона будут все же недостаточно хороши для коммунизма, описанного в его «Государстве».

Зато теперь мужчины смогут иметь собственных жен и детей и получат каждый по равному наделу земли.

Левую руку надлежит воспитывать в духе равенства с правой.

Детям в первые три года жизни ходить не дозволяется, дабы нежные члены их не деформировались слишком ранними усилиями. Впрочем, няньки будут безостановочно таскать их взад-вперед, ибо движение обладает чудодейственными свойствами, благодетельными для растущего организма.

Не менее благодетельно движение и для души, признавал Афинский Странник, ибо оно умеряет страхи и вострит бодрость и отвагу.

Ростовщичество и разные там приданые не допускаются ни под каким видом.

А всякого главу семьи, опозорившего оную стяжательством, следует для первого раза сажать в тюрьму на год, для второго — на два, ну и так далее.

Государству до́лжно быть добродетельну, а не богату, поскольку быть и таким и этаким сразу ни одно государство не способно.

Городам, устроенным по Платонову образцу, надлежит располагаться вдалеке от побережья, дабы избегнуть ввоза-вывоза ненужных товаров, каковая деятельность гро-

зит наводнить государство золотом и серебром, что всегда пагубно сказывается на благородном и праведном образе жизни.

Торгашество — сия презренная и неизбежная практика, сводящаяся к тому, что товары покупаются подешевле, а продаются подороже, то есть, если можно так выразиться, низменное приторговывание по высокой цене, — запрещается и для чужеземцев, и для постоянных жителей. Тех же, кто более, чем совсем чуть-чуть, преуспевает в зарабатывании денег и накоплении богатств, мы тут у себя не потерпим.

Платон уже отмечал в «Государстве», что торговлей обыкновенно занимаются те, кто слабее прочих телесною силой и потому ни на что иное, в сущности, и не годны.

Числа, подобно движению, также обладают божественными метафизическими свойствами, так что все определяемые Платоном пропорции и отношения являются священными и неизменными. Числу в пять тысяч сорок граждан никогда не дозволяется возрастать либо уменьшаться. Для поддержания населения на постоянном уровне в пять тысяч сорок человек Платон предлагает куда больше способов, чем нам хотелось бы знать.

Людям следует подниматься пораньше и немедля приискивать себе какое-нибудь занятие, ибо спящий человек ничем не лучше мертвого, природа же показывает, что мы вовсе не нуждаемся в таком количестве сна, каким нам хотелось бы наслаждаться.

Аристотель, просматривая это неотредактированное и недоработанное литературное наследие своего наставника, обнаружил больше законов о торговле и рыночных отношениях, чем ему удалось удержать в голове; там имелись даже законы о введении новых законов, регулирующих торговлю, денежный оборот и наживание барышей.

Голод, жажда и половое влечение, три потребности и желания, врожденные человеку, суть состояния нездоровые, со все возрастающим скептицизмом продолжал читать Аристотель, — и Платон предлагал сдерживать их посредством трех величайших сил, воздействующих на поведение человека: страха, закона и истинных доводов.

Жизни в его государстве полагалось быть благой, а не приятной.

Эмиграция допускалась лишь с целью колонизации, да и то когда количество граждан переваливало за пять тысяч сорок человек. Никому из тех, кто не дожил до сорока, не дозволялось разъезжать по чужим странам, а никому старше сорока — оставаться частным лицом.

Тюрем имелось три: одна — близ рыночной площади, для обычных преступников, другая — близ совещательной залы Ночного Совета, заседающего еженощно, а третья — в самой глубинке, в месте по возможности диком и пустынном.

Мир лучше войны, говорит Платон, и согласие лучше завоеваний. Тем не менее он вооружает свое государство тем самым манером, который не может не вызвать опасений в соседнем государстве и не понудить его вооружаться для ведения войн.

Упражняться в воинском деле людям надлежит постоянно — и не только в военное, но и в мирное время. Каждый месяц всему государству следует, невзирая на холод или зной, выступать в поход самое малое на один день; в походе участвуют все — мужчины, женщины и дети.

Никому из тех, кто не дожил до сорока, не дозволяется сочинять хвалебную либо порицательную речь для публичного исполнения, и никто ни в каком возрасте не имеет права петь не разрешенные властями песни.

Душу Платоновы «Законы» повелевают чтить положенным образом — как божественнейший из элементов человеческой природы.

Попрошайки-жрецы, предлагающие за какую угодно плату выпросить у богов благоволение Небес либо вызвать из Гадеса мертвых, получают пожизненное заключение. Никогда больше не смогут они увидеться с близкими, а по смерти тела их выбрасывают за границу страны без погребения.

Таковы последние из зрелых сочинений этого греческого философа-язычника, который заложил философские основания западных религий, не отыскавших таковых до него и не нашедших ничего лучшего после, религий, чья ненависть к человеку была под стать его собственной.

«Неизлечимая порочность человека — вот что делает труд законодателя печальной необходимостью», — провозгласил Платон.

Действенного лекарства от неизлечимой порочности законодателя у нас, увы, не имеется.

Богатые друзья Солона воспользовались полученными от него сведениями, чтобы стать еще богаче.

Дельфийский оракул брал, как известно, взятки.

XIV. Аристотель

30

Аристотель был практически почти уверен, что на самом-то деле Александр, вероятно, не имел уж очень большого отношения к покушению на своего отца. Относительно матери Александра, Олимпиады, у него такой уверенности не было.

Несогласие по поводу воцарения Александра, существовавшее между матерью и сыном, продлилось недолго.

Александру потребовалось лишь несколько дней, чтобы осуществить, при деятельной поддержке матери, необходимые убийства и казни аристократов, противившихся унаследованию им престола, и еще месяц-другой, чтобы подавить восстания греческих городов, не желавших поначалу смириться с продолжением македонской гегемонии.

Олимпиада сама избавилась от наиболее привлекательных из его соперников, в том числе от младенца-сына последней молоденькой фаворитки Филиппа, Клеопатры, которую нам не следует путать с печально известной сластолюбивой Клеопатрой с Нила, ставшей триста лет спустя любовницей сначала Юлия Цезаря, а затем Марка Антония. Олимпиада убила дитя прямо на коленях матери. А после заставила молодую царицу удавиться.

Имя Клеопатра имеет греческое происхождение и бытует в эллинском фольклоре так давно, что успело появиться уже у Гомера, а также в предании о Язоне и аргонавтах; оно является достаточно традиционным и в македонской культуре, что и позволило ему сохраниться в Египте у всех потомков Александрова друга и военачальника, первого Птолемея, вплоть до Клеопатры VII, ставшей любовницей Цезаря и Антония.

Было бы ошибкой считать какую угодно из Клеопатр не гречанкой, а кем-то еще.

Придерживаясь египетской традиции, Клеопатры выходили замуж за своих родных братьев, принимавших имя и положение Птолемея, после чего супружеская пара, как правило, всецело отдавалась исполнению тяжелой задачи — истреблению детей друг дружки, собственно друг дружки, собственных детей и собственных родителей.

У вдовой Клеопатры II после смерти ее брата остался на руках сын этого самого брата. Она вышла за другого брата, Птолемея VIII, пообещавшего править совместно с мальчиком и защищать их обоих. Мальчика он убил в самый день свадьбы.

После этого свершения он женился на дочери жены, на Клеопатре III, своей племяннице, которой и отдавал в этом кровосмесительном ménage à trois[1] значительное предпочтение.

Когда же Клеопатра II воспротивилась такому обустройству семейной жизни и провозгласила царем первого своего сына от Птолемея III, отец убил сына, расчленил труп и отправил матери его голову и руки.

В конце концов они помирились.

---

[1] Жизнь втроем (*франц.*).

Клеопатра III унаследовала трон по соглашению с братом и была убита одним из своих сыновей, норовившим отнять у нее этот трон.

Клеопатра Теа убила одного из своих сыновей, не пожелавшего исполнять ее указания, и была отравлена другим своим сыном как раз тогда, когда собиралась сама его отравить.

Последними законными наследователями этой линии стали Клеопатра Береника и Птолемей XI. Птолемей убил Клеопатру Беренику и был в свой черед убит александрийцами.

Трон перешел к его незаконному сыну, Птолемею XII, сыновьями которого были Птолемей XIII и Птолемей XIV, а дочерью — Клеопатра VII, та самая Клеопатра, которую мы знаем по Плутарху и Шекспиру, это ее корабль престолом лучезарным блистал на водах Кидна.

При появлении Цезаря она была замужем за одним из своих братьев, который затем погиб в гражданской войне, последовавшей за восстанием, направленным против этой парочки, а когда Цезарь удалился, Клеопатра вышла за другого брата, подготовкой убийства которого как раз и занималась при появлении Антония.

Таковы были методы, посредством которых потомкам Птолемея удавалось сохранять власть в семье.

Мать Александра открыто похвалялась, что он, Александр, порожден не царем Македонии Филиппом, но существом куда более значительным: он является незаконным сыном великого бога Зевса, провозглашала она, в образе змея сошедшего в брачную ночь к ней на ложе. Олимпиада постыднейшим образом хвасталась, будто Филипп окривел на один глаз, подглядывая сквозь замочную скважину, как совокупляются земная женщина и бог.

Аристотель в это не верил.

Александр верил.

Трения между отцом и сыном обострялись и тем, что Филипп удалил от себя Олимпиаду, и помехами, которые это удаление воздвигло на пути Александра к трону.

Они часто бранились во время пьяных ночных дебошей, обычных при дворе в Пелле. На пиру по случаю свадьбы Филиппа и Клеопатры Александр полез в драку из-за тоста, провозглашенного дядей новобрачной. Разгневанный Филипп, обнажив меч и пошатываясь, бросился на сына, но запнулся о клинок и повалился на пол.

Александр расхохотался.

— Смотрите, — издевательски сказал он, глядя на отца сверху вниз, — как человек, который собирается переправиться из Европы в Азию, растянулся, переправляясь через комнату.

Александру было в ту пору лет девятнадцать.

Ко времени, когда ему исполнилось двадцать два года, он усмирил восстания на севере вплоть до Дуная, стер с лица земли город Фивы и заставил Коринфскую федерацию провозгласить его правителем всей Греции. Собрав армию из тридцати двух тысяч пехотинцев и пяти тысяч конников, поддерживаемую флотом в сто шестьдесят кораблей, он пересек Геллеспонт и вторгся в Персию, положив начало чреде обширных завоеваний, которым он посвятил оставшиеся одиннадцать лет своей жизни.

Аристотель с ним не пошел. Это решение он числил потом среди самых разумных за всю свою карьеру. Он порекомендовал Александру своего племянника, Каллисфена.

В эту экспедицию отправилось и множество молодых ученых, связанных с Аристотелем и исправно присылавших ему исторические сообщения и описания, рисунки и даже, когда удавалось, собранные ими образчики животного и растительного мира, которые в Греции не встречались. Аристотель добавлял их к своему музею естественной истории и вносил в каталоги, разбитые на филюмы, рода и виды — такова была изобретенная им биологическая классификация, — вообще он был очень занят организацией и поддержанием своего Ликея, пересмотром созданных им ранее основ теории музыки и неустанным накоплением идей, кои вошли затем в его «Физику», «Логику», «Метафизи-

ку», «Политику», «Первую аналитику», «Вторую аналитику», «Никомахову» и «Эвдемиеву этики» и, возможно, также (у нас не имеется на этот счет решающих документальных свидетельств) в «Предпосылки о добродетели», не говоря уже о таких незначительных сочинениях, как «Топика» и «О софистических опровержениях», к которым он возвращался время от времени, ну и, конечно, в его «Поэтику».

Его племянник Каллисфен, философ и историк, был назойливым педантом, склонным перебивать собеседника, неспособным оного выслушать и не желающим с ним соглашаться. Александр его казнил.

От Олимпиады Александр регулярно получал бранчливые письма, неизменно содержавшие жалобы — главным образом на его регента Антипатра и на стеснения, которые тот ей чинит.

Александр был сверх обыкновенного привязан к матери и никогда не выказывал желания снова свидеться с нею.

Мать требует слишком высокой платы за те девять месяцев, на которые она приютила его в своей утробе, пожаловался он однажды своему доброму приятелю Клиту Черному, который спас его от смерти в битве при Гранике и которого Александр в скором времени убил в припадке пьяного гнева, с близкого расстояния метнув ему в грудь копье, о чем очень потом сокрушался.

— Освобожусь ли я когда-нибудь от моей надоедливой матери? — громко вопрошал Александр.

Клит Черный покачал головой.

— Только если другая Олимпиада поможет тебе с этим.

Когда известие о смерти Александра достигло Греции, среди немногих мер, предпринятых Олимпиадой для присвоения власти, было и убийство его полоумного полубрата, последнего из оставшихся в живых Филипповых сыновей.

Она отпраздновала свой краткий, продлившийся около года триумф оргией убийств и была в свой черед убита родичами ее жертв.

31

В 332 г. до Р. Х. Александр через Палестину прошел из Вавилона и Сирии в Египет, где назначил себя фараоном, а в Афины просочились слухи о найденной им дорогóй иудейской Библии, в первых стихах которой содержалась теория сотворения мира. Аристотель выяснил подробности и сразу понял, что эту теорию ему превзойти не удастся.

То, что ему о ней рассказали, выглядело настолько простым, что Аристотель разозлился — как же он первым до этого не додумался? Да будет свет, и стал свет. Чего уж проще?

Вот и все, причем в горстке стихов.

В начале сотворил Бог небо и землю.

Почему он сам так не сказал? Насколько это яснее, чем Неподвижный Движитель, или Немыслящий Мыслитель, или Первый Неподвижный Движитель его собственной путаной космологии. И насколько короче.

Приходится отдать должное этим евреям, кем бы они ни были, негодуя на них, думал Аристотель. Как долго удастся сохранить все это в тайне от учеников?

Пожилой человек, создавший теорию, которая многие годы грела ему душу, с течением времени, сознавал Аристотель, начинает все меньше заботиться о ее истинности и все больше о том, чтобы ее принимали за истинную, а ему самому воздали за нее почести еще при жизни.

И вот в самый неподходящий момент невесть откуда выскакивает эта чертова еврейская Библия.

Он понимал, что против еврейской Библии его «Метафизике» не устоять.

У него было теперь больше причин для уныния, чем даже у Платона.

И отменные причины для того, чтобы стать антисемитом.

Аристотелева «Метафизика» с ее теорией бытия была ключом ко всей его философии, и всякому, кто желал понять его как философа, следовало начать с изучения этой книги.

Авиценна, великий арабский ученый одиннадцатого века, говорят, прочитал «Метафизику» сорок один раз и ни слова в ней не понял.

Аристотель впал по поводу Библии в затяжную депрессию и заговаривал об этой книге чуть ли не с каждым встречным. Следы этой мучительной травмы и сейчас еще заметны на лице, написанном Рембрандтом.

Подобно всякому добросовестному писателю, Аристотель вовсе не желал увидеть, как его труды пойдут прахом — хороши они или дурны, правильны или неправильны. Даже если бы он додумался до пришествия Шекспира, он все равно цеплялся бы за свою «Поэтику». Коперник, Галилей и Ньютон, возможно, и заставили бы его призадуматься, однако он все равно опубликовал бы свои соображения относительно небесных тел, ибо они были лучшими, какие ему удалось измыслить, и звучали правдоподобнее того, что говорилось по этому поводу вокруг.

Сказанное им относительно рабов и женщин можно бы и пересмотреть, хотя изложено оно было так гладко, что и Платону бы сделало честь.

«Даже женщина может быть достойной, даже раб, — написал он в своей «Поэтике», рассуждая о характерах в трагедии, — хотя о женщине можно сказать, что она существо низшего порядка, а раб и вовсе ни на что не годен».

Для консерватора вроде него это была довольно либеральная мысль.

Критики Аристотеля забывают, что он любил двух женщин — жену и любовницу, а после смерти освободил своих рабов, чего, как он небезосновательно полагал, не скажешь даже об Аврааме Линкольне.

Он слишком много писал. Он и сам мог бы составить длинный список сделанных им дурацких утверждений и радовался только, что никого из его знакомых подобное желание не посетило.

Одна ласточка, написал он, еще не делает лета.

Почти никто не похвалил его за эту фразу; впрочем, сама фигура речи, и он это сознавал, стала замшелым штампом уже к тому времени, когда он вставил ее в свою «Этику».

«Никому не по силам вечно водить за нос всех людей сразу», — говорит он в «Поэтике», а многие ли американцы помнят, что эти слова принадлежат ему?

Абсолютные нравственные нормы никому не известны, сказал он и дальнейшие рассуждения строил так, будто ему-то они как раз и известны.

Аристотель ничего не имел против теории, утверждающей, что в начале Бог сотворил небо и землю, и отделил небо от земли, и повелел воде собраться в одно место. Изначально общество было малым. Мужчина и женщина жили в саду, имея под рукой все необходимое. Они были вольны проводить весь день в размышлениях. Самый что ни на есть рай.

Доказательств, конечно, никаких — ну и что? Их не было и в его «Метафизике», да и Платоновы Душа или Идея тоже никакими доказательствами не подпирались.

— Если мы начнем для всего требовать доказательств, — сказал он, — мы никогда ничего доказать не сможем, поскольку ни для одного доказательства у нас не будет отправной точки. Некоторые вещи очевидным образом истинны и доказательств не требуют.

— Докажи это, — сказал его племянник Каллисфен. Аристотель был рад, что Каллисфен отправился с Александром. И не опечалился, узнав о его гибели.

Совершенно очевидно, сознавал Аристотель, что доказать очевидную истинность чего бы то ни было невозможно.

Даже вот этого.

Парадокс очень ему понравился.

В Нью-Йорке, городе, который он в конце концов возненавидел, Аристотель с не-

удовольствием вспоминал софиста Горгия, сумевшего-таки доказать, что не существует ничего, что человек способен узнать, что если он и узнает что-либо, то все равно не поймет, а если поймет, так не сможет передать этого другому.

Софист Протагор сказал: «О богах я не могу знать, что они существуют, или что они не существуют, или какова их природа».

Помнится, в «Критии» он читал, что не существует ничего определенного, кроме того, что рождение ведет к смерти.

А от Метродора исходило его любимое: «Никто из нас ничего не знает и даже того, знаем мы что-нибудь или не знаем».

В те далекие времена Аристотель был человеком, который знал, что́ он знает.

Аристотель считал, что любой *polis*[1] с населением более ста тысяч человек лишается общности целей, как и самого чувства общности, и неизменно заходит в тупик, пытаясь наладить управление самим собою. Для счастья необходимы рабы. Ну и женщины тоже. В совершенном обществе Аристотеля аристократический коммунизм Платона отвергается, однако и Аристотелевым гражданам также запрещено заниматься торговлей и разведением скота. Его народу полагается вставать до зари, ибо такое обыкновение, говорит он, идет на пользу здоровью, богатству и мудрости. Аристотель и сам как-то раз встал до зари и тут же пришел к выводу, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин.

Ныне он склонялся к мысли, что зубов у них, пожалуй, поровну.

Аристотель разрешал себе кривую улыбку всякий раз, как он размышлял над Гомером и вспоминал, что едва ли не все греки, что-либо писавшие в демократических Афинах, культурном городе, где процветали поэзия, драма, наука, философия и искусство ведения спора, были, включая и его самого, антидемократами, исполненными аристократического презрения к демократическому обществу, дававшему им свободу писать о нем столь критически. Странно и то, что все они обладали склонностью отдавать предпочтение регламентированной аристократии Спарты, в которой не наблюдалось ни литературы, ни музыки, ни науки, ни искусства.

Их чувства вдохновляла вовсе не любовь к Спарте, но ненависть к пошлости и торгашеству демократических Афин.

Поскольку Сократ ничего не писал, а Платон в своих диалогах никогда от собственного имени не высказывался, Аристотель постарался не упоминать о Сократе, критикуя и нападки Платона на частную собственность в «Государстве», и предположение, что коммунизм способен покончить со всяким злом, присущим человеческой натуре, и воззрения насчет того, что как рука движется, подчиняясь желаниям мозга, так и отдельная личность обязана двигаться, подчиняясь желаниям государства.

Будучи скромнее Платона, будучи в большей мере ученым и в меньшей догматиком, Аристотель пришел к выводу, что он — писатель более серьезный, способный высказать куда более ценные мысли. Платон, говорит Аристотель, доказал, что благой человек непременно счастлив. Однако Аристотель, когда он это писал, знал, что Платон счастливым человеком не был. А мы сегодня знаем, что само существование такового явления чрезвычайно сомнительно.

— Что мне нужно для начала, — объяснял Платон еще до того, как махнул рукой на сей мир, — так это добродетельный тиран.

— И он должен быть молодым? — высказал предположение Аристотель.

— И он должен быть молодым, — согласился Платон, — и обладать добродетелью, разумностью и абсолютной властью. И пусть наслаждается своей абсолютной властью так долго, что она ему прискучит. И пусть он обладает добродетелью и разумностью достаточными, чтобы представить себе справедливое общество, и пусть применит свою власть для его создания.

— И что бы ты стал с ним делать? — поинтересовался Аристотель.

---

[1] Город-государство в Древней Греции (*греч.*).

— Я научил бы его философии. Я преподал бы ему цели и идеалы.

— А потом? Как бы он правил?

— Добродетельно.

— Но что это значит? Что бы он делал?

Платон в смятении уставился на Аристотеля.

— Ему, разумеется, пришлось бы прочесть мое «Государство».

— А после?

— Он создал бы описанное там государство.

— Которым правили бы философы? Не он сам?

— К тому времени нашлись бы философы и получше, — снисходительно сказал Платон. — Ты бы тоже мог подойти.

— И вся собственность принадлежала бы обществу? И все женщины и дети тоже?

— Естественно. Так было бы лучше.

— Для кого? Для богатых?

— Там не будет богатых.

— Для других граждан и рабов?

— Для всех.

— А как бы они узнали? Что так для них лучше?

— Да так, что я бы им об этом сказал.

— А для него?

— Мой тиран был бы счастлив отказаться от правления и позволить своей власти сойти на нет.

— Да, но по какой причине правитель, обладающий абсолютной властью, — изумился Аристотель, изо всех сил стараясь разобраться в загадке, — и те из его окружения, кто наделил его таковой, вдруг согласятся расстаться с ней?

— По такой, что он добродетелен. А им я скажу, что так надо.

— И остальное население с этим согласится?

— Ему придется согласиться, желает оно того или нет. В моей добродетельной коммунистической республике роль личности состоит в том, чтобы исполнять указания государства.

— А если народ этого не хочет?

— Тогда придется подавить несогласие, для блага государства. Этим займутся Стражи.

— Но кто заставит подчиняться стражников? — спросил Аристотель. — Где та сила, которая их принудит?

— Какая разница? — рассердился Платон. — То, что люди делают в этом мире, не имеет никакого значения.

— Тогда о чем ты хлопочешь? О чем мы с тобой разговариваем? И зачем ты написал «Государство»?

— Подожди, дай подумать. Потому что мне так захотелось.

— А нам-то зачем его читать?

— Постой, куда ты?

Аристотель отошел от Платона, чтобы пересчитать лапки жука, которого он до сей поры еще ни разу не видел.

Он не сказал своему учителю, что не способен назвать ни одного города на земле, включая сюда и Афины, управляемого настолько дурно, чтобы жители его не предпочли бы то, что имеют, тому, что предлагает Платон.

Ни того, что общее владение собственностью и семьями противно природе человека и природе государства; ни того, что собственностью, которой сообща владеют все люди, не владеет никто из людей, а владеет правительство, а правительствам обыкновенно наплевать на благополучие граждан, которыми они правят; ни того, что, по его, отличному от Платонова, мнению, назначение государства — обеспечить условия, необходимые для счастья граждан. В обществе, целью которого является счастье всех его членов, даже у Аристотелевых рабов имелись бы свои рабы.

Не повезло ему со временем — то ли он слишком рано родился, то ли слишком поздно.

Он писал о трагедии, когда театр уже умер; о преобразовании polis'а, когда греческие города-государства утратили жизнеспособность. Александр был фараоном египетским и считал себя божеством. В Италии римляне отняли Неаполь у самнитов.

Пока Гераклид, еще один ученик Платона, рассуждал о гелиоцентрической Вселенной, Аристотель описывал небеса так, будто он, Адам и Ева проживают в мире, где звезды, солнце, луна и планеты сияют и кружат именно для них.

Аристотелю никогда не приходило в голову, что города будут объединяться в провинции вроде Голландии, провинции перерастут в штаты вроде Нью-Йорка, а штаты сольются в невообразимо огромные нации, которые неизменно будут неуправляемыми и неизменно недружественными и нечестными — и не менее прочего в отношениях с собственными гражданами.

Он принижал значение денег, когда нигде вокруг него не наблюдалось силы более притягательной.

В Амстердаме он со смущением обнаружил, что является официальным философом кальвинизма, и никак не мог взять в толк, почему культура, преданная ортодоксии коммерции, капитализма, прибыли и финансовых накоплений, восславляет древнегреческого философа, чьи научные спекуляции рассыпаются на глазах и который к тому же утверждал, будто избыточный капитал не нужен и бесполезен, будто добродетельный человек не станет делать деньги ради делания денег и будто погоня за деньгами недостойна хорошо обеспеченного, имеющего приличное положение в обществе человека и нимало его не красит.

Деньги за все отвечают, сказано в этой их Библии.

Аристотель скрипнул зубами.

«Таково уж мое везенье», — пишет он в своей колоссальной автобиографии, которой не успел завершить и из которой до наших дней дошел лишь начальный фрагмент самого первого предложения.

XV. Последняя потеха

32

Такова уж была удача Рембрандтова «Аристотеля», что странствия его, начавшись в 1654 году путешествием из Амстердама в Сицилию, завершились в 1961 году в Америке триумфальным дебютом в музее Метрополитен, что находится на Пятой авеню Нью-Йорка, — через три (без шести лет) столетия после того, как остров Манхэттен был сдан англичанам голландцами, решившими не бороться за сохранение того, что они не смогут удержать и чем управлять тоже не смогут.

На самом-то деле картина пересекла Атлантику вскоре после начала столетия, как раз вовремя, чтобы избегнуть бедствий первой мировой войны и опасностей, сопряженных с пересечением Атлантики в любое другое время. Ночью 14 апреля 1912 года принадлежавший Британии непотопляемый океанский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом и утонул, унеся с собой жизни более пятнадцати сотен из двух тысяч двухсот пассажиров, и в том же году войска США заняли Тяньцзинь в Китае, дабы защитить тамошние американские интересы, морские десантники США высадились на Кубе, дабы защитить тамошние американские интересы, а другие морские десантники США высадились в Никарагуа, дабы опять-таки защитить тамошние американские интересы после того, как повстанцы вырезали никарагуанскую армию, а помимо всего этого разразилась первая Балканская война.

Поскольку «Титаник» был непотопляем, на нем не хватило спасательных шлюпок.

7 мая 1915 года немецкая субмарина потопила британский лайнер «Лузитания», унесший на дно тысячу сто девяносто пять жизней, сто двадцать восемь из которых принадлежали американским гражданам. Еще через два года — после того как американские граждане незначительным большинством голосов выбрали себе президента — Соединенные Штаты, возглавляемые Вудро Вильсоном, коего и поныне вспоминают как идеалиста, реформатора и интеллектуала, ввязались в первую мировую войну.

Между тем картина Рембрандта, благополучно пересекши Атлантику, прибыла в 1907 году в Нью-Йорк, будучи присланной торговцем произведениями искусства Дювином покупательнице — коллекционерше миссис Коллис П. Хантингтон. В том же году новенькая «Лузитания» поставила мировой рекорд скорости на пути от Куинстона в Ирландии до Нью-Йорка — возможно, на ней-то «Аристотель» и приплыл.

Никто не знает, сколько Рембрандтов погибло во время первой мировой войны, потому что никто не знает, сколько Рембрандтов было написано Рембрандтом, его учениками и фальсификаторами.

Судьба «Гомера», обгоревшего, переписанного и уменьшенного огнем почти до половины исходного размера, была такова, что ему удалось добраться до музея Морица в Гааге, где он, как «Аристотель» в Метрополитен, предположительно останется навсегда, до скончания времен.

Судьба же принадлежавшего Руффо «Александра» была такова, что он пропал. Кабы его нашли, он стоил бы целое состояние.

Пока же для одаренного фальсификатора существует золотая возможность создать оригинального Рембрандтова «Александра», некогда принадлежавшего Руффо, — нужно только позаботиться о том, чтобы размеры его совпадали с указанными в контракте, чтобы он состоял из четырех кусков полотна, сшитых швами «столь ужасными, что в это трудно поверить», ну и писать его следует красками достаточно старыми, чтобы выдержать стандартные проверки на время создания, определяемое с использованием передовых технических методов. Шансы на успех повысятся, если лицо Александра будет походить на лица двух Рембрандтовых «Александров», которые у нас ныне имеются.

Дон Антонио чрезвычайно любил эти полотна, если не их создателя, и в своем завещании включил всех трех Рембрандтов в список из ста картин, которые должны переходить неприкосновенными старшему сыну в каждом из последующих поколений семьи, образуя коллекцию, ни в коем случае не подлежащую разделению, продаже или иной передаче кому бы то ни было.

По его кончине коллекция переходила по наследству, как им и было завещано, пока в 1739 году не досталась его правнуку дону Калигоро Руффо. В 1743-м этот последний из наследников вместе со всеми своими братьями умер от чумы, и коллекция досталась другой ветви семьи.

В 1750 году семейство Руффо разделилось на «принципи делла Скалетта» и «принципи делла Флореста», из коих первые, как считается, унаследовали коллекцию и перевезли большую ее часть в Неаполь. Что происходило после этого года со «ста картинами», которым по завещанию полагалось пребывать неразлучными, остается только гадать.

Нам известно следующее:

В 1783 году замок Руффо в Сицилии пострадал от землетрясения. Возможно, и от пожара.

В 1818 году в Сицилии было отменено право старшего сына на наследование недвижимости.

А в 1848 году сгорела вилла Руффо под Неаполем, причем погибло или получило повреждение множество хранившихся в ней произведений искусства. Что именно там хранилось, мы не знаем.

Возможно, в пламени одного из этих пожаров и выгорели столь удачно участки холста, окружавшие центральную часть «Гомера». Во всяком случае, никто из историков искусства не приводит убедительных догадок относительно какого-либо другого пожа-

ра, который мог уничтожить обширную периферию картины, оставив ее главного персонажа таким трогательно и трагично одиноким в обществе одного лишь пера и части принадлежащей невесть кому руки.

Впрочем, мы знаем, что и до 1848 года — года широко распространившихся по Европе республиканских революций и реформ — воля дона Антонио не уважалась, а коллекция его была разделена, ибо в 1815-м, еще одном поворотном для европейской истории году, Аристотель был выставлен в Лондоне, чудодейственным образом пережив первую Северную войну, вторую Северную войну, Деволюционную войну, войну за Пфальцское наследство, войну за Испанское наследство, войну за Польское наследство, войну за Австрийское наследство, Семилетнюю войну, первую Силезскую войну, вторую Силезскую войну, войну за Баварское наследство, русско-турецкую войну, Французскую революцию, польско-турецкую войну, шведско-датскую войну, русско-шведскую войну, франко-австрийско-прусскую войну, войну Первой коалиции с Францией, Египетский поход Наполеона, войну Второй коалиции с Францией, восстание «Объединенных ирландцев» против Британии, еще одну англо-испанскую войну, русско-персидскую войну, войну Третьей коалиции с Францией, франко-прусскую войну, франко-португальскую войну, триумфальное вторжение Наполеона в Россию и его ужасное отступление, Венский конгресс и битву при Ватерлоо, — пережив все эти опасные происшествия, не считая иных, и без единой царапинки добравшись до Лондона неведомыми нам путями.

Узнать его было трудненько.

— Интересно, кто он такой? — издали спросил, войдя в выставившую Аристотеля галерею, джентльмен в бакенбардах.

Его спутница, грациозная женщина с рыжеватыми волосами и сложенным парасолем в руке, ответила:

— Очень похож на голландского поэта и историка Питера Корнелиса Хофта, не правда ли?

— Клянусь Юпитером, вы правы! — радостно произнес джентльмен, прочитав надпись на табличке.

Аристотеля качнуло.

Картина принадлежала сэру Абрахаму Юму из Эшридж-парка, Беркампстед, Хартфордшир, и Аристотель, когда его не выставляли в качестве Питера Корнелиса Хофта, предавался своим размышлениям посреди уютного Хартфордшира, в родовом имении сэра Абрахама и его наследников. Такого покоя, как в сельском доме этого семейства почтенных землевладельцев, Аристотель ни у одного из своих последующих хозяев уже не знал.

Никому не ведомо, как его занесло в такую даль — из Мессины Руффо в Сицилии в Лондон и Хартфордшир сэра Абрахама Юма, хотя начиная с этой поры нам известно о нем многое.

Никому не ведомо, какими извилистыми путями поврежденный «Гомер» добрался к 1885 году от Руффо в Италии до галереи «Бриджуотер» графа Элзмира в Англии, однако нельзя сомневаться в том, что израненному «Гомеру» Рембрандта, как и слепому Гомеру преданий, пришлось куда туже, чем «Аристотелю».

К сыновьям профессионалов из высшего класса жизнь всегда была ласковее, чем к художникам, начинавшим с самых низов, и в особенности к поэтам.

В 1894 году помятый и грязный «Гомер» был выставлен в Лондоне на продажу торгующей произведениями искусства фирмой «Т. Хамфри Уорд и сын» в качестве анонимного «Портрета старика» — и тут его углядел, опознал, идентифицировал и купил один из первых голландских исследователей Рембрандта Абрахам Бредиус.

Т. Хамфри Уорд и сын запросили двадцать четыре сотни фунтов за этот поврежденный фрагмент работы неведомого художника, всего девятью годами раньше проданный за восемнадцать шиллингов.

Голова мужчины показалась Бредиусу знакомой — она напоминала голову бюста

с Рембрандтова портрета П. К. Хофта, годом раньше перешедшего в Лондоне в новые руки. В качестве намекающей улики оставались различимыми буквы «andt», уцелевшие от подписи художника, и дата «f. 1663». Широкий мазок и приглушенная гамма также были ему знакомы.

Там, в Сицилии, в 1664 году, Аристотель тоже признал лицо на картине — оно определенно принадлежало бюсту, над которым он вот уже десять лет размышлял на стене Руффо. С появлением «Гомера» ругань в замке наконец стихла. «Александр» был прощен. Греческий триптих, образованный тремя великими фигурами эллинского прошлого и уже представленный in nuce[1] «Аристотелем» 1653 года, был завершен. И на этот раз живописец постарался на славу.

Подписей было даже *две*.

Аристотель мог с первого взгляда сказать, что к предварительной грунтовке, имевшей легкий желтовато-розовый оттенок и состоявшей преимущественно из пастели, смешанной со светлой охрой, Рембрандт добавил подготовительные темноватые слои красно-бурого тона. За два проведенных с Рембрандтом года Аристотель много чего узнал о живописи. Эти основные слои грунтовки образовывались главным образом пастелью, охрой и умброй, смешанной с очень светлыми свинцовыми белилами. На них живописец нанес темную красновато-бурую подмалевку, чьи таинственные и тонкие эффекты проступали в различных местах картины — в плаще, в голове, в бороде и в фоне, к которому было добавлено немалое число мазков грубых свинцовых белил. Там, где на голову, шапку и бороду падали тени, Рембрандт нанес лишь светловатый верхний слой краски, добившись того, что даже на темных участках игру тонов определяли составляющие их основу серовато-бурые слои умбры и свинцовых белил. Коричневатые, красные и желтые пигменты шапки, лица и бороды были охряными, тогда как для желтой ленты на лбу использовалась свинцово-цинковая желтая, смешанная с немалым количеством все тех же свинцовых белил.

Пигмент красного лака не использовался вовсе, даже для теней и телесных тонов.

Прибегнув к цветовой схеме, почти полностью ограниченной оттенками коричневого, белого и тускло-золотого, Рембрандт изобразил слепого старика-поэта в темно-буром плаще с широкими рукавами и накинутой поверх плаща золотисто-желтой шали. Чело Гомера осеняет повязка поэта, а на голову ему Рембрандт нахлобучил старую шляпу. Гомер опирается на палку, рот его раскрыт. Незрячие глаза раскрыты тоже.

Он почти похож на человека.

Аристотеля терзала мысль, что на эту картину ушло больше труда и больше краски, чем на его, хотя цена была та же самая. Он не испытывал к новичку приязненных чувств. Он изо всех сил старался не проникнуться завистью. Выглядел-то Аристотель все же получше. К тому же Гомер был слеп.

Он твердил себе, что ему повезло гораздо сильнее: куда лучше иметь глаза и походить на иноземца, чем быть слепым, как Гомер, и нащупывать себе дорогу палкой; кроме того, ко времени, когда Гомер попал на полотно, Руффо уже выяснил, кто он такой, и относился к нему как к Аристотелю, великому философу древности, а не Альберту Великому или какому-нибудь безвестному френологу. Каждый в доме гордился, что у них имеется свой Аристотель.

В «Гомере», как и в «Аристотеле», руки прописаны слабо.

В 1664 году в Сицилии окружением барду служила подробно проработанная архитектурная среда, в которой он диктовал или растолковывал сочиненные им стихи. Он выглядел умиротворенным и довольным своей участью.

Когда его обнаружил Бредиус, окружение выгорело и он остался один. Утратив и слушателей, и место в пространстве, он стал никому не нужным, впал в нищету и отчаяние.

Насколько мы в состоянии судить, сегодня, когда мы на него смотрим, он, вероятно, задыхается от одиночества.

---

[1] В зародыше (*лат.*).

Он выглядит человеком, который забыл не только сочиненные им строки.

Craquelure[1] полотна в точности таковы, каких и следовало ожидать, они варьируются от тонких трещинок до широких борозд, некоторые заполнены буроватым лаком. Фон содержит грубые вкрапления пигментов, не принадлежащие Рембрандту. Поразительного *pentimenti*[2] нет и следа.

Двадцать четыре сотни фунтов, запрошенные Т. Хамфри Уордом и сыном, составляли в ту пору сумму немалую.

Бредиус купил «Гомера» за восемь сотен, что также было небольшим состоянием.

Однако Бредиус как раз и унаследовал небольшое состояние.

Его семья производила порох.

Бредиус отдал картину реставраторам, а затем ссудил ее музею Морица. В 1946 году он умер, оставив полотно этому музею, где и висит теперь одинокий поэт — покинутый всеми слепой несчастный старик, съежившийся от невоспетых невзгод.

Поставьте рядом «Гомера» и «Автопортрет смеющегося художника» и вы увидите столько пафоса, сколько навряд ли сумеете перенести, если, конечно, вы — человек, склонный к такого рода переживаниям.

Прежде чем Бредиус идентифицировал его в Лондоне, прошло около ста тридцати пяти лет, и о том, что за это время происходило с «Гомером», мы знаем не больше, чем знали греки о Гомере из Ионии.

Мы выводим поэта из его поэзии.

Мы выводим Творца из вселенной, движущейся как заводная машинка, хоть и знаем теперь, что вселенная наша — огонь, а планета — уголь.

Скоро людей вообще не останется.

Жизнь прожита больше чем наполовину.

Что до «Аристотеля», то он исчез лет на шестьдесят пять, прежде чем объявиться в Лондоне под видом П. К. Хофта, собственности сэра Абрахама Юма. Сэр Абрахам Юм скончался в 1838-м, и после его смерти «Аристотель» почти до конца того столетия оставался в семье из Эшридж-парка, где его последовательными владельцами были:

Джон Юм Каст, виконт Олфорд, Эшридж-парк, 1838—1851;

Джон Уильям Спенсер Браунлоу Каст, 2-й граф Браунлоу, Эшридж-парк, 1851—1867;

Адельберт Веллингтон Браунлоу Каст, 3-й граф Браунлоу, Эшридж-парк, 1867—1893.

После кончины Адельберта Веллингтона Браунлоу Каста, наступившей в 1893 году, идиллическое проживание «Аристотеля» в Эшридж-парке по причинам, нам неизвестным, пришло к неожиданному концу.

Если не считать Рембрандта, торговцев картинами и одного молодого американского наследника, все известные нам владельцы этого полотна держали его у себя до конца жизни.

Картину продали в Лондоне, где ее видел Бредиус, и четыре года она пробыла в Париже, в собственности выдающегося коллекционера Родольфа Канна. Одно из предложений в 5,5 миллиона долларов, касавшееся даже не всей коллекции, но лишь лучшей ее части, которая включала в себя дюжину Рембрандтов, было душеприказчиками Канна отвергнуто. После его смерти в 1905 году картину купил торговец произведениями искусства Джозеф Дювин, что создало необходимые условия для завершения странствий «Аристотеля», начавшихся в Амстердаме и закончившихся в Нью-Йорке, как и для его нисхождения от аристократии Старого Света в средний класс Нового.

В 1897 году, когда Канн приобрел картину, во Франции бушевал скандал, вызванный делом Дрейфуса, а Эмилю Золя предстояло вскоре бежать в Англию, спасаясь от тюремного заключения за гневные нападки в печати на антисемитов из высшей военной касты, которые, скрывая собственное предательство, состряпали фальшивые документы, сва-

---

[1] Кракелюры, трещины красочного слоя (*франц.*).

[2] Живописный термин, обозначающий закрашенные художником детали, которые обнаруживаются лишь на рентгенограмме или вследствие шелушения краски (*итал.*).

лившие на ни в чем не повинного, невзрачного еврея-капитана, в итоге приговоренного к каторге на Чертовом острове, ответственность за шпионаж в пользу Германии, в котором сами они и были повинны.

В 1907 году, когда пароход «Лузитания» установил свой рекорд скорости, после того как Дрейфуса все же освободили, Дювин продал «Аристотеля» за «шестизначную», как он сообщил, сумму миссис Коллис П. Хантингтон из Нью-Йорка, первой из его американских владелиц.

Миссис Хантингтон, в девичестве Арабелла Дюваль Яррингтон Уэршем из Алабамы, была вдовой восточного мультимиллионера, владельца железных дорог Коллиса П. Хантингтона, который родился в штате Коннектикут, жил в Нью-Йорке и играл приметную роль в строительстве проходящего через горы Сьерра-Невада участка железной дороги «Сентрал пасифик», а со временем сосредоточил практически все перевозки на Западе в руках компании «Железные дороги «Сазерн пасифик», коей он был основным владельцем — как, впрочем, и железной дороги Чесапик — Огайо и иных железных дорог, — вдове же предстояло в скором времени стать миссис Генри Э. Хантингтон, выйдя за племянника своего первого мужа. Подлинная история ее брака с племянником недужного мужа, несомненно, является весьма интригующей, но нас она не касается.

Миссис Хантингтон считала, что Дювин запросил слишком высокую цену, и Аристотель был с нею согласен. Однако ей хотелось иметь Рембрандта.

— А вы не знаете, кто изображен на картине? — поинтересовалась она. — Мне всегда хотелось иметь портрет поэта Вергилия.

— Так это и есть портрет Вергилия.

«Портрет Вергилия» работы Рембрандта пересек Атлантику и обосновался в доме миссис Хантингтон на углу Пятой авеню и Пятьдесят седьмой стрит, номер 2, Ист-сайд.

О портрете П. К. Хофта работы Рембрандта с тех пор никто ничего не слышал.

И в том же самом году, в котором «Аристотель» прошел таможенный досмотр и был допущен в Америку, президент Теодор Рузвельт запретил иммиграцию японцев в Соединенные Штаты, Голландия завершила оккупацию Суматры, победив в войне с местным народом аче, а Джон Пирпонт Морган предотвратил банкротство банков Соединенных Штатов, импортировав из Европы сто миллионов долларов золотом.

Теперь Морган мог, черкнув пером либо произнеся несколько слов, сделать то, чего не могло сделать правительство Соединенных Штатов.

Этот великий американский финансист, Дж. П. Морган, был знаменитым коллекционером произведений искусства и редких книг, ревностным членом епископальной церкви и убежденным антисемитом. Он также прославился своей филантропической деятельностью.

Миссис Хантингтон владела картиной до своей кончины, происшедшей семнадцать лет спустя, в 1924 году, когда Адольф Гитлер сидел в мюнхенской тюрьме, сочиняя первый том «Mein Kampf»[1].

«Аристотеля» она оставила своему сыну, Арчеру М. Хантингтону, который продал его все тому же Дювину в 1928 году, через двадцать один год после того, как этот торговец расстался с картиной. Дювин вновь перевез полотно через Атлантику в Гаагу, чтобы над ним поработал умелый реставратор, а затем в свое лондонское или парижское хранилище, где показал его знаменитому исследователю Рембрандта Ф. Шмидту-Дегенеру. Только тогда Дювин и узнал, что этот принадлежащий ему Рембрандт — тот самый «Аристотель», который описан в семейных архивах Руффо.

После этого прославленный «Портрет Вергилия» работы Рембрандта отправился следом за прославленным «Портретом Питера Хофта» работы Рембрандта.

К ноябрю того же года Аристотель возвратился в Нью-Йорк, и Дювин продал картину мистеру и миссис Альфред У. Эриксон, Тридцать пятая улица, 110, Ист-сайд. Мистер Эриксон владел рекламным агентством и стал некоторое время спустя партнером-осно-

[1] «Моя борьба» (*нем.*).

вателем фирмы «Макканн-Эриксон», впоследствии превратившейся в самую крупную из рекламных организаций мира, а возможно, остающуюся таковой и по сей день.

Цена составила 750 тысяч долларов.

Мы удивляемся, как это владелец рекламного агентства мог в 1928 году потратить на картину 750 тысяч долларов.

Аристотелю хотелось завопить с холста, что ни одна картина в мире не стоит 750 тысяч долларов в их эстетическом эквиваленте и что ни один из художников мира с этим не поспорит.

— Разумеется, — сказал мистеру и миссис Эриксон обходительный продавец, впоследствии лорд Дювин из Милбанка, — я, в сущности, теряю деньги, продавая ее сейчас так дешево, поскольку очень скоро она наверняка будет стоить гораздо дороже.

Деньги *не имеют* стоимости, мог бы до посинения твердить Аристотель всем троим подряд, однако он знал, что ему не поверят.

В Америке бушевала мода на приобретение произведений искусства, раздуваемая по преимуществу торговцами этими произведениями и интерьерными декораторами, которым она приносила барыши, и Аристотель терзался тем, что он как философ падает в цене, а Рембрандт как художник — растет.

Рембрандт пользовался большей известностью, чем он.

Как, собственно, и прежние владельцы «Аристотеля». Не последним среди подчеркнутых Дювином достоинств картины было то, что ею до самой своей кончины владела миссис Коллис П. Хантингтон.

Аристотель порой тосковал по тем дням, когда он был П. К. Хофтом и жил в Хартфордшире у сэра Абрахама Юма. Платон, наверное, расхохотался бы, да еще и сардонически, увидев, как им приторговывают в столь низменной манере — будто наименее ценной частью продаваемого комплекта.

Договор о продаже картины Эриксонам был подписан 12 ноября 1928 года, всего через несколько дней после избрания Герберта Гувера тридцать первым президентом Соединенных Штатов, и в том же году более шестидесяти государств подписали в Париже пакт Бриана — Келлога, поставивший войну вне закона; Бенито Муссолини опубликовал автобиографию, озаглавленную «Моя автобиография»; Уолт Дисней создал в Калифорнии первый фильм о Микки Маусе; Франц Легар сочинил в Берлине оперетту «Фредерика»; Александр Флеминг открыл пенициллин; Амстердам стал хозяином Олимпийских игр; а в городе Флитвуде, Англия, начались испытания первой машины для потрошения и удаления костей из селедки, самца лосося и морского окуня, которые консервируются посредством разделки, потрошения, соления и копчения.

На летних Олимпийских играх 1928 года США обошли все прочие нации мира на тридцать одно очко.

Продажа завершилась последним платежом, произведенным мистером Эриксоном в январе 1929 года.

В октябре 1929 года рухнул рынок ценных бумаг. Последовала «великая депрессия», распространившаяся по всему миру.

Второй Дж. П. Морган, сын первого, спустил сотни миллионов долларов в тщетных попытках стабилизировать неуправляемый рынок.

Спад продолжался.

Никто и поныне не объяснил, почему рухнул рынок ценных бумаг и почему за этим последовала «великая депрессия».

12 ноября 1930-го, через два года после покупки, день в день, Эриксон продал «Аристотеля» все тому же Дювину за 500 тысяч долларов, получив на четверть миллиона меньше того, что заплатил сам.

— Вы заверяли меня, — мрачно сказал мистер Эриксон, услышав названную Дювином сумму, — что картина вырастет в цене.

— Времена нынче трудные, мистер Эриксон, — ответил Дювин. — Мы живем в пору «великой депрессии».

— Это я и без вас знаю.

В те годы Дювин не смог найти нового покупателя, хоть и имеются свидетельства, указывающие, что он предпринимал такие попытки. Он выставлял картину в Лондоне и даже в Вустере, штат Массачусетс, промышленном городе, расположенном в центральной части этого штата, который навряд ли еще раз увидит ее.

В феврале 1936-го, восстановив свое финансовое благополучие, мистер Эриксон вновь приобрел картину у Дювина — уже за 590 тысяч долларов (разница в 90 тысяч образовалась из процентов и налогов штата Нью-Йорк), и «Аристотель» переехал из складского помещения в дом Эриксонов на Тридцать пятой улице, 110, Ист-сайд — это случилось в тот самый год, когда Эдуард VIII стал королем Англии и отрекся от престола, чтобы жениться на женщине, которую он любил, на миссис Уоллис Уорфилд Симпсон; Италия вторглась в Абиссинию и аннексировала ее; Сталин продолжил чистку в России, вынося один смертный приговор за другим; Гитлер выиграл в Германии выборы, набрав 99 процентов голосов; Франклин Делано Рузвельт выиграл выборы здесь, собрав 98,7 процента голосов избирателей; Маргарет Митчелл опубликовала «Унесенных ветром», между тем как американский негр Джесси Оуэнс выиграл на Олимпийских играх в Берлине четыре золотые медали в соревнованиях по бегу и прыжкам, огорчив и прогневав Гитлера, а национальный долг США возрос до 34 миллиардов долларов вследствие осуществления программы выплаты пособий, учрежденной Рузвельтом в рамках Нового курса.

Генри Форд, у которого были проблемы с профсоюзным движением, обожал Адольфа Гитлера и его нацистов, а Гитлер обожал Генри Форда.

В нацистской Германии проблем с профсоюзным движением не имелось.

Проблем с профсоюзным движением не имелось и в России, но там не имелось и Генри Фордов.

Между 1920-м и 1922-м газета мистера Форда «Дирборн индепендент» напечатала подряд девяносто две редакционные статьи злобно антисемитского толка, посвященных большей частью изложению памфлета девятнадцатого столетия, именуемого «Протоколами сионских мудрецов» и состоящего, как известно, из подложных записей никогда не происходивших разговоров, — Форд финансировал его переиздание и распространение.

Молодой Гитлер держал у себя в комнате фотографию Генри Форда — для вдохновения.

Незадолго до начала второй мировой войны канцлер Гитлер наградил Генри Форда Большим крестом Германского орла, высшей наградой, которой третий рейх мог удостоить иностранца, и Форд почел за честь принять эту награду. Форд не позволил своей компании выполнить размещенный в нашей стране контракт на производство двигателей для военно-воздушных сил Великобритании.

Вскоре после войны мистер Форд, говорят, покаянно плакал, когда ему показывали фильмы, снятые в лагерях смерти. Вот вам еще одна история, которая кажется слишком красивой, чтобы быть правдой.

2 ноября 1936 года, через девять месяцев после того, как мистер Эриксон снова купил картину, он умер. Собранную им коллекцию произведений искусства, включавшую и «Аристотеля», он оставил в доверительное владение своей жене Рите, и картина пребывала у нее вплоть до ее кончины, происшедшей двадцать пять лет спустя, в феврале 1961 года.

Месяцы февраль и ноябрь подозрительно часто фигурируют в связанной с «Аристотелем» истории семьи Эриксонов — явление, в котором люди, неравнодушные к совпадениям, могут усмотреть некое скрытое значение.

Перед смертью миссис Эриксон ее постоянно донимали торговцы живописью, желавшие продать картину, и смотрители музеев, надеявшиеся получить ее даром. После ее смерти попечители собственности миссис Эриксон решили, что ее завещательные пожелания будут выполнены наилучшим образом, если картины поступят на открытые торги; аукцион был назначен на конец года в галерее «Парк-Бернет», что на Мэдисон авеню, 980, в Нью-Йорке.

Ни для кого не было тайной, говорит «Нью-Йорк таймс», что аукционные дома «Сотби» и «Кристи» также имели виды на этот «жирный кусок». Поскольку в продажу поступали двадцать четыре картины и ожидалось, что они принесут по меньшей мере 3 000 000 долларов, все понимали, что причитающиеся галерее комиссионные будут определены посредством переговоров, а не по стандартной ставке.

Будучи спрошенным об этом, представитель галереи ответил, что «Парк-Бернет» удовлетворена достигнутой договоренностью.

На самом деле коллекция Эриксонов принесла 4 679 250 долларов, сумму рекордную.

Среди выставленных на продажу голландских полотен был и «Мужчина с селедкой» Франса Хальса.

Аукцион пришелся на осень между берлинским кризисом и кубинским ракетным кризисом, который снова привел бывших союзников, Россию и США, на грань войны. Менее чем через три года американским войскам предстояло отправиться во Вьетнам, дабы защитить американские интересы в регионе, где никаких войск, кроме этих, американских, не наблюдалось.

В сражении за Вьетнам погибло столько же американских военнослужащих, сколько в первой мировой войне, — больше пятидесяти тысяч.

На обе эти войны страну погнали президенты от демократической партии, проводившие свои кампании как либералы и сулившие мир. За первые восемьдесят восемь лет нашего столетия каждая война, в какую влезали Соединенные Штаты, начиналась при сидящем в Белом доме демократическом президенте. Только один демократический президент нашего столетия, Джимми Картер, не довел страну до войны.

Так его и не переизбрали.

Продажа «Аристотеля» с аукциона состоялась 15 ноября. Все кончилось за четыре минуты. Чек на покупку был датирован 17 ноября, а 18 ноября картина Рембрандта, получившая ныне всемирную известность, была уже с великой помпой и самовосхвалениями выставлена в Большом зале музея Метрополитен, приобретшего ее в ходе недолгих, но бурных торгов за предложенные по телефону 2 300 000 долларов.

Более высокой цены за картину еще никогда не предлагали ни на одной открытой либо частной распродаже.

Это была первая в истории картина, начальная цена которой составила 1 000 000 долларов.

Предложение цены в миллион долларов было втайне передано за ленчем мистеру Луису Дж. Мэриону, распорядителю торгов, священником, представлявшим частного коллекционера, который счел за благо остаться неизвестным. Мистер Мэрион поведал впоследствии, что, когда картина выставлялась на подиум, эта цена уже была у него в кармане.

— В этом зале было от десяти до двадцати миллионов долларов, которые могли быть предложены за нее, — сказал он репортерам.

Двадцать пять лет спустя, в 1986 году, американец, владевший Рембрандтом меньших размеров, продал его на лондонском аукционе за 10,3 миллиона долларов покупателю, который, по слухам, был тайванцем. Это послужило для Аристотеля подтверждением того, что деньги не имеют собственной ценности, а полезны лишь в качестве средства взаимных расчетов.

Однако здесь, в Америке, в 1961 году, сумма в десять-двадцать миллионов долларов представлялась немалой. Аукцион привлек огромное внимание. За те три дня, что картина была выставлена перед продажей, галерею «Парк-Бернет» посетило двадцать тысяч человек.

Это получается почти семь тысяч в день.

Что до самого события, в галерею пришли почти две тысячи зрителей, по большей части простоявших в очереди на улице час с лишним.

Предположительных покупателей — коллекционеров, агентов коллекционеров, представителей музеев — допустили в главный зал галереи, где предстояло провести торги.

Тех же, кто пришел в качестве зрителей, рассадили в трех других залах, и за происходившим они наблюдали по внутреннему кабельному телевидению.

Аукциону предшествовали месяцы тайных приготовлений. Музеям, отобранным для осуществления попытки купить картину, требовалось время, чтобы собрать деньги, которые дадут им такую возможность. Среди них был, разумеется, и музей искусств Метрополитен, покупку картины которым сделал возможным «боевой резерв», образованный вкладами нескольких попечителей и более чем сотни частных лиц.

Директор музея, мистер Джеймс Дж. Роример, объяснял:

— «Аристотель» — одно из величайших в мире полотен, и было бы до слез обидно упустить его, находясь в такой близи от Уолл-стрит.

Когда «Аристотеля» вынесли перед началом торгов на сцену и прожектора преобразовали рукава саккоса в складки Рембрандтова золота, во всех четырех залах послышались аплодисменты.

Еще более громкая овация разразилась четыре минуты спустя, когда торги завершились и их распорядитель объявил, что приз достался «музею с Востока страны».

В первый же день показа картины, в субботу, в музей Метрополитен пришли сорок две тысячи человек. Аристотеля установили перед обширным, красного бархата задником, всего в нескольких шагах от сфинкса царицы Хатшепсут, воссозданного по фрагментам, найденным в ее гробнице в Дейр-эль-Бахри, датированной 1490 годом до Р. Х. Сфинкса почти никто и не замечал.

Аристотеля ошеломила сутолока и потоки людей, рвущихся взглянуть на него.

Он гадал, так же ли сильно, как он, потрясен бюст Гомера.

Он гадал и о том, что сказал бы Рембрандт, если б сейчас увидел его.

Скорее всего, он сказал бы, что поторопился его продать.

На следующий день, в воскресенье, когда музей открывался всего на четыре часа, его руководство с надеждой предсказало, что придет тысяч пятьдесят. Если действительно наберется столько народу, рекорд, установленный музеем, выставлявшим «Мону Лизу» и ватиканскую «Pietà» Микеланджело, будет превышен почти на семь тысяч.

Пришло больше восьмидесяти тысяч!

С самого утра у главного входа и у трех дополнительных выстроились длинные очереди, одна тянулась от автомобильной стоянки за музеем, другая вдоль Пятой авеню и Восемьдесят первой стрит, третья — вдоль Пятой авеню и Восемьдесят третьей стрит, и когда четыре часа истекли, руководство объявило, что музей посетило 82 629 человек.

Такое количество людей за четыре часа дает примерно 20 650 человек в час, 344 человека в минуту или чуть больше 5,7 человека за каждую секунду.

Даже если эти цифры лгут, они лгут весьма впечатляюще.

Впрочем, люди подходили группами. У ограждения, защищающего шедевр, никогда не толпилось больше восемнадцати человек, и еще несколько сот терпеливо переминались за их спинами, растянувшись до противоположной стены зала.

Для Аристотеля те дни стали самыми волнующими из всех, какие он мог припомнить. Здесь были люди, которые слышали об Аристотеле, и люди, которые слышали о Рембрандте, хотя и немного таких, которые знали, прежде чем прочитали об аукционе, что некогда эти двое состояли в тесной связи. За всю жизнь Аристотеля он ни разу не был предметом подобного интереса и преклонения.

Кое-кто из мужчин, приближаясь, обнажал голову, как бы при поднятии флага, многие мужчины и женщины прижимали руку к сердцу, словно свидетельствуя Аристотелю свое почтение.

Какая-то женщина шумно жевала соленый кренделек.

Эта картина обошлась в кучу денег, авторитетно заявил один джентльмен, но теперь он видит, что она их стоит.

Время от времени в хоре общей хвалы слышался визгливый голос, интересующийся, почему эти деньги не потратили на то, чтобы накормить голодные семьи.

Аристотель знал почему.

Голодные семьи всегда имеются в избытке. А великие полотна великих художников появляются на рынке крайне редко. Великое же полотно, изображающее Аристотеля, вещь и вовсе уникальная.

— Я простояла в очереди дольше, чем на «Мону Лизу», — объясняла одна мать своей дочери. — Эта картина лучше.

— Очень похож на Питера Хофта, — откликнулась дочь.

К концу той недели Аристотель стал самым знаменитым в Нью-Йорке философом. Рембрандт же стал художником, о котором больше всего говорили.

Гомер почти не упоминался.

В списках бестселлеров появились выпущенные в бумажных обложках издания трудов Аристотеля, причем издатели недооценили спрос и книги разошлись мгновенно.

Фонды Гетти и Макартуров поспешили объявить, что они с удовольствием купили бы эту картину, если бы уже существовали в то время.

У правительств Ирана, Брунея и Кувейта попросту не хватило наличности.

В Вашингтоне представитель президента заявил, что президент предпринял бы сбор денег, дабы приобрести картину для Белого дома, если бы хоть один человек в его администрации знал, что она продается.

Существуют люди, готовые заплатить огромные деньги за самую дорогую картину в мире. За ту, что стоит поменьше, они платить не станут.

За первые семь недель музей отметил рекордное число посетителей — 1 079 610 человек; резонно предположить, что почти все они пришли, дабы хоть одним глазком взглянуть на портрет Аристотеля.

Для себя у него не оставалось ни минуты времени.

Однако в последующие недели поток посетителей стал неумолимо спадать, и Аристотеля начало охватывать неумолимое чувство, что им пренебрегают. Его перенесли из Главного зала в обычный. Люди, которые забредали сюда, даже не всегда знали, что здесь находится сам Аристотель.

Его одолела угрюмость, еще пущая, чем прежде. Ему не хватало сияющих лиц, торопливых толп, больше уже не стекавшихся, чтобы посмотреть на него. Он начал даже скучать по обществу сфинкса царицы Хатшепсут из ее гробницы в Дейр-эль-Бахри. Он висел в одном зале с кучей других Рембрандтов, от которых скоро устал. Как он скучал по всплеску солнечного света, по яркому красочному мазку, по улыбающимся лицам, по хорошеньким женщинам с других картин, с которыми он от случая к случаю проводил время в других местах! Он отдал бы едва ли не все за Ренуара и Пикассо.

Его начинало трясти от страха за собственную подлинность всякий раз, когда возникал вопрос об атрибутации кого-либо из других Рембрандтов его зала или когда их называли поддельными. Были тут двое, мужчина и женщина, насчет которых он проникся сомнениями в первый же день, как их увидел, и Аристотель удрученно поглядывал на них, испытывая неуверенность и враждебность. Они не казались ему вполне похожими на Рембрандта, каким его знал Аристотель. Он нервничал от сознания, что теперь он на несколько сантиметров меньше своего начального размера и что какой-нибудь эксперт может и не принять обычную усушку в качестве разумного объяснения.

В 1987 году изображенные Винсентом Ван Гогом подсолнухи, желтый крон которых начал мутнеть, были проданы за 39,9 миллиона долларов японской страховой компании, которую желтый крон не заботил. И сотни миллионов людей из всех стран мира не сбежались посмотреть на эту картину. Позже, в том же 1987-м, другое полотно Ван Гога принесло продавцу 53,9 миллиона долларов.

Рембрандтов «Аристотель» отошел на третий план.

В горле Аристотеля постоянно сидел какой-то комок. Чем больше он размышлял о своем положении, тем пуще ему хотелось принадлежать кисти Ван Гога. Он завидовал картинам из находящейся неподалеку более упорядоченной «Коллекции Фрика», которая сама по себе была произведением искусства. Там, рядом с Тицианом и Гойей, Ве-

ласкесом и Эль Греко, «Томасом Мором» Хольбейна и, в качестве достойного добавления к нему самому, великолепным автопортретом Рембрандта 1658 года, на котором Рембрандт выглядит как человек, который вышвырнет вас за дверь, если ему не понравятся ваши манеры или воспитание, Аристотель был бы среди равных себе, в обществе, какого он заслуживает, он производил бы куда более сильное впечатление в музее, который всеми считается более изысканным, несмотря на отталкивающих Фрагонаров и странноватого «Польского всадника».

Да и расположение «Фрика» Аристотелю нравилось больше. Все-таки зоопарк рядом.

Что до самих торгов, то под самый их конец вдруг наступила драматическая тишина, продлившаяся секунд десять, которые показались десятью часами, причем у всех создалось впечатление, что Кливлендский художественный музей того и гляди приобретет картину за 2 250 000 долларов.

Жена одного из попечителей Метрополитен, которой померещилось, будто торговавшийся от имени музея мистер Роример заснул, пришла в такой ужас, что едва не крикнула мужу, чтобы он добавил еще сто тысяч.

Но мистер Роример не спал. Прибегнув к заранее обговоренному коду, он постучал пальцами по лацкану пиджака и скосил глаза вправо, что означало необходимость набавить еще пятьдесят тысяч.

Представитель Кливлендского музея достиг указанной ему максимальной суммы и дальше идти не мог.

Других претендентов не было.

Метрополитен получил картину.

Шестидесятидевятилетний эксперт, представлявший Кливлендский музей, еще за месяц до аукциона предсказывал, что предложение в 1 500 000 долларов не имеет никаких шансов, предложение менее чем 2 000 000 долларов может дать шансы весьма сомнительные, 2 000 000 дадут ничтожные шансы, а 2 250 000 долларов — это вполне респектабельное предложение, способное решить исход дела, — но, впрочем, цена может подняться и выше.

Он оказался столь же точен, сколь любой другой оракул.

Музей Метрополитен не сообщил, как далеко он намеревался зайти.

Третье по величине предложение составляло 1 905 000 долларов и было сделано, как удалось установить, Институтом изящных искусств Карнеги из Питсбурга, поддержанным благотворительницей миссис Сарой Меллон Скейф, учредившей для покупки Рембрандта личный фонд, содержавший чуть больше 2 000 000 долларов.

В виде малого утешения по поводу потери Рембрандта представитель Питтсбурга привез домой «Мужчину с селедкой», купленного за 145 000 долларов.

Четвертое по величине предложение принадлежало швейцарскому аристократу немецкого происхождения.

В 1972 году музей Метрополитен без особого шума переименовал картину, и теперь она называется «Аристотель с бюстом Гомера». Однако новое имя попало на табличку лишь в 1980 году, и с тех самых пор Рембрандтову «Аристотелю, размышляющему над бюстом Гомера» грозит опасность отправиться по пути, уже проторенному его «Портретом Питера Хофта» и «Портретом Вергилия». Если их когда-нибудь удастся собрать и выставить в одном месте, эта триада невидимых шедевров Рембрандта будет представлять собою бесценное и неповторимое зрелище.

Через несколько дней после аукциона мистер Роример почувствовал себя обязанным оспорить редакционную статью «Нью-Йорк таймс», в которой обиняками говорилось о вульгарности этого события. В частности, в статье упоминалось «устойчивое чувство неуместности, даже безвкусицы уплаченной цены» и спрашивалось, нельзя ли было найти этим деньгам более разумное применение. Защищая музей, мистер Роример пояснил прессе, что цена значения не имеет.

— Деньги — это всего лишь средство взаимных расчетов.

Несколько обладающих достойной репутацией людей из числа стоявших вблизи картины и сейчас готовы под присягой подтвердить, что они слышали, как Аристотель хмыкнул.

XVI. Последние слова

33

Исход суда над Сократом был предрешен. Да и сам процесс принадлежал к числу тех, которые кончаются, еще не начавшись, и самые первые шаги которых вдохновляются их завершением. Как сказал, требуя смертного приговора, Анит, Сократ не предстал бы перед судом, если бы не было ясно, что его сочтут виновным, а судьи не сочли бы его виновным, если бы не намеревались его уничтожить.

Счастливого конца не предвиделось.

Счастливые концы бывают только в трагедиях.

Где бы мы сейчас оказались, если б Иисус не был распят?

Суд над Сократом был честным судом. Сфабрикованных показаний там не было, лживых свидетелей тоже. Их вообще *не было* — ни показаний, ни свидетелей. И судьи это отлично знали. Тем и замечательно правление закона, которое помог восстановить Анит, что при нем никаких доказательств для обвинения человека не требуется. Довольно и убежденности судей. Должные процедуры соблюдались должным порядком. Правосудие свершилось.

Даже Сократ не жаловался.

Он не стал произносить очень красивую речь, сочиненную для него другом, обладавшим большим ораторским даром и немалым опытом выступлений в суде, сочтя ее более судебной, чем философской, и потому для него непригодной. Многие из его круга говорили Сократу, что надо бы ему подготовиться к защите.

— Разве, по-вашему, вся моя жизнь не была подготовкой к защите? — отвечал он. — Я во всю жизнь не совершил ничего несправедливого и окружавшим меня старался сделать получше, так не кажется ли вам, что лучшей подготовки к защите и не придумаешь?

— Этого недостаточно, — предупредил его друг, которого звали Гермогеном. — Ты же знаешь, Сократ, нашим судьям *нравится*, когда их сбивают с толку речами, так что они часто выносят смертный приговор людям ни в чем не повинным и, наоборот, оправдывают виновных.

— Разве ты находишь удивительным, — сказал, добродушно подтрунивая, Сократ, — что и по мнению Бога мне уже пора умереть?

— Ты думаешь, это Бог подводит тебя под суд?

— А ты думаешь, для меня тут есть какая-то разница? До сих пор, Гермоген, я никому на свете не уступал права сказать, что он жил лучше или приятней меня. Если приговор будет неправым, пусть стыдятся те, кто меня убьет. Мне-то чего же стыдиться, если другие решат поступить со мной несправедливо?

Оратор Ликон в злобной радости потирал руки.

— Я так и знал, что старый дурак слишком добродетелен, чтобы прибегнуть к приемчикам, содержащимся в написанной кем-то другим речи.

Мелет тоже пришел в восторг.

— Он попытается образумить пять сотен судей. А они, увидев, что никаких развлечений от него не дождешься, лишь заскучают и озлобятся.

Оба знали, что́ следует сказать, чтобы с самого начала подорвать доверие к Сократу.

— Всего больше удивился я одному, — сказал Сократ, когда умолкли его обвинители, — тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел, —

подразумевая, что я обладаю ораторским искусством. Это с их стороны всего бесстыднее, поскольку они знали, что тотчас же будут опровергнуты мной на деле, едва лишь окажется, что я вовсе не силен в красноречии, — если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду. Если *это* они разумеют, то я готов согласиться, что я — оратор, хоть и не на их образец.

Из всей троицы самым серьезным и дельным оказался Анит, ибо он привел Сократа под суд не из желания развлечься, но руководствуясь побуждением куда более пакостным: принципами. История учит, что от людей, руководствующихся уверенностью в своей нравственной правоте, добра ждать не приходится.

В начале правления Тридцати Анит являлся убежденным консервативным приверженцем умеренного фашиста Ферамена — пока Ферамена не ликвидировал фашист куда более расторопный, Критий. До этого происшествия Аниту и в голову не приходило, что его тоже могут изгнать.

При демократическом правлении, которое Анит помогал восстановить, он играл видную роль лидера морального большинства, требующего возврата к традиционным афинским добродетелям, среди которых на передний план выступали освященные временем семейные ценности, хоть Анит и не смог бы сказать, что они собой представляют и когда именно выступили на передний план.

— Вот идет человек, — после суда заметил Сократ об Аните, беседуя с друзьями в ожидании представителей Одиннадцати, коим надлежало отвести его в тюрьму, — наполненный гордостью от мысли, какой он совершил великий и славный подвиг, предав меня смертной казни за то, что я, видя, каких почестей и должностей удостоило его государство, сказал, что не следует ему ограничивать образование сына кожевенным делом.

— Мне особенно тяжело, — воскликнул друг Сократа Аполлодор, когда подошли с цепями люди из числа Одиннадцати, — что тебя приговорили к смертной казни несправедливо!

— Тебе приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо? — ответил Сократ. И протянул руки к цепям.

Страшные афинские Одиннадцать, управлявшие тюрьмами и совершавшие казни, были рабами, принадлежавшими государству.

По новой конституции свободных, демократических Афин, свобода слова и свобода мысли были свободами священными, неограниченными и неотъемлемыми, а тех, кто ими пользовался, можно было пустить по миру или прикончить.

— Неужели никто в нашем демократическом обществе не волен придерживаться неортодоксальных взглядов? — поинтересовался Сократ у Анита на предварительном слушании.

— А как же! — последовал ответ. — У нас имеется полная свобода выражения мыслей. Можно выражать и неортодоксальные взгляды при условии, что их неортодоксальность ортодоксальна. Человек может быть приверженцем демократии, или приверженцем олигархии, или приверженцем тирании, но ничего другого и без всяких там промежуточных тонкостей. Человек обязан быть приверженцем чего-либо. Можно быть сторонником войны или сторонником мира, но только их и ничего другого, а разные дискуссии, которые лишь запутывают эти простые вещи, не допускаются.

Речь Анита сопровождалась негромкими аплодисментами и одобрительным перешептыванием его коллег-заседателей.

— Ты ведь и сам говорил, Сократ, по крайней мере так передают, что в твоей идеальной республике Гомер, Гесиод и иные поэты, музыканты и вообще художники подлежали бы запрету либо цензуре по причине вредоносного воздействия, которое эти люди способны оказывать на чувства, мысли и моральный дух народа.

— Пока до моей идеальной республики еще далеко, — сказал Сократ, — я бы их сохранил.

— Чего мы не намерены допустить, — прямо сказал Анит, — так это цинизма, скептицизма, скрытности, атеизма, заговоров, абортов, оппозиционерства, увиливания, об-

мана и неискренних ходатайств. Чем смог бы ты защититься от обвинения в том, что ты атеист и отвергаешь богов, признаваемых государством, а веришь в других, странных божеств?

— Я попросил бы назвать мне этих богов и божеств и спросил бы, как можно быть атеистом, тем не менее веруя в этих божеств.

— Я вижу, что ты циничен и изворотлив. А как бы ты защищался против обвинения в развращении молодежи?

— Я попросил бы тебя назвать и привести в суд развращенных мною людей.

— А вот это и есть казуистика и неискреннее ходатайство, — сказал Анит, — которых афинское государство больше терпеть не намерено.

На самом же суде Сократ сказал:

— Если одних юношей я развращаю, а других уже развратил, то ведь те из них, которые уже состарились и узнали, что когда-то, во время их молодости, я советовал им что-то дурное, должны были бы теперь прийти мстить мне и обвинять меня, если только я не развратил их настолько, что они уже и не понимают, какой вред им причинен. А если сами они не захотели, то кто-нибудь из их семейных вспомнил бы теперь, как потерпела от меня их собственная плоть и кровь. Да уж конечно, отцы их и братья и иные родственники нашли бы сегодня дорогу в суд. Здесь ныне присутствует Адимант, Аристонов сын, которому вот он, Платон, приходится братом, и Энтодора, брата вот этого, Аполлодора, тоже вижу я рядом с ними. Ну, Херефона вы все, конечно, знаете, достойного демократа, который вместе с вами недавно изгонял тиранов, он был мне другом с мальчишеских лет, — Херефон мертв, но брат его присутствует в суде. Я вижу еще многих других, которых Мелету в его речи всего нужнее было выставить как свидетелей. Если он просто забыл это сделать, то пусть сделает теперь, я ему разрешаю. Пусть скажет, есть ли у него свидетели такого рода, показания которых он может привести.

Сократ, готовый уступить рострум своему обвинителю, сделал вежливую паузу.

— Все это неправда, мужи-афиняне, — снова заговорил Сократ, — совершенная неправда. Вы увидите, что все, кого я назвал, готовы защитить меня — меня, развратителя, оскорбителя, злого гения их ближайших и драгоценнейших родичей, как утверждают Анит и Мелет. Не только развращенные юноши, но и их неразвращенные родные, люди уже старые. Какое другое основание помогать мне может быть у их родственников, людей зрелых, кроме истины и справедливости? И кроме уверенности, что я говорю правду, а Мелет лжет.

Уже под конец своей защитительной речи Сократ привлек внимание судей к тому, что они и так наверняка знали: имея трех сыновей, одного почти уже взрослого и двух младенцев, он не прибегнул к обычной тактике, не привел с собой младенцев, дабы сколь можно больше разжалобить судей слезными мольбами.

— Такое поведение, — объяснил Сократ, — было бы нехорошо для чести моей и вашей, для чести всего государства. В мои года человеку не следует пятнать себя, прибегая к подобным приемам, да еще при моей репутации, заслужена она или не заслужена — все равно. Как-никак, а ведь принято все-таки думать, что я отличаюсь кое-чем от большинства людей. А если так будут вести себя те из нас, которые, по-видимому, отличаются или мудростью, или мужеством, или еще какою-нибудь доблестью, то это будет позорно. Мне не раз приходилось видеть, как люди весьма почтенные проделывали во время суда над ними или после вынесения приговора удивительные вещи, как будто они думали, что им предстоит испытать что-то ужасное, если они умрут, а если вы сохраните им жизнь, то они стали бы бессмертными.

Если судьи питают хоть малое уважение к своему доброму имени и доброму имени города, следует на будущее установить, что всякий, кто устраивает эти слезные представления, из-за них-то скорее всего и будет признан виновным.

— Мне кажется, это неправильно — просить судью и избегать наказания просьбою, вместо того чтобы разъяснять дело и убеждать. Ведь судья посажен не для того, чтобы миловать по произволу, но для того, чтобы творить суд; и присягал он в том, что будет

судить по законам, а не как ему заблагорассудится. А потому и нам, подсудимым, не следует приучать вас нарушать присягу, чтобы все мы не впали в нечестие. Так уж вы мне не говорите, будто я должен проделывать перед вами то, что и так считаю бесчестным, да еще проделывать это теперь, когда вот он, Мелет, обвиняет меня в нечестии. Ибо очевидно, что если бы я попытался вынудить вас своею просьбой нарушить присягу, то научал бы вас презрению к вере и такой защитой попросту сам обвинял бы себя, что не почитаю богов. Но на деле оно совсем иначе. Во мне, господа, больше искренней веры, чем в любом из моих обвинителей. И я предоставляю Богу и вам рассудить меня так, как будет всего лучше и для меня, и для вас.

К отчаянию Платона, Критона, Критобула и Аполлодора, Сократ предпочел обойтись без примирительных и униженных просьб о сохранении жизни, а судьи, ожидавшие от него покаянных прошений, кои, как они полагали, причитались им в обмен на помилование, которое они готовы были ему даровать, так ничего и не дождались.

Смертный приговор Сократ, по рассказу Платона, воспринял с редкостной невозмутимостью.

Есть немало причин, сказал он, по которым этот приговор ничуть его не огорчает. Попросту говоря, смерть для него — самое плевое дело. Он мог погибнуть на войне, мог погибнуть в демократических Афинах, отказавшись поставить на голосование огульный приговор десятерым победившим при Аргинузах генералам, мог погибнуть при Тиранах, не пожелав исполнить приказ об аресте Леонта Саламинского.

Для тех, кто голосовал за его обвинение, у него нашлось несколько пророческих слов:

— Немного времени выиграете вы, о мужи-афиняне, в обмен на дурную славу между желающими хулить наш город людьми, которые будут обвинять вас в том, что вы убили Сократа, мудрого человека. Ибо они назовут меня мудрецом, хоть я и не мудр, когда пожелают вас хулить. Мне вот-вот предстоит умереть, а люди в час смерти бывают способны пророчествовать, и вот я предсказываю, о мужи, меня убившие, что тотчас за моим уходом ожидает вас наказание, которое будет много тяжелее того, на которое вы меня осудили. Меня вы убили, желая бежать от обвинителя, избавиться от необходимости давать отчет о своей жизни. А случится с вами совсем обратное. Ибо, говорю вам, больше будет у вас обвинителей, чем теперь, а поскольку они моложе, то и уважения к вам у них будет меньше. Если же вы думаете, что, убив меня, вы удержите кого-то от порицания вас за то, что живете неправильно, то вы заблуждаетесь.

Для тех же, кто голосовал за его оправдание, у него отыскались слова утешения:

— Друзья, которые меня оправдали, я бы охотно побеседовал с вами об этом происшествии, пока архонты заняты оформлением дела и мне еще нельзя идти туда, где я должен умереть. Побудьте немного со мною, поболтаем друг с другом, пока есть время. Я хочу рассказать вам о некоем удивительном случае.

Вещий голос, с которым он так свыкся, рассказал им Сократ, божественное знамение, которое в прошлом останавливало его даже в самых неважных случаях, не остановило его ни нынче утром, когда он выходил из дому, чтобы отправиться на судилище, ни когда он входил в суд, ни во время всей речи, что бы он ни хотел сказать. А отсюда он заключает, что все произошло к его благу, они же все заблуждаются, полагая, будто смерть есть зло.

Смерть может быть сном без сновидений.

— Если так, не есть ли она удивительное приобретение? В самом деле, если бы кто-нибудь должен был взять последнюю ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, и, подумавши, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем эту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь персидский нашел бы, что счесть их ничего не стоит.

Если же смерть не сон без грез, которым дорожил бы и Великий царь, то, возможно, она, как принято говорить, смена места, переход души из этого мира в иной.

— И если смерть есть переселение отсюда в другое место, где обитают все умершие, то существует ли что-нибудь лучше этого, о друзья и судьи? Чего не дал бы всякий

из нас за разговор с Орфеем, Гесиодом, Гомером? Если все это правда, позвольте мне умирать снова и снова. Для меня было бы удивительно интересно встретиться там с Паламидом и Телемоновым сыном Аяксом или еще с кем-нибудь из древних героев, кто умер жертвой неправедного суда, сравнивать их судьбу с моею было бы для меня удовольствием немалым. Чего не дал бы всякий, о судьи, чтобы узнать доподлинно Агамемнона, человека, который привел великую рать под Трою, или узнать Одиссея или Сизифа? Уж там-то, я думаю, человека не убивают за то, что он задает вопросы, ибо тамошние люди, конечно, счастливее нас, поскольку они бессмертны, если верно то, что о них говорят. Так что не ждите, о судьи, ничего дурного от смерти.

Вот почему, сказал Сократ, он не очень пеняет на тех, кто приговорил его к наказанию.

— Они не причинили мне зла, хотя и добра причинить не хотели, это в них заслуживает порицания. Теперь же нам время идти отсюда своими путями, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить. А что лучше, ни для кого не ясно, кроме Бога.

Друзьям же, горевавшим о нем, он еще раньше предложил утешение:

— Закон Божий не допускает, чтобы хороший человек претерпел ущерб от дурного, так знайте наверное, что с человеком хорошим не бывает ничего дурного ни при жизни, ни после смерти.

Вот этим он их озадачил.

И изгнанного Аристотеля тоже.

Не следует ли отсюда, меланхолически размышлял Аристотель, знавший о своей болезни, что ничего дурного не может случиться и с плохим человеком, поскольку со всеми людьми всегда случается одно и то же?

Он решил, что это рассуждение развивать не стоит.

В последний его год у изгнанного Аристотеля было время поразмыслить над многим, пока он готовил распоряжения на случай своей смерти. Он был человеком достойным, думал он, и все же афиняне причинили ему много зла, выгнав его за нечестие через шестьдесят шесть лет после того, как они под тем же предлогом избавились от Сократа. После бегства его музей и библиотека пришли в запустение. Он оплакивал их утрату. Расстройство кишечника становилось, что ни день, все более угрожающим. Он не знал, что в стуле его полно крови. Проведя рентгеновское исследование Аристотеля с картины Рембрандта, доктор Абрахам Бредиус, историк искусства, давший картине ее нынешнее имя, обнаружил увеличение печени, а также правостороннюю опухоль кишечника. Бессмертный Аристотель был всего-навсего человеком.

34

Суд над Асклепием вызывает изрядное удивление. Торговец кожей, обладавший скромным достатком, он не был человеком, способным привлечь к себе какое-то особенное внимание. Внешняя сторона его жизни отличалась безликой законопослушностью. Соседи только одно и могли о нем сказать: он выглядел образцовым гражданином, с готовностью подчинявшимся условностям и принимавшим на веру мифологию прошлого и фольклор настоящего. То, что Сократ произнес его имя, да еще таким компрометирующим образом, поразило его не меньше других.

Асклепий не отрицал своей осведомленности о том, что Сократа называли философом. Что такое философ, он объяснить не смог. Не смог он и доказать того, что никогда не совершал преступления. Обыски, произведенные у него дома и в конторе, ничего решительно не обнаружили.

Уж больно невинным он выглядел.

Существовало ли хотя бы отдаленное вероятие, что он говорит правду?

Вместе их никогда на людях не видели.

Что также вызывало вопросы.

Тюремщик подтвердил под присягой, что Сократ перед смертью сказал, будто он задолжал петуха Асклепию и просит отдать долг.

Асклепий не отрицал, что его зовут Асклепием.

Обстоятельства складывались для него тем хуже, что стоило Сократу умереть, и все в Афинах тут же прониклись к нему уважением как к человеку правдивому и храброму, не способному соврать даже ради спасения собственной жизни.

— Не знаю я, почему он так сказал, — утверждал Асклепий в показаниях, данных им в ходе следствия, предшествовавшего суду. — Я могу только думать, что он имел в виду кого-то другого.

Кроме него и бога врачевания, никаких других не имелось.

— Ты поставь себя на наше место, — урезонивал его Анит. — «Критон, я должен петуха Асклепию. Так отдайте же, не забудьте». Давай рассуждать честно. Что выглядит более правдоподобным? Что человек умрет с ложью на устах или что ты лжешь, чтобы спастись?

Асклепий начинал верить, что, может быть, он и вправду лжет.

Но зачем?

Он терялся в догадках.

Для афинских судей, людей серьезных, было непостижимо, как это человек может шутить до последней минуты. Зачем бы Сократ сказал, будто он должен Асклепию петуха, если должен он не был?

— Выдвинь хоть какое-нибудь предположение.

— Я не знаю, — с несчастным видом сказал Асклепий, а затем произнес по неразумию слова, решившие его участь. — Я знаю только то, что ничего не знаю.

В точности это и заявил Сократ несколькими неделями раньше!

Да, звучит знакомо. Нет, никаких дел он с Сократом не вел.

Почему же в таком случае он либо обменивался шифрованными сообщениями с человеком, которому ничем не был обязан, либо одолжил ему петуха?

Когда Асклепий под присягой заявил, что никогда не делал ни того, ни другого, к выдвинутым против него обвинениям добавилось обвинение в лжесвидетельстве. Поскольку же отец-врач дал ему имя в честь божества, а он этого имени не сменил, его заодно обвинили в нечестии.

В противоположность Сократу, который сам говорил в свою защиту, Асклепий нанял знаменитого сочинителя речей, и тот подготовил для него блестящую апологию, ни единым словом не напоминавшую обычные речи Асклепия, да и чьи бы то ни было еще.

В противоположность Сократу, он привел на суд жену, детей, родителей, родителей жены и кучу престарелых рабов — и все ради того, чтобы выжать из судей хоть каплю жалости и тем обеспечить себе оправдательный приговор или какое-нибудь незначительное наказание.

Судьи, преисполнясь презрения, орали на него и швырялись головками латука. В их памяти еще свежо было воспоминание о доблести, с которой Сократ отверг все эти юридические уловки и осудил тех, кто к ним прибегает.

Асклепия признали виновным единодушно, при этом рев стоял такой, что даже те из присутствующих, кто склонялся на его сторону, не решились нарушить тишину, когда им представилась возможность сказать «нет».

Голосование было объявлено единогласным. Возражений против смертного приговора не последовало.

Афинское правосудие, как правило, осуществлялось быстро. В промежутке между осуждением Асклепия и поднесением ему чаши с цикутой на закате следующего дня Анит нашел время, чтобы прийти в тюрьму и выбранить его за безобразное поведение в качестве подсудимого, а также призвать его взять пример с Сократа, с поведения Сократа, когда для того настало время умереть.

— Для нас было честью, — с суровой гордостью сказал Анит, — предать смерти человека, подобного Сократу.

Когда тюремщики принесли ему на серебряном подносе чашу с ядом, Асклепий задал всего один вопрос:

— Что вы со мной сделаете, если я откажусь ее выпить?

Положенная процедура была оговорена в уголовном кодексе.

— Силой разомкнем твои челюсти и вольем яд тебе в горло. Мы уж по опыту знаем, что, когда приходится выбирать между смертью от удушья и ядом, человеческое животное неизменно предпочитает яд. Да, а потом мы отрубим тебе голову и, может, еще распнем, это уж как сограждане решат.

Асклепий выбрал путь полегче.

Когда яд стал овладевать им, он сделал лишь одно заявление, смиренно признавшись, что, как ему кажется, он больше не является сторонником смертной казни.

Анит объявил его позором кожевенного дела.

Комический драматург Аристофан говорил друзьям о том, как ему жаль, что Асклепий не сказал, умирая, будто задолжал петуха Аниту.

Казнь Сократа пришлось отложить на месяц из-за того, что суд над ним совпал со священными празднествами в честь древнего подвига Тесея, который убил Критского Минотавра и избавил Афины от скорбного бремени — ежегодной отправки на Крит семи афинских юношей и семи дев на прожор мифологической скотине. В память об этом событии греки, выполняя обет Тесея, каждый месяц фаргелион, а по-нашему май, украшали гирляндами государственную галеру и посылали ее на остров Аполлона, Делос. В знак религиозного благодарения за сэкономленные со времени Тесеева подвига жизни никаких публичных казней в прошедшем очищение городе до возвращения корабля не производилось.

Сократа предстояло убить, как только вернется корабль.

Тюремный страж ему попался добрый. Ножные цепи он надевал на Сократа только по ночам.

Друзья Сократа замышляли побег.

Однажды утром Сократ проснулся еще до зари и обнаружил рядом с собой старика Критона, сидящего на табурете посреди камеры, мрак которой едва-едва рассеивался маленькой лампадкой. Сократ удивился. Стражи к этому времени уже привыкли к Критону и впускали его, не поднимая особого шума. Кроме того, Критон, по его словам, задабривал начальника тюрьмы мелкими знаками внимания, а попросту — дружескими взятками.

— Почему же ты не разбудил меня сразу, а сидишь возле меня и молчишь? — спросил Сократ.

— Уж очень ты сладко спал — я бы ни за что не стал тебя будить. Ах, если б я не страдал так от бессонницы и упадка духа, — Крит помрачнел. — Завидую я тебе, Сократ. А еще больше дивлюсь, какой счастливый у тебя характер, как ты, при этом несчастье, легко и кротко его переносишь. В жизни не видел ничего похожего на спокойствие, с которым ты несешь свою участь.

Сократ улыбнулся.

— Но ведь по правде сказать, Критон, нелепо было бы, дожив до моих лет, роптать на приближение смерти, разве не так?

И все же другие люди его возраста горько жалуются, когда им приходится попасть в такую беду, говорил Критон, когда вошел с извинениями услышавший их голоса стражник. Он приблизился к Сократу и снял с него цепи. Сократ принялся растирать оставленные ими следы. Стражника явно мучил стыд.

— Что нового? — поинтересовался Сократ. — Есть сегодня какие-нибудь распоряжения на мой счет?

— Есть приказы, — ответил, понизив голос, стражник. Он не отрывал глаз от земли.

— Какие же?

— Приказы такие, — ответил стражник, — чтобы я смотрел в другую сторону, если ты попробуешь убежать из тюрьмы и направишься в порт, к кораблю, который, как все в городе знают, поджидает тебя, чтобы вывезти отсюда.

— А если я не попытаюсь сбежать? — спросил Сократ.

— Тогда мне приказано сказать тебе, что в Пирее тебя поджидает корабль и что всем нам приказано смотреть в другую сторону, если ты попробуешь убежать.

— Он человек хороший, Критон, — сказал Сократ, когда страж удалился. — Ты заметил, стоит ему взглянуть мне в лицо, сразу у него, у бедняги, слезы наворачиваются.

— Сократ, решись наконец, — резко сказал Критон. — Ты слышал его и слышал меня. Все надо сделать сегодня ночью. Иначе будет поздно.

— Уж не пришел ли с Делоса корабль?

— Пришли сведения. Очень похоже, что корабль появится сегодня. Завтра, Сократ, если ты сейчас не решишься, настанет последний день твоей жизни.

— В таком случае, Критон, я полагаю, это будет к лучшему, если так угодно богам.

— Так ты не уйдешь сегодня?

— Нет. Я все же думаю, что один день у меня еще есть и что корабль придет не в нынешний день, который только еще начинается, а завтра. Ведь я должен умереть на другой день после того, как придет корабль, верно?

— Так постановили власти.

— Вот я и думаю, что он придет не сегодня, а завтра. Я видел сон.

Сон Критона не интересовал. Да и добавочный день тоже погоды не делал.

— Смысл твоего сна, может, и ясен, но, возлюбленный мой Сократ, хоть теперь послушайся меня и не отказывайся от своего спасения, пока не слишком поздно. Твоя смерть грозит мне и другим твоим друзьям двойной бедой. Если ты умрешь, мы не только лишимся друга, которого нам никогда не заменить, но еще и люди решат, что мы могли бы спасти тебя, если б не поскупились.

— Но для чего, дорогой Критон, — сказал Сократ, видя, что друг его разволновался не на шутку, — нам так заботиться о мнении большинства? Порядочные люди — а только с ними и стоит считаться — будут думать, что все это свершилось так, как оно свершилось на самом деле.

— Но тебя-то это не спасет, — сказал Критон. — Ты мне вот что скажи, Сократ, уж не руководит ли тобой забота о риске или расходах, которым подвергнусь я и другие друзья, помогая тебе выбраться отсюда? Не боишься ли ты, что платные доносчики втянут нас в беду за то, что мы тебя похитили? Или что нам придется потерять много денег, а то и все наше состояние, и вдобавок подвергнуться еще чему-нибудь? Если так, то оставь это: чтобы спасти тебя, мы пошли бы и на бóльшую опасность. Нет, послушайся меня и сделай по-моему.

— Да, Критон, этого я опасаюсь. Но это отнюдь не единственная причина.

— Этого уж ты не бойся, — сказал Критон. — Есть люди, которые берутся вызволить тебя из тюрьмы и из города, не так уж и много требуя денег за это. Что же касается правительственных доносчиков, то и им не многого надо, это народ дешевый. Если, наконец, принципы не позволяют тебе тратить мое достояние, то здесь сейчас есть чужеземцы, которые готовы за тебя заплатить и которые ничем не рискуют. Один из них — Симмий, фиванец — уже принес большие деньги как раз для этого. Есть также Кебет и еще очень многие, все берутся потратиться, чтобы помочь твоему побегу. После этого они покинут Афины и будут вне опасности. Мы же готовы рискнуть чем угодно, лишь бы спасти тебя.

— Все, о чем ты говоришь, Критон, меня беспокоит, — сказал Сократ, — а кроме этого многое другое.

— Так послушайся меня и поступи разумно, — сказал Критон. — И право, мне и без того уже стыдно и за тебя, и за нас, как подумаю обо всем, чему мы позволили зайти

так далеко, да и о том, что все дело припишут какому-то малодушию с нашей стороны. Во-первых, вспомнят, как ты пошел на суд, что было совсем не нужно, — вот первый неверный поступок. Припомнят нам и то, как дело попало в суд, хотя все можно было устроить совсем по-другому. Почему ты уже тогда не покинул Афины? Припомнят и то, как ты защищался, — вот и второй. И, наконец, последняя, венчающая всю эту комедию глупость. Начинает казаться, что мы теряем тебя, потому что нам не хватает отваги и предприимчивости, потому что, будь мы на что-то годны, мы бы тебя спасли, и потому что ты сам себя не спасал, когда оно было и разумно, и практично.

— Милый Критон, — сказал Сократ, выслушав его, — я очень ценю твои добрые чувства. Твое усердие стоило бы очень дорого, будь ты правым. Если же ты не прав, то чем больше усердие, тем больше опасность.

— Тогда прими мой совет сейчас, а спорить будем после. Потому что, если ошибаешься ты, то второго шанса у тебя не будет. И не питай сомнений из-за того, что ты сказал на суде. Не говори, как говорил там, что тебе непонятно, чем бы ты мог заниматься в другом месте. Ибо во множестве мест, куда ты можешь отправиться, есть люди, которые любят тебя, не в одних только Афинах. Если бы ты пожелал отправиться в Фессалию, то у меня есть там друзья.

— В бесчинную Фессалию? Вот, значит, где мне место?

— Они будут тебя высоко ценить и оберегать, так что во всей Фессалии никто не доставит тебе огорчения.

— И какой же добродетели, мудрости и чести я стану учить их, я, бежавший из Афин, города, в котором провел всю мою жизнь, в котором вскормил и воспитал моих детей и которого никогда не покидал кроме как для военной службы? Как могу я нарушить законы и сбежать, когда они обратились против меня? Разве заключал я с городом такое соглашение, что буду почитать законы священными, когда их неправо обращают против кого-то еще, и отрекаться от них, когда они неправо обращаются против меня?

— Сократ, ты затеял, по-моему, несправедливое дело — предать самого себя, когда можно спастись. Ты старательно играешь на руку твоим врагам, которые хотят тебя погубить. Именно так поступили бы враги, ищущие твоей смерти.

— И потому ты хочешь, чтобы я взамен бежал в изгнание и получил, нарушив закон, то самое наказание, которое я, вероятно, мог должным образом получить на моем суде, если бы о нем попросил. Спрашиваю тебя, Критон, как по-твоему, не справедливо ли, что не все человеческие мнения следует ценить одинаково, но одни надо уважать, а другие нет? Что ты скажешь? Разве это не верно?

— Да, верно, — сказал Критон.

— Иными словами, — продолжал Сократ, — человек должен уважать только хорошие мнения, а дурные не уважать?

— Да.

— А мнения мудрых хороши, между тем как мнения глупых плохи?

— Естественно, — понемногу утрачивая уверенность, ответил Критон.

— Тогда я очень хотел бы, исходя из такого допущения, рассмотреть этот вопрос с тобой, — сказал Сократ, и Критон ощутил, как сжалось его сердце, ибо он сознавал, к чему приведет такое рассмотрение, хоть и не знал, как оно туда приведет. — Если окажется, что я совершенно прав, пытаясь уйти отсюда вопреки официальной воле афинян, тогда попытаемся это сделать; если же нет — то оставим такую попытку. Ибо тогда получится, что люди, которые платят деньги, и другие, которые хотят меня спасти, поступают так же неправильно, как и мы, подготовляя мой побег. И если окажется, что поступать таким образом несправедливо, то я волей-неволей должен буду признать, что моя смерть ничего не значит в сравнении с риском совершить несправедливость. Считаем ли мы, что всего больше нужно ценить не самое жизнь, но жизнь хорошую?

Критон сказал, что считаем.

— И что хорошая жизнь — это то же самое, что жизнь честная и правильная? И что, когда человек не живет честно и поступает неправильно, он вредит себе самому, как и

тем, кому причиняет ущерб? Подумай тщательно, разделяешь ли ты мои взгляды, согласен ли со мною? Если у тебя сложилось иное мнение, скажи об этом и изложи мне его. Если же, с другой стороны, ты придерживаешься того, что мы уже сказали, выслушай мой следующий довод.

— Да, я согласен с тем, что ты говоришь, Сократ. Но я хочу, чтобы ты побыстрей рассмотрел, что нам следует *делать*.

— Так давай рассмотрим логические последствия. Если мы уходим отсюда, не попытавшись сначала склонить государство позволить нам это, причиняем ли мы или не причиняем зла кому-нибудь, да еще тем, кому всего менее следует его причинять? И не преступаем ли мы то, что сами признали справедливым?

— Я не могу ответить на твой вопрос, Сократ, потому что не понимаю его.

— Тогда, дорогой мой друг, рассмотрим его сообща. Мне очень важно поступать в этом деле с твоего согласия, а не вопреки тебе. Обрати внимание на то, удовлетворит ли тебя начало рассмотрения, и постарайся отвечать на вопросы то, что думаешь.

— Ну конечно, — пообещал Критон, — постараюсь.

И очень скоро они пришли к выводу, что не должны причинять зла ни одному человеку, какого бы зла сами от него ни претерпели, и что ни при каких обстоятельствах не следует поступать несправедливо, как бы несправедливо ни поступали с тобой.

Они согласились и в том, что соглашения следует выполнять, и что несправедливость есть зло, и что, удирая теперь, Сократ пытался бы причинить зло и погубить, насколько это от него зависит, законы, без которых город не может существовать. Он, всегда утверждавший, что добродетель, и постоянство, и установления, и законы суть самое драгоценное, чем обладает человечество, нарушил бы теперь соглашение с обществом по причинам неоспоримо личным.

Разве не существует веских доказательств того, что законы Афин ему нравились? Он породил здесь детей, он никогда не выезжал из города ни ради празднеств, ни посмотреть другие места — разве что на войну. На суде он напускал на себя безразличие к смерти и уверял, будто смерть лучше высылки.

Он попросил Критона представить, что бы сказали законы города, если б они пришли к нему и заговорили:

— Если бы ты хотел, ты еще на суде мог бы потребовать для себя изгнания и сделал бы тогда с согласия государства то самое, что задумал сделать теперь без его согласия. Но нет, ты притворялся, будто предпочитаешь смерть изгнанию, будто ты и не прочь умереть. Ты с отвагой говорил, что не страшишься смерти, которая может оказаться благословением. Теперь же ты забыл про эти красивые чувства и нас, законы, не почитаешь, пытаясь нас уничтожить. Ты поступаешь так, как мог бы поступить самый негодный раб, собираясь сбежать, хотя мог бы сделать с разрешения государства то, что Критон уговаривает тебя сделать без его разрешения. И в Фессалии, где величайшее неустройство и распущенность, о чем бы ты стал с ними говорить? Услаждал бы их рассказом о том, как это было смешно, когда ты скрылся из тюрьмы, переряженный в козью шкуру или еще во что-нибудь, что надевают обычно при побеге? Сократ, не смешил бы ты людей своим бегством.

Если же законы ему не нравились, он волен был склонить сограждан к их изменению. Не смог бы переубедить — волен был бы, как любой афинянин, взять свое имущество и выселиться, куда ему угодно. И хоть олигархии Спарты и Крита представлялись ему наилучшими из способов правления, он предпочел все свои семьдесят лет восхвалять их, сидя в Афинах и ни туда, ни сюда не переселяясь.

И к чему же тогда сведутся красивые разговоры о добродетели и справедливости, которые он вел всю жизнь?

— Должен ли человек поступать так, как считает правильным, или он должен изменять тому, что, по его убеждению, самое правильное и есть? — спросил Сократ.

— Разумеется, Сократ, он должен всегда поступать так, как считает правильным.

— А в мои преклонные годы, Критон, неужто не найдется желающих напомнить

мне, что я не постыдился преступить самые священные законы из малодушного желания прожить чуть подольше? Вот каково мое мнение теперь; если ты станешь ему противоречить, то будешь говорить понапрасну. Впрочем, если думаешь одолеть, говори.

— Что ты скажешь о человеке, — спросил Критон, — который считает правильным поступать неправильно?

— Я не из таких.

— Правильно ли подчиняться дурному закону?

— Наши законы не дурны.

— Я тебя спрашиваю философски.

— На это у меня больше нет времени.

— Тогда мне нечего сказать.

— Оставь же меня, Критон, выполнять волю Бога и идти туда, куда он ведет.

Платон, написал Платон, был нездоров в день, когда умер Сократ, и потому, как в «Пире», использовал рассказ от второго лица, которое свидетельствует о подробностях того, чего сам Платон не видел.

— Скажи, Федон, ты сам был подле Сократа, когда его казнили, или только слышал об этом?

— Нет, сам, Эхекрат, — ответил Федон.

— Что же он говорил перед смертью и как встретил кончину? Нам передали только, что он умер от яда, а больше никто ничего не знает.

Разговор этот происходил во Флиунте, городке в Пелопоннесе.

— Мы, флиунтцы, теперь в Афины не ездим, и из Афин давно уж никто к нам не заезжал, кто мог бы сообщить достоверные сведения, кроме того только, что Сократ выпил цикуту и умер. Будь добр, расскажи нам обо всем как можно подробнее и обстоятельнее — если, конечно, время тебе позволяет.

— Нет, я совершенно свободен, — сказал Федон, — и постараюсь все вам описать. Тем более что для меня нет ничего отраднее, как вспоминать о Сократе — самому ли о нем говорить, слушать ли чужие рассказы.

— Но и слушатели твои, Федон, тебе в этом не уступят. Так уж постарайся, будь как можно точнее.

— Во-первых, — начал Федон, — я испытывал удивительное чувство. Никак я не мог поверить, что присутствую при кончине друга, и потому не ощущал к нему жалости, какой можно было бы ждать у смертного ложа дорогого мне человека. Он казался мне счастливцем, я видел поступки и слышал речи счастливого человека. Он умер без страха, и речи его были благородны и изящны. И все, кто был там, испытывали какое-то странное смешение удовольствия и скорби и вели себя одинаково. Мы то смеялись, то плакали, в особенности один из нас, чувствительный Аполлодор — ты, верно, знаешь таких людей? Аполлодор совершенно потерял голову, и я и другие очень его жалели.

— Кто же там был вместе с тобою?

— Из природных афинян, — начал перечислять Федон, — кроме этого самого Аполлодора, были Критобул с отцом, Критон, потом Гермоген, Эпиген, Эсхин и Антисфен. Да, и еще Ктесипп из пеанского дема, Менексип и еще кое-кто из местных. Из иноземцев были фиванец Симмий, Кебет и Федонд, а из Мегар — Эвклид и Терпсион. Платон, если не ошибаюсь, был нездоров. По-моему, все.

В то утро они собрались раньше обычного, пришлось ждать.

Стражник объяснил:

— Сейчас у Сократа Одиннадцать, снимают с него оковы и отдают распоряжения насчет казни. Казнить будут сегодня.

Когда они вошли внутрь, жена Сократа, Ксантиппа, была уже при нем, с меньшим ребенком на руках. Увидев, как они входят, она заголосила, а потом отпустила замечание, которого только и можно ждать от женщины, — насчет того, что нынче последний раз, когда Сократу удастся побеседовать с друзьями. Это Ксантиппа-то, которая вечно ярилась из-за его слишком долгих разговоров с друзьями, жалела теперь, что больше ему с ними видеться не придется.

Она истерически плакала. Сократ взглянул на Критона и попросил, чтобы кто-нибудь увел ее, и ее увели, а она причитала и била себя в голову.

Когда в комнате стало тихо, Сократ сел, подогнул ногу и потер вздувшийся красный след, оставленный цепью.

Еще с прошлых встреч они знали, что он перелагает в стихи некоторые из басен Эзопа, и поэт Эвен просил передать, что он дивится, почему это Сократ, раньше никогда стихов не писавший, теперь вдруг взялся за них.

— Скажите ему правду, — шутливо сказал Сократ, — что я не хотел соперничать с ним, это было бы нелегко, я понимаю.

Он просто пытался прояснить таким способом значение некоторых своих сновидений.

— Так все и объясните Эвену, а еще скажите ему от меня «прощай» и прибавьте, чтобы как можно скорее следовал за мною, если он человек здравомыслящий. Я-то, видимо, сегодня отхожу. Так велит мне моя страна.

— Вот уж наставление для Эвена! — воскликнул Симмий, да так комично, что все рассмеялись. — Насколько я знаю его, ни за что он не послушается твоего совета по доброй воле.

— Почему же? Разве Эвен не философ? — спросил Сократ.

Все согласились с тем, что Эвен философ.

Ну тогда Сократ уверен, что он не убоится смерти, хотя руки на себя вряд ли наложит, поскольку знает, что самоубийство не дозволяется законом.

Тут Кебет недоуменно спросил:

— Как это ты говоришь, Сократ: налагать на себя руки человеку не дозволено, и все-таки, как философ, он согласится отправиться следом за умирающим?

— Неужели ты и Симмий никогда не слышали обо всем этом?

— Никогда ничего ясного, Сократ.

— Ну что же, — сказал Сократ и, перестав потирать ногу, спустил обе на пол, да так и сидел уже до конца беседы. — Правда, я и сам говорю с чужих слов, однако я охотно повторю то, что мне случалось слышать. Да, пожалуй, оно и всего уместнее для человека, который скоро оставит этот мир, поразмышлять и порассуждать о природе своего путешествия и попытаться вообразить, на что оно похоже. В самом деле, как еще скоротать время до заката? Но сперва давайте послушаем, что скажет Критон. Он, по-моему, уже давно хочет что-то сказать.

— Только одно, Сократ, — сказал Критон. — Со мной говорил прислужник, который даст тебе яду, и просил предупредить тебя, чтобы ты разговаривал поменьше. Разговор, дескать, горячит, а это мешает действию яда. Кто этого правила не соблюдает, тому иной раз приходится пить отраву дважды и даже трижды.

— Тогда, — сказал Сократ, — скажи, пусть даст мне яду два или даже три раза, если понадобится.

И в оставшиеся часы он рассказывал ученикам о душе, бессмертии и будущей жизни, о которой никогда прежде не говорил помногу, рассказывал, не предъявляя, впрочем, фактов, убеждающих в истинности его слов. Он знал, что слова его истинны, потому что хотел, чтобы так было.

Симмия и Кебета убедить оказалось трудно.

— Что же, вы, Симмий, Кебет и все остальные, — сказал Сократ под конец разговора, — тоже отправитесь этим путем, каждый в свой час, а меня уже нынче «кличет судьба», как, вероятно, выразился бы какой-нибудь трагический поэт. Скоро придется пить

яд. Пожалуй, пора мне и мыться. Избавим женщин от лишних хлопот — не надо будет омывать мертвое тело.

Когда он примолк, сообщает Платон, Критон сказал:

— Не хочешь ли оставить нам какие-нибудь распоряжения — насчет детей или еще чего-нибудь? Какую службу мы можем тебе сослужить?

— Ничего нового я не скажу, Критон. Пекитесь о себе сами и живите в согласии с тем, о чем я всегда толковал, это и будет доброю службой и мне, и моим близким, и вам самим.

— Мы постараемся, — сказал Критон. — А как нам тебя похоронить?

— Как угодно, — отвечал со смехом Сократ, — если, конечно, сумеете сперва меня схватить и я не убегу от вас.

Повернувшись к остальным, он сказал:

— Критон воображает, будто я — это уже другой Сократ, которого он вскорости увидит мертвым, и вот выспрашивает, как меня хоронить. Так поручитесь же за меня перед Критоном, только дайте ручательство обратное тому, каким сам он ручался перед судьями: он-то ручался, что я останусь на месте, а вы поручитесь, что, выпив яду, я удалюсь отсюда. Тогда ему будет легче, и, видя, как мое тело сжигают или зарывают, он уже не станет убиваться. Будь весел тогда, милый Критон, и говори, что хоронишь лишь мое тело, а хорони как тебе заблагорассудится и как считаешь лучше. К тому времени я проскользну у вас между пальцев, и вы не сможете ни схватить меня, ни удержать.

С этими словами, сообщил Федон Эхекрату и другим своим слушателям, Сократ поднялся и ушел в другую комнату мыться. Критон пошел следом за ним, а прочим велел ждать.

Сократ, говорит Федон, был им словно отец, которого они лишались, на всю жизнь оставаясь сиротами.

Когда он помылся, к нему привели сыновей — двух маленьких и того, что постарше. Пришли и родственницы, и Сократ поговорил с ними и о чем-то распорядился в присутствии одного только Критона. Затем он отослал их и снова вышел к друзьям.

Было уже близко к закату, ибо проговорили они долго, да и во внутренней комнате Сократ провел немало времени. Освеженный купанием, он снова сел, но немногое было сказано между ними к часу, когда пришел и встал перед Сократом его тюремщик, слуга Одиннадцати.

— Тебе, Сократ, — сказал он, и вид у него при этом был точно у пораженного горем человека, которого душат рыдания, — которого я ныне знаю как самого благородного, мирного и лучшего из людей, когда-либо сюда попадавших, я не стану рассказывать, как гневались на меня другие люди, как они бушевали и проклинали меня, когда я говорил им, что пора выпить яд. Я уверен, что ты на меня не прогневаешься, ведь ты знаешь, что не меня надо винить, а других. Итак, ты знаешь, с какой вестью я пришел, — прощай же и постарайся как можно легче перенести неизбежное.

Тут он заплакал и повернулся к выходу.

— Всего доброго и тебе, — сказал ему Сократ, — и делай, что тебе велено.

И он поведал другим, каким добрым и приветливым человеком оказался его тюремщик.

— С тех пор, что я в тюрьме, он все время навещал меня, а иногда и беседовал со мною, просто замечательный человек. Вот и теперь, как искренне он меня оплакивает. Однако ж, Критон, послушаемся его. Пусть принесут яд, если уже приготовили. А если нет, пусть приготовят.

— Слишком рано, — сказал Критон, — солнце, по-моему, еще над горами. Я знаю, другие здесь принимали отраву много спустя после того, как им прикажут, ужинали, пили вволю, а иные даже наслаждались обществом тех, кого любили. Не торопись. Время еще терпит.

А Сократ ему:

— Вполне естественно, Критон, что они так поступают, те, о ком ты говоришь. Ведь

они думают, будто что-то выиграют на отсрочке. И не менее естественно, что я так не поступлю, я ведь не надеюсь выгадать ничего, если выпью яд чуть попозже. Я только сделаюсь смешон самому себе, цепляясь за остаток жизни, которой уже лишился и которая ничего больше мне предложить не может. Прошу тебя, сделай, как я сказал. Не отказывай мне.

Критон кивнул слуге, стоявшему неподалеку. Тот удалился. Не было его довольно долго, потом он вернулся с тюремщиком, несшим чашу, в которой был приготовлен яд.

Сократ с приязнью сказал:

— Ты, друг мой, со всем этим знаком, расскажи же, что мне надо делать?

— Просто выпей, — ответил служитель, — и ходи, пока не появится тяжесть в ногах. Тогда ляг. Яд подействует сам.

И с этими словами он протянул чашу Сократу, который, как рассказывает Федон, взял ее с полным спокойствием — не испугался, не побледнел, не изменился в лице, — но взглянул тюремщику прямо в глаза и спросил, можно ли сделать этим напитком возлияние кому-нибудь из богов.

Тюремщик ответил, что яду в чаше всего лишь столько, сколько надо выпить.

— Да, я, кажется, понял, — сказал Сократ. — Но молиться богам можно и нужно, и я попрошу их благоприятствовать моему переселению из этого мира в другой. Об этом я и молю, и да будет так.

Договорив эти слова, он поднес чашу к губам, весело и легко, и выпил до дна.

До той поры большинство из них еще как-то смиряли свою печаль. Теперь же, увидав, как он пьет и как выпил яд, они уже не могли сдержаться. У Федона, как он ни крепился, слезы полились ручьем, так что он закрылся плащом и заплакал.

Сократ, казалось, почти рассердился.

— Вы что, оплакиваете меня? — пожурил он их. — Федон, устыдись.

Но Федон не первым дал волю чувствам. Критон еще раньше него разразился слезами и поднялся с места, словно желая выйти, и Федон решил последовать за ним. А тут и Аполлодор, который и до того плакал не переставая, заголосил с таким отчаянием, что всем надорвал душу. Только Сократ и остался спокоен.

— Что за ненужные вопли? — недовольно спросил он. — Как вы себя ведете! Я для того и отослал женщин, чтобы они не устраивали подобного бесчинства, — ведь меня учили, что умирать человек должен в мире. Тише, сдержите себя!

Услышав его слова, они устыдились и постарались, как могли, сдержать слезы.

Сократ ходил, потом сказал, что ноги ему отказывают, и лег на спину, как ему велели.

Человек, давший ему яд, проводил Сократа до ложа и ощупал ему ступни и голени, и спустя немного — еще раз. Потом сильно стиснул ему ступню и спросил, чувствует ли он. Сократ отвечал, что нет. После этого он снова ощупал ему голени и, понемногу ведя руку вверх, показал всем, как Сократ стынет и коченеет. Наконец он коснулся Сократа в последний раз и сказал:

— Когда яд доберется до сердца, он отойдет.

Сократ лежал, закрыв тряпицей лицо.

— Бедра его уже холодели, — передает Федон, — когда он на миг приоткрыл лицо и сказал — это были его последние слова: «Критон, я задолжал петуха Асклепию. Так отдайте же, не забудьте».

— Непременно, — сказал Критон. — Не хочешь ли еще что-нибудь сказать?

Ответа не было. Через минуту-другую голова под тряпицей дрогнула. Когда служитель открыл ему лицо, глаза уже остановились. Критон закрыл ему рот и глаза.

— Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека — мы вправе это сказать — самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого мудрого и справедливого.

37

Есть гнусности, и есть гнусности, и одни оказываются гнуснее других.

Человечество жизнерадостно: зверства, приводившие нас в ужас неделю назад, завтра станут приемлемыми.

Смерть Сократа не оказала влияния на историю Афин. Пожалуй, она даже улучшила репутацию города.

Смерть отдельного человека не так важна для будущего, как литература, ей посвященная.

Ничего особо полезного по прикладной части вы из истории не узнаете, так и не тешьте себя этой надеждой.

«История — чушь», — сказал Генри Форд.

Да, но Сократ-то умер.

Платон не сообщает, плакал ли он в тот день.

Ко времени «Пира» ему было не больше двенадцати, поэтому он не мог услышать те любовные похвалы Алкивиада Сократу, которые передает с таким красноречием.

Смерть от цикуты вовсе не так тиха и безболезненна, как он ее изображает: есть там и тошнота, и нечленораздельность речи, и судороги, и неудержимая рвота.

Рембрандт, изобразивший Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, мог быть и не Рембрандтом, а учеником, который с такой божественной одаренностью усвоил уроки мастера, что большего он никогда уже не достиг, отчего и имя его покрылось мраком забвения. Бюст Гомера, над которым размышляет на полотне Аристотель, это вовсе не бюст Гомера. Да и сам он никакой не Аристотель.

ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ

Рассказы. Эссе

Перевод с польского Л. БУХОВА

Перед грозой

Близился вечер, когда братья остановились перед железной оградой. Низкое бетонное строение напоминало не то гараж, не то бункер. Старший несколько раз подергал калитку. Запертая на висячий замок цепь заскрежетала, но не поддалась.

Солнце больше не ослепляло, но жара была все еще изнурительная. По каменистой дороге проехал разбитый грузовик, поднял клубы пыли и исчез. Братья выглядели так, как любой в той местности. Роста скорее среднего, цвет волос близкий к серому, туловище длинное на коротковатых ногах, глаза вытаращенные, носы как бы слепленные из нескольких кусков. Выражение лица таково, что ничего по нему не прочтешь. Характер у обоих был добрый. Любили выпить и дать кому-нибудь по морде. Правда, сейчас они здорово устали. Одинаковым движением братья сняли с головы пропотевшие кепки, отерли рукавами мокрые лбы, почесали в закудрявившихся от жары волосах и задрали головы вверх. Оловянные тучи низко лежали на кронах высохших деревьев, угрожая дождем.

— Отец всегда был такой, — проворчал старший. — При жизни не давал жить и после смерти мучает.

Сегодня утром пришло известие, что отец умер и необходимо срочно забрать тело. Шла жатва, самая горячая пора. Работать приходилось по двадцать часов в сутки. На поле еще оставался неубранный хлеб. Не дай бог — дождь.

До больницы — километров сто двадцать. Старенький паровоз тащился битых шесть часов. Добрались уже поздно. Пока оформляли документы, морг закрылся. Сторож велел ждать до утра. Впрочем, единственная санитарная машина, на которой можно было перевезти тело, уехала неизвестно куда.

Внезапный порыв ветра хлестнул по соснам и бессильно опал. В землю ударили несколько тяжелых капель дождя. Маленькая, похожая на червя собака проковыляла мимо них на трех лапах. Младший поднял камень, бросил его и попал. Собака завизжала, еще сильнее сгорбилась и попыталась ускорить ход. Некоторое время оба брата глядели ей вслед.

— Будем забирать папашу, — решил старший.

Они перемахнули через ржавую калитку. Дверь в прозекторскую, вскрытая ножом, со стоном поддалась. Внутри было холодно и приятно. Братья немного постояли, пока глаза привыкли к темноте. Увидели два деревянных стола. Тела, прикрытые простыней.

— Папаша будет тот, что побольше, — кивнул головой старший.

Он достал из портфеля праздничный черный костюм, белую накрахмаленную рубашку, лакированные туфли. Под одной простыней с отцом, прильнув к нему, лежал новорожденный. Его худенькая спинка была покрыта темными пятнами. Отец еще не успел окоченеть, и все же одевать его пришлось столько времени, что у них не осталось даже минуты на перекур. Надвинув ему на глаза кепку, они взяли тело под руки. Папаша тяжко грохнулся о землю по другую сторону ограды.

© Janusz Glowacki, 1996
© Л. Бухов. Перевод, 1998

К поезду пустились бегом. Городок уже растворялся в вечернем мраке. Одинокая звезда сверкнула и погрузилась в тучи. Волочащиеся по дороге ноги отца вздымали облако пыли. Возле станции на земле блаженно спали пьяные, а на их лицах спали мухи. Поезд был пустой. Они купили три билета и едва успели удобно посадить отца в уголке, как восемь вагонов закачались на рельсах. За окнами проплыло здание станции, покрытое облупившейся краской, полоска каменистой дороги. Увидев башенку костела, братья приподняли кепки. В некоторых домах блеснули редкие огоньки, тяжелая, черная ночь уже заливала поля, подобно чернилам.

— Может, и не будет дождя, — заметил старший.

Младший кивнул. Они аккуратно скрутили сигареты, покурили и уснули. Спустя час или два их разбудил фонарик кондуктора. Поезд стоял. Из пивной при крохотной станции доносились веселые голоса.

— Почему стоим? — спросил младший.

Кондуктор пробил три билета, ничего не ответил и ушел. Прошло минут двадцать-тридцать. Из темноты возникло стадо коров. Животные шли тяжело. На опущенных низко к земле мордах закипала слюна. В пивной хриплый мужской голос пел про Африку, где голые женщины танцуют, прикрывшись звериными шкурами, колышется океан, летают пестрые птицы и самый бедный официант ходит во фраке.

Братья послушали, и на них навалилась тоска.

— Который час? — спросил старший.

— Я бы тоже выпил, — обрадованно отозвался младший.

Они надвинули отцу кепку еще ниже на глаза и вышли.

Перед самым входом в пивную дрались на ножах два типа, похожие на снабженцев, однако из-за невероятной жары или спьяну никак не могли попасть друг в друга. Братьев они вежливо пропустили.

Бочковое пиво было теплым. Они долили в кружки по стакану водки, выпили, потом повторили, глубоко вздохнули и почувствовали облегчение.

— Не верю, что отец умер от рака, — заметил младший. — Никогда не слышал ни об одном пьющем человеке, чтобы рак смог его одолеть.

Они заказали еще бутылку и тут заметили, как за окном неторопливо передвигается красный фонарь. Едва не падая, догнали поезд. Вспрыгнули на площадку последнего вагона. Уселись на ступеньке и, тяжело дыша, по очереди потягивали из бутылки.

На станции в поезд сел только один пассажир. Небольшого роста, худой, согнувшийся вперед, как ручка от зонтика. Со страдальческим видом он толкал перед собой чемоданчик с купленной по случаю швейной машинкой, сделанной в ГДР. Это был портной. Два года назад у него сломалась швейная машинка отечественного производства, он стал шить на руках, терял клиентуру и все это время мечтал именно о такой, из Восточной Германии, которая может и вышивать, и петли обметывать. Характер у него был сильный, целеустремленный, и он сумел добиться желаемого. Машинку достал по знакомству, дав большую взятку заведующей кооперативом швейников. Потратил практически все, что накопил за свою трудовую жизнь, но не жалел. И теперь, толкая перед собой машинку через пустой, темный тамбур, он заглядывал во все купе в поисках хоть одной живой души. Ему было шестьдесят четыре года, жизнь он прожил нелегкую и гордился этим, но боялся пустых пригородных поездов. И был он до того худ и сухощав, что жара ничего не могла с ним поделать. Он даже не потел. Только машинка казалась ему все тяжелее и все больнее ударялась о колено.

В первом после паровоза вагоне портной увидел сидящего в углу у окна старичка в надвинутой на глаза кепке. Это было лучше, чем ничего. Старичок был одет вполне прилично, во все черное. Портной несколько раз покашлял, но тот, похоже, спал крепко. Из последних сил он втащил машинку на полку, подальше от недобрых глаз, и тяжело опустился на лавку. Несколько минут пытался побороть сонливость, но жара и качающийся вагон сделали свое дело.

Вдруг поезд резко затормозил. Из-под колес вырвались фонтаны искр. Внезапный толчок бросил братьев друг на друга. Бутылка разбилась о рельсы. Они посмотрели на

черное небо — ни луны, ни звезд. Поезд дернулся, заскрежетал и снова покатился, набирая скорость. Братья сплюнули, поднялись и вошли в вагон. Прошли мимо кондуктора. Тот спал, освещая себе лицо электрическим фонариком. Дальше в поезде никого не было.

Неожиданным рывком портного отбросило на противоположную лавку. Пока он потирал ушибленный локоть, произошло нечто худшее. Швейная машинка с грохотом обрушилась прямо на старичка у окна. Портной со стоном упал на колени, осторожно отстегнул замки, поднял крышку и облегченно вздохнул. С машинкой вроде бы ничего не случилось. Закрыв крышку, он старательно запер оба замка. Затем посмотрел на старичка. Кепка сдвинулась на затылок. Висок пересекала глубокая рана. Воздетые кверху глаза неподвижно уставились в потолок. Портной печально опустил голову. Для старичка, похоже, все заботы остались в прошлом. А его ожидало следствие, допросы. Швейную машинку наверняка конфискуют. Он осторожно тронул старичка за плечо. Рука бессильно упала. Он приоткрыл дверь, выглянул в темный пустой тамбур. Перекрестился и открыл окно. Поля, окутанные тишиной, спали. Кряхтя от усилий, пропихивал он непослушное тело. По его лицу скользнула тонкая, как прутик, ледяная рука. Когда, закончив свое дело, портной рухнул на лавку, на него напал приступ удушья. Воздух хрипел и свистел в перетруженных легких. Наклонившись, он поднял с пола кепку, почти не ношенную, сшитую из хорошей, восьмидесятипроцентной шерсти, на сатиновой подкладке. Покрутил ее в руках и бросил во тьму.

Когда братья добрались до своего вагона, там сидел только тощий человечек, стискивавший между коленями небольшой чемодан. И смотрел на них испуганными глазками.

— А где папаша? — спросил старший.

— Тот человек, что сидел напротив, вышел на предыдущей станции, — быстро ответил человечек и заискивающе улыбнулся.

Братья одинаково разинули рты. Младший, забыв, что бутылка разбилась, стал ощупывать свои карманы. Старший снял кепку и долго почесывал в затылке.

— Ну и отец, просто дьявол, — сказал он наконец.

Паровоз засвистел. Поезд замедлил ход и остановился. Из темноты снова возникли коровы. Покрытые потом и пылью, они понуро брели по дороге через переезд. Сотни коров.

— В жизни не видел столько коров, — заметил младший.

— Это первый секретарь проводит секретную инспекцию воеводства. По телевидению каждый день его показывают в разных деревнях на фоне этих самых коров. А стадо перегоняют по ночам, поэтому все дороги перекрывают, — пояснил портной.

Ветер ударил в стекло мелкими каплями дождя. Начинался ливень.

В Ист-Виллидж

Когда идешь по Третьей авеню вниз по Манхэттену, где-то, приблизительно с Четырнадцатой улицы, общая картина начинает постепенно портиться. Сперва на стройные здания крупных корпораций начинают напирать подозрительные домишки, покрытые, как лишаем, пятнами осыпающейся штукатурки. Затем между соборами, банками и салонами моды уже совсем нахально вылезают погребальные конторы и лавки со старьем. А дальше уже начинается лабиринт из ларьков с жареной рыбой, от запаха которых не продохнуть, дешевых кинотеатров и магазинов со сладостями, где легче купить кокаин, чем леденцы. С приземистыми мечетями соседствуют едва замаскированные публичные дома. В раскрытых окнах салончиков с линялыми занавесками тощие гадалки пытаются с помощью карт перехитрить звезды, а перед входом в ночлежку можно купить картину, револьвер или сигареты поштучно.

Все это выглядит так, будто кто-то провел по Манхэттену губкой, собрал все постыдное и уродливое и отжал собранное над этим городским прямоугольничком, носящим название Ист-Виллидж.

Тротуары здесь запружены толпой, но ёе движение не имеет ничего общего с деловитостью Верхнего Манхэттена или ожесточенной суетой на Уолл-стрит. На кривых, будто спроектированных пьяным архитектором улочках царит угнетающая атмосфера, как после несданного экзамена. Старики украинцы покорно сидят на деревянных скамейках, сверяя время по уличным часам, которые все показывают по-разному. Бледные девицы зазывно выпячивают подкрашенные груди перед апатичными торговцами крэком. А возле ксероксов безропотно выстраивается очередь обдрипанных писателей. У многих из них потеют руки, что типично для туберкулезников, стукачей, артистов-неудачников и новоиспеченных эмигрантов. Время от времени разражается скандал. Прохожие, как бы беря реванш за свою прежнюю сонливость, набрасываются друг на друга. Но в их ожесточенности есть какая-то искусственность. И уже спустя мгновение все возвращается в норму. Разносчики пиццы продолжают свой путь, а трансвеститы любезно обмениваются шприцами.

Сквозь эту толпу, движущуюся, подобно рыбам, неспешно и без конкретной цели, проталкивались двое мужчин. Младший из них, не старше двадцати лет, нес в жилистых руках ведра с разведенной белой краской. Старший прижимал к груди банки с клеем, гипс и малярные валики на палках. Несмотря на жару, на головах у них были плотные шапочки, а из карманов засаленных брюк торчали тома произведений Диккенса в твердом переплете.

Оба они были родом из паршивого городишки в Жешовском воеводстве, долгие годы отказывали себе во всем, чтобы накопить на дорогу сюда, и вот теперь их пьянил и воодушевлял блеск чужого успеха. С уважением поглядывали они на темнокожих проституток, нежащихся на солнце, и старых евреек в париках, потягивающих через соломинку французскую минеральную воду.

Они миновали корейские ларьки и рестораны гомосексуалистов. Из бара «У Вандочки» донесся мужской голос, весело запевший: «Марш, марш, Полония, марш, славный народ...»[1]. Они переглянулись, но сумели себя превозмочь и свернули в подъезд. Кряхтя взобрались на пятый этаж. Открыли дверь и окинули помещение профессиональным взглядом.

Квартира, которую им предстояло ремонтировать, не имела ничего общего с типичной для Ист-Виллидж анфиладной планировкой, позволяющей прямо с лестничной площадки пристрелить обитателя квартиры, выглядывающего из окна последней комнаты. Покрившаяся от сырости дверь вела из кухни в большую living room[2]. Дальше были две отдельные комнаты. Их зарешеченные из-за страха перед ворами окна выходили на расположенную всего в нескольких шагах стену соседнего дома. Здесь было темно, холодно и приятно. Прежний жилец все подготовил. Он повыворачивал лампочки и убрал мебель. На покоробившемся полу в living room стоял только ободранный шкаф. За его сбитыми из реек раздвижными дверцами обнаружились сломанный подсвечник, три штуки пластиковых плечиков и банка из-под пива.

Чтобы использовать остатки дневного освещения, они сразу же принялись за работу. Старший, по прозвищу Головастик, аккуратно оторвал обложки от «Оливера Твиста», заложил ими две самые большие дыры в стенах, посадив их на клей, и зашпаклевал. Когда они уже достаточно подсохли, Гжесь покрыл их белой краской.

Из кухни они перешли в living room. Разбросали по полу газеты и прикрыли ими сверху шкаф. Работали быстро и весело. Они только что приехали в Америку, и сразу же им улыбнулось счастье. В шестиместной комнате в Грин-Пойнт освободились два спальных матраца, в самом лучшем, теплом углу возле батареи отопления. На другой же день им предложили работу на демонтаже асбестовых перекрытий, к которой никто особенно не рвался, потому что, по мнению врачей, асбест вызывает рак. Но, как бы то ни было, платили за эту работу столько, что они вскоре почувствовали себя обеспеченными людьми, даже послали немного долларов семьям. Правда, в последнее время в Нью-Йорке

---

[1] Польская патриотическая песня XIX века. (*Здесь и далее — прим. перев.*)
[2] Гостиная (*англ.*).

наступил экономический спад и демонтировать асбест перестали, но и на ремонте квартир, если ты не приехал отсыпаться или бить баклуши, можно было тоже прилично заработать.

Они дважды прокрыли living room и только тогда устроили первый перерыв. Головастик напился воды из-под крана, а Гжесь достал из кармана глянцевую пачку «Мальборо». Он погладил ее, осторожно сорвал целлофан и щелкнул по ней снизу. Из пачки послушно выскочила сигарета. Гжесь улыбнулся, закурил и стал расточительно затягиваться раз за разом. Не дожидаясь, пока окурок будет жечь ему пальцы, он спокойно бросил его на пол. И только тогда пошел осмотреть комнату слева, ту, что поменьше. Заглянул в нее и сразу же позвал приятеля.

Головастик подошел, сплюнул и перекрестился. Поднял опрокинутый на пол складной стул и сел.

В углу комнаты качался на веревке солидный мужчина в начищенных коричневых ботинках.

— Интересно, как он туда влез? — спросил Гжесь и сел на батарею.

— Влез, и все, — проворчал Головастик. — До чего же народ обнаглел. Даже дети в школах совсем перестали учиться. Интересно, что из них вырастет.

— Думаешь, это кто-то из наших?

— Из наших? — Головастик усмехнулся. — Ты посмотри, какое у него узкое лицо, да и брюки в клетку. И потом, наши в Нью-Йорке не вешаются.

Гжесь сплюнул и поднялся.

— Так что будем делать?

— А что нам делать? Надо спуститься вниз и позвонить заказчику. А из-за того, что мы работу не закончили, ничего нам не заплатят.

Он с обидой посмотрел на окутанное мраком посиневшее лицо висящего.

— Пусть бы еще был человек из простых, а то ведь в костюме, при галстуке... Мы тут жилы себе рвем... — Он переплел пальцы и захрустел суставами.

— Погоди, погоди, не пори горячку. Дай подумать, — пробормотал Гжесь.

Какое-то время они сидели молча. Напротив, в узком, как бойница, окошке, загорелся свет. Волосатая рука повесила на веревку мужское белье и тряпку. И свет тут же снова погас.

— А что, если так, — в раздумье проговорил Гжесь, — аккуратно его снять, перенести в living room, прокрыть комнату, а потом обратно повесить. Любой подумает, что он нормально вошел и повесился уже после покраски.

— Покойника хочешь трогать, — возмутился Головастик. — А ты знаешь, какая здесь у них полиция? Приедут на двух машинах, с компьютером и сразу обнаружат, что к нему прикасались. А нас потом поймают и посадят.

— Тогда почему не завернуть его, как висит, не прикасаясь, в газеты, чтобы не обрызгать? А потом откроем, и готово. Если не хочешь, можешь вообще до него не дотрагиваться. Начинай красить от окна, а я выскочу за свежими газетами. Ну так как?

Головастик повеселел и одобрительно покивал огромной головой, сидящей на тоненькой шее. Он встал и начал размешивать краску.

На улице Гжесь копался в металлических мусорных контейнерах. Он ловко отгреб в сторону пустые банки, выброшенные книги и пластиковые бутыли из-под кока-колы. Набрав пачку газет, он выпрямился. Посмотрел на витрины магазинов, мигающие рекламы и шумно, алчно втянул в себя воздух.

Вечера в Ист-Виллидж проходят более активно, чем дни, и потому толпа на тротуарах сгустилась. Пахнущие пивом испанские проститутки заговаривали с перепуганными туристами из Токио. Плоскогрудые секретарши с Уолл-стрит, борясь с безысходным нью-йоркским одиночеством, усаживались на табуреты у стоек баров. А по Первой авеню тянулась вереница черных и белых лимузинов с шоферами в ливреях. Все они ехали к кафе «Веньерос», где уже сто пятьдесят лет выпекают булочки с клубникой — любимое лакомство мафии.

Поле Горшечника

Директор, как каждый разумный человек, вывернул наизнанку карманы пальто, чтобы не искушать тех, кто подрабатывает, обкрадывая спящих, и только потом удобно вытянул на скамейке свое большое тело. Между тем ночью подморозило, и аллейки парка заискрились инеем. Рано утром, когда баптисты привезли кофе и бутерброды с тунцом, спавший по соседству с Директором Блошка, который страдал алкогольной эпилепсией и был известен как человек с добрым сердцем, несколько раз потряс Директора за плечо, но тот не шевельнулся.

Блошка присел рядом с ним, выпил кофе и перекрестился. Потом закрыл остекленелые голубые глаза Директора и задумался.

В этот момент налетел ветер с океана. Он согнал холодный туман с центральной клумбы. Потом завернул в польскую аллею, поиграл немного седыми прядями на голове Директора и нехотя потащился к верхней части города.

И тут же из небоскреба на авеню Б высыпала группка молодых клерков с Уолл-стрит и углубилась в шахматную доску парковых аллей. Щелкая портфелями и размышляя о вещах, недоступных для других, они направлялись к станции подземки «Сент-Марк-плейс». За ними, шатаясь от недосыпа и покачивая подкрашенными грудями, через парк прошли три сестры — проститутки, работающие в борделе на Одиннадцатой улице. У входа в парк богач Пиявка искоса заглядывал в окна своих четырех домов, выходящих на парк. Он надеялся, что высмотрит какое-нибудь нарушение, за что квартиранта можно вышвырнуть или хотя бы повысить плату.

А между тем на скамейках, постанывая и дрожа, осторожно выходили из сна все новые люди.

Через две скамейки от Директора, зевая и почесываясь, Гжесь укладывал на дно железного ведра обломки деревянного ящика. Снизу он подсунул газету и поджег. Синеватые огоньки охватили бумагу, лизнули дерево, и пламя ударило вверх. Гжесь с облегчением распрямил опухшее тело, неровно сидящее на коротких ногах. Он глянул на свисающие со скамейки ноги Директора.

— Вот это был мужик, — произнес он с уважением.

— Он был еще больше, — проворчал Блошка. — Но как-то раз полез он ночью в ту часть парка, где спят украинцы. А там ему ребра поломали, и он стал короче почти на голову.

Блошка прогревал над огнем тощенькое, искривленное тело. В Польше он окончил садоводческий техникум. Как любой, мечтал поехать в Америку и добился своего.

Над парком пролетел сверкающий «боинг» компании «Американ эрлайнз». Все задрали головы и смотрели на небо. В этой части Манхэттена оно было какое-то драное, жалкое, с отвратительными полосками линялых туч. Самолет описал дугу и полетел в сторону аэропорта Кеннеди.

— Так что теперь будет? — тихо спросил Блошка.

Гжесь глянул на него, пожал плечами и скрипуче рассмеялся.

— У него же нет документов. — Блошка с грустью смотрел на огонь. — Если его найдет полиция, то вывезут на Харт-Айленд и закопают на Поттерс-Филд. Это территория тюрьмы. И никто никогда его не навестит. Там на могилах ничего не пишут. И найти его будет невозможно.

— А кто станет искать? — Гжесь подбросил в огонь влажную тряпку и скрылся на время в клубах горького, густого дыма.

— Там же хоронят без отпевания, в неосвященной земле, — продолжал хныкать Блошка.

Гжесь сплюнул в огонь и прикрыл глаза.

По аллейке, держась за руки, парами прошла вереница детей. Шапочки у них были надвинуты на глаза. Над шарфиками торчали белые носы и пылающие щеки. За ними с достоинством шагала молоденькая учительница. Дети свернули в огороженный садик и с криком, всполошив голубей, разбежались между качелями.

— Мы его закопаем в боковой клумбе у ограды. Ночью туда никто не ходит. А весной можно будет посадить фрезии. Фиолетовые, белые и желтые. Только из семян фрезии плохо прорастают. Придется нам доставать рассаду.

— Никаких «придется нам», — отрезал Гжесь, скривившись. — Ты мне не компания. Тебе-то всегда везет, из чего угодно выкрутишься, а меня депортируют.

Блошка задумчиво почесал впалую щеку. Что правда, то правда, ему не приходится жаловаться. Он был такой легкий, что даже когда в припадке падучей его било об землю, это ни разу не причинило ему серьезного вреда. В свои тридцать лет он был настолько потрепанным, что выглядел на пятьдесят. Благодаря этому в прошлом году его приняли, не проверяя документов, в самый лучший на Манхэттене приют для бездомных, где почти не насилуют, не впускают с оружием в руках и принимают только тех, кому за сорок. Там он укрывался всю прошлую зиму, пока кто-то из зависти не донес на него.

Он посмотрел на распростертое на скамейке тело и произнес, покачав головой:

— Не заслужил он, чтобы его закапывали в общей могиле на Поттерс-Филд. Культурный был человек. Мыл руки, а потом еще обжигал их над огнем.

— Может, он был голубой, — Гжесь раскурил самокрутку, затянулся и закашлялся. — Педики часто попадают в жуткие ситуации, а все из-за того, что грязью брезгают.

— Какой еще голубой, — Блошка вытянул из кармана остатки сандвича и аккуратно разложил на скамейке. — Он в Польше дома строил. Когда приехал сюда — все имел. Жену, компаньона, «кадиллак»... Ел каждый день так, как ни один американец по праздникам не ест.

Он размахнулся и стал широко разбрасывать крошки. Белки молчаливой цепью приблизились к скамейке.

— Интересно, что тогда делал он здесь, в парке? — усмехаясь заметил Гжесь. Он швырнул окурком в жирную крысу, которая протискивалась между белками.

— Компаньон его предал, обманул, постепенно все у него отнял.

Блошка умолк, пару раз сглотнул слюну, по его телу пробежала дрожь. Он сунул руку в карман и достал смятый доллар.

— Добавь, — он глянул на Гжеся, — будет на пиво, большой «Миллер».

— Ни цента нет, — соврал Гжесь и отвел взгляд.

У него была жена, сын, который не мог ходить, и скверный характер. Он, как гиена, бродил с пластиковым стаканом, вынюхивая, не устраивает ли кто в парке вечеринку, и нахально присоединялся.

Гжесь нелегально ремонтировал квартиры по шестнадцать часов в день и прилично зарабатывал. Но за пропитанием ходил по церквям, ни разу никому бутылки не поставил и уже шесть лет не ночевал под крышей, а все, что зарабатывал, посылал семье за океан. От своего жмотства он распух, рожа стала красная, а под глазами висели синие мешки. Когда-то в Польше его посадили за политику, и тюрьма попортила ему характер.

Правая рука Директора ударилась о землю.

Блошка встал и подошел к скамейке. Долго возился с телом, но повернуть Директора лицом к спинке так и не удалось. Блошка снял у него с головы линялую лыжную шапку, прикрыл ему ею глаза и отправился в магазин, где косоглазая испанка продавала самое дешевое пиво.

Гжесь посмотрел на руки Директора. Потом на свои. Шевельнул левой, вынул из кармана правую. Какое-то время сгибал и старательно разгибал пальцы.

Между тем сквозь щели в тучах пробилось солнце. Три слюнявых дворняжки начали гоняться за передвигающимися по траве пятнами тепла. Торговцы крэком, сидящие на спинках скамеек, задрали к небу темные лица, а в украинской аллее мужчины стали доставать из-под пальто шахматные доски.

Блошка вернулся с литровой бутылкой. Разлил в пластиковые стаканы. По первой и по второй выпили быстро. Потом пили уже медленнее, смакуя, отпивали по глотку.

Напротив Директора села на скамейку крохотная китаянка. Она размеренно качала коляску, в которой заходился в плаче ребенок нескольких месяцев от роду. Женщина задумчиво смотрела на него. На ее плоском лице светились добрые черные глаза.

— Ну и что тут такого — лежать на Поттерс-Филд, — заметил Гжесь. — Я туда ездил, смотрел, вполне приличное место.

— Как же, ездил, — проворчал Блошка. — Там же тюрьма, никого не впускают.

Они выпили еще по нескольку глотков, их лица просветлели, руки перестали дрожать.

— На самом острове не был. Но до парома доехал. Нужно ехать с Манхэттена, автобусом через Бронкс, выходишь на Лонг-Айленд-Сити, немного идешь, проходишь рыбный ресторан, поле для гольфа и сворачиваешь налево. За причалом для яхт и есть тот самый мол, трое копов и собака, рыжая... дворняга. Туда свозят гробы со всего Нью-Йорка и ставят в рядок. На каждом есть свой номер. Когда набирается побольше, приплывают зэки, забирают гробы на остров и аккуратненько закапывают на том самом поле. Спокойное место, вокруг вода и много птиц.

— А тебе известно, на чьи деньги было куплено это поле? — спросил Блошка.

— Да мне-то какое дело, на чьи?

— На Иудины деньги, — Блошка наклонился к нему. — На кровавые деньги, на сребреники.

— А какое отношение имеет к этому Иуда? — Гжесь подставил пустой стакан.

Блошка налил, потом крутанул бутылку и остаток вылил себе в горло. Бутылку бросил в остывшее ведро.

— Ведь ты католик, а не знаешь. А такое отношение, что, когда Иуда предал Христа, его, как любого человека, совесть стала мучить и он начал раскаиваться. Вернулся в храм, чтобы отдать первосвященникам тридцать сребреников, а они уже не захотели брать их обратно, потому что на них была кровь Иисусова. Так и не знали они, что делать, пока одному из них не пришло в голову купить на эти деньги поле, чтобы хоронить на нем чужеземцев. А один горшечник согласился продать. Поттерс-Филд — это и есть Поле Горшечника, ты ж знаешь английский.

— А-а-а, — Гжесь скривился. — Если даже и так, ведь то поле в Израиле. А тут Нью-Йорк.

— А почему его назвали Поле Горшечника? Да ты пойми, это же всегда одно и то же поле. Для уголовников, безымянных бродяг, отбросов...

— Для чужеземцев, — поправил Гжесь. — Сам же сказал, что для чужеземцев.

— Это одно и то же. — Блошка поковырял каблуком землю. — Земля еще не очень промерзла. Мы бы смогли, развели бы костер...

— Какая разница, где лежать, — задумчиво заметил Гжесь.

— Какая разница? На Поттерс-Филд уже все переполнено. Хоронят в пять слоев. Здесь город самых высоких домов и самых глубоких могил. Вот положат тебя на самый низ, а над тобой будут гнить четверо уголовников.

— Отстань, — проворчал Гжесь. — Я вернусь в Польшу. Еще с полгода поработаю, самое большее год. Еще немного денег подкоплю и вернусь. Меня семья ждет.

Блошка махнул рукой, сплюнул и не ответил. С минуту они сидели молча.

— Его собаки разнюхают, — произнес наконец Гжесь. — Если нам даже и удастся, все равно его раскопают.

— Через пластик не учуют. Нужно только как следует завернуть в мешки.

Стая голубей с шумом взлетела, описала круг в воздухе и опустилась на землю.

Гжесь глянул на Директора и обнажил в усмешке выщербленный ряд желтых зубов:

— Но вообще-то если Иуда и вправду вернул те деньги, значит, человек он был нестойкий. Сегодня на Манхэттене ему бы не пробиться.

Китаянка раскрыла пальто и достала грудь, полную молока. Вынула из коляски орущего малыша в голубых рейтузах и шапочке с розовым помпоном. Сунула ему в рот сосок. Ребенок перестал плакать, радостно забулькал и начал сосать.

— Ну так как? — спросил Блошка.

Квадратура круга

Один талантливый писатель из Восточной Европы недавно пожаловался мне, что тоталитаризм уничтожил его дважды. Сначала посадив его в тюрьму и вынудив эмигрировать, а затем рухнув в тот момент, когда писатель завершил роман, посвященный глубокому анализу тоталитаризма. И, естественно, в связи с *гласностью* и *перестройкой*, Вацлавом Гавелом и Берлинской стеной, все издательства его книгу — хоть и превосходную, но совершенно неактуальную — отвергли.

— Дело уже не в деньгах, но о чем мне, собственно, теперь писать? О разводе Дональда Трампа? — И писатель мрачно задумался.

Все это кажется забавным, но не для всех. Я все отчетливее сознаю, что это великолепное землетрясение, которое произошло на Востоке, ставит меня, как писателя-эмигранта, в несколько деликатную ситуацию.

В самом деле, я уехал из Польши не ради обогащения, а в связи с введением военного положения генералом Ярузельским. Очень богатым я не стал, военного положения нет и в помине, генерал Ярузельский превратился в либерала, так чего я, собственно, жду?

Люди, которые несколько лет тому назад на страницах польской прессы волновались из-за того, что я прислуживаю империалистам, теперь лихорадочно организуют частные предприятия и если и волнуются, то только из-за того, что их фирмы не фигурируют в биржевых индексах Уолл-стрит. Мою запрещенную цензурой книгу «Мощь рушится» печатает в отрывках газета «Литература», и скоро она выйдет в издательстве «Чительник». Польское телевидение вместо выступлений министра внутренних дел показывает мессы вперемешку с сериалом «Полицейские из Майами». Офицеры службы безопасности кидаются на шею прохожим, моля о прощении, а из их карманов скромно торчат Библии.

Польская объединенная рабочая партия самораспустилась, и для придания этому факту особой торжественности делегаты последнего съезда спели «Интернационал», а я сижу в Нью-Йорке и даже не могу их спросить, что они имели в виду, когда пели: «Вставай, проклятьем заклейменный» и «Это есть наш последний».

В довершение всего «Замарашка», моя пьеса о девчонках, которые в колонии для малолетних преступниц ставят сказку о Золушке, задуманная мной как метафора тоталитаризма, сейчас поставлена в шестнадцати театрах СССР. Более того, я был приглашен на премьеру. И поехал[1].

Тогда в чем же дело? Может быть, в том, что у меня уже нет квартиры в Варшаве... но, честно говоря, здесь у меня ее тоже нет.

А может быть, я уже не смогу жить без открытых всю ночь корейских фруктовых магазинов? Или настолько свыкся со своим хромающим английским, что мой утонченный польский перестал доставлять мне радость? Может, мне жаль тех восьми лет, в течение которых я всеми силами старался отвыкнуть от Польши и привыкнуть к Америке, отвыкнуть от цензуры политической и привыкнуть к коммерческой? А теперь, когда у меня вроде начало что-то налаживаться здесь, возвращаться обратно?

К тому же политическую цензуру в Польше ликвидировали, а коммерческую еще не ввели.

А может, нет мне места уже нигде, и я завис где-то посередине?

А может, я теперь не могу жить без Бродвея? Но, честно говоря, пьесы Артура Миллера или Теннесси Уильямса сейчас легче посмотреть в Москве, чем в Нью-Йорке.

Несколько недель тому назад я смотрел в Москве «Замарашку». Представление началось с того, что на сцену вышел мужчина с фотоаппаратом и стал снимать публику. В Москве подобное увлечение фотографией ассоциируется не с туристами из Токио, а

---

[1] Премьера состоялась в 1988 году в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. В 1989 году в связи с постановкой пьесы (под названием «Подонки») в Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина Я. Гловацкий приезжал в Москву.

с КГБ. Мне замысел режиссера показался интересным, и я рассмеялся. Только я один. Зрители начали удивленно на меня поглядывать. Наконец я услышал: «Это иностранец».

Люди с пониманием покивали головами и перестали обращать на меня внимание, а у меня пропала охота смеяться.

«Замарашку» я написал как кафкианскую комедию, одновременно и смешную, и страшную. Но Кафка долгие годы был в СССР запрещен, как писатель чересчур реалистический.

В Москве уже введена многопартийная система, но, похоже, пока еще рано рассчитывать на то, что тюрьмы и КГБ будут вызывать смех у российской публики.

Недавно пришла мне в голову крамольная мысль, что, возможно, я и не должен иметь своего места, а просто жить себе — немного здесь, немного там, но я тут же устыдился ее. Подобные мысли может себе позволить только гражданин какой-нибудь элегантной страны, например француз. А поляку, которого уже почти двести лет бьют и подвергают насилию, так думать не пристало.

Не буду скрывать, мне очень приятно, что именно моя скромная страна первой низвергла коммунизм, вот только я в то время был очень далеко.

Не могу сказать, что в Нью-Йорке меня носят на руках или силой удерживают... может, именно из-за этого я и решил непременно здесь остаться. Из непомерного тщеславия или непомерного мазохизма.

Но так или иначе я здесь привык. Усыновил бездомного кота и поставил защитные решетки на окнах. И гляжу через них на своего привратника, скрюченного ревматизмом эмигранта с Мальты, который всегда во время дождя задирает голову вверх, радостно улыбаясь.

Как-то я спросил его, почему он так любит дождь. Он ответил, что ненавидит его, потому что от дождя у него распухают ноги. А на Мальте он годами ожидал, чтобы с неба упала хоть капля, но так и не дождался. Земля оскудела, он тоже, и ему пришлось эмигрировать. Он выбрал Нью-Йорк, потому что здесь дождь идет круглый год.

После моего возвращения из России не оставляет меня простенькая мелодия из спектакля «Замарашка» в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Там зрительный зал был отделен от сцены железной решеткой. Девочки из исправительной колонии дергали решетку, пытались ее преодолеть, выломать. При этом они пели очень милую песню о слепой любви к Америке и о своей несбыточной мечте когда-нибудь там оказаться. В зале все плакали. Кроме меня. Песню написал не я. Сделал это российский поэт. Но зато я в Америку убежал. Даже написал про это пьесу. Это тоже трагикомедия, и называется она «Охота на тараканов». В ней рассказывается о двух польских эмигрантах, муже и жене, которые проводят бессонную ночь в жалкой квартирке в Нижнем Манхэттене, окруженные тараканами.

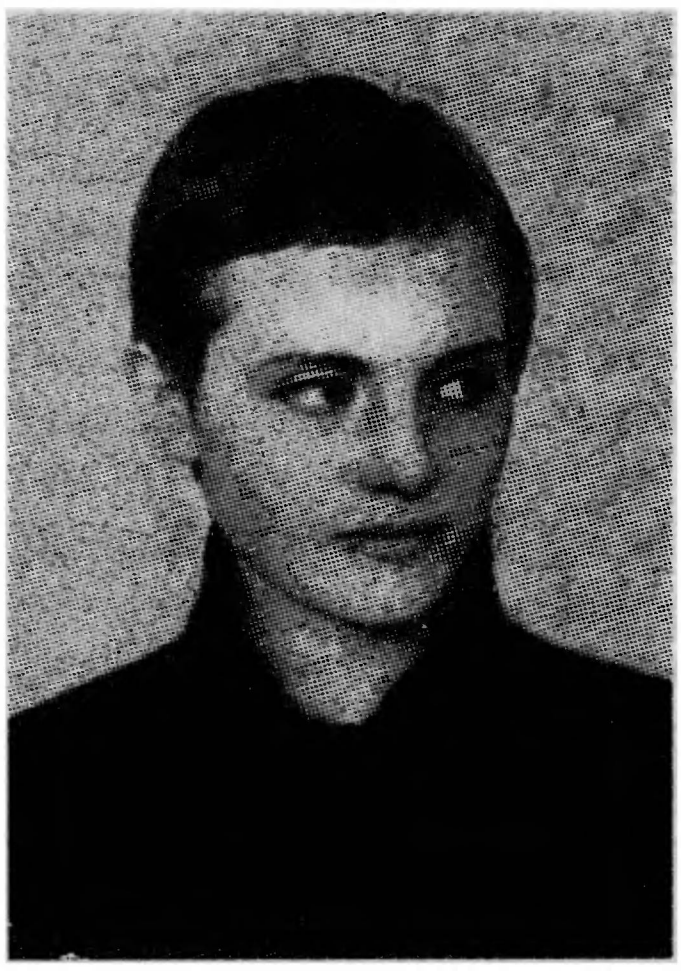
Два года тому назад в Польше «Тараканов» поставить не удалось, поскольку цензоры сочли, что пьеса антипольская. Я не удивлюсь, если сегодня «Тараканы» вызовут гнев бывших цензоров, как пьеса до отвращения антиамериканская.

Когда я вернулся из Москвы, в Нью-Йорке шел дождь. Входя в дом с чемоданами в руках, я столкнулся с улыбающимся привратником. Мы обменялись рукопожатием. Его рука показалась мне еще более опухшей, чем за месяц до этого. Почему этот человек не возвращается на Мальту? Мог бы избавиться от ревматизма. Он работал в Америке тридцать лет. На американскую пенсию смог бы прожить в роскоши еще тридцать.

— Почему бы вам не вернуться? — спросил я его.

— Я подумывал об этом, — он махнул рукой, — но там дождь вообще не идет.

■



АУРА КРИСТИ

Колыбельная

ПОЭМА

Перевод с румынского и вступление К. КОВАЛЬДЖИ

Ум и рана

Осенью 1995 года я участвовал в коллоквиуме переводчиков румынской литературы, проводимом Министерством культуры Румынии. Как-то рядом со мной оказался в автобусе Ян Бос, милейший голландец, он читал в газете стихи и вслух не переставал удивляться:

— Вот это поэт!

Так я впервые услышал имя Ауры Кристи и прочитал ее стихотворение «Колыбельная», поразившее меня своим темпераментом и необычным лиризмом: какой-то горячечный монолог, вихрь образов и ассоциаций, сплетение уязвленного интеллектуализма молодой женщины с извечным трагическим романтизмом первой любви. Новое поколение в перенасыщенном информационном поле современной культуры — и растерянность, неискушенность. Нечто небывалое и в то же время — как всегда... Гордость и рутина чувств, изощренный ум и свежая рана.

И собственный голос, новизна поэтического выражения, дерзость — словно перед нами непосредственный эмоциональный взрыв, спонтанный текст, не ведающий никаких стихотворных норм и правил. Думаю, это писалось взахлеб и читаться должно взахлеб — на горячей волне, не останавливаясь ради тщетных поисков логики в плотном нагромождении метафор. Вспоминается Ницше, сказавший, что из туманности рождается танцующая звезда. И действительно, после ряда как бы пробормативаемых нервических наслоений вдруг вырываются сильные ясные строки — они еще сильней и удивительней на фоне яростной невнятицы, — не стану их цитировать и выделять, чтобы не испортить впечатления от непосредственного чтения.

Мне захотелось представить Ауру Кристи русскому читателю именно этим стихотворением, потому что мы в современной поэзии ощущаем острый дефицит любовной лирики вообще, а тем более такой вызывающей и обжигающей. И обновляющей наше устоявшееся, сытое, притупившееся литературное восприятие.

© К.Ковальджи. Перевод, вступление, 1998

Спи. Черной травой бессонниц,
сладким клубком рептилий, спешащих к насиженному яйцу
сновидений, приходят несмышленые ягнята памятных дней
из жизни моей взбалмошной, строгой, поддерживаемой
на тугих шинах высокого давления
чашками кофе и транквилизаторами.
Империя неизбежных деградаций, сгоряча трактуемых как преступление,
что рапидом вертится в черепе; Империя
Полного Падения — грызут ее влюбленные древоточцы, рассыпанные
возбуждающе чуждой рукой с молчаливыми соцветьями липы,
с семенами Чистоты обезглавленной, просящей прощения
в неизреченной агонии; эта Империя
кровосмесительных чар принадлежит мне.
Я Хозяйка ее, устрашенная своим великим призваньем Хозяйки,
этим рвущимся горным потоком, напичканным успокоительными,
что опустошают мне внутренности, гасят жертвенные порывы,
пусть даже мелкие, зряшные. Я — опороченная, попранная Королева.
И, подумать только, все началось с ласки эротического клептомана
на стоянке, набитой гнусными, провоцирующими запахами.

Спи, возлюбленный дней моих памятных. Не слушай меня
в приделах вечерни. Свернись во мне клубком. Я буду охранять
твое трудное, опасное вступление в сон. Дразнящий храп.
Смятение. Муку, хмельную от счастья. Буду стоять как вкопанная
на зыбкой почве, полной капканов, неуловимо
отделяющей сон от смерти. Жарко, и какая тьма растет
над нашими телами, соучастниками инстинкта, островами возмездья,
ускользающими из нашего поля зрения. Спи. Когда ты меня любишь —
я себе желаю не жить. Выскользнуть в смерть прямиком из любви.
О, непостижимая жизнь, уничтожаемая ради другой, сокрытой,
враждебной, потусторонней, откуда разве что кондор на крыльях распластанных
меня олененком прохладным в твой сон принесет. Во дни
избранные я ноги тебе омою, власы отращу, чтоб служили
тебе полотенцем. И будет хорошо. И да будет свет.

Нет. Жизнь сквозь розовые очки на воинственно вздернутом носике
я вам оставляю, девушки; оставляю вашим длинным ногам,
тонким тростинкам, изнеженным тенью помыслов;
вашим грудям беззащитным, словно младенцы, тоскующим
по теплу. Любите. Творите иные любови, подкошенные
одиночеством. Женщины. Мужчины. Женщины. Мужчины мертворожденные
и неприспособленные быть свободными в грозном, отчаянном свете.
Спи, любимый. Усни. И забудь, что я тебе говорю.
Если б мы были мудры и все понимали, мы бы убили друг
друга. Я люблю тебя, ты — кого-то другого, все время другого.
Увы, знаем мы, что и как в элегии синих подглазий старости.
Спи, возлюбленный моих ночей, необъятных как мир, ночей, бьющихся
головой
о холодные стены спальни со ставнями, опущенными, словно сонное веко
покойника. Сладостные червячки
одиночества подбираются ко мне, проникая в каждый
квадратный сантиметр души — как медленная игла
в зеницу широко раскрытого ока; как прокаженные,
до бесчувствия излюбившие друг друга в тесноте безмятежной
райского сада.

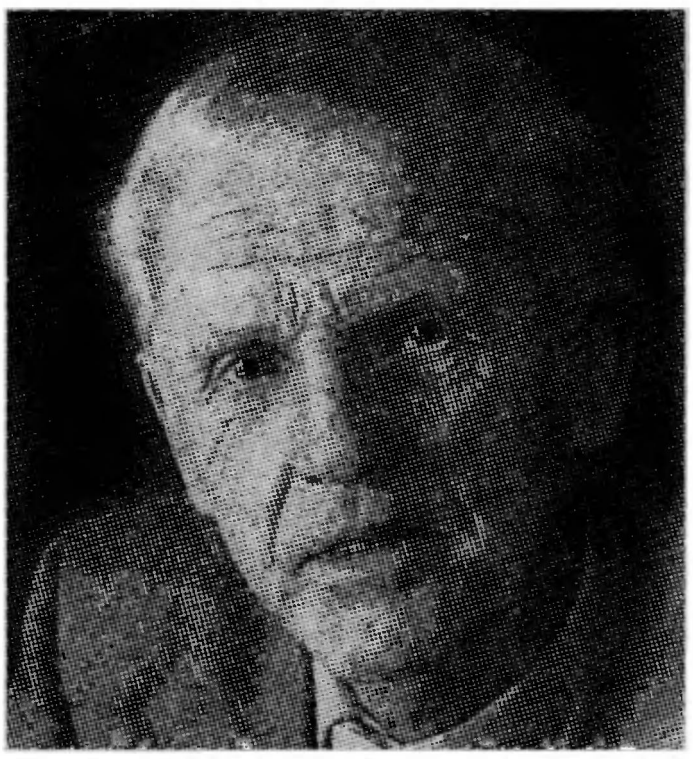
Со спокойным, невозмутимым отчаянием, мечась в преддверии конца,
возвращаюсь к отринутому началу. Моя гордыня —

брошенный оловянный солдатик, игрушка в руках богов, —
вкушает сполна бенефис моей неудачи.
Да, начало Вещее, невыносимо глубокое, как матка
пятнадцатилетней пигалицы. Жила-была девушка. И как книга
раскрытая, упала под солнцем в грязь. В древних печах молчания
дозревали слова. Жизнь ее вышла из времени, подобно косточке
из плоти раздавленного миндаля. Она, отроковица зеленая, чувственная,
гуляла по разрозненным кущам реальности, пытаясь понять —
может ли полюбивший мечту смеяться
над собой. Быть с тобой — это музыкальное безумие, в коем
не умещается рыдание. Любила. Ушла в себя, как корабль,
блуждающий слепо в сумерках моря. Она придумывала
среди пирамид взгромоздившихся книг
великую страсть — благородных мужей реликтовых лет,
для любви сотворенных. Придумывала — от катастрофической,
наверное, робости — небывалых бумажных героев.

Я каждую ночь принимала участие в похоронах, провожала
в последний путь очередную девушку, исторгнутую
из меня живой. Во мне погост. И я порой не могу
отличить мертвых от живых. Мою молодость, весь ее космос
— монастырский комплекс, опустошенный ожиданием, — мне жаль
по-собачьи.
Спи, любимый. Я самая красивая среди женщин. Запомни:
я самая красивая среди женщин. Вот так, когда мы лежим рядом,
как два неопознанных трупа в покинутом морге...
(Поздно утром отец — принося мне кофе в постель:
«Вчера вечером ты была королевой. Многие думали, что ты
моя любовница». Улыбаюсь моей невинности поздней, пресыщенной.)
Заклинанье, повторяемое с дерзкой, отчаянной ухмылкой:
я самая красивая среди женщин. А ты закрой глаза.
Спи и ты, мой вечный любовник, ты — вечный жених.
Как я тебе признательна: ты слушаешь милые пустячки,
оброненные среди толпы зареванных женщин.
Буду пажом твоим, ублажающим истерических ведьм,
что высовываются из болот одиночества.

Ты меня не забудь. Да не изменят тебя шумные рои женщин,
вьющиеся вкруг тебя, подложные, как патрон, найденный в кутье
на поминках. Обещаешь мне? Будем надеяться.
Ох, надежда — невезенье, небрежно забытое
в ящике Пандоры... Я королева Тьмы, умножая химеры прошлого,
отточенного, словно клинок из любви и ненависти, воображая
сотни мрачных преступлений, уйму высоких Метафор,
что меня порой на прогулку выводят, как породистого зверька
на привязи преданности. Я была одной из девушек.
Забудь меня. Шансов нет, лучший сын этой страны.
Приближаются дали, как долгий поцелуй смерти в самые губы.
...Аберрация воображения. Чудо, слишком поздно выкупленное
одиночеством, как палачом, в сердцевине железной яркого света.
И до спасения долгие столетия мрака,
века прегрешений, века искуплений.
Ты как черепаха движешься, Господи.
А ты закрой глаза, любимый. Спи.

И не слушай, что я тебе говорю.



ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН

Сорок лет

Повесть о жизни

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Варианты

Бог наделил мою мать способностью при любом случившемся с нею несчастье думать о том, что бывают еще более ужасные, чем уже случившееся; при переломе ноги, к примеру, думать о том, что бывает также и перелом основания черепа, а голодные годы сравнивать с куда более страшными периодами засухи, дабы всякий раз таким образом приходить к выводу: могло быть и хуже.

Поскольку она сумела дожить до восьмидесяти четырех лет, так и не поддавшись на уговоры отречься от своего метода самоуспокоения, и даже напротив: при всех своих старческих хворях считала себя счастливой, потому что до сих пор не ослепла, — я, возможно, унаследовал от нее некоторые зачатки этого свойства, так что и сам порой чувствую искушение рассмотреть описываемые далее сорок лет в умиротворяющем свете материнской теории относительности.

Всегда могло случиться нечто худшее, чем то, что случилось на самом деле. Когда, проживая в государстве Ульбрихта, я боялся утратить право на самоутверждение и самоуважение, от меня, к примеру, не так уж и далеко отстояло по времени гораздо менее свободное государство Гитлера, в котором я вообще рисковал лишиться головы. Если сравнить мою судьбу с судьбой множества моих ровесников, получится, что мне счастливо удалось избежать столкновения с целым сонмом химер, который припасли для всех нас отмеренные нам годы жизни. На мою долю не выпали ни тюрьма, ни потеря родины, как не пришлось мне и отказываться от самого себя, когда человек не только утрачивает способность к самостоятельному мышлению, но и надобности в нем более не испытывает. Готовность к компромиссу, возникшая из потребности в гармонии и доводившая меня порой чуть не до самой границы мне дозволенного, вполне могла бы увести меня и за эту границу; сознание, что я конченый человек, могло бы меня сковать, честолюбие — направить на ложный путь, нетерпимость — ограничить, а то и вовсе — даже подумать страшно — я, строя планы на будущее, мог бы прохлопать и жизнь, и любовь.

Так вот, если встать на эту точку зрения, потребность жаловаться сведется до минимума, а «промежуточный итог» жизни заслужит даже положительную оценку. Вдобавок, поскольку политическая сила, которая то и дело вторгалась в мою жизнь с командными поползновениями, по истечении сорока лет приказала долго жить, то, повторяю, если встать на эту точку зрения, есть все основания говорить о happy end.

© 1996 S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
© С. Фридлянд. Перевод, 1998

Прогулка во время битвы

События 17 июля 1953 года, пролог к которым разыгрался уже накануне, то есть 16-го, начались для меня с грохота танковой колонны по булыжной мостовой, заставили меня пройти через множество районов Берлина, сквозь все линии фронта и вечером завершились пешей прогулкой, во время которой я мог размышлять о том, что «две души живут во мне», из коих одна приняла участие в революционной активности масс, другая же была уязвлена грубыми нарушениями обычного порядка. Причем я не питал ни малейших иллюзий. Ни единой минуты я не верил в успех восстания, ибо никогда не забывал про части оккупационной армии, которые вот уже несколько лет хоть и были почти невидимы в самом Берлине, но неоднократно повсюду и в большой концентрации попадались мне на глаза во время моих велосипедных прогулок по Бранденбургу между Ратеновом и Фюрстенвальде, Люббеном и Нойруппином, как истинные хозяева этих краев.

Уже с утра пораньше их танки, прибывшие из Ютербога и Цоссена в Шёневайде, заставили содрогнуться мост через Шпрее, а рабочие из фабричных и заводских корпусов, что протянулись вдоль по берегу, встречали их свистом и угрожающе воздетыми кулаками. Не сбавляя скорости, танки проехали по Эдисонштрассе, куда я как раз недавно и ненадолго переселился, и замерли в ожидании дальнейших приказов на краю Вульхайде.

Громыхающие чудища, которые пробудили во мне недобрые воспоминания о войне, послужили первым неизгладимым впечатлением этого дня, второе же произвели на меня перемены, произошедшие в людях, которые, как и я, в урочное время ехали электричкой на работу, но по дороге они не спали, не клевали носом, не читали газету, как делали обычно, а разговаривали, смеялись, вслух рассказывали политические анекдоты, ругали плохое снабжение и обзывали партийных деятелей бонзами. Завладевший всеми бунтарский дух производил отрадное впечатление, но в то же время казался жутковатым, ибо в смехе таилась ярость, в бесшабашных разговорах — страх, а вместе с решимостью вслух высказать скрываемое до сих пор мнение снова заявляли о себе наглость, тупость и жестокость.

Институт, в который я пришел совсем недавно и потому никого еще толком не знал, являл собой даже утром того бурного дня оплот порядка и преданности делу партии. Согласно указанию Готхарда[1], события на улице никоим образом не должны были воспрепятствовать нормальному ходу работ. Впрочем, выполнить его указание не удалось, поскольку руководители окружных библиотек, прибывшие на конференцию, привезли с собой тревожное известие о том, что носителей партийных значков в вагонах первого класса подвергали оскорблениям и угрозам, что бунтовщики заполонили центральные улицы и что туда же с окраин подтягивается целое войско рабочих.

Вместо того чтобы начать конференцию, прибывшие долго дискутировали на тему, не разумнее ли и не полезнее ли для дела социализма в момент резкого обострения классовой борьбы спрятать значки в карман, дискутировали до тех пор, пока Готхард, единственный из нас, кто не возвращался домой поездом, так как ему полагалась служебная машина с водителем, не решил вопрос и за себя и за всех остальных, заявив, что уж лучше он даст разорвать себя на куски, чем на радость врагам снимет со своего лацкана символ партии рабочего класса.

Однако в результате конференция так и не состоялась, ибо шеф и парторг то и дело бегали к телефону, получали и озвучивали сообщения с мест, выслушивали указания об охране служебных помещений и под конец вынуждены были собрать партгруппу, в то время как жалкая кучка беспартийных, которой велели возвратиться на рабочие места, отправилась добывать информацию об истинном положении вещей. Они звонили друзьям, мужьям и женам, которые в свою очередь сидели в своих институтах, либо спохватывались, что и сами они находятся не на окраине и не в бомбоубежище, а, напротив, в

---

[1] Готхард — директор библиотеки, непосредственный начальник Г. де Бройна. (*Здесь и далее — прим.перев.*)

центре города, да к тому же имеют собственные глаза и уши, которые поставляют сведения более правдоподобные, нежели партийные информаторы.

Свои немногочисленные помещения институт арендовал у Государственной библиотеки, которая раньше называлась Прусской, причем арендовал он северо-западную часть здания, где Доротеенштрассе, переименованная в улицу Клары Цеткин, пересекает Шарлоттенштрассе. Из окна моего кабинета сперва открывался вид на частично уже разобранные развалины Морского музея, дальше по прямой — на Доротееншуле и «Рейнские террасы», а за ними и на вокзал Фридрихштрассе, то есть поверх того пространства, где нынче, полагая предел взгляду, высится административное здание со стоянкой для машин. Это преимущественно ничем не заполненное пространство неоднократно играло роль заднего двора для сколько-нибудь значительных акций. В дни всевозможных демонстраций здесь в боевой готовности стояли полицейские, в дни народных праздников здесь парковались машины с реквизитом. После демонстраций сюда сносили, чтобы отвезти на прежнее место, горы флагов, транспарантов и так называемых опознавательных знаков, а полевые кухни подкармливали здесь группы оголодавшей молодежи из Зуля либо Ростока. Но спонтанный, незапланированный мятеж не нуждался в подсобных площадях за декоративным фасадом, он двигался лишь по главным улицам, и, поскольку полиция тоже нигде не показывалась, этот пустырь в центре города имел сегодня вполне обычный вид.

Итак, чтобы своими глазами поглядеть на то, что начальство впоследствии окрестило фашистским путчем, мне следовало выбраться на южную сторону гигантского каре Государственной библиотеки, ту, что смотрит на Унтер ден Линден. Для сотрудников, которые находились внутри здания, знали дорогу и обладали четырехгранным ключом, известным также под названием «пушка», это предприятие не составляло никакого труда. Дорога, правда, была довольно путаная, но я ее любил и часто по ней ходил под тем либо иным предлогом. На этом пути предстояло отпереть и снова запереть множество больших и малых, стальных, деревянных и проволочных дверей. Просторные вестибюли и широкие каменные лестницы перемежались деревянными складскими подмостями и винтовыми лестницами. Однако, если человек при этом не сбивался с пути и выходил на галерею разрушенного во время войны и до сих пор не подведенного под крышу купольного зала, оттуда можно было попасть в Предметный каталог с его роскошными, твердыми фолиантами и вместе с читателями проследовать к выходу. В Почетном дворе, где на краю фонтана сидели утомленные рабочие, пришел конец ученой тишине здания в стиле нового барокко, вот только шум, издаваемый сегодня народными массами, ничуть не походил на обычный шум в дни государственных праздников. Поскольку недоставало музыки, рева громкоговорителей и рокота машин, да и скандировать толпа принималась лишь изредка, звуковая смесь из голосов и шагов казалась странно приглушенной.

А из-за того, что толпа без флагов и транспарантов двигалась не только по мостовой, но и по тротуарам и по бульвару, было трудно так, сразу, определить, кто здесь протестует, а кто просто любопытствует. Толпа медленно текла в западном направлении. Группа строительных рабочих, которая предприняла попытку ускорить темп, очень быстро вернулась к прежнему, прогулочному шагу, потому что на пересечении с Фридрихштрассе, куда надвигались демонстранты с севера, вообще образовалась пробка.

Вдобавок, так как недоставало не только организаторов, но и твердого представления о целях демонстрации, было трудно избрать определенный маршрут. На многих лицах, по-моему, читалась растерянность. Люди проделали далекий путь, дабы выразить свой гневный протест там, где им весьма часто приходилось ликовать, но нигде не было трибуны, чтобы, поднявшись на нее, выкрикнуть свое возмущение по поводу норм выработки, недостаточного снабжения и отсутствия свободы, не было и оратора, способного сформулировать и сконцентрировать народную ярость. Я, стоявший перед тройным порталом колосса вильгельмовской эпохи, хоть и ощущал этот изъян, но не чувствовал в себе ни малейшего желания самолично его устранить; слишком отчетливо я созна-

вал свою полную неспособность выступить публично, отринув все сомнения. Я надеялся, что вот-вот явится он, народный трибун и предводитель масс, одновременно у меня не шли из головы танки, которым от сосен Вульхайде до Унтер ден Линден не больше часа пути, и я вернулся к своей тишине, где в читальных залах под защитой каменных стен сидели за книгами ученые, проявляющие равное презрение как к бунтовщикам на улице, так и к тем, против кого был направлен этот бунт.

Между тем конференция подошла к концу, так толком и не начавшись. Известие о том, что вот-вот прекратит работу городской и пригородный транспорт, окончательно поставило на ней крест, ибо библиотекари из Эрфурта, Шверина или Котбуса отнюдь не собирались заночевать в Берлине. Но даже и сотрудников института устрашила перспектива топать пешком домой в Фридрихсхаген или Вайсензее. Пока партийной группе предстояло еще бог весть как долго заседать, группа беспартийных, не поднимая шума, распалась в надежде поспеть на последнюю электричку.

Но поскольку лично во мне нежелание тащиться в такую даль пешком оказалось слабей, чем желание оказаться в гуще событий, я, покинув здание библиотеки через боковой выход на Шарлоттенштрассе, повернул не направо, чтобы выйти к вокзалу, а налево, к Унтер ден Линден, где мог отдаться медлительному потоку и тешиться мыслью, что эта роскошная прусская улица, которая уже повидала на своем веку столько парадов и столько манифестаций, теперь, пусть даже на несколько часов, поистине принадлежит народу. На углу Фридрихштрассе, где основной поток сворачивал влево, а разрозненные группки устремлялись к Бранденбургским воротам, мне довелось собственными глазами увидеть, как несколько молодых людей, не вызвав, впрочем, среди зрителей особого восторга, подожгли сперва кипу газет «Нойес Дойчланд», а потом запалили и целый газетный киоск. По Фридрихштрассе колонна двинулась быстрей. Стиснутый со всех сторон народными массами, в которых, если память мне не изменяет, начисто отсутствовали женщины, я долго стоял перед правительственным зданием, хотя ничего не мог увидеть, кричал вместе со всеми, когда народ требовал свободных выборов (и одновременно задавался вопросом, что будет со мной, если я сейчас вылезу и провозглашу здравицу в честь правительства). Я слышал, что показалась полиция и что какой-то министр пытается воззвать к толпе. Выкрики из толпы сорвали его попытку. (Потом уже я узнал, что этот единственный храбрый человек во всем правительстве был Фриц Зельбман, министр тяжелого машиностроения. С ним, коммунистом старого закала, который ко всему еще баловался литературой, мне довелось потом уже, в шестидесятые годы, провести однажды вместе три часа в машине, и эти три часа оказались для меня весьма мучительны хотя бы потому, что отставной министр все время хранил мертвое молчание, не реагировал на мои робкие попытки завести беседу, а влезая в машину и затем покидая ее, лишь буркнул что-то невнятное.)

О высоких чувствах, которые переполняют человека, осознавшего себя частицей масс, мне доводилось много слышать и читать, но я так и не сумел убедиться в этом на собственном опыте; зажатый среди человеческих тел, я скорее чувствовал, что у меня отняли свободу, и испытывал отвращение. Вдобавок там, в правительственном квартале, теснящая меня толпа начала внушать мне беспокойство. Я начал пробиваться к краю, где было не так тесно, но попытки мои наверняка остались бы тщетными, если бы толпу не привели в движение первые выстрелы. Люди со всех ног бросились врассыпную.

Вот между этим моментом и моим возвращением на Унтер ден Линден в памяти у меня зияет провал, а потому я при всем желании не способен описать маршрут своего бегства. Сперва я снова обнаружил себя на краю этой парадной улицы, по которой вкривь и вкось разъезжают советские танки, разгоняя последние остатки толпы. Прижатый к стене одного из домов, я долго созерцал эту сцену, напомнившую мне о временах войны, потом, улучив подходящий момент, я перешел через улицу и без каких бы то ни было осложнений проследовал мимо руин Нойштадтской церкви к вокзалу, который был уже закрыт. Человеческая река текла на восток, по улицам, идущим параллельно зданию вокзала. Всем без исключения, хоть бунтовщикам, хоть пунктуально явившимся на работу

служащим, пришлось топать домой пешком. Но я, знавший Берлин куда лучше, чем зациклившиеся исключительно на своем востоке граждане-товарищи, поехал на метро, по линии, проходившей под Фридрихштрассе, на юг, то есть с точки зрения политической опять-таки на запад, и двадцать минут спустя прибыл к Бушкругу, от которого дорогу пешком до Шёневайде можно было рассматривать как обыкновенную, хоть и длительную прогулку.

Перемещение с востока на запад и с запада на восток за эти годы до такой степени вошло у меня в привычку, что я воспринимал различия между обеими частями города как нечто вполне естественное. Но в этот день все обернулось по-другому: я не просто угодил из бедности в благополучие, я вдобавок попал из войны в нерушимый мир. Поселок Хуфайзен, акациевая рощица, парки, в которых цвели дикие розы, пробудили во мне чувство, что после дальних странствий я наконец-то вернулся домой. Впрочем, это было одно из тех сновидений, когда человек прекрасно сознает, что он спит и видит сон.

Покуда я сидел в гостях у своего друга Карлхайнца Э., который жил теперь не в Таутзидлунге, а в Альтбрице, и у него слушал по радио сообщение о том, что на Паризер- и на Потсдамерплац перекрыли границу, само собой снова зашла речь о возможности здесь остаться, впрочем, ничуть не более серьезно, чем всегда. Именно в этом году я предпринял попытку зажить нормальной семейной жизнью. Матушка моя не изъявила готовности бросить свой убогий домишко с садиком в земле Бранденбург ради того, чтобы возобновить городскую жизнь, — среди прочих причин и потому, что знала, как я ко всему этому привязан. А уйти на Запад означало бы не только по доброй воле отказаться от унаследованного и привычного, но и признать разделительную границу, которая в моих глазах таковой не была.

Осознал я это лишь на исходе дня, когда пешком возвращался домой. Шпетштрассе, старинная каштановая аллея, которая шла мимо садовых участков, еще сохранила между песчаных тропок старое булыжное покрытие, и лишь на обоих мостах через канал булыжник заменили асфальтом. Водопроводная станция силилась воспроизвести кирпичную готику севера, а садоводство Шпета, где раньше голосили павлины, смахивало на бранденбургское поместье. Позади садоводства, еще до второго моста, дорога сворачивала направо, на Кёнигсхайде, где каждая тропинка, каждая просека потчевала меня воспоминаниями о радостях и страхах из времен моего детства.

И вот эту дорогу, которая в высоком смысле слова была моей дорогой, власти, не спросив у меня разрешения, перерезали границей. Уже перед первым мостом оказался шлагбаум и стоял часовой. Восемь лет спустя здесь вырастет стена, от меня же потребуют счесть это разумным и правильным, чего я так никогда и не сумею сделать.

Опасение наткнуться здесь на заградительную цепь не подтвердилось. Возможно, приказ о перекрытии границы еще не дошел до этого отдаленного уголка. Правда, меня разок остановили, чтобы проверить документы, а также содержимое моего портфеля, который я весь день протаскал с собой. В те времена я без портфеля чувствовал себя не до конца одетым. Томик Хемингуэя в силу своего американского происхождения возбудил их недоверие, но после длительного перелистывания был, однако, возвращен владельцу. После чего мне разрешили в полном одиночестве продолжить путь воспоминаний мимо крематория, далее по рельсам, по которым все еще не пустили электричку. Я не встретил почти ни одного человека и, стало быть, мог без помех размышлять о событиях этого исторического дня, дабы впоследствии творить на их основе прекраснейшие романы. Лишь в пролетарском районе Шёневайде я снова оказался лицом к лицу с реальностью.

На Брюккен-, Эдисон- и Вильгельминенхофштрассе люди теснились на тротуарах, бродили взад и вперед, потому что стоять на месте воспрещалось, но остерегались выходить на проезжую часть, ибо там господствовала полиция. Полицейские выстроились плечом к плечу вдоль поребрика, были вооружены автоматами и дубинками, хватали каждого, кто свистел или выкрикивал ругательства, и заталкивали схваченного в уже поджидающий грузовик, а из машины с радиоустановкой гремели тем временем призывы и

приказы, где в числе прочего речь шла и о военно-полевых судах. Страх был написан на лицах, даже и на лицах полицейских, но гнев был покамест сильнее страха.

На другое утро Готхард, получив мощную идеологическую поддержку от газеты «Нойес Дойчланд», громовым голосом произнес пламенную речь, в которой объяснил все, что мы пережили накануне: оказывается, у нас имел место фашистский путч, направленный империалистическими кругами и поддерживаемый передатчиком РИАС[1]. Купленные за гроши мальчики из Западного Берлина просочились сюда, дабы подстрекать трудящихся к бунту, но с помощью советских друзей рабочий класс одержал победу. Теперь дело за нами, теперь мы должны выразить свою преданность и благодарность. Манифестация состоится во второй половине дня. Лично я в этой манифестации участия не принимал.

Я уже с утра отыскал предлог покинуть пределы библиотеки: мне предстояло срочно подготовить сугубо политическую публикацию, брошюру страниц примерно на сто, которая, как я предполагаю, через несколько лет, так никем и не востребованная, была изъята из библиотек. Речь шла о библиографическом списке откликов на труды Сталина по вопросам языкознания.

Если принять на веру четко структурированный список публикаций, окажется, что эта поздняя работа мудрого вождя обогатила буквально всех деятелей науки, а то и вовсе побудила их к переоценке ценностей. Психология ребенка, национальный вопрос или периодизация истории литературы здесь, «в свете гениальной работы Сталина» (так звучали многие заголовки), рассматривались под новым углом зрения, расширяющим сферу познания, то же самое можно было сказать и о высокочастотной технике, хирургии или разведении кукурузы. Наука пала ниц перед Всемогущим. И хотя здесь скорее следовало плакать, я нашел немало причин для смеха. Это была кропотливая работа, благодаря которой я научился составлять библиографию и одновременно потерял изрядную часть своего благоговения перед учеными.

Под сенью стены

Словно умышленно задавшись целью усугубить печаль, гнев и отчаяние до такой степени, чтобы для меня раз и навсегда стало невозможным хоть когда-нибудь, даже в далеком будущем, воспринять насильственное разделение города как нечто вполне нормальное, я все 13 августа 1961 года с раннего утра и до позднего вечера провел на ногах. Меня так и подмывало собственными глазами увидеть то, чего все со страхом ожидали и, однако же, не считали возможным, — увидеть превращение кошмарного сна в живую реальность. Я хотел присутствовать при том, как нас посадят под замок, хотел соединиться с толпой, взгляды которой по крайней мере показали бы вооруженным людям, что рассчитывать на всенародное одобрение им не приходится. Я мнил обнаружить в глазах охранников признаки нечистой совести, надеялся также на стихийный взрыв возмущения, но увидел лишь возбуждение и страх с обеих сторон. Того победного ликования, о котором на другое утро сообщали, кичась собственной храбростью, газеты, я не обнаружил ни на одном лице, как и не нашел никого, кто бы, подобно газете «Нойес Дойчланд», утверждал, будто теперь наконец он может свободно дышать.

Центральный округ Берлина, которому на ближайшие годы предстояло стать для меня не менее привычным, чем, скажем, Бриц или Нойкёльн, был с севера, юга и запада окружен западными секторами, так что из своего жилья окнами на задний двор я мог пешком за десять-двадцать минут достичь любой границы. В предшествующие этому месяцы я досконально изучил их все, отчасти — чтобы найти неконтролируемые переходы, отчасти — ради исторических реминисценций, ибо всегда считал необходимым знание местности и ее истории, дабы чувствовать себя как дома. Для меня стали привычны-

[1] РИАС — радиостанция в Западном Берлине, основана в 1945 году.

ми не только общеизвестные объекты, как, например, Бранденбургские ворота или Checkpoint Charly[1], но и разрушенная в войну местность позади Шпиттельмаркта и Лейпцигерштрассе, где по переулкам, на которых не осталось ни одного целого дома, или по тропинкам можно было добраться до Морицплац или до Галльских ворот; освоил я также приграничный район между Тиргартеном и Вильгельмштрассе, и начинающуюся сразу за рейхстагом излучину Шпрее, где сам берег реки становился границей, и, уж конечно, соседние приграничные улицы на севере, разделенные порой не поперек, а вдоль, так что жильцы, проживавшие на Востоке, выходя из своего дома, оказывались на Западе, и где в скрещении железнодорожных путей Северного вокзала, который мы по старой памяти все еще называли Штеттинским, граница для меня вообще исчезала.

Бросалось в глаза, хоть и было вполне объяснимо с исторической точки зрения, обилие кладбищ именно в приграничной зоне, например кладбище Софийского прихода на Бергштрассе, где 13 августа я вообще не обнаружил признаков границы. Во всех остальных местах, как с одной, так и с другой стороны, стояли граждане, а между ними сновали люди в мундирах, угрожающе разворачивали мотки колючей проволоки, но здесь, на Бергштрассе, где кладбище доходило до самой границы, к этому плохо просматриваемуся участку сначала вообще никого не хотели подпускать. Всех, в том числе и меня, отогнали назад, до Инвалиденштрассе.

Поскольку в моих последующих снах солдаты из заграждения снова и снова отгоняли людей к востоку, я уже не могу твердо сказать, как это было тогда на самом деле — то ли они обнажили штыки, то ли взяли наизготовку автоматы. Во всяком случае, угроза применить насилие оставила по себе неизгладимое впечатление. Она закрепила страх и сделала управляемыми тех, кто оказался заключен внутри стены; в то же время она навсегда отняла у людей возможность по желанию партии рассматривать эту стену как некий защитный вал. А уж в сказку о мерах, необходимых для защиты от агрессивного Запада, не поверили, надо полагать, даже самые правоверные члены партии.

В моих посвященных стене снах, которые мучили меня даже и после ее падения, все выглядело престранно, потому, должно быть, что в них все выглядело наоборот, то есть они были направлены не против свободного, просторного мира, а против моего дома, и стена неизменно представала тем препятствием, которое не позволяет мне вернуться под родной кров. Непонятным образом мне удается одолеть эту стену, я оказываюсь без гроша на чужбине и знаю, что путь назад для меня закрыт. Я снова и снова пытаюсь вернуться, но всякий раз наталкиваюсь либо на людей в военной форме, которые меня не пропускают, либо на колючую проволоку, штыки, бетон. И ни разу удачное преодоление стены не выручает меня из этой отчаянной ситуации, а выручает лишь благополучное пробуждение, которое уж заодно разрешает и загадку этого странного перевертыша. Ибо родина, по которой я тоскую в своих снах, находится не в Центральном округе Берлина и не в деревне у моей матери, а там, где я провел первые семнадцать лет своей жизни, короче говоря, в Брице, который оказался в недоступном для меня теперь Западном секторе.

Впрочем, не только во сне, но и в реальной жизни я так никогда и не смог примириться с существованием стены. Я был слишком тесно связан со всем Берлином и всей Германией, чтобы воспринять ее как нечто нормальное, я слишком мало понимал устремления ее инициаторов, чтобы признать ее необходимость, а вот питаемую многими надежду, что в окружении этой стены возможна либерализация жизни, я вообще никогда не разделял.

Так ли, иначе ли, стену приходилось принимать как данность, ведь нельзя же было годы, десятилетия подряд, лишь потому, что в свое время ты не совершил решающий шаг на Запад, обзывать себя нерешительным болваном, нельзя было вечно изнывать в тоске по Курфюрстендамму или пруду в Брице, нельзя вечно страдать от мысли, что не видать тебе больше ни Таунуса, ни Оденвальда, ни Майнцской Франконии, которые ты в

---

[1] Checkpoint Charly — наиболее известный из пограничных переходов между Восточным Берлином (ГДР) и Западным Берлином, расположенный на Фридрихштрассе.

пятидесятые годы исколесил вдоль и поперек на своем велосипеде, хоть и страдая при этом от постоянного безденежья, и что Копенгаген, Париж или Рим теперь навсегда для тебя закрыты. Следовало забыть, что столь привычная для тебя Аккерштрассе, где в самой убогой из всех убогих квартирок обитала фройляйн Бродер[1], когда-то уходила дальше на север, следовало закалять свою волю, чтобы не изнывать по недоступным теперь для нас входам на станции метро, а когда ты слышал, как с промежутком в пять минут грохочут под землей поезда, идущие с запада на Запад, следовало когда-нибудь выкинуть из головы мысль: ах, как бы здорово проехать этим поездом, скажем, в Тегель или в Нойкёльн. Вообще, чтобы мириться с жизнью взаперти, надо делать вид, будто тебя никто никуда не запирал.

Для многих эта попытка оказалась более чем успешной. Уже через несколько недель после сооружения стены, когда для западных средств массовой информации стена утратила прелесть новизны и лишь попытки очередного бегства снова выводили ее на первые страницы, многие начали воспринимать стену как нечто вполне естественное и даже находить в ней известные преимущества. Под сенью стены жилось как-то спокойнее. Больше не надо было ломать голову над вопросом: бежать или оставаться; временное обрело устойчивые очертания, преходящее, подкрепленное позицией Запада, который, несмотря на свои протесты, спокойненько все проглотил, вдруг начало казаться долговременным. И стало быть, предстояло устраиваться надолго, создавать семьи, заводить детей, хлопотать об улучшении жилищных условий или о выделении загородного участка, вступать ради дальнейшей карьеры в партию либо по крайней мере не привлекать к себе внимание властей и, возможно, распахнуть свою душу перед местной идеологией, ибо жить в состоянии перманентной политической шизофрении все-таки неуютно.

Подобное привыкание я сподобился наблюдать и на личном опыте. Правда, мнение мое о стене оставалось неизменным, но я научился подстраивать свою жизнь под новые условия и не кипеть от ярости круглосуточно по поводу ограничения свободы. Для того чтобы с прежней силой ожила старая боль, было вовсе не обязательно убийство очередного беглеца, хватало и более мелких поводов, как, например, обустройства пограничных укреплений, слепящих прожекторов на Маршалбрюкке, призванных перекрыть вид на рейхстаг, или новых карт страны и всего города, где Западный Берлин представал белым пятном, словно за стеной находился край земли.

Даже отчаяние из-за невозможности пользоваться впредь западными библиотеками и книжными магазинами со временем поутихло. Сыскались другие пути получения информации, например Радио Берлин, значение которого для меня теперь очень возросло, научные библиотеки, которые для человека, умеющего в них ориентироваться и лично знакомого с их сотрудниками, служили недурным источником духовной контрабанды. Помогали также родственники и друзья, находящиеся по ту сторону стены, которые, не боясь скрупулезного и продолжительного досмотра на границе, обладали достаточной храбростью, чтобы тайком ввозить журналы и книги. Впоследствии к ним прибавились корреспонденты, знакомство с которыми тоже давало информацию. Первым, кто начал регулярно наведываться в Восточный Берлин, еще до введения корреспондентских аккредитаций, стал Кристоф Мюллер из Тюбингена, он служил тогда репортером в «Тагесшпигеле», попутно снабжал меня и других новыми произведениями Энценсбергера, Арно Шмидта, Уве Йонсона и Грасса, а однажды даже привел в мое окнами на задний двор жилище Мартина Вальзера, который, правда, — что я отнюдь не ставлю ему в вину — проявил больше интереса к присутствующим дамам, нежели ко мне.

Точно так же под сень стены, хотя и на другой лад, вдруг угодила вся литературная ситуация ГДР, в которую я — хоть и неохотно — позволил себя втянуть. Вокруг меня враз оказалось столько членов партии, сколько раньше никогда не было. Поскольку можно предположить, что те, кто придерживался моих взглядов, так же, как и я, помалкивали,

---

[1] Фройляйн Бродер — одна из героинь романа Г. де Бройна «Буриданов осел».

здесь все выглядело идеологически выдержанным, оптимистичным и самоуверенным. В ходу был победоносный тон, расценивавший сооружение стены как победу над классовым врагом, отчего все знания и все интересы обрывались у границы, по крайней мере у границы на Запад.

Впрочем, последнее касалось низин, куда меня затащили, а не более высоких сфер, где Федеративная Республика никогда не упускалась из виду. Теоретически и пропагандистски еще не наступил отказ от якобы имеющей место борьбы за объединение Германии, однако уже была подготовлена новая догма о двух немецких нациях и двух культурах. Впрочем, на нижних ступенях культурной жизни это и без того практиковалось с самого начала.

Издательству «Миттельдойчер ферлаг» в Галле к концу пятидесятых годов поручили создавать литературу, соответствующую тому, что под этим словом подразумевает партия. В 1959 году ему поручили воплотить в жизнь решения Биттерфельдской конференции, на которой Вальтер Ульбрихт лично поставил перед молодыми авторами литературные задачи, и поскольку задачи эти отчасти были выполнены, уровень издательской продукции соответственно оказался ниже всякой критики. Для автора, пишущего что-нибудь более или менее приемлемое, не составляло на этом фоне особого труда прослыть дарованием. Поэтому меня начали быстро продвигать и рекомендовать, в кино к примеру, где благодаря одним только проектам, из которых вовсе не обязательно должен возникнуть законченный сценарий, удавалось немного подзаработать. Поступило также предложение из газеты «Нойес Дойчланд»: мне предлагали писать для воскресного приложения что-нибудь глубокомысленное, вроде «Воскресного слова», но я решительно отказался под тем предлогом, что мне придут на ум одни лишь религиозные формулы.

Первая моя встреча с молодыми авторами состоялась на издательской конференции в Галле, и об участии в ней я позднее горько сожалел, потому что впоследствии много десятилетий подряд не мог избавиться от принятого там обращения на ты, и из сугубого отвращения старался в дальнейшем как можно дольше оставаться на вы со всеми, кого я любил и уважал.

Уж и не помню, какой теме была посвящена конференция, зато очень даже хорошо помню свои страдания во время веселого застолья, где много пили, много курили и много говорили, размахивая руками, и где тучный Эрик Нойч руководил мероприятием. Покуда Эберхард Паниц, которому еще предстояло написать много расхожих социалистических романов, к моему великому неудовольствию, допытывался, где я состою на партийном учете, и покуда благожелательный Райнер Кунце, который уже выпустил несколько сборников лирики под такими характерными названиями, как «Будущее сидит за столом» или «Однако соловей ликует», с умиротворенной улыбкой вглядывался в клубы дыма, словно желал почерпнуть из них вдохновение, Нойч, который десять лет спустя всякий раз в подпитии будет злобными речами преследовать своего товарища по партии и конкурента по бестселлерам Германа Канта, призвал присутствующих за нашим столом мо́лодых гениев принести клятву никогда в жизни не завидовать успехам коллег, как это делали старые писатели, не враждовать между собой и не порочить друг друга в глазах партии. Мы, восклицал он, будем держаться вместе, как коллектив литературных бойцов-одиночек, мы докажем старикам, что решительно отвергаем дух конкуренции, дошедший к нам из капиталистических времен.

К числу наиболее громогласных за этим столом принадлежал также и Вальтер Радец, мой новый редактор, перебравшийся к нам на Восток член КПГ из Вольфсбурга, который уже неоднократно занимал пост редактора либо главного редактора, но за полной неспособностью к этому виду деятельности ни на одном месте долго не задерживался. Попутно он писал пьесы для радио и прозу. Поскольку он меня терпеть не мог и пользовался полной взаимностью с моей стороны, а мои истории представлялись ему недостаточно однозначными и партийными, отношения у нас с первого же дня сложились очень напряженные. Он полагал себя моим соавтором и оказался способен даже на то, чтобы вписывать в мой текст целые пассажи, либо те, которых ему у меня недоставало, либо

вместо тех, которые ему не нравились, пассажи с бесконечными диалогами, где в интонациях Центрального комитета было сказано решительно все, что он считал необходимым. Мое отчаянное сопротивление его, разумеется, оскорбляло, и он поквитался со мной, объявив совершенно ошибочной с политической точки зрения первую часть моего первого романа. Но поскольку в издательстве не разделяли его мнение и дорожили мной как автором, меня избавили от его опеки.

За этим кратким и нерадостным эпизодом последовал другой, более продолжительный и, пожалуй, забавный. Благодаря ему произошло знакомство, более чем важное для моей дальнейшей жизни. Радец, выполнявший, помимо всего прочего, какие-то функции при Союзе писателей, возглавлял в ту пору Берлинскую рабочую группу молодых авторов и счел само собой разумеющимся, чтобы я тоже воспользовался подобной возможностью повысить свое образование и тем сделал первый шаг к вступлению в союз. Раз в месяц люди собирались на два часа, скучливо заслушивали выступление какого-нибудь новичка, который самонадеянно либо смущенно представлял свои стихи либо прозу на чаще всего милосердный суд других новичков, либо внимали автору уже признанному или литературоведу. Лишь немногие из молодых писателей были и впрямь молоды, причем одаренные, для которых рабочая группа служила всего лишь неизбежной предварительной стадией для вступления в Союз писателей, встречались и того реже. Большинство участников составляли мужчины и женщины не первой молодости, творения которых никто не желал печатать, по каковой причине статус молодых авторов был для них статусом постоянным. Их усердие, на которое только они и возлагали надежды, могло бы пробудить жалость, когда б они не так рьяно отдавались политике. Радец служил для них живым и наглядным примером того, как порой даже минимум дарования с добавлением партийной преданности вполне может привести к успеху. Одна беда: у них и минимума-то этого не было.

Нетрудно понять, что весьма немногочисленные достойные внимания люди посещали занятия этой школы лишь изредка. Трагелен и Микель, которые наряду с брехтовской стрижкой и брехтовской сигарой выставляли напоказ также свой отточенный на Брехте интеллект, бывали здесь только как гастролеры, болтливая и бранчливая Ирмтрауд Моргнер, которая держала передо мной малопонятные речи с прононсом, пытаясь доказать все величие изобретенного ею фантастического реализма, тоже показывалась очень редко. В этом кругу интеллигентные люди лишь мешали остальным, а вдобавок сбивали с толку Радеца, чей марксизм нимало не походил на их марксизм. Толстый полицейский, который вот уже десять лет пытался писать небольшие бытовые рассказики на материале своих дежурств в округе Вайсензее, был ему куда ближе.

Поскольку я и сам чаще прогуливал, чем присутствовал, мне следует рассматривать как промысел Божий то обстоятельство, что в тот вечер, когда ее радиопьеса позволила молодым авторам заглянуть в *ее* творческую лабораторию, я случайно там оказался. Ни до этого, ни после этого ни одно выступление не возымело для меня столь далеко идущих последствий. Я провел несколько дней в размышлениях на тему, могут ли белокурые волосы быть естественной окраски, если глаза карие. Когда вопрос спустя несколько недель был разрешен, ибо оказалось, что при свете дня глаза синего цвета, а это вполне соответствует цвету волос, я потратил еще несколько месяцев на размышления по поводу того, что лучше для активизации знакомства — терпеливое ожидание или настойчивость, а уж после этого у меня ушли годы на ухаживание. Оно в конце концов увенчалось успехом благодаря усилиям обеих сторон. Лично я признал себя побежденным за те несколько недель, что мы писали радиопьесы, а вот результат моего ухаживания (одно лишь упоминание о котором уже нарушает данное некогда слово) растянулся как минимум на всю жизнь.

Вперед, на запад

Поскольку с возрастом человек больше знает и глубже чувствует, та либо иная неприятная ситуация может спустя годы причинить больше страданий, чем когда она произошла в действительности. В свое время с ней удалось справиться очень быстро, и ты радовался, что все уже позади, но тридцать лет спустя само воспоминание о ней для тебя мучительно.

Чтобы избавить себя от этой запоздалой боли, можно оттеснить минувшее в отдаленные уголки памяти. Но ведь впоследствии никто не мешает тебе снова открыть эти уголки с помощью ключевых слов — например, слова «Зигмундсхоф», которое обозначает некое определенное место в округе Тиргартен, иными словами — в Западном Берлине.

Это слово я раскопал в архивах госбезопасности, где с 1964 года на меня завели досье, возможно, с единственной целью: выяснить, пригоден ли я для поездки в составе делегации за пределы стены. Поскольку агенты «Пергамон» и «Андре» не сообщили обо мне ничего предосудительного, мне разрешили с группой писателей, членом союза которых я к тому времени уже стал ради социальных благ, днем пройти пограничный контроль на вокзале Фридрихштрассе, а вечером вернуться обратно.

Через три года после сооружения стены и после совсем недавно принятого соглашения о пропускной системе, разрешавшего жителям Западного Берлина навещать родственников в Восточном секторе, некое студенческое объединение пригласило авторов из ГДР для выступлений, и Союз писателей это приглашение принял, поскольку право определять состав группы оставалось за ним. Вот он и включил в нее преданных делу партии авторов, но к тому же и людей, призванных своим присутствием подтвердить наличие того качества, которое в речах на партсъездах именовалось «различие почерков» и «широта и многообразие». На каждой встрече перед многочисленными слушателями выступало по три-четыре автора, со мной в тот раз выступали Манфред Билер и Петер Хакс. Помимо студентов, присутствовали также журналисты из обеих частей города, а чтобы направить дискуссию в дозволенное русло, Восток отрядил на эту встречу и литературоведов. Некоторых из них я увидел здесь впервые, в том числе редактора литературного отдела газеты «Нойес Дойчланд» Клауса Хёпке, который впоследствии выступал у нас в качестве главного цензора.

Люди более мне знакомые прибыли не с Востока, а с Запада, среди них — школьные друзья, коллеги-библиотекари, которые покинули Восток еще до возведения стены, родственники моей матери, оставившие свою бранденбургскую родину, книготорговцы, знавшие меня как неимущего книголюба, и Кристоф Мюллер из «Тагесшпигеля» — иными словами, свидетели различных этапов моего бытия, которых я, при всей моей благодарности за их искренний интерес, в душе проклинал, поскольку своим присутствием они делали еще более трудной ту трудную роль, которую мне предстояло сыграть. Они жаждали увидеть меня таким, каким знают или знавали в прошлом, и, разумеется, испытали разочарование. Да я и сам себе был как чужой.

Я терпеть не мог выступать на людях. Я полагал, будто это не мое дело, да и страх перед провалом меня терзал. Перед каждым выступлением я не спал ночами, и в донимавших меня кошмарах множились ужасные видения, а после выступления я терзался при мысли, что не сумел выступить лучше, и раскаивался в том, что не устоял перед насилием — или соблазном — выставить себя на позорище. Крайне неприятным было для меня и открытие, что на сцене я выгляжу совсем другим, становлюсь человеком, который домогается благосклонности. В этой роли я вызывал отвращение у самого себя. Ибо моя задача — сидеть за письменным столом и предавать бумаге продуманные слова, а не выставлять напоказ свою незавершенность.

Короче говоря, уже само публичное выступление как таковое представлялось мне чем-то ужасным, но того ужаснее — неизбежное притворство, вытекавшее из политической ситуации. У меня существовали обязательства и перед одной, и перед другой

стороной, чисто житейски — перед Востоком, под чьей эгидой я обитал, зарабатывал деньги и завоевал признание; духовно и морально — перед Западом, где я со своими интересами и взглядами чувствовал себя дома. Я должен был соблюдать осторожность, чтобы не навредить себе, но не мог — поскольку, как и каждый человек, обладал честолюбием — проявлять ГДРовскую узость взглядов. Короче, я хотел, чтобы меня принимали всерьез и чтобы те, кто знал меня с прежних времен, не подумали, что я протягиваю ножки по ульбрихтовской одежке.

Предварительной цензуры не было; каждый имел право сам выбирать те тексты, которые он хочет прочесть. Я выбрал рассказ, написанный под воздействием потрясения, испытанного мной, когда воздвигали стену, оно же в свою очередь соединилось с воспоминаниями о лесном и озерном крае, захваченном для своих нужд армией ГДР. Только действие в моем рассказе происходило около четверти века назад, еще перед войной. Страдающий от насильственной заорганизованности мальчик мечтает обрести свободу в дальних лесах, но когда он достигает желанной цели, оказывается, что озеро засыпано, а доступ в лес закрыт. «Мы прислонились к забору, — говорится в конце рассказа, — мы вцепились руками в проволочную изгородь, усталые, измученные до смерти, голодные арестанты, которые так страшно обманулись. Разве я уже не видел это однажды во сне — решетка, перекрывающая путь к свободе?»

В дискуссии, от которой я с превеликой радостью уклонился бы, симулировав обморок, посланцы Востока старались отделить мой рассказ от современности и пустить его по рельсам антифашизма. Затем последовали обычные вопросы читателей о писательских привычках, идеалах и влияниях. Но вот потом, когда я уже понадеялся, что из сочувствия к моему жалкому состоянию меня не будут донимать политическими вопросами, кто-то, сославшись на только что зачитанный мною отрывок, задал висящий в воздухе и дополнительно подкрепленный моим рассказом вопрос о стене, на который я, запинаясь и путаясь в словах, пытался ответить, да так и не сумел.

После этого я отвратительно себя почувствовал. Я не только не высказал свое собственное мнение, но и наглядно продемонстрировал свою уклончивость. Рядом с Хаксом и Билером, которые читали передо мной, я выглядел бесцветным и трусливым. Элегантный, самоуверенный Хакс ошеломил слушателей, совершенно всерьез заявив, будто хорошая драматургия может возникнуть лишь в условиях социализма, а убедиться в этом проще простого, достаточно сравнить низкопробных западных драматургов с такими одинокими вершинами, какими являются он и его супруга. А Манфред Билер, чья внутренняя ситуация совершенно походила на мою, принял в себя изрядное количество алкоголя, так что даже прочитать свой текст он мог лишь с превеликим трудом, а уж про участие в дискуссии и говорить нечего.

Но весьма важной после этого постыдного выступления на Западе оказалась реакция на Востоке. Как я вскоре мог убедиться, мной остались довольны, что задним числом я объясняю так: во-первых, после выезда за стену я вполне добровольно вернулся домой, во-вторых, мой рассказ подтвердил терпимость и великодушие социалистического государства, а в-третьих, я так и не высказал своего мнения по поводу стены, иными словами, проявил полную лояльность по отношению к ГДР.

Напрямую со мной никто на эту тему не заговаривал, но стало очевидно, что они сочли возможным использовать меня и в дальнейшем. В последующие годы мне разрешали выезжать в составе делегаций в Польшу, Югославию и в Советский Союз, меня вводили во всякие комиссии при правлении Союза, где я даже и при большем усердии все равно ничего бы не мог изменить; меня допустили в члены ПЕН-клуба, а в последующие годы даже предприняли последнюю попытку подвигнуть меня на вступление в Социалистическую единую и позднее никогда не попрекали отказом, который я обосновал расхождениями по ряду религиозных и культурно-политических вопросов.

А самым первым свидетельством оказанного мне доверия стало предложение в этом же году посетить вместе с Германом Кантом Франкфуртскую книжную ярмарку под наблюдением поэта и осведомителя Пауля Винса.

С Кантом я уже до этого побывал в Польше, с Винсом позднее — в Югославии и потому могу сказать, что оба были вполне симпатичными спутниками, не только из-за их умения вести приятную беседу, каковое порой даже и утомляло, а потому, что, находясь в их обществе, человек никогда не подвергался опасности выступать публично, ибо они сами постоянно к этому стремились.

Это первое посещение ярмарки оказалось волнующим и утомительным, хотя я по возможности уклонялся от выполнения обязанностей у стенда ГДР, где моя книга, как нетрудно догадаться, почти не привлекала внимания. Я сидел, словно зачарованный изобилием, царившим на стендах западногерманских издательств, набирал каталоги, так что на обратном пути едва мог тащить свой чемодан; я повидал Ильзу, бывшую жену Герберта[1], и, часами разговаривая с ней, так и не смог объяснить, почему Герберт не использовал месяцы, прошедшие между его освобождением и сооружением стены, для бегства на Запад. А еще я встретил там своего старого друга Г.[2].

Человек, который начиная со школьных лет оказывал на меня сильнейшее влияние, так и не стал для меня чужим, хотя за последние десять лет мы до минимума свели нашу переписку и виделись всего три раза. Вот и его привычное для меня превосходство тоже при нем осталось. Только теперь я этому противился, отчего разговоры, которые мы вели, беспощадные по-прежнему, становились все более агрессивными, хотя мы подпитывали их не джином, как в былые времена, а местным швабским вином, на которое Г. переключился и которое он оплачивал — за нас обоих. Марок, выделенных мне на прожитие, едва хватало, чтобы заплатить за обед. А Г. остановился в дорогом отеле «Франкфуртерхоф». Мы немало смеялись над тем, что наша встреча целиком протекает по шаблону немецких восточно-западных встреч. Но ведь даже высмеивание зависимости отнюдь не устраняет ее.

За эти годы он сумел многого достичь, стал главным редактором ряда журналов, для которых, в начале пятидесятых годов переехав из Берлина в Штутгарт, сперва надписывал адреса на конвертах, а уж тут и до кресла главы издательства было рукой подать. Он поминал жертвы, принесенные им на алтарь этого взлета, хотя и не рассказывал о них подробно, да и вообще, как уже не раз бывало, темой разговора стало не столько благополучие его бытия, сколько сомнительность моего.

Он набросал передо мной картину моей определяемой смутными чувствами жизни, начиная со школьных времен, и моей службы вспомогательным номером зенитной батареи, воспоминания о которой, как он полагал, настраивают нас на сентиментальный лад не только из-за нашей дружбы, но и потому, что духовно это было для нас очень удобное время: насилие, которому мы подвергались, дозволяло нам не принимать решений и не совершать поступков, не испытывая при этом угрызений совести. Мы вполне могли довольствоваться отрицанием того, что было. Мы совершили побег от духа времени, после чего нам оставалось лишь спокойно дожидаться, пока факты последуют за нами. Однако потом, когда порядок, загнавший нас в казармы, был разрушен, надлежало отринуть и прекраснодушную пассивность. Теперь никакое насилие не могло служить нам оправданием. Теперь следовало приобретать суверенитет, попытаться что-то сделать из свой жизни, а не плыть — это напрямую касалось меня — по воле волн: то в деревню, потому что там мне не пришлось бы голодать, то в учительство, потому что это не требовало усилий, даже в библиотеку, потому что это отвечало моей внутренней склонности. Ему все это напоминало плескание на мелком месте, путь наименьшего сопротивления или, наконец, применение на практике вывода, что в стране слепых и одноглазый — король. При таких обстоятельствах человеку приятнее отсиживаться за печкой, нежели подставлять грудь ветрам. Хоть и убого, зато уютно, потому что все такое знакомое,

---

[1] Герберт — друг де Бройна, впервые упоминается в первой книге дилогии «Промежуточный баланс».

[2] Г. — друг де Бройна. Так же, как и Герберт, упоминается в первой части дилогии.

потому что снова наличествует привычная с детства диктатура, которая точно так же возбраняет самостоятельное развитие личности, как и рискованную тягу к перемене мест, и которая даже способна послужить оправданием тому, кто пишет плохие книги.

Покуда он бранил меня подобным образом, при этом, вероятно, полагая, будто знает меня лучше, чем я сам себя знаю, у меня возникла мысль, что блестящая карьера сделала его, пожалуй, очень одиноким и что поэтому его стремление перетащить меня на Запад было не таким уж бескорыстным. Впрочем, я поостерегся высказать свое предположение вслух и даже более того, попытался втолковать ему, почему я пока должен оставаться там, где я есть. Но он счел все мои слова увертками, к которым я прибегнул лишь затем, чтобы не признаваться, что на самом-то деле меня удерживает страх перед необходимостью самоутверждения на новом месте.

Маленький кабачок, в котором мы сидели, тем временем опустел. Хозяин начал водружать на столы перевернутые стулья. Я спохватился, что мне еще надо возвращаться к месту моего ночлега, в весьма удаленный пригород. Г. начал совать мне деньги, чтобы я взял такси, и, продолжая развивать свою тему, заявил, что находит весьма показательным почтение, с которым я отношусь к столь сомнительному писателю, как Генрих Бёлль, писателю, воспевающему провинцию, вязкие обывательские чувства и нежелание проявить себя.

Тем не менее Г. еще не окончательно махнул на меня рукой, как выяснилось на другой день, когда мы снова увиделись на приеме и он представил меня издателю Гельмуту Киндлеру, поведавшему мне о своем гигантском замысле издать многотомный лексикон мировой литературы, для осуществления которого ему не хватает нескольких человек, в том числе — германистов, почему он и спрашивает меня, не соглашусь ли я, и если да, когда я мог бы приступить к работе, всего бы лучше прямо сейчас. На мое возражение, что я не изучал германистику в университете, он ответил, что ему нужны не люди с дипломами, а люди со знаниями, навыками и, по возможности, с опытом работы в библиотеке, а поскольку д-р Г. представил ему меня именно таким, он из этого и исходит.

Когда на другой день поезд за Беброй проходил через пограничные сооружения, у меня возникло такое чувство, будто, отказавшись от этого предложения, я совершил величайшую ошибку своей жизни, хотя, с другой стороны, я был совершенно уверен, что просто не мог принять иное решение. У меня мороз пробежал по коже при виде ГДРовской полиции, облезлых вокзалов, полуразрушенных фабрик, я пришел в отчаяние, подумав, что по собственному недомыслию упустил, вероятно, последнюю возможность бегства, хотя за отчаянием скрывалось удовлетворение от того, что я не забыл чувство долга. Я насладился своим пребыванием во Франкфурте и на книжной ярмарке, Запад явно оказался мне полезен, я был уверен, что очень скоро прижился бы здесь, надумай я остаться, но не в этом заключалась возложенная на меня ответственность.

Искушение, в том числе и искушение начать все с начала, было очень велико, но ничуть не меньше было и удовлетворение от того, что я ему воспротивился, что не поставил свое решение в зависимость от случая. Я снова осознал все, что привязывало меня к Востоку: мать, дети, сосновые леса, но прежде всего женщина, у которой, как выяснилось, глаза все-таки синие и которая хоть и вняла моим притязаниям, но, по-моему, не до конца осознала их серьезность. Я был уверен, что сумею втолковать все это своему другу. Но я заблуждался.

В последний вечер мы сидели с ним в заведении рангом повыше, на отапливаемой застекленной веранде, мимо которой под моросящим дождем сновали прохожие. На сей раз Г. был вынужден в одиночку пить заказанное вино, поскольку треволнения последних дней отрицательно сказались на моем желудке. Ни одну из приведенных мной причин он не счел уважительной, от себя он добавил еще одну, которую я, уж верно не без оснований, забыл привести: мой писательский успех. Г. становился все агрессивней и несправедливей, так что я даже вынужден был защищаться и при этом, возможно, тоже вел себя не слишком достойно. Лишь к утру, когда Г. уже еле шевелил языком и нетвердо держался на ногах, было сказано решительно все. В ожидании такси мы молча мокли под

дождем, он — прислонясь к стене. Сказанные мной умиротворяющие слова уже не нашли в нем отклика. Когда наконец подъехало такси, которое я хотел уступить ему, он втолкнул в машину меня и захлопнул за мной дверцу, не попрощавшись.

На обратном пути, каковой мне пришлось проделать в одиночестве, так как у моих спутников оставались на Западе и другие дела, я, хоть и нуждался в сне, не мог уснуть, потому что был слишком возбужден. Прощание с Г., которое впоследствии оказалось окончательным, наполняло меня грустью, но одновременно во мне забрезжило облегчение: пришел конец одной из моих зависимостей. Причем не я выступил инициатором разрыва, но произойти он, пожалуй, должен был именно из-за меня, поскольку я, чего не предусмотрела дружба, приобрел уверенность в самом себе. По сути мы оба почти не изменились, просто я утратил готовность восхищаться теми его чертами, которыми не обладал сам, к примеру воспринимать его стремление всегда и во всем превосходить меня как достоинство, которым надлежит восхищаться. Может, это и послужило причиной, разрушившей в его восприятии то основание, на котором всегда зиждилась наша дружба.

Правда, его нападки были теперь более яростными, чем раньше, но по сути остались прежними, вот только одна из них, касающаяся моего писательства, звучала теперь по-другому и не только заставила меня задуматься, но и оскорбила. Он был возмущен моей, как он это назвал, рабской покорностью перед лицом цензуры. До него доходили слухи, что, говоря о ГДР, я сказал «мы» и «у нас», и эта улика наводила его на мысль, что я начал вживаться в навязанный мне коллектив, за чем неизбежно последует погружение в идеологию, а под конец я и вовсе начну выслуживаться перед властями.

Он упрекнул меня в предательстве, ибо нас объединяло ни разу не высказанное вслух, но неизменно подразумевавшееся обещание никогда в жизни не позволять манипулировать своими мыслями, даже если ради собственного спасения надо будет подстраиваться либо подчиняться. По крайней мере в мыслях при всех обстоятельствах должна господствовать свобода.

Остальные же упреки просто вызывали у меня смех, так как нам уже в переходном возрасте доводилось дискутировать на эти темы и мне уже тогда казалась сомнительной его компетентность в этих сферах. Его роль в наших отношениях сводилась к тому, что он противопоставлял холод эмоциональному расточительству, его сферой был разум. Речь шла о женщине, из-за которой я просто считал дни, оставшиеся до возвращения домой. Год назад, когда я их познакомил во время одного из кратковременных наездов Г. в Берлин, он говорил, что это для меня редкая удача, а вот сейчас, во Франкфурте, он не желал признать ее уважительной причиной для моего возвращения, ибо, по определению, не верил в уникальность и незаменимость каждого отдельного человека, а уж в данном, конкретном случае был и вообще убежден, будто на Западе, что нетрудно вычислить благодаря большему количеству жителей, более высокой плотности населения и большей мобильности, вполне можно подыскать не уступающую, а то и превосходящую по своим качествам замену, причем подыскать в самом непродолжительном времени.

Сама же незаменимая тогда, при нашей берлинской встрече, желая сказать хоть что-нибудь положительное о друге своего возлюбленного, похвалила, к моей великой досаде, не его ум, а его выразительные карие глаза, самого же его признала человеком непроницаемым.

С тех пор я больше никогда не пытался связаться с ним, хотя неизменно ожидал, что он подаст мне какой-нибудь знак. И я дождался, но этот знак оказался известием о его смерти.

Еще я был бы рад поведать ему, что, когда я писал свои книги, меня всегда сопровождала как стимул его потенциальная оценка. Впрочем, на это признание он бы наверняка ответил так: ну, ну, только не становись сентиментальным.

Плохой ученик

Если здесь из внушительного ряда писателей, которым я обязан не одними лишь читательскими впечатлениями, мне хочется особенно выделить Генриха Бёлля, то происходит это потому, что с ним мне довелось встречаться, хоть и бегло — а это едва ли было возможно применительно к Жан Полю, Фонтане или Томасу Манну, разве что во сне. Когда я начал писать, он был для меня единственным из литературных святых, здравствующих в ту пору. Мое отношение к нему было особенно душевным, потому что он был способен описать мои впечатления и мои чувства, потому что всей своей жизнью он демонстрировал мне такую меру ответственности, которой я мечтал обладать сам, но, разумеется, мечте этой не дано было осуществиться. Я читал его книги как лично мне адресованные письма, порой я чувствовал себя его учеником, хотя он об этом так никогда и не узнал.

Первый раз я увидел его в ноябре 1969-го, то есть через восемь лет после сооружения стены, в Восточном Берлине. Евангелическая академия пригласила его на встречу с читателями. Но вот то, что ему и в самом деле дадут возможность приехать и выступить — это была сенсация! Хотя нигде не поместили ни единого объявления о предстоящем вечере, церковь прихода Св.Стефана просто не могла вместить всех желающих. Передние и боковые приделы церкви были забиты до отказа. Напряжение, висевшее в воздухе, имело разные причины, хотя все они были связаны с уверенностью присутствующих, что государство бдит. Недаром же на встречу пришли люди, которые из-за одного своего официального положения не осмеливались переступить порог церкви и были бы куда как рады укрыть лицо под маской. Другие, напротив, явились, чтобы продемонстрировать свою способность к самостоятельному мышлению и доказать свое восхищение Бёллем. Все надеялись услышать здесь истины, которые сами они не смели произнести вслух. А устроители встречи, которых такой наплыв слушателей отчасти обрадовал, но отчасти и напугал, опасались громких выражений политического недовольства и с превеликой охотой уклонились бы от таких взрывоопасных тем, как стена или цензура. Ибо, лелея мечту, что в будущем им будет дозволено приглашать и других западногерманских писателей, они были поэтому не совсем свободны от заигрывания с властью.

Для некоторых близких Евангелической академии авторов в передних рядах были зарезервированы места, но к этой любезности академия присовокупила просьбу принять активное участие в последующей дискуссии. Прежде всего надлежало по возможности сократить привычную ужасную паузу сразу после выступления. Я тоже должен был способствовать оживлению дискуссии, но применительно ко мне выбор оказался предельно неудачным, ибо я был записной молчун и слабак по части дискуссий. Даже и в случаях не столь важных перспектива публично говорить без бумажки перед аудиторией, состоящей из более чем пяти человек, могла вызвать у меня учащенное сердцебиение и боли в желудке, а уж перед эдакой необозримой толпой страдания мои стали еще ужаснее, усугубленные тем обстоятельством, что расстояние между мной и глубоко чтимым мною писателем составляло от силы два метра.

Ибо Бёлль хоть и читал с амвона, но в ожидании разговора сошел с него, всячески стараясь не наступить случайно на ноги тем, кто сидит на ступеньках алтаря (среди них, кстати, был и Вольф Бирман[1]), после чего остановился перед первым рядом. Поскольку страшные секунды молчания в самом деле чересчур затянулись и руководительница академии после множества призывов к публике и обычных беспомощных острот по этому поводу с горя обратилась к «знатоку Бёлля», чтобы тот сказал первое слово, к обычным для меня симптомам присоединилась дрожь во всех членах и необычайная, никогда прежде не испытанная пустота в голове. Все мысли бесследно улетучились, и уж какой центр управлял словами, которые исходили из моих уст, я теперь сказать затрудняюсь.

---

[1] Вольф Бирман (род. в 1936 г.) — известный поэт, исполнитель собственных песен, был лишен гражданства властями ГДР.

При этом я отнюдь не был неподготовлен. Если память мне не изменяет, Бёлль читал выдержки из своего романа «Глазами клоуна», который хоть и вышел шесть лет назад, но в ГДР из-за сатирических пассажей по адресу партийных функционеров от культуры не публиковался. Во всяком случае, Бёлль читал знакомый мне текст, так что, слушая, я уже мог сформулировать вопросы, которые ему задам, вопросы, которые не только предполагали интересные ответы, но и давали понять, до какой степени меня волнует его роман. И работа мысли, произведенная мной в преддверии этой страшной минуты, осталась не совсем уж без результатов. Я сумел упорядочить свои соображения о связи, существующей между читателем и писателем, и отобрал как основу для них четыре жизненных сферы, которые я обозначил словами: война, церковь, Кёльн и критика.

Бёлль был старше меня лет примерно на десять, так что не годился в отцы, не принадлежал к предшествующему поколению, а был скорее как старший брат, на собственном опыте познавший катастрофические жизненные обстоятельства моей молодости, разве что у него этот опыт начался раньше и длился дольше, он сознательнее его прожил и лучше продумал. Бёлля, очевидно, призывали в 1939 году, меня же приставили к зенитчкам в 1943-м, наполовину ребенком; подобно ему, я вернулся с войны ее противником, подобно ему, попытался освободить душу от потрясений, начав писать, только в отличие от него так и не сумел достичь цели. Как рьяный читатель, я внимательно следил за всем, что пишут о войне в последовавшие за ней годы, однако так и не смог отыскать в написанном военную действительность, какой испытал ее я, пока в руки мне не попали первые книги Бёлля и не наделили меня уверенностью, что я не так уж и одинок в своем восприятии. Может, я питал по поводу этих совпадений ложные иллюзии, а может, то, что я считал своим собственным, проникло в меня лишь под воздействием бёллевской прозы, но даже и тогда, как говорю я себе сегодня, все это осуществилось лишь потому, что ярко выраженные впечатления, произведенные на меня чтением Бёлля, и раньше жили во мне, хотя и неотчетливо. Вот и занимаясь писательством, я пытался походить на него. Будь рассказы о военных и послевоенных годах, которые я был тогда способен писать километрами, достаточно сносного качества, чтобы на них нашелся издатель, я бы просто предстал перед читающей публикой как чистой воды эпигон Бёлля. Но моя бездарность уберегла меня от этой участи.

Вторая сфера жизненного опыта, которая, как я полагал, у нас с Бёллем совпадает и о которой хорошо дискутировать именно в церкви, была сфера католицизма, увязанная для меня, применительно к творчеству Бёлля, не только с проблемами веры, но и с проблемами эстетики, преклонением перед Девой Марией, любовью и браком. Правда, рейнский, критический католицизм Бёлля был не похож на тот, что я усвоил себе в берлинской католической диаспоре более как охранительный, зато католический запах родного хлева, который не только витал у Бёлля в описании событий, но и овевал весь его язык, был похож на мой, а потому казался родным и близким. Вот и из этой сферы могли вытекать вопросы, не грозившие показаться ему трафаретными, как, например, вопрос о чистоте его героинь, которые, даже опустившись, напоминают святых, или вот еще: была бы его критика по адресу церкви другой, доведись ему жить здесь, на Востоке, в сугубо атеистической стране, и если да, то в чем именно другой?

Третья родственная сфера, которая представлялась мне пригодной для дискуссии, не совсем четко подпадала под рубрику «Кёльн». Лично я никогда не бывал в Кёльне. А то обстоятельство, что предки моей семьи некогда прибыли из этих краев, слишком далеко отстояло во времени, чтобы играть для меня сколько-нибудь значительную роль; о самом же городе я не знал ничего, кроме того, что стоит он на Рейне, что он славен своим знаменитым собором и не менее знаменитым карнавалом, что раньше в нем усердно подвизались гномы и — конечно же — что это родина Бёлля. Словом, мое краткое перечисление отнюдь не подразумевало реальный город. Скорее это было то применение, которое Бёлль нашел для родного города в своих произведениях, его неразрывная связь с ним, его любовь к нему, не только не исключающая критические слова в его адрес, но и требующая таковых, его преданность, проявляющаяся в том, что он снова и

снова делал Кёльн местом действия своих произведений и, следовательно, — в глазах всего света — литературным ландшафтом, сообщая ему вторую, более высокую реальность. Созданный им Кёльн выступает заменой всех остальных городов. Как читатель я мог бы без малейшего труда переместить его обстоятельства в свои, ничуть на них не похожие, а как писатель мог бы с чистой совестью использовать в подражание Бёллю все места, любезные и милые моему сердцу, — вот и его критику по поводу путей развития Западной Германии послевоенных лет я воспринимал как идеальный образец критики в адрес другой части немецкого государства.

В дополнение к этому разделу моих размышлений я мог бы потом спросить у него, не считает ли он, подобно мне, обхождение ГДРовских цензоров с его произведениями ребячеством, поскольку они угадывают в его материале лишь первый план, а отнюдь не позицию автора, являющую собой достойный подражания образец неподкупности. Они приветствуют и публикуют любую критику в адрес Запада, но незамедлительно принимают меры, если критика адресована недостаткам, имеющимся на Востоке, хотя превращать автора в модель сопротивления для них куда опаснее. Брать пример с Бёлля в этой части Германии — так мог бы я у него спросить — не значит ли говорить правду здешним властителям вместо того, чтобы возносить им хвалу? Но то, что я в результате все-таки сказал, прозвучало гораздо безобиднее, непонятнее, а главное, значительно длинней.

Словом, в тот вечер я нимало не походил на героя. Героям едва ли знакомо это унизительное состояние тела и духа, виной которому была не только близость высокочтимого, не только отсутствие навыка публичных выступлений, не только переполненная церковь, но и обыкновенная трусливость. Преклоняться перед Генрихом Бёллем, избрать его образцом для подражания, вступив в ту область личной ответственности, где соприкасаются литература и политика, требовало — как я понял в эту минуту душевного смятения — гораздо больше сил, чем было у меня. То, что я все-таки сумел из себя выдавить, было легковесным, неспособным причинить политический урон, было не собственным мнением, а где-то вычитанными расхожими мыслями. Упрек в приверженности обывательскому и традиционному, который уже неоднократно озвучивали адепты современности у нас и классовой борьбы — у них, тоже должен был прозвучать из моих уст, замаскированный под вопрос, но прозвучали лишь жалкие обрывки. Ибо вопрос, как реагирует автор на причитания рецензентов по поводу этого вечного маленького человека и вечного Кёльна либо Бонна, вопросом так и не стал, поскольку состояние моего духа позволяло мне исторгать из себя лишь цепочки слов, которые даже при наличии доброй воли нельзя было принять за законченные фразы, а еще поскольку я затерялся в бескрайних просторах, где при всем желании уже нельзя отыскать главную дорогу с вопросительным знаком в конце. Это был бессмысленный побег невменяемого слепца. Но окончательно я забуксовал, лишь когда услышал собственный голос, повествующий о Шекспире, не ведая ни сном ни духом, как меня туда занесло и как мне теперь оттуда выбраться; попытавшись же осуществить эту задачу с помощью Сервантеса, я услышал раздающийся с хоров смех, который хоть и мог еще напугать меня, но уже не мог остановить мой безумный бег, разве что ускорить — пока не началось тихое шиканье, оно становилось все громче и под конец сделалось откровенно злобным, что заставило меня приостановить судорожные поиски конца, увенчанного вопросительным знаком.

Публика пришла слушать Генриха Бёлля, а не скучать, внимая велеречивому придурку. Вдобавок она заподозрила в услышанном попытку совлечь дискуссию с политического пути. Ибо государство, кичась широтой своих взглядов, практиковало следующий метод: с помощью подсадных патриотов оно направляло мероприятия, которые уж никак нельзя запретить, в удобное для себя русло. Поначалу это делалось еще в крайне примитивных формах, так что люди вполне могли счесть мой жалкий лепет за такого рода попытку пустить разговор в другое русло. Потом уже для осуществления подобных задач подготовили много квалифицированных людей в университетах.

Единственным посетителем церкви, который терпеливо и благосклонно выслушал

меня, был стоявший непосредственно передо мной, дружелюбно улыбавшийся и одобрительно кивавший Генрих Бёлль: как раз в ту минуту, когда перед все крепнущей враждебностью толпы я окончательно капитулировал, сел и скукожился, он усмирил всеобщее недовольство и подробно, словно я и в самом деле задал ему вопрос, ответил на него.

Дальнейший ход дискуссии исчез из моей памяти. Потом, за стаканчиком вина, в узком кругу писателей и теологов, речь о том, как я опозорился, вообще не заходила. Я всячески старался не попадаться Бёллю на глаза, он же, с явным намерением заставить меня забыть о моем позоре, втянул меня в разговор. Он умастил мою душевную рану, заведя речь о том, что между нами было общего, а именно о знакомстве с одной москвичкой, которая переводила на русский язык как мои, так и его книги. О ней же, наделенной некоторыми забавными чертами, мы снова говорили три года спустя, встретившись на заседании ПЕН-клуба. Впрочем, даже если люди говорят просто о погоде, все равно видно, что они понимают друг друга и друг другу симпатичны.

Мое провальное участие в дискуссии Бёлль наверняка забыл уже на другой день, меня же мой позор мучил еще долго, пока я не сподобился свалить его на героя одного из своих романов, заставив того выйти на трибуну в непарных ботинках. Не очень складный получился символ героя, разрываемого жаждой правды и трусостью, впрочем, и у самого Бёлля символы тоже не всегда получались удачные.

Лишь вчера наездник гордый...

Легче всего избавиться от заветной мечты, воплотив ее в жизнь. Именно так я поступил с идиотским желанием обзавестись лошадью, а поскольку вместо одной лошади почти, можно сказать, без моего вмешательства получилось целых три, вместе с желанием иметь лошадей очень скоро меня покинула и радость обладания.

Пробудили же во мне это желание не спортивные, или зоологические, или, скажем, сельскохозяйственные интересы, а литературные влияния, особенно со стороны Карла Мая. В основе трогательного описания лошадей у него, надо полагать, лежал все тот же недостаток знаний, который помог ему создать живописнейшие картины пустынь и прерий; потому они и получились столь сказочными, эти быстрые и все понимающие волшебные кони, на спасительную верность которых мог положиться всякий, кто наделен добрым сердцем и отвагой. Скачка по прериям, волнисто распростершимся до самого горизонта, для меня, десятилетнего горожанина, чье знакомство с животным миром ограничивалось канарейками и белыми мышами, стала прекраснейшей мечтой, которая поздней, в более зрелом возрасте, готова была ограничиться поездками в карете, о чем мы можем прочитать у Тургенева или у Штифтера. А роль внелитературного искушения сыграла врожденная любовь к естественной красоте, находившая высокое наслаждение в созерцании мчащихся лошадей, и потребность землевладельца оживить пустошь, его окружающую.

До того как стать коневладельцем, мне нечасто доводилось сталкиваться с лошадьми. Школьником, мобилизованным на уборку урожая в Померании, я должен был запрягать двух гнедых для хозяина, а порой, во время пахоты, мне дозволялось вести их под уздцы. Когда мы бежали от русских, моей задачей было поить и кормить лошадей, тащивших обоз с графским добром. В тот короткий период моей жизни, когда я был сельскохозяйственным рабочим, мне приходилось утром и вечером возить на телеге, запряженной одной лошадкой, молочные фляги до выгона и обратно. Став сельским учителем, я любовался великолепным зрелищем, когда коней выгоняют на пастбище. Однако искусством моих школьников, которые скакали верхами без седла и без узды и падали, не нанося ни малейшего ущерба своему здоровью, я овладеть так и не сумел.

Много десятилетий подряд мечта обзавестись собственной лошадью оставалась столь же нереальной, как и мечта обзавестись семимильными сапогами. Но когда я, уже сорока пяти лет от роду, привел в обитаемый вид свой лесной дом и начал раздумывать над

тем, как бы сделать так, чтобы у меня было достаточно времени писать и не спешить с публикацией ради хлеба насущного, воплощение мечты о лошадях вдруг предстало передо мной как некая гарантия безбедного существования. Претворение в жизнь детских грез вдруг обернулось необходимостью, как несколько ранее писание книг превратилось из любительского занятия в профессиональное. Разводя лошадей, можно на этом зарабатывать, немного правда, но ведь много мне и не надо.

Исходный импульс я получил от одного крестьянина по фамилии Леман, с которым познакомился в самые первые дни, почти сразу после русских маневров, и который очень помог мне, когда я переходил к оседлому образу жизни. Он был человеком, способным на личную инициативу, и насильственная коллективизация скорее пошла ему на пользу, чем во вред. Первый раз я встретил его между холмов за рвом, где он пытался осушить заболоченный луг, использование которого для нужд сельскохозяйственного товарищества сочли нерентабельным. Ему нужен был корм для коров, которых он снова завел после обобществления предыдущих. На мой вопрос, не слишком ли для него тяжело начинать все по новой, он, пожав плечами, сказал в ответ то, что я уже знал от своей матери: «А что тут поделаешь, не бросать же», после чего очень мне угодил следующим примером из истории: «Вы, верно, слышали про Тридцатилетнюю войну, когда солдаты опустошали поля и угоняли скотину, и так каждый год, так вот если б люди тогда не захотели начинать по новой, здесь бы все одичало, да и нас бы с вами не было».

Он многое знал об истории нашей мельницы, он возмущался тем, что пашни и луга вдоль рва из-за полного равнодушия со стороны товарищества заросли ольхой и превратились в залежное неудобье, а еще он сказал — и это заставило меня навострить уши: земля здесь хоть и никудышная, но овцы или пони вполне могли бы на такой прокормиться.

Вот тут я расхрабрился и поведал ему о своих заветных мечтах, и хотя сам господин Леман не испытывал к лошадям особого интереса, а если о чем и мечтал, то скорее о тракторе, который много сильней, чем лошадь, планы мои он одобрил и начал помогать мне — сперва советом, а потом и делом. Вокруг лежало немало бросовых земель, которые можно использовать под пастбище. Деревья для ограды можно нарубить в лесу, принадлежащем лично господину Леману, а упряжь еще валяется на многих сеновалах. Самые необходимые знания я должен получить из специальной литературы, но в литературе такого рода ощущался большой недостаток, как и в бананах, бумаге для машинки и стройматериалах, так что и теоретическая подготовка основ моего бытия осталась весьма убогой. Я подписался на журналы для земледельцев и держателей мелкого скота, дабы на основе публикуемых там объявлений составить себе представление о состоянии рынка, и в результате пришел к благоприятному выводу, что разведение пони и карликовых лошадей нынче входит в моду. На велосипеде я объездил весьма немногочисленных в наших краях коневладельцев, но не обогатился опытом, потому что знал слишком мало, чтобы задавать умные вопросы. Вдобавок они держались с незнакомыми очень недоверчиво и пуще всего темнили, когда разговор заходил о ценах, ибо опасались, что их цены могут войти в противоречие с законом. Конеторговля — это была сфера серого, я бы даже сказал — черного рынка. Короче, когда я дал в газету объявление, что хочу купить лошадь, у меня было туго не только с финансами, но и с пониманием финансовой ситуации. Произведенная вслед за объявлением покупка наглядно о том свидетельствует.

Перед этим еще имела место достаточно долгая пауза, чтобы мне образумиться, если бы, конечно, мой разум бодрствовал, — но для одолевших меня восторгов она сработала всего лишь как призыв не торопиться. При первой же моей попытке освоить верховую езду под руководством опытного наставника лошадь сбросила меня на полном скаку, причем, поскольку я еще не научился профессионально падать, дело кончилось переломом обоих запястий. Но когда мне после этого порекомендовали выкинуть из головы все лошадиные идеи, я только отмахнулся закованными в гипс руками, еще более активно зашагал навстречу своей погибели и через полгода, когда срослись сложные переломы больших и малых костей, начал разъезжать где поездом, а где велосипедом по людям, предлагавшим на продажу коней во Флеминге и Хафельланде.

В мире наверняка еще не существовало другого лошадника, который так же мало смыслил бы в лошадях, как смыслил в них я, и так же мало, как я, способен был торговаться. Поддавшись на уговоры опытного барышника, который сумел произвести на меня приятное впечатление своим дружелюбием и поучительнейшими рассказами бывалого человека, я позволил развеять по ветру все мои сомнения, которые питал касательно подбора кормов и своей способности ходить за лошадьми, не попытался сбить явно завышенную цену и даже согласился на его условие либо вообще не покупать ни одной лошади, либо купить сразу три.

Когда на конном дворе неподалеку от Науэна, где, по слухам, любил отдыхать Генрих Гиммлер, мне продемонстрировали двух якобы жеребых маленьких кобылок и годовалого жеребчика, я, самому себе в том не признаваясь, сразу понял, что добром это не кончится. У меня, однако, не хватило моральных сил сказать «нет», я только испросил себе три дня на размышления. Но в ходе этих трех дней верх снова одержали заветные мечты, а разум, соединенный со страхом, заявил о себе, лишь когда лошади вечером того дня, утром которого я отправил телеграмму со своим согласием, уже возникли передо мной и лишили меня сна, потому что грозили опрокинуть забор, к которому их привязали, а меня к себе не подпускали. Стоило мне приблизиться к ним, как они прижимали уши, показывали зубы либо, молниеносно развернувшись ко мне кормовой частью, брыкались.

Весь следующий день у меня ушел на попытки с помощью воды, корма и доброго слова привадить к себе голодных, непоеных лошадей, что вскоре и удалось применительно к Рико, жеребенку, который в знак благодарности немедля лягнул меня в бедро, и Мони, кобылке с более кротким характером. Поскольку Рико вырвался и убежал и мне пришлось долго разыскивать его в лесу, когда я наконец загнал обоих в ограду и мог любоваться, как они мирно едят траву, был уже вечер. А вот Рози, это чудовище, продолжала бушевать, и так как привязали ее неподалеку от ворот, я теперь лишь с опасностью для жизни мог выходить с участка. Только господину Леману, который умел вести себя более решительно и вообще был сильней, удалось препроводить и Рози в лошадиный загон, и я мог бы наконец потешить свой взор видом вполне довольных лошадей, когда бы кобылы, которых жеребенок по очереди пытался использовать как родную мать, не были к нему до того безжалостны, что я уже всерьез начал опасаться за его жизнь. Желая отделить Рико, я сколотил для него маленькую сараюшку, где было недостаточно простора для движений. Но он сам себе добыл этот простор, вырвавшись, когда я вел его на поводу, так что я опять угрохал несколько часов, чтобы отловить беглеца.

Лошади объели всю траву на выгоне гораздо быстрее, чем я ожидал. Пришлось выходить из положения с помощью колышков, иными словами, привязывать их. Трава в пределах круга, из которого они не могли выйти, была в мгновение ока обглодана до голой земли. Я вечно хлопотал, перепривязывая их, я вечно боялся Рози, которая сперва пускала в ход свои зубы, чтобы размолоть предназначенный для подкупа кусок сахара, а потом, фыркая от ярости, демонстрировала их мне, словно я был не ее благодетель, а ее злейший враг. А уж сытыми и довольными эти три животины, которые привыкли к стойлу, а не к открытому содержанию, вообще никогда не были. С рассвета и до заката неумолчно звучало их злобное или взывающее к жалости ржание, и, пусть даже ночью они молчали, мне все равно чудились их укоризненные голоса. Вместо того чтобы писать, я вслушивался в ночную тьму.

В бросовых неудобьях, чтобы пасти лошадей на них, недостатка и впрямь не было, но все они пролегали узкими полосами по обе стороны рва, то есть были очень вытянутыми. Поэтому дорога к выгону становилась с каждым днем все длинней, и поскольку моя скотинка боялась воды и топи, а переходить через ров по мостику ли, без мостика ли они не желали, это зачастую вынуждало нас избирать кружные пути, где надо мной неизменно витала опасность, что вот сейчас они вырвутся и убегут.

Правда, боязнь воды вскоре перестала играть роль, но это объяснялось не тем, что лошади стали послушнее, а тем, что лето выдалось сухое и жаркое и все ручьи пересох-

ли. Ров, в котором поначалу хоть ночью была вода, теперь можно было перейти, не замочив ног, новая трава на выгоне не подрастала, молодые деревца приняли осеннюю окраску, да и на лугах, заросших ольховником, все зеленое вскоре пересохло. Мне приходилось за большие деньги покупать сено и оплачивать доставку, на кухне — то и дело работать ручным насосом, издалека таскать воду, которую порой выливала разъяренная Рози, обороняться от маленьких и больших злобных слепней, которые, разумеется, еще ужасней терзали лошадей. Лишь на ночь эти мучители забивались в свои щели.

Вдобавок мне пришлось заниматься строительством конюшни, которое частенько приостанавливалось то за недостатком извести, то за недостатком железных балок, то, наконец, просто потому, что моим строителям, которые работали у меня лишь по выходным дням, обходились без электричества и, следовательно, мешали раствор вручную, обрыдла эта кишащая слепнями стройплощадка. А поскольку у меня решительно не хватало времени каждый день умолять их, чтобы они не покидали меня, они в конце концов бросили работу на полдороге, и я воспринял это равнодушно. А уж думать о том, что еще настанет зима и что лошадям тогда не обойтись без конюшни, мне в такую жарынь удавалось лишь с большим усилием. Мое воображение не заходило дальше возможной перемены погоды, и я полагал, что с наступлением дождливых холодов все мои проблемы будут разрешены.

Идея наплевать на отданный самому себе приказ выстоять и положить конец этой барщине явилась мне однажды сентябрьским утром, когда меня, как и каждое утро с тех пор, как я обзавелся лошадьми, разбудил самый первый лучик света, после чего я с удивлением отметил, что этот день почему-то не начался с протестующих конских воплей. Долина была погружена в тишину, как в долошадные времена, когда промежуток времени между просыпанием и вставанием, отведенный на мысленную подготовку к писательскому труду, приносил с собой много достойных идей. Конечно, эта тишина могла означать только беду, но чувства, которые она во мне пробудила, напоминали отнюдь не испуг, а уж скорей ликование или, по крайней мере, предвестник такового. Околели Рико, Мони и Рози, украли их или они вообще сбежали — во всяком случае, я от них избавился. Я мог еще немного понежиться в постели, мог мысленно расписывать предстоящие радости безлошадного дня, мог признаться в крушении своей затеи достичь независимости, которая в результате обернулась самой ужасной зависимостью от лошадей. Вместо того чтобы гарантировать мне возможность свободно писать, мое дорогостоящее приключение сделало писательство вообще для меня невозможным.

Все три лошади и впрямь куда-то исчезли. Учитывая их воинственный нрав, я не допускал, что их могли свести со двора. Поскольку все ограды были в полном порядке, лошади, надо полагать, через них перепрыгнули; может, их напугали кабаны, которые ночью рылись на лугу. На песчаной дороге, что вела к лесу, я сумел различить следы их копыт, но даже и не попытался идти по этим следам, а напротив, с аппетитом позавтракал, оседлал свой велосипед и уже через полтора часа сидел в поезде, идущем на Берлин.

Ни разу Государственная библиотека, в залах которой еще сохранились остатки прохлады, не была мне столь приятна. За последние месяцы я почти не продвинулся в своей книге о Жан Поле. Мне надо было как следует поработать со справочной литературой, порыться в каталогах, сдать заказы на книги. Уж теперь-то, если судьба не воспротивится, я быстро зашагаю вперед.

Мое предположение, что лошади навсегда для меня потеряны, нашло свое подтверждение вечером, когда я увидел перед собой пустой и молчаливый дом и выгон, но надежда, что имущество можно так вот просто выменять на свободу, рухнула уже в ближайшее утро. Два мальчика на велосипедах принесли мне известие, что мои беглецы находятся в деревне за пять километров отсюда. Возможно, в поисках конюшни, они сбежали в один из больших крестьянских дворов и теперь никого к себе не подпускают.

Во время часового перехода по лесу у меня на душе кошки скребли, но в деревне, где на встречу со мной уже собралось от двадцати до тридцати злорадствующих зевак, я постарался не выдать им свое душевное состояние. Я многословно и велеречиво выра-

зил свою признательность, изобразил бывалого лошадника, который поистине счастлив, наконец-то найдя своих лошадок, а поведение беглецов объяснил треволнениями побега. На ехидный вопрос, не следует ли, прежде чем я приближусь к лошадям, вызвать по телефону «скорую помощь», я деланно засмеялся и с бьющимся сердцем, забыв про обычные меры предосторожности, двинулся к этим иродам.

Им задали сена, но ел его только Рико. Мони и Рози стояли в самом отдаленном углу двора, где амбар смыкался с конюшней, и от возбуждения выглядели просто устрашающе. Я не забыл прихватить кусочки сахара, но, желая выглядеть полновластным хозяином своего скота, отказался от этого средства подкупа и приманки, выкрикнул голосом, который должен был внушить лошадям спокойствие, их имена, бестрепетно подошел поближе, и — о чудо! — они узнали меня, впервые, словно желая уберечь от позора, отказались от всяких проявлений агрессивности, покорно дозволили взять себя под уздцы и вывести мимо потрясенных зрителей к проселочной дороге, где сразу за кладбищем начиналась моя лесная тропинка. Рико без затей трусил сзади. Триумф мой был настолько велик, что я уже подумывал о том, чтобы использовать Рози как верховую лошадь, словом, попрощаться как «наездник гордый». Но потом я решил, что это значило бы злоупотребить их благосклонностью и уж слишком искушать судьбу.

С этого дня отношения хозяин — лошадь заметно улучшились, но на решение расстаться с ними это уже не повлияло, потому что забота о прокорме никуда не делась. Пересохшие луга даже после первого дождя, который сразу принес за собой холода, так и не зазеленели. На рассвете я порой с трудом отыскивал лошадей в густом тумане, а вскоре они начали по утрам покрываться инеем, словно кусты ольхи. Закупка кормов поглотила мои последние сбережения, отложенные на строительство конюшни. Итак, разлука стала неизбежной, но слишком растянулась во времени.

Объявление о продаже я сдал в газету сразу же после их побега, но поскольку газетной площади для публикации объявлений не хватало, как, впрочем, не хватало и всего остального, прошло два месяца, прежде чем оно было опубликовано. Заинтересованные лица, прислонясь к ограде, мерзли во время торговых переговоров. На Рико скоро нашелся охотник, а вот по-прежнему внушающие страх кобылы, чья жеребость у всех вызывала серьезнейшие сомнения, оказались неходовым товаром. Когда первый снег уже покрыл выгон, они были почти задаром проданы отважному хозяину трактира, который полагал, что он и с Рози справится без особого труда. Лишь от него я узнал, что в свое время заплатил за лошадей втридорога.

Бедный, но свободный, мог я отпраздновать Рождество и с понятной лишь мне самоиронией описывать потерпевшие неудачу попытки Жан Поля из книги «Озорные годы» овладеть навыками верховой езды. Поражение, которое я потерпел, попытавшись в дальнейшем жить на внелитературные доходы, мучило меня куда дольше, чем я мог предположить. На месте загона для лошадей возникли грядки, я же утешал себя «Кандидом», которого в ту пору очень любил. Ведь и тот, когда все его иллюзии пошли прахом, не стал заводить лошадей, а просто возделывал свой сад.

Строго секретно

Как я могу теперь прочесть в архивах госбезопасности, план завербовать меня в качестве осведомителя возник летом 1973 года, после чего претерпел множество изменений. Предварительно уже было собрано изрядное количество донесений от агентов, преимущественно обитающих в литературных кругах, где — о чем свидетельствуют взаимоисключающие характеристики — обо мне довольно мало знали. В то время как один агент сообщает, что человек я неконтактный и замкнутый, другой изображает меня личностью самоуверенной и общительной, а для некоего «Мишки» я и вообще психопат. «Андре», который, кстати, забыв о моем возрасте, приписывает мне поэтические пробы пера уже в рядах пионерской организации, хоть и знает, что я не слишком дорожу кругом знако-

мых, одновременно перечисляет людей, с которыми я едва знаком, как моих друзей. Высказывания о моем отношении к культурной политике партии не столь противоречивы: я-де с ней не согласен и стою на «пессимистических позициях», потому что не наделен идеологической стойкостью.

Ни один из них не называет меня «марксистом-ленинистом», но и врагом меня никто не считает, уж в крайнем случае — человеком, который заигрывает с реформистскими идеями и незначительные трудности, возможные даже и при социализме, сразу возводит в ранг мировых проблем.

По всем отчетам заметно, что ни один из авторов не хотел мне навредить, по каковой причине «Андре» заявляет, что обнаружил во мне «тягу к социализму», которая порой руководствуется чувством, порой же разумом. Даже информатор из «Миттельдойчер ферлаг», обвиняющий меня не только, как все остальные, в пессимизме, но и в отрицательном воздействии на редактора, остерегается обозначить мои критические высказывания, о которых он, естественно, не может умолчать, как антигосударственные или антипартийные; он описывает их туманно, как «скептические вопросы», на которые нельзя дать ответ.

Поскольку вербовщики, что вполне понятно, интересовались также и моими личными обстоятельствами, во всех отчетах неизменно фигурирует моя комната окнами во двор. Ее определяют как немыслимую, убогую, спартанскую или «сугубо антиоптимистичную», и лишь «Фридрих» не без остроумия замечает: «Это не обязательно свидетельствует о бедности или непритязательности, а может быть и просто причудой». Но вот о дружеских и любовных связях им ничего узнать не удается. Даже жители этого дома, которых тоже опросили, не смогли — или не пожелали — сообщить какие-то подробности, кроме того разве, что я никогда не собираю у себя гостей и очень аккуратно одеваюсь. «Брак его, — как предполагает «Андре»,— не лишен известного трагизма, но на эту тему он молчит, словно воды в рот набрал».

В конце августа четырехстраничное «Предложение об установлении контактов» было завершено. Автор его, унтер-лейтенант Грубиц, исхитрился составить из часто противоречащих друг другу агентурных отчетов, которые порой использовались дословно, завершенный портрет кандидата, вполне пригодный, на взгляд лейтенанта, для стоящих перед ним задач. Итак, отчет положительный, с точки зрения приведенных в нем деталей — даже приукрашенный, словно желание лейтенанта убедить начальство в правильности этого выбора водило его пером. Об отрицательном здесь зачастую умалчивают, положительное выделяют и приукрашивают. Так, например, составитель рапорта самым трогательным образом присовокупляет к заимствованным из одного отчета сведениям об уходе за больной матерью слова «с любовью и преданностью». Как сразу видно, он стремится возвысить своего кандидата, подчеркивая, например, правдолюбие последнего, каковое, по словам «Пергамона», не страшится ущерба для себя, чем обычно бывает чревато правдолюбие. Унтер-лейтенант создает в своем рапорте скорее идеальный образ. Он, кто получает жалованье именно за клевету, ложь и подтасовки, мечтает заполучить честного сотрудника, дабы тот по крайней мере ему и его начальству всегда говорил чистую правду.

Вторая часть рапорта не столь многословна. Она повествует о пользе, которую данный избранник способен принести, ведя тайные наблюдения за литературной средой. Далее — это уже третья часть — следует подробный план установления контактов, каковое, при наличии одобрения со стороны начальства, намечено на сентябрь. По причинам, о которых в рапорте не говорится ни слова, претерпевает изменения не только сама выдумка, свидетельствующая о моей якобы готовности к разговору, но и сроки. Операцию нельзя начать раньше, чем под Рождество. Проведена неожиданная беседа с кандидатом.

Вот до этого раздела я сегодня в состоянии читать свое досье с любопытством, интересом, порой даже не без удовольствия, но зато следующие страницы вызывают у меня усиленное сердцебиение и холодный пот, которые до сих пор омрачают мои ночи, когда

какой-нибудь непрошеный сон оживит в памяти мой позор. Даже при повторном чтении повторяются и страх и стыд, меня терзает недоверие к собственной памяти, которая в минувшие годы, конечно же, постаралась многое приукрасить и оправдать. Не доведись мне прочитать материалы, я бы изложил этот эпизод совсем по-другому. Я бы с чистой совестью отнесся к себе более бережно, ибо кое-что из того, что меня угнетало, было мною сознательно вытеснено из памяти, а то и вовсе забыто. В своих воспоминаниях я и держался более стойко, и окончательное «нет» произнес куда раньше.

Итак, в декабре 1973 года меня в моей квартирке окнами на задний двор посетили два человека, изо всех сил старавшиеся выглядеть дружелюбно. Они предъявили удостоверения сотрудников госбезопасности и попросили уделить им время для короткого разговора. Они намеревались сделать крайне важное для меня сообщение, ибо мне грозят многочисленные опасности, предупредить о которых и входит в цель их визита; в конце концов, они для того и существуют, чтобы защищать своих сограждан.

Выглядели оба как классическая пара хозяин — слуга, известная нам по Сервантесу, Дидро или Карлу Маю; на роль Санчо Пансы, Жакоба или Халефа был определен унтерлейтенант Грубиц, невысокий, коренастый человек с неправильными чертами, который выглядел не столько как офицер, сколько как офицерский денщик, производил впечатление хитреца, но хитреца малость ограниченного. Основное внимание он уделял не столько мне, сколько своему начальнику, на которого смотрел снизу вверх, пытаясь заимствовать у того мимику и жесты. Право вести разговор он тоже передоверил начальству, сам же довольствовался тем, что утвердительно кивал или, словно эхо, подхватывал важные высказывания.

Капитан, представившийся как господин Вильд, был стройный блондин при галстуке, в кожаной куртке и до того загорелый, словно только что вернулся из отпуска с какого-нибудь южного берега. Он был не просто красивее и тщеславнее, но и интеллигентней, чем его коллега. Вежливого, сдержанного визитера он играл хорошо, но с натугой, как если бы лишь недавно и очень усердно выучил инструкции по общению. Чтобы не отнимать у меня много времени, он постарался быть кратким. Свое восхищение моими книгами он искусно примостил куда-то в конец беседы.

Подобного рода визит мог означать лишь угрозу или попытку вербовки, причем и то и другое — причина вполне уважительная, чтобы я разволновался. Ошибку, заключавшуюся в том, что я вообще впустил эту парочку, следовало прежде всего приписать моему страху, но заодно и полученному воспитанию, которое запрещало без всякой видимой причины отвергать вполне дружелюбных людей. Я решительно не способен в ответ на любезность вести себя агрессивно, и поскольку было бы просто глупо с первой же секунды обозначить себя как инакомыслящего, мне показалось разумней продемонстрировать готовность их выслушать, а уж потом, прежде чем оба гостя начнут вдаваться в детали, со всем доступным мне спокойствием заявить, что обо мне как об осведомителе и речи быть не может. Если же у них есть против меня какие-нибудь материалы, то разумней было бы вызвать меня к себе, чем наносить мне нежданный визит.

Господин Вильд счел себя глубоко оскорбленным, когда его заподозрили в том, что он явился с целями вербовки, подобный недостаток понимания, чего он никак не ожидал от «нашего автора», крайне его опечалил. Он явился как друг и защитник, явился, чтобы предостеречь и охранить, чтобы удержать меня от беззаконных поступков, а вместо благодарности ему платят обидным недоверием. Разумеется, вовсе не его учреждение, которое он всякий раз называл «органы», а именно противник желает меня завербовать для антигосударственной деятельности, причем разгадать их замыслы мне самому не под силу, потому что все это будет происходить замаскированно. К счастью, у них есть доверенные люди на Западе. Существует список, в первой строчке которого, то есть на самом верху, стоит мое имя. Поэтому они и вынуждены либо установить за мной слежку, либо предостеречь меня. Но поскольку они считают меня вполне лояльным гражданином и, если честно признаться, не хотят тратить средства и усилия на надзор за мной, для них предпочтительнее второе. Надежда врага установить со мной контакт питается, вероят-

но, тем обстоятельством, что на Западе мои книги считаются оппозиционными. Исходя из этого ими будет подобрана и маскировка. Их человек выдаст себя за издателя либо за литературоведа, а то и вовсе выступит в роли посредника, который посулит мне публикацию на Западе.

Тут господин Вильд подошел к концу своего изложения. Он не пожелал задавать вопросы, он еще и еще раз извинился за вторжение и покинул меня, предупредив перед уходом, что сокрытие предполагаемой попытки установить со мной контакт карается законом. Только после Нового года, когда я, усталый и раздосадованный, вернулся домой после четырехдневной поездки в Швецию, он снова возник передо мной, крайне возбужденный, но не с целью выговаривать мне за то, что я протрепался коллегам о непрошеных визитерах, а с тем, чтобы сообщить, что попытки контакта должны были, собственно говоря, быть предприняты уже в Швеции и что теперь их следует ожидать со дня на день.

Все это выглядело вполне правдоподобно, поскольку во время поездки, совершенной по инициативе Министерства иностранных дел, при мне безотлучно находился спутник, который, хоть я и разругался с ним в первый же день, ни на секунду не оставлял меня одного. Тем не менее я считал всю эту историю с агентом выдумкой и не знал только, во что это выльется. Ведь на телефонные звонки я вполне мог отвечать язвительным «нет», сообщение Вильда, что он благодаря так ни разу и не названному западному источнику узнал дорогу к моему лесному прибежищу, принять за выдумку, а спустя несколько месяцев просто посмеяться над всем случившимся, когда бы полученное мною письмо не повергло меня в панику, поскольку вполне соответствовало их предсказаниям.

Разумеется, в ту пору я не мог догадываться, что защита от западных влияний отнюдь не входит в круг обязанностей моей парочки. Все их вынюхивание и выслеживание целиком адресовалось Союзу писателей, потенциальный осведомитель по имени «Роман», как меня окрестили эти люди, должен был подвизаться именно в писательской среде, и для этой цели уже было предусмотрено избрание меня в президиум Союза. А то обстоятельство, что я лишь изредка туда наведываюсь и лишь немногих там знаю близко, в агентурных отчетах не встречалось и, стало быть, не было известно. Зато в них говорилось о том моем свойстве, которое они обозначали как чрезмерную чувствительность, полагая, будто должны уважать во мне эту черту. По этой причине они и держали от меня в тайне свои истинные намерения и придумали некую вражескую угрозу, дабы тем легче сделать меня послушным, ибо, откажись я — и страх перед предполагаемыми последствиями оказался бы еще сильней. По первоначальному замыслу эта надуманная угроза, именуемая «легендой», должна была исходить от шпрингеровского издательства, журналисты издательства сделались по этой причине агентами, и уже рассматривалась возможность выпустить на сцену их лично, позднее этой затеей решили пренебречь, потому что данный путь не способствовал достижению истинной цели, а именно: заставить меня разговориться о всяких внутренних делах Союза. Тогда-то и родилась идея с фальшивыми письмами, рукописные наброски которых я тоже обнаружил в досье. Еще существует письмо полковника Хеблера, в котором он приказывает отделу М. «снабдить прилагаемое письмо марками и проштемпелевать: Мюнхен, 08.06. 1974, 19.00».

Письму, напугавшему меня, уже предшествовали два подготовительных, в подлинность которых я верил до тех пор, пока не обнаружил их черновики в моем досье. Все они якобы поступили из Союза свободных немецких авторов, который СЕПГ считала реакционным, реваншистским и особенно враждебным по отношению к ГДР. В первом вновь образованный Союз представлялся мне как общегерманский и извещал меня, что намерен принимать в свои ряды также и писателей из ГДР. Второе было поздравлением ко дню рождения, но решающим оказалось третье, с помощью которого они намеревались изловить меня, в чем и преуспели. В третьем письме мне сообщали, что журнал, издаваемый этим Союзом, намерен опубликовать один из моих рассказов, работу над которым я только что завершил и о котором на Западе еще никто не мог знать. К письму, где меня просили также и о личной встрече, была приложена точная копия рассказа якобы для внесения правки.

В одной из своих «оценок» кандидата в осведомители Грубиц со знанием дела рассуждал о его политической наивности — и не без оснований, к слову сказать, если вспомнить, что мне даже в голову не пришла мысль заподозрить их в фальсификации. Почтовый штемпель выглядел так же подлинно, как и реквизиты на почтовой бумаге, а тот факт, что западный отправитель самым загадочным образом обзавелся копией моего рассказа, лишний раз подтверждал наличие агентурной деятельности.

Поскольку меня тревожила мысль, что для нашей госбезопасности я, возможно, выступаю в роли подсадной утки, я тотчас написал, что не желаю ни встреч, ни публикаций, после чего последовали звонки из Мюнхена и Западного Берлина, в которых меня снова просили о встрече, для того чтобы разобраться в этих странных обстоятельствах, причем отнюдь не настаивали на встрече непосредственно у меня на дому. Теперь я уже не исключал, что вляпался в какую-то историю с тайными агентами. Так ли, иначе ли, наша госбезопасность наверняка знает об этом письме, поэтому я признался им, что получил такое письмо, и тем снова навлек на свою голову визит Вильда и Грубица.

Они брали это письмо негнущимися пальцами, они проверяли почтовый штемпель с помощью лупы и для предстоящего лабораторного исследования осторожно поместили конверт и само письмо в большой пакет. Разумеется, теперь они могли заодно узнать, кто, кроме меня, трогал это письмо и каким образом рассказ с провоцирующим названием «Лишение свободы» вообще попал на Запад, если не сам я его туда и переправил.

Чтобы снять это подозрение, пришлось нарушить молчание. Когда парочка удалилась, мне стало ясно, что я позволил себя допрашивать. Об агентах речи почти не было, зато много говорилось об антологии, которую берлинские авторы по инициативе Шлезингера, Пленцдорфа и Штаде намерились выпустить на свой страх и риск, без издательства и без цензуры, именно для этой антологии и был написан мой рассказ, и только у издателей имелась его копия. Но поскольку никто не делал тайны из этого замысла, а письма рассылали и идеологически выдержанным авторам, да и в самом Союзе об антологии много говорили, я ничуть не удивился, что допрашивавшие меня люди, на чьи вопросы мне следовало отвечать только «да» или «нет», осведомлены обо всем гораздо лучше, чем я. То обстоятельство, что в донесениях Грубица дело выглядит так, будто я предоставил им полный и последовательный отчет о замысле антологии, заставляет меня скептически отнестись и к прочим цитатам из отчетов разных осведомителей, возможно, там цитируют не того, кто говорит, а того, кто пишет.

В моем случае эти сомнения задевают только формальную сторону дела. Содержание же дает мне больше поводов стыдиться; ведь упомянутые факты я обнародовал сам, следуя желанию скрыть мои истинные взгляды и не быть уличенным во лжи. Правда, теперь я лишь с трудом припоминаю отдельные подробности своих показаний, но все, что там упоминается со ссылкой на меня, я тогда знал. Никаких тайн я не выдал, но зато подтвердил то, что уже и без меня знала госбезопасность, да еще проявил самую постыдную угодливость, изменив со страху самому себе.

Из актов следует, что тех, кто меня допрашивал, интересовали не столько факты, сколько проверка моей надежности. Просто ужасно читать сегодня, что они были мной вполне довольны. Все, что им уже было известно, я подтвердил в соответствии с истиной, а свои истинные мысли скрыл. Если бы речь шла только о маскировке в целях самозащиты, я, доведись мне уже тогда заглянуть к себе в досье, мог бы возгордиться плодами своего лицемерия. Но и отчаяние по поводу собственного поведения стало бы еще глубже, прочитай я тогда же у Вильда и Грубица, что мое доверие к деятельности спецслужб заметно возросло. И пусть я тогда не знал всего этого, меня охватил столь мучительный стыд из-за моей позорной слабости, что просьба хранить молчание могла с тем же успехом исходить и от меня, я ведь тоже был заинтересован в сокрытии своего рабского поведения.

Покуда мои тайнослужащие, не уведомив о том меня (и не заставляя расписываться под перечнем обязанностей, чего они, пожалуй, и не стали бы требовать от человека столь «чувствительного»), производили меня в осведомители и размышляли о вариантах упот-

ребления меня на этом поприще, я твердо решил прервать всякие с ними контакты, если, конечно, как я втайне надеялся, они не прервутся сами собой. Ибо, хотя я и не разоблачил легенду с фальшивыми письмами, мне стало ясно, что меня попросту хотят использовать как шпика. После того как недели и месяцы прошли без их обращений ко мне, я на радостях вообразил, будто этому позору пришел конец, причем я даже и не навредил себе своим отказом. Когда же звонки возобновились, я начал придумывать всякие отговорки и скрылся в бранденбургских лесах, где телефона вообще не было.

Радость обоих офицеров, получивших тем временем — как свидетельствуют официальные бумаги — повышение, сохранялась недолго, и не только потому, что я сделал попытку уклониться, но и потому, что поведение «Романа» в других вопросах тоже не соответствовало их идеальному образу. Он хоть и не отказался разговаривать с ними про самиздатовскую антологию, но не изъявил готовности, следуя заповедям Союза писателей, забрать у издателей свой рассказ «Лишение свободы», и даже прямое требование, с которым обратился к «Роману» его редактор от лица партии, не возымело успеха. При попытке воспрепятствовать западным экранизациям его романов усилиями различных издательств и прочих организаций «Роман» проявил демонстративную неуступчивость. Он был вхож в посольства западных государств, имел близких друзей среди тамошних дипломатов и журналистов, не дистанцировался от критических оценок его книг в западногерманских средствах массовой информации, принял приглашение на закрытое совещание евангелических епископов (о котором госбезопасность так ничего и не смогла узнать, кроме самого текста приглашения) и часто, пользуясь свободой в помещениях евангелической церкви, читал там отрывки из своих книг. В информации отдела госбезопасности, отвечающего за церковь, о выступлении автора в Евангелической академии (Берлин, Вайсензее) в июле 1974 года сказано следующее: «Основная мысль выступления заключалась в утверждении, будто лишь при свободе искусства от какого бы то ни было общественного давления можно выразить правду». Когда вышла в свет книга о Жан Поле, не только западные рецензии, но и машинописные копии отрывков текста, считавшихся опасными, попали в досье, а споры с издательством в Галле по поводу уступки прав в Западную Германию точно документированы копиями писем и справками от издательства.

Итак, с ходом времени обо мне накопилось множество негативных сведений, и лейтенанту Грубицу поручили в этом деле разобраться. Покуда я ошибочно предполагал, что усилия, предпринимаемые по моему адресу, приостановлены, он к февралю 1976 года разработал четырехстраничный «Оперативный план I», так как я прослыл «соорганизатором враждебных действий в политическом андеграунде». Так, например, информатор «Андре» должен был завязать контакты между мной и западногерманским журналом «Литфасс», чтобы выяснить, какую «идеологическую позицию» я займу, когда западная сторона призовет меня к сотрудничеству. Информатор-журналист «Роберт Шульц» должен был взять у меня интервью, чтобы таким способом вступить в разговор со мной, агент «Бюхнер» — выйти на меня через издательство «Ойленшпигель», «Миттельдойчер ферлаг» в ходе деловых разговоров — выведать мое мнение по актуальным событиям, а вот наблюдение за моей деятельностью в церквах и евангелических студенческих общинах возлагалось на тамошних информаторов. Уже существующее наблюдение за моей берлинской квартирой предстояло распространить и на мой «загородный участок», проверить соседей и завербовать их в качестве осведомителей. Товарищам, сидящим на телефонной прослушке, предлагалось докладывать обо всех разговорах с ФРГ. Но наряду с этим надлежало расширять и углублять легенду, которая «больше не является обязательной для «Романа», а ради упомянутой цели устроить ему непосредственную встречу с якобы сотрудником Союза свободных немецких авторов, сперва — на садовом участке «Романа», а две недели спустя — в Берлине.

Этим усилиям, реализованным лишь отчасти, не суждено было увенчаться успехом. Да и провозглашенный далее «Оперативный план II» так и не был разработан. Возможно, этому помешала суматоха, которая поднялась после того, как Вольфа Бирмана

лишили гражданства. Обоих господ мне довелось увидеть еще два раза, один раз — парочкой, когда они безо всякого успеха навестили меня за городом, и еще раз — каждого по отдельности: Грубица — как охранника, грозно размахивающего руками перед дверью Кристы Вольф, а элегантного майора — за беседой с функционером Союза писателей Хеннигером на ежегодном Книжном базаре.

Трагедия из-за проявленной мною слабости на этом и завершилась; но вот в моем досье к ней добавился фарс. Майор, у которого, вероятно, сохранились так и не использованные детали плана, лишившись автора, сам выступил в этой роли, сочиняя фальшивые донесения и заставляя «Романа» говорить их от собственного имени: сперва свести воедино факты, которые уже двумя годами ранее были использованы под девизом «самиздат», далее — как вершина майоровой фантазии — следовала «Оперативная информация 1291/76», где наиподробнейшим образом было представлено то влияние, под которое подпал «Роман», когда вздумал протестовать против изгнания Бирмана. Здесь уже выдумано каждое слово, каждый факт, здесь ко мне домой приходят коллеги, которые отродясь у меня не бывали, здесь я и сам посещаю артистов, которых видел только на сцене или на экране, наши разговоры, которых никогда не было, приводятся здесь в форме прямой речи. Поскольку вскрыть эту ложь было бы проще простого, она видится мне как жест отчаяния со стороны человека, на которого давят сверху. Возможно, для того чтобы ублажить свое начальство, напуганное размахом протестов, следовало рапортовать и о некоторых успехах, неважно откуда эти успехи взялись. Если верить пометкам об использовании, этот отчет дошел до самого министра и довел до его сведения выдумку чистейшей воды.

Вот и приводя отчет о нашей последней, состоявшейся в лесу встрече, майор доказывает свою способность к сочинительству, хотя и в меньшей степени. Отказ впустить их, сделанный мною прямо у садовой калитки (с той минуты, как оба подъехали, а я возмущенно сказал «нет», после чего они снова удалились), занял от силы несколько минут. Но в отчете этот эпизод превратился в небольшую новеллу и растянулся на несколько часов, поскольку визитеры якобы долго и тщетно звонили у дверей (в звонок, которого у меня никогда не было) и заняли «пункт скрытого наблюдения», дожидаясь, пока искомая персона наконец-то подъедет на своем велосипеде, а затем, во время прогулки по лесным тропинкам, наотрез откажется вести разговор, причем в уста ему — вероятно, чтобы оправдать неудачу — вкладываются слова о том, что он ждет одну даму.

После этого ко мне приставали еще и по телефону, но ни угрозы, ни «разогревание» остывшей легенды не заставили меня отказаться от моего «нет». Вильд, как он пишет далее, «вежливо, но недвусмысленно» предупредил меня о возможных последствиях моего отказа. «Вы еще об этом пожалеете» — таковы были последние слова, которые я услышал от него по телефону. Я был рад, когда все это осталось позади. И даже уверенность, что теперь я буду рассматриваться как вражеский элемент и находиться под наблюдением, не заставила меня изменить решение.

Впрочем, досье «Романа» продолжало пополняться, только теперь оно носило заголовок «Оперативный личный контроль».

Умершая тетя

Придумывание разных историй много раз служило мне добрую службу как средство против страхов и душевных терзаний. Пусть даже содержание рассказанного в уме не соотносилось с реальным терзанием, сочинительство означало для меня больше, чем просто способ отвлечься: острые личные проблемы либо независимо от меня перетекали в рассказанное, либо, уже сознательно, отыскивалась связь между тем и другим. Но чтобы вставить личное в выдумку, его приходилось крутить, вертеть и придавать ему другую форму. Тогда в случае удачи получалась вещь, существующая уже вне меня.

Тот факт, что в день высылки Вольфа Бирмана, иначе говоря 17 ноября 1976 года, я

находился за городом и ехал на велосипеде, имел непосредственное касательство к очередной попытке подобного самоисцеления. После известия о том, что Вольф Бирман лишен гражданства, я не мог заснуть и уже среди ночи встал с постели, приняв решение использовать день, когда я вряд ли смогу сосредоточенно заниматься литературной работой, для того, чтобы навестить свою бранденбургскую родню, а заодно осмотреть место, где было убито главное действующее лицо истории, размышления над которой и помогли мне скоротать бессонную ночь.

Теперь, задним числом, я понимаю, что эта велосипедная прогулка под моросящим дождем, самая живописная часть которой провела меня по берегу с XVIII века превращенной в канал речушки Нотте, где давно уже не ходят суда, больше пошла на пользу самоутверждению, чем задуманному рассказу: ведь я еще и потому так близко принял к сердцу дело Бирмана, что оно снова и снова показало сомнительность моего собственного поведения.

Судя по всему, изгнание Бирмана, репрессии против Роберта Хавемана[1], которого я лично не знал, и против Райнера Кунце, с которым меня связывала мимолетная дружба, свидетельствовали о том, что начинается эпоха репрессивной культурной политики, когда мои тактические уловки, состоящие из вечных метаний между ролью попутчика и дистанцированием, вероятно, в будущем станут невозможны. Размышляя о примере с Бирманом и с Кунце, я колебался между видениями героического протеста и ночными кошмарами, которые завершались запретом на профессию и арестом. Я укорял себя за то, что упустил возможность сбежать, я мечтал о бесцензурном творчестве в Западном Берлине или Гамбурге и одновременно находил бессмысленным побег из краев для меня родных, когда моей жизни ничто не угрожает. Я гордился своей способностью выдержать, несмотря на весь нажим, и я же презирал себя за свою инертность, которая, возможно, завершится провинциальным отупением. Покуда узкий канал, над которым смыкались голые ветви старых деревьев, с прусской прямотой выводил меня к церкви в Миттенвальде, во мне самом все было спутанным и неопределенным. Сосредоточенность на моем рассказе, может, и способна вытеснить смятение мыслей и чувств. Вот только насильственная смерть тетки, составляющая реальное ядро моей кладбищенской истории, поначалу не имела ничего общего с моими проблемами. Обе знаменитости городка Миттенвальде: Йорк, который из Тауроггена, и Пауль Герхард, пастор и поэт, — благодаря своим конфликтам с королем и курфюрстом были гораздо ближе к современности, но поскольку я знал про них мало подробностей и собирался не столько расследовать, сколько сочинять, я не стал воздавать им почести, а прямиком, через Берлинские ворота, проскочил городок насквозь.

Деревню, где еще и в семьдесят лет не утратившая прежней бодрости тетушка нашла свой конец, мои воспоминания сохранили в трех ипостасях: как райскую обитель юных дней моей матери, как интересный, но отнюдь не милый сердцу край, где я в детстве проводил осенние каникулы, и, наконец, как место жестокого преступления. Раем из материнских воспоминаний, который не смогло очернить в ее глазах даже старческое ослабление разума, был светлый деревенский мир 1910 года, к моему времени, то есть в тридцатые годы, уже явивший взгляду первые трещины, а к шестидесятым, когда и произошло убийство, окончательно изменившийся после земельной реформы и коллективизации. Каждый из этих трех этапов имел собственный запах. В рассказах моей матери пахло пивом стрелковых праздников и пожарных балов. В моих воспоминаниях, связанных с утомительной страдой на мокрых осенних полях, сохранился едкий запах горящей картофельной ботвы, а вот последний этап был отмечен запахом влажной, гниющей листвы.

Такой запах стоит на кладбищах в прохладные осенние дни, стоял он и на кладбище, которое мне не понадобилось отыскивать, поскольку оно расположено хоть и уединен-

[1] Роберт Хавеман — ученый, химик. За публичные выступления против СЕПГ был исключен из партии, уволен из университета, неоднократно содержался под домашним арестом.

но, но зато непосредственно у дороги, на одинаковом удалении от двух соседствующих деревень. Здесь пожилую даму, которая незадолго до сооружения стены покинула деревню, чтобы восемь лет спустя вновь посетить ее уже состоятельной гостьей с Запада, задушил неизвестный преступник, и лишь через два дня тело ее было обнаружено в помойной яме, с западными деньгами в сумочке и с драгоценными кольцами на пальцах. Странным образом, она ни одной живой душе не сказала, что собирается в сумерки побывать на кладбище.

Убийство так никогда и не было раскрыто, вся ближняя и дальняя родня, которая хоть и не занималась больше сельским хозяйством, но зато хозяйничала в трактире «У доброго друга», даже и спустя много лет при моем появлении не перестала ломать голову над этой загадкой. О покойнице все они отзывались без особой приязни, в то время как ее сестру, иными словами мою мать, любили и почитали. Они не понимали ни почему Эльза в свое время покинула деревню, ни почему снова сюда вернулась, ибо, хотя тетка была особой весьма болтливой, о себе она почти ничего не рассказывала. «Мы, — сказал мой двоюродный брат, который всю жизнь держался за подол своей матери, а потому и в шестьдесят лет откликался на уменьшительное имя Карлхен, — мы, видать, были для нее недостаточно культурные». Он недоверчиво ухмыльнулся из-за своей стойки, когда я начал что-то такое говорить про тоску по родине, которую я и сам наверняка бы испытывал, доведись мне с берегов Нотте и Нуте перебраться на берега Альстера и Неккара или к Тразименскому озеру.

Дело в том, что именно возле этого или какого-то другого озера, имеющего отношение к Ганнибалу или Гаю Фламинию, тетка, которая при случае могла и прихвастнуть, получила не то в пользование, не то и вовсе в наследство целый дом, потому что заобихаживала до смерти своего любовника, бывшего не только очень старым и очень богатым, но вдобавок и способным к благодарности. И может быть, вовсе не тоска по родине, а, как предположила моя мать, желание утереть всем нос заставило ее вновь навестить свою убогую родину. Может, ей хотелось замолить какой-то грех, может, ее возвращение и было связано именно с тем незнакомцем, который убил тетку как раз на могиле мужа. В свое время, вероятно затем, чтобы никто не заподозрил ее в задуманном побеге, она велела высечь на его могильном камне свое имя и дату своего рождения. А теперь вот к дате рождения прибавили и дату смерти.

Случилось это почти восемь лет назад, но сам Карлхен, и его дети, и его внуки еще толковали об этом так, словно все произошло лишь вчера, и таким тоном, словно Эльза сама во всем виновата. У нее нашлись враги и в нашей деревне, и в соседних тоже. Недаром она была в свое время не только веселая вдова, но, по слухам, еще и доверенное лицо крупных партийных деятелей, да вдобавок великая сплетница, чье бегство на Запад всех ошеломило. Поскольку убийство явно не было совершено с целью ограбления, причиной могла послужить или ревность, или сведение счетов. Кой-какие предположения люди строили, но мне так и не довелось их услышать. На конкретные темы здесь предпочитали не высказываться, потому что не знали моих политических взглядов, а еще и потому, что разговоры об убийстве западной немки, о котором не сообщила ни одна газета, в те времена для всех посвященных вообще были запрещены.

Я, со своей стороны, тоже не знал, каких политических взглядов придерживается Карлхен и его потомство. Когда я очень осторожно попытался узнать об этом, мне пришлось уже в который раз прийти к выводу, что люди здесь отнюдь не делали выбор между pro и contra, а просто говорили, что им велено, при полном отсутствии собственного интереса к политике. То, что писатель, даже если сам он думает по-другому, тоже обязан писать как велено, казалось им вполне естественным, а сопротивление с его стороны — совершенно бессмысленным. И результат получался такой, какой они видели на моем примере: мужику пятьдесят лет, и у него до сих пор нет собственной машины. Ведь и рабочий, чтобы хорошо зарабатывать, должен выполнять предписания, не должен выбиваться из общей массы, как осмелился этот, известный им по телепередачам Бирман, чья судьба их в общем-то не слишком волновала, потому как он и сам мог бы знать, что

бывает за наглое поведение. Да и то с ним обошлись куда мягче, чем обходятся с обычным пьяницей, который рассказывает анекдоты. Бирман-то небось угодил не за решетку, а на Запад. Другие жизнью рискуют, чтобы перемахнуть через стену, а он, видите ли, причитает, что ему не разрешают вернуться. Уж раз он так обожает социализм, помалкивал бы тогда в тряпочку, как нам и всем велено помалкивать. Небось купился на западные гонорары. Интересно, сколько ему отвалили, сто тысяч или целый миллион?

Подобные разговоры, которые мне приходилось вести не только с родственниками, но и с совершенно чужими людьми в моей деревне и в Центральном округе Берлина, хоть и действовали на меня угнетающе, но были весьма полезны, ибо разрушали иллюзию, будто выпячивание собственной потребности в свободе совершается, так сказать, от имени народа. Они, эти разговоры, к сожалению, заставляли образумиться, указывали на узкий круг единомышленников и под конец — на собственное «я» как на единственного распорядителя, которому, однако, недостает самодостаточности, ибо он повинуется только одному закону, заложенному в нем, независимо от того, кто этот закон издал.

Устремляясь в вечерних сумерках домой по туманным лугам и полям, я задавался вопросом: а был ли сам Бирман окрылен желанием своими песнями даровать массам язык? Я ведь не знал, что он думает по этому поводу. Ибо хотя я неизменно восхищался его талантом, его решительностью, его отвагой, но от встреч с ним уклонялся, и не только потому, что избегал конфронтации с государством и партией, которой искал он, но и потому, что не годился для его окружения. Я не был рожден борцом, подобно ему, не располагал достаточной силой, чтобы терпеливо сносить гениальность, выставляемую напоказ подобным образом жизни, не говоря уже о том, чтобы подражать ему, и, наконец, не мог стать для него подходящей публикой. Да, я восхищался его искусством, но восхищался с «если» и «однако», поскольку не разделял его мнение, что идея осчастливить человечество, испоганенная функционерами, сама по себе вполне хороша. Его кредо коммуниста-идеалиста своей наивностью смущало меня. Чтобы согласовать все это с моим искренним восхищением, я для себя решил считать все это соответствующей духу времени формой неизбежного бунта молодежи против филистерства социалистической республики. Он был очень мне симпатичен, но не настолько, чтобы мне из-за этого захотелось к нему приблизиться. Вдобавок я смутно подозревал, что его честолюбие ищет не столько друзей, сколько поклонников и почитателей. Вместо того чтобы сидеть у его ног, я предпочитал восхищаться им из задних рядов партера, где я хоть и присоединялся бы к бурным овациям, но при случае имел бы возможность недоуменно покачать головой, не рискуя его огорчить.

Поскольку мы жили недалеко друг от друга, встречались на улице, покупали книги в одной и той же книжной лавке и посещали выступления одних и тех же писателей, Бёлля, к примеру, в Евангелической академии, мы, конечно же, были знакомы, хоть и не обменивались никакими другими словами, кроме «здравствуйте» и «до свиданья». Лишь в книжном магазине на Фридрихштрассе, который хоть и был государственным, но фрау Марион вела его как частный салон, мы с ним разговорились. Как всегда лицедействуя, он обратил мое внимание на иллюстрированный томик, в котором Лотта Ульбрихт описывала визит своего высокого супруга в Египет, причем некоторые сцены получились у нее очень смешными, хоть она к тому и не стремилась.

Его предложение поговорить наконец друг с другом по-настоящему застало меня врасплох несколько лет спустя, во время одной из наших случайных встреч, и поскольку мы находились в двух шагах от его квартиры у Ораниенбургских ворот, я сразу с ним и пошел. На протяжении всего пути за нами следили люди из госбезопасности, которые под видом праздных лоботрясов целый божий день торчали на перекрестке, но отнюдь не ради Бирмана, а потому, что как раз напротив, на другой стороне Ганноверштрассе, находилось постоянное представительство Федеративной Республики Германии.

Наш разговор, для понимания которого необходимо знать, что этого поэта и певца вот уже десять лет запрещалось издавать в ГДР, что довольно давно ему запретили также публичные выступления, состоял всего из двух фраз, произнесенных с интервалом в один

час. Первая фраза звучала приблизительно так: «У меня есть несколько новых песен, которые я хотел бы исполнить для тебя», а вторая вот как: «Поздравляю, великолепные песни». Потом явилось несколько молодых людей, которым тоже предложили выслушать новые песни и которые — потому что их пришло много — могли реагировать с большим энтузиазмом. Я же, со своей стороны, получил возможность уйти.

Кёнигсвустерхаузен в этот ноябрьский вечер словно вымер. Тем громогласнее казался шум, стоявший в поезде. Солдаты, которым после увольнительной полагалось вернуться в Шторковские казармы, и рабочие после вечерней смены на Вильдауских фабриках решили поиграть в скат, а поскольку они во время игры пили пиво и на полную громкость запускали свои транзисторы, им приходилось надрывать глотку, чтобы их расслышали. Когда музыка, которую они не слушали, но которая была им явно необходима для душевного комфорта, прерывалась текстом, они переключались на другую программу, готовую и дальше ублажать их ритмическим топотом и громом. Ими руководил отнюдь не страх перед западными передатчиками, слушать которые после прихода Хонеккера к власти вообще больше не запрещалось, а просто нежелание получать информацию. Но порой, когда они прыгали с одной станции на другую без должного проворства, несмотря на весь шум и гам, удавалось различить некоторые слова. По-моему, я услышал имя «Бирман» и еще слово «протест» и поторопился вернуться в свою избушку, где у меня был приемник на батарейках. Электричество туда провели лишь десять лет спустя.

Уже на ночь глядя я наконец узнал, что, пока я пребывал на лоне природы и размышлял о своей мертвой тетушке, по инициативе Стефана Хермлина был опубликован подписанный двенадцатью писателями протест против того, чтобы Бирмана лишали гражданства.

Я тотчас поехал в деревню, чтобы позвонить оттуда Кристе Вольф, но меня с ней все никак не соединяли, тогда я поехал дальше, на вокзал, и примерно к полуночи добрался до Берлина. Я не питал ни малейшей надежды на то, что выдворение отменят, но по крайней мере я тоже должен был подписать протест, чтобы не прослыть сторонником правительственного решения. Вдобавок я полагал, что чем больше наберется подписей, тем трудней будет прибегнуть к санкциям.

Утром я провел множество телефонных разговоров: со Стефаном Хермлином, который, как выяснилось, не желает новых подписей, ибо отнюдь не намерен вызвать к жизни массовый протест, с Кристой Вольф и Стефаном Геймом, которые приветствовали мое решение, с аккредитованными в Восточном Берлине корреспондентами Немецкого агентства печати, еженедельника «Цайт», газеты «Франкфуртер рундшау» и, первый и последний раз в жизни, — с газетой «Нойес Дойчланд», где в ответ на мой вопрос, намерены ли они опубликовать у себя эти протесты, отвечали уклончиво, а просьбу поставить под протестом также и мое имя приняли к сведению без всяких комментариев. Для того чтобы выяснить некоторые детали, которые по телефону лучше не обсуждать, я пошел к Вольфам, к тому времени уже переехавшим из Кляйнмахнова и снявшим квартиру на Фридрихштрассе, неподалеку от Вайдендамбрюкке.

Перед дверью Вольфов стояло несколько человек, и вид у них был такой, словно им велено перекрывать доступ каждому желающему, впрочем, они ограничились лишь свирепыми взглядами и, расступившись, дали мне пройти. Я сделал вид, будто в упор никого не вижу, хотя прекрасно углядел среди неприятных лиц, обрамлявших узкий проход, одно знакомое, которое надеялся никогда больше не увидеть. Это знакомое лицо принадлежало господину Грубицу, его явно бросили на внешнюю службу в качестве устрашителя.

К Вольфам, знавшим всех и вся, с разных сторон, от разных фракций стекались новости, из новостей следовало, что руководство партии и государства напугано донельзя и что движение протеста, к которому присоединились артисты и художники, ширится с каждым часом. Государство, чью суть составляло насильственное единодушие, полагало, что для него смертельно опасно признать наличие противоречий: с 1953 года ничего подобного не происходило.

Росло и количество посетителей у Вольфов. Люди приходили, чтобы вслух заявить о своем протесте, чтобы справиться о положении дел на данную минуту или просто чтобы не оставаться наедине со своим волнением и растерянностью. Невзирая на присутствие агентов госбезопасности перед домом, настроение царило эйфорическое. Теперь уже речь шла не только о Бирмане, но о прорыве интеллигенции к независимости. Решающим было не содержание петиции, в которой старались избегать резких формулировок, а сам факт ее наличия. Люди впервые собрались во имя протеста. Это укрепляло самосознание, это очерчивало линии фронта. Пропасти между протестующими, с одной стороны, и преданными партии писаками — с другой, уже не суждено было сомкнуться. И сколько после этого ни просуществовала ГДР, определяющим для оценки каждого навсегда осталось его поведение именно в те дни: друзья и враги руководствовались им в своем доверии и недоверии.

Никогда раньше связь между индивидуалистами не была так сильна, как в эти часы. Люди еще не знали, как отреагирует партия, еще опасались самых тяжелых последствий, но именно эта неопределенность поднимала настроение. Если госбезопасность подозревала, что здесь, на втором этаже дома по Фридрихштрассе, 133, в кругу заговорщиков вынашивались дальнейшие планы, она заблуждалась. Мы больше походили на детей, которые чрезмерно расшалились, насладились результатами в кругу соучастников и пытались теперь громким смехом и бойкими выходками заглушить страх перед возможными последствиями. Мне ни разу еще не доводилось видеть Кристу Вольф такой раскованной и веселой, как в тот день.

Когда мы, примерно в полночь, покинули гостеприимную квартиру, нам снова пришлось протискиваться сквозь толпу наблюдателей в штатском. До стоянки на Рейнхардтштрассе, где многие сели в свои машины, нас все время окружали молчаливые амбалы. А вот путь до собственного жилья на Аугустштрассе я уже мог проделать в одиночестве, хотя утром обнаружил перед домом наружное наблюдение в машине марки «вартбург». Перед моим домом они простояли всего два дня, перед домами людей более именитых, как, например, перед домом Вольфов, — гораздо дольше, и хотя это обстоятельство меня отнюдь не обидело, однако, как мне вроде бы припоминается теперь, пробудило во мне понимание причин для обиды. Стремление человека к завышенной самооценке заставляет его порой радоваться тому «вниманию», которое оказывают ему властители или преследователи.

Наблюдение, о котором я говорю, имело целью всего лишь играть на нервах или запугивать с помощью угрожающих жестов. Перед теми двумя в «вартбурге» явно поставили задачу никоим образом не таиться, а, напротив, продемонстрировать и внушить объекту наблюдения: куда бы ты ни пошел, государственная безопасность всегда рядом. Они демонстративно провожали меня до библиотеки, к парикмахеру, к мяснику, а на следующий день — до вокзала, когда я ехал на встречу с читателями в Шёневайде, которая уже давным-давно была объявлена и, к моему великому удивлению, не отменена. Как в сказке про зайца и ежа, я обнаружил эту парочку в Шёневайде, где они уже меня поджидали. А когда, пройдя от электрички десять минут пешком, я достиг оговоренного места, господа со скучливым выражением уже были здесь. Потом их отозвали, поскольку задачу устрашения они выполнили.

С той же задачей утром того же дня у меня появились два истинных или мнимых сотрудника городского управления, дабы, больше моля, чем угрожая, выбить из меня обещание, что я, как и объявлено, выступлю на встрече, где буду читать отрывки из своей книги о Жан Поле, но о деле Бирмана — чтобы не произносить вслух это имя, они говорили так: события последних дней — поминать не буду, в противном случае мое выступление будет тут же прервано, что нанесет вред не только мне и организаторам мероприятия, но и нашим совместным усилиям по распространению литературы. Я пообещал им говорить исключительно о своей книге, если, конечно, вопросы читателей не заставят меня объяснить свою позицию, и, согласно отчету унтер-лейтенанта госбезопасности Рогге, в конце которого с удовлетворением сообщается, что «нежелательные дискуссии

не возникали» и что по окончании выступления так и не образовались кружки дискутирующих, сдержал свое слово.

Из страха, порождаемого ожиданием страшных штрафных санкций, у меня не сложился — как я того ожидал — рассказ о бежавшей в Италию за благополучием тетке, которую тайные силы принудили лечь под заранее подготовленный могильный камень в Бранденбургской земле, а, напротив, возник замысел совсем иного рода. В ту самую ночь, когда люди из госбезопасности ошивались у дверей дома, при прощании с Кристой и Герхардом Вольф мы, изощряясь в юморе висельников, завели речь о том, что нашим романам на современные темы не суждено в будущем одолеть рогатки цензуры, после чего я легкомысленно высказал следующую идею: лично мне на это наплевать. Чтобы пережить ледниковый период, я обращусь к сугубо бранденбургским и историческим темам, к недооцененным и забытым писателям, как, например, Шмидт фон Вернойхен или Фуке. Поскольку Герхард Вольф незамедлительно привел имена придворных поэтов Фридриха I, а также помянул и Анну Луизу Каршин, нами, уже когда я надевал пальто, со смехом обсуждался следующий вариант: Криста будет и впредь творить свои чреватые административным неудовольствием романы, мы же, занявшись изданием берлинско-бранденбургских писателей, будем зарабатывать мелочь на прожитье, уткнув так называемую опорную ногу в бранденбургский песок. Таково было самое первое упоминание цикла, которому предстояло почти на десять лет занять нас и для которого Герхард Вольф, при благоприятном стечении обстоятельств непременно ставший бы издателем уже смолоду, немного спустя придумал общий заголовок «Бранденбургский сад поэзии».

Отныне мои поездки восточнее Эльбы стали целеустремленными и деловыми. И поскольку благодаря счастливому стечению обстоятельств я обрел попутчиков в Катарине и Вольфраме, которые имели совершенно другую профессию, но Бранденбург знали лучше, чем я, да еще вдобавок располагали машиной, круг наших исследований заметно расширился. Нам удалось обратить зло во благо и взамен недоступной для нас чужбины тем доскональнее изучить родные края. Вместо Израиля или Америки мы довольствовались Ериховом в Альтмарке и Филадельфией под Шторковом.

С амвона

Протест против того, что Вольфа Бирмана лишили гражданства, был не только актом солидарности, но и попыткой участвовать в принятии политических решений, а тем самым — предвестником позднейших беспорядков, учиняемых на сей раз уже молодежью, которая хоть и не рисковала потерять так же много, как люди с именем, но зато имела больше причин опасаться, потому что, когда у тебя есть имя, которое годится для заглавных строк в западных газетах, это служит своего рода защитой.

Протестующие, или, правильнее сказать, подписанты, в большинстве своем не воспринимали себя ни как оппозицию, ни как группу. Они соединились именно для этой конкретной цели, не питая амбиций стать основой некоторого движения. Связал всех этих индивидуалистов протест против лишения гражданства, а отнюдь не против режима. Поэтому руководству страны не стоило больших трудов разогнать группу, которая по сути таковой не была. Достаточно было просто напомнить индивидуалистам об их собственных, индивидуальных интересах, причем и действовала власть сугубо индивидуально, избегая коллективных санкций. Благодаря этому дифференцированному подходу она подчеркивала и без того существующую разницу во взглядах, намерениях и предпочтениях, чтобы наказаниями и санкциями не породить новую общность. Когда карательные меры были завершены, выяснилось, что одни, не имевшие известности, сидят в тюрьмах либо пострадали с точки зрения финансовой и профессиональной, другие же, более или менее известные, всего-навсего лишились своих общественных постов, причем те из них, кто состоял в партии, тоже подверглись разному наказанию за один и тот же проступок. Тут были выговоры, строгие выговоры, исключения из партии, но ни одного исключения из творческих союзов. Злодеев просто выводили из состава всяких правлений.

Снисходительнее обошлись с теми, кто пусть и не полностью, но признавал свою вину и изъявлял верность партии, пусть даже этот раскаявшийся и не желал снять свою подпись под обращением. В партийных протоколах, которые стали теперь доступны, содержатся клятвы в верности государству и партии, казавшиеся мне раньше, когда до меня доходили подобные слухи, вполне извинительной ложью в целях самозащиты, и напрасно казавшиеся, как я понял тринадцатью годами позже, узрев скорбные физиономии по поводу кончины ГДР.

Поскольку многие из тех, кого так и не смогли подбить на изъявления преданности, вскорости покинули страну, здесь в малом масштабе, среди людей искусства, повторился процесс, который в большем масштабе уже имел место, когда строили стену: наиболее беспокойные, критически настроенные и политически активные люди поторопились уехать, ослабив тем самым внутреннюю оппозицию. То обстоятельство, что в ГДР явно не существовало антимарксистского сопротивления и страна десятилетиями числилась в самых преданных вассалах Советского Союза, объяснялось не столько немецким национальным характером, как о том часто говорили, сколько разделением Германии, всегда оставлявшим для свободолюбцев открытый путь на Запад. Однако после того, как ГДР окружили стеной, этот процесс естественного отбора прекратился. Не только люди с профессиональной выучкой, то есть вполне желанные на Западе, но и критические умы оставались теперь в стране, и поскольку с новыми поколениями подрастали новые бунтари и недовольные, государство, желая уменьшить давление изнутри, начало для собственного блага прибегать к высылке, давать разрешения на выезд и откупаться иным путем. Молодые же диссиденты восьмидесятых годов, не желавшие, чтобы их выпихивали из страны, а желавшие в ней жить, представляли для СЕПГ особую опасность.

Разрешение на выезд после 1976-го получали также те писатели и художники, которые после дела Бирмана не могли больше оставаться в окруженной стеной стране, с ее цензурой и интригами, или те, у кого не оставалось здесь никаких шансов для профессиональной карьеры. Поскольку государство радо было от них избавиться, им разрешали взять с собой все имущество, а некоторым, чтобы им не отказываться от гражданства и впредь свободно пересекать границу в обоих направлениях, выдавали долгосрочную многоразовую визу. То есть они, даже уезжая, сохраняли свои привилегии; наряду с огорчением это вызывало и зависть.

Реакция остающихся, как это всегда бывает, когда кто-то эмигрирует, оказалась чрезвычайно разнородной. Я не только вполне понимал решение, не приняв которого сам еще, быть может, когда-нибудь горько пожалею, я к тому же восхищался силой духа, необходимой для того, чтобы покинуть родное и привычное и начать все заново на Западе, пусть даже на немецкой земле, но все-таки в чужих условиях. Хотя утрата Германской Демократической Республикой своей репутации меня бы ничуть не огорчила, отъезд друзей и единомышленников причинял мне боль, потому что мое окружение все редело и редело. Другие, те, кто полагал единственно уважительной причиной отъезда угрозу для жизни, смотрели на происходящее другими глазами, считали это побегом от возложенной на себя ответственности, своего рода дезертирством. Критически настроенные социалисты, те, кто хотел увидеть лучшую ГДР и пекся о ее добром имени, приходили в отчаяние, поскольку государство, которое они в принципе приемлют, оказалось не способно удержать лучших людей и при этом даже не осознавало грозящего ему оскудения. Когда уезжала Сара Кирш, Криста Вольф и Франц Фюман рассылали обвинительные письма функционерам союза, писали протесты, о которых, впрочем, никто не узнал, ибо из-за «возможного злорадства врагов» их, по мнению Фюмана, не рискнули предать гласности. Чтобы примирить с ГДР «наиболее значительного немецкоязычного поэта», как называл Сару Кирш Фюман, следовало, и письма намекали на это, изменить некоторые обстоятельства, но готовности к перемене обстоятельств не проявил никто, даже и потом, когда Фюман уже прошел мучительный процесс утраты иллюзий, когда конец государства был уже близок.

Досаду пробуждала во мне реакция читателей. В письмах и дискуссиях многие из

них выражали свое разочарование в беглых авторах, особенно в тех, кто ранее считался высшей моральной инстанцией протеста, а теперь вот бросил на произвол судьбы своих читателей, для которых, к слову сказать, дверцу в стене никто и не приоткрывал. Все, что они, сидя на Западе, еще напишут про ГДР,— гласили читательские отклики — уже не будет иметь аутентичности лично пережитого, ибо они перестали быть товарищами по несчастью и превратились в сторонних наблюдателей, которым ничто не угрожает. На роль носителей передовой мысли, образца для подражания они больше не годятся, ибо и ранее, как можно было понять, люди восхищались не столько содержанием их критики, сколько храбростью, для нее потребной, что и превращало авторов в героические фигуры.

Против такой оценки я должен был возражать хотя бы из соображений самозащиты. До чего тяжко мне это порой давалось, особенно ярко показывает одно мое выступление в Дрездене в начале восьмидесятых годов, о чем я не раз вспоминал уже после распада ГДР, ибо выводы, сделанные мною в тот раз, я задним числом воспринял как первое свое столкновение с ГДРовской ментальностью, которой суждено было пережить самое Республику. После того как я выступил на так называемой «Берлинской встрече» восточно- и западногерманских писателей за введение альтернативной военной службы под названием «Социальная служба мира» (что, разумеется, в соответствующих бумагах было расценено как враждебно-негативное выступление), молодой пастор Воннебергер, который первым выдвинул это требование, пригласил меня выступить и принять участие в дискуссии в своей церкви в пригороде Дрездена. Для узкого же круга поклонников литературы на следующий день было назначено еще одно мое выступление, в центре, где инициатором выступал Культурбунд, что для меня, которому в последние годы разрешали выступать лишь в церковных помещениях, явилось полной неожиданностью.

«Культурное» начальство не меньше моего было удивлено, что автор, который накануне вечером собирается выступать в поддержку движения сторонников мира в церкви, на другой день выступит в государственном учреждении; чтобы исправить допущенную ошибку, оно надумало просто-напросто запретить до поры до времени второе выступление, но по указанию партийного руководства поступило умней. Запрет — так было сказано — только даст оружие в руки врага. Куда лучше, чтобы выступление состоялось, но чтобы публику на него не допускали, а входные билеты роздали заранее проинструктированным выпускникам партшкол.

Однако этот метод, именуемый в недрах госбезопасности «вызывать растерянность с помощью профессиональных неудач», здесь не сработал, потому что некий молодой и храбрый сотрудник поутру тайком пришел ко мне в отель и на совместной прогулке изложил мне волнующую предысторию моего выступления. Тем самым я был подготовлен к отсутствию интереса, но все же несколько обескуражен встретившей меня враждебностью и потрясен обилием глупых лиц. Хотя носители партийных значков заполнили зал лишь наполовину, других заинтересованных, поскольку они не могли предъявить билеты, в зал просто не допустили, чтобы оставаться в своем кругу. Метать в меня, согласно инструкции, враждебные взгляды, удавалось не всем, но демонстрировать скуку, которую они и в самом деле испытывали, при помощи сонных взглядов, кашля и скрипения стульев они сумели превосходно. Вот и соблюдать запрет улыбаться в забавных местах им тоже оказалось нетрудно. Я воспринял как свой триумф, когда какая-то женщина в задних рядах вдруг рассмеялась, позабыв про запрет. Но это нарушение осталось единственным, и даже в конце, когда так велико искушение по привычке немножко похлопать, ни одна рука не шевельнулась. Аплодисменты раздались несколько позже по адресу трех-четырех участников дискуссии, которые объявили прочитанное скучным, не соответствующим духу времени и пожелали для трудящихся масс другой литературы, более соответствующей запросам дня.

Партия могла быть вполне довольна ходом этого вечера, но и у меня он вызвал приятные чувства, так как после некоторого замешательства, испытанного мною сначала, дисциплинированные слушатели партшкол в дальнейшем больше меня тешили, чем пугали, а неприязнь, которую мне открыто дали почувствовать, вполне соответствовала

моей. Это был вечер четких разграничений, в противовес вчерашнему, в церкви, который, несмотря на успех, оказался не свободен от внутренней раздвоенности.

Наплыв в церковь был очень велик. Пришли в основном молодые люди. Мне ни разу еще не доводилось выступать перед таким количеством слушателей. Большая церковь, выстроенная в конце XIX — начале XX века, была набита битком не только внизу, но и на хорах. Люди стояли в проходах, сидели на ступенях алтаря. Мне пришлось подняться на кафедру и читать в резком свете лампы, похожей на прожектор, тогда как остальная часть церкви тонула во мраке. Человеческая масса, которую я не видел, хотя и ощущал ее напряженное внимание, приходила в возбуждение при каждой реплике, которую можно было счесть политическим выпадом. Вскоре я уже мог предугадывать, на какой пассаж отреагируют смехом, аплодисментами или шепотом, не без успеха старался, манипулируя паузами, тембром и громкостью голоса, вызвать несомненное одобрение, ощущал нечто похожее на власть над послушной толпой, но одновременно с неприязнью констатировал, что, наслаждаясь своим выступлением, я и сам становлюсь другим.

Восторг, с которым люди реагировали на всякую бунтарски звучащую фразу, зависел не столько от полулегального статуса нашего сборища, сколько от сознания, что мы находимся под надзором государства. Люди явились на встречу с писателем из политического, а не из литературного интереса и надеялись с помощью аплодисментов после запрещенных или двусмысленных слов выразить без особого риска свое мнение, которое обычно из соображений осторожности держали при себе. В этой смягченной осторожностью атмосфере бунта цитаты из Жан Поля о злоупотреблении властью или произволе цензуры обретали злободневное звучание и служили поводом к громким аплодисментам.

Вот и дискуссию, последовавшую за моим выступлением, тоже направляла политика, причем речь здесь шла не только об отказе от военной службы, но и об эмиграции писателей, к которой те отнюдь не были вынуждены угрозами, как это имело место в случае с Бирманом и Кунце. При этом связь писателя со своими читателями уподобляли связи пастора со своей паствой и врача со своими пациентами и требовали от него стойкости хотя бы ради чувства ответственности за других. Я заступался за своих коллег, которые всего лишь переехали из одной Германии в другую, и при этом с удивлением замечал, как восприимчивая толпа лишила меня в этом вопросе своей благосклонности. Нет, выражений неудовольствия не последовало — зато тягостное молчание и новые вопросы на ту же тему. Люди не были готовы принять на веру мое утверждение, что и уехавшие по доброй воле — тоже своего рода изгнанники, люди считали, что уехавшие бросили их на произвол судьбы, и, поскольку я старался оправдать этот поступок, разочарование начало распространяться и на меня — до тех пор, пока мой отрицательный ответ на прямой вопрос, не намерен ли также и я перебраться на Запад, не вызвал бурю долго не смолкавших аплодисментов.

Это был триумф, которым я не мог до конца насладиться, потому что не заслужил его. Он покоился на недоразумении, впрочем, я не нашел в себе ни сил, ни храбрости, чтобы прояснить его. К своему «нет» я собирался присовокупить «но», однако аплодисменты поглотили мое «но». Нет, должен был я сказать в завершение, я не намерен покидать ГДР. Но для этого имеется много причин, и та, которую подразумеваете вы, приводя свое весьма сомнительное сравнение со священниками и врачами, для меня, пожалуй, значит меньше всего.

Но после столь блистательного завершения нашей встречи я промолчал, я ушел как герой, каковым отнюдь не был, и вот сегодня я задаю себе вопрос: а к причинам, из-за которых я так и не покинул ГДР, не принадлежала ли с того самого дня и та, которую мне следовало отрицать более решительно? И в дальнейшем моя усидчивость отчасти несла в себе стремление задним числом отработать не заслуженные тогда похвалы.

В том же году мой верный наблюдатель «Андре» докладывал своему начальству следующее: «Он целиком и полностью плывет в фарватере тех сил внутри страны и за ее пределами, которые не проявляют ни малейшего понимания нашей культурной политики... Он всецело в руках у врага. Следите за ним!»

Мартинов день

Конец ГДР, каковой я для чисто личного употребления датирую открытием стены 9 ноября 1989 года, пробудил во мне сложный конгломерат чувств, среди которых, однако, преобладало ликование. Я, правда, не стрелял пробками от шампанского и не обнимал незнакомых прохожих, но все же и я с радостью наблюдал, как на только что открытых пограничных переходах это делают другие, и во мне тоже звучали победные фанфары, но только под тихий аккомпанемент более грустных мелодий. Как в счастье нередко льются слезы, так и нежданная радость смешалась с печалью, чему я поначалу пытался дать следующее объяснение: для тебя это все слишком поздно, ты уже слишком стар.

Поскольку миновало всего лишь несколько дней с предпринятой мною попытки оставить без внимания свой шестьдесят третий день рождения, это объяснение, казалось бы, лежит на поверхности, но и оно всего не объясняло. Досаду, что притаилась под ликованием, питали адресованные самому себе упреки за недостаточную активность в процессе освобождения, питала тревога, как бы заодно со свободой не высвободились глупость и злость, а еще своего рода скорбь разлуки. Скорбь отнюдь не по государству, которое держало нас взаперти и унижало, а по кругу друзей, возникшему под гнетом угроз и ограничений, теперь же распавшемуся. Это была одна из тех общностей, которые и породили на Западе мнение о большей человечности и душевности общественной жизни на Востоке. Мнение это не было ошибочным, но было поверхностным. Ибо речь шла о товариществе по несчастью, которое с окончанием несчастья и само кончается. Ведь даже высоко чтимая некогда фронтовая дружба сохраняется лишь до тех пор, покуда длится война. О ней можно вспоминать с благодарностью и грустью, но желать, чтобы она вернулась, не рекомендуется.

Как мученики цензуры, пытающиеся отвоевать хоть какой-то простор для мыслей, мы приходили друг к другу, мы были едины в своем отрицании гнета и не задавались вопросом, что будет потом. Ибо никто из нас не ожидал, что власть просто возьмет и уйдет. Наши самые смелые надежды ограничивались мыслями о реформах, даже видения будущего дальше этого не заходили. Единство Германии казалось химерой, а стало быть, даже и не обсуждалось, так что на ни разу, впрочем, не заданный вслух вопрос: кто, пусть даже и отвергая эту мечту как несбыточную, таит ее в себе? — я мог бы ответить лишь от имени одного человека, то есть от своего собственного.

Теория СЕПГ о двух немецких нациях с двумя немецкими культурами, из которых одна, помимо всего, еще и опережает другую на целый исторический период, не могла поколебать моего убеждения, что и после разделения государств единая нация продолжает существовать. Я не верил в возможность скорого воссоединения, но зато верил в устойчивость национальной культуры. Моя уверенность, что нельзя за десятилетия уничтожить созидавшееся веками, подтверждалась и тем обстоятельством, что ни стена, ни привязка к коммунистическому Востоку не привели к русификации и что взгляд ГДР, все равно — дружественный или враждебный, всегда был устремлен на большую по размерам и более свободную часть Германии. Теория разграничения, которую двадцать лет подряд снова и снова доказывали, возвышали до уровня догмы, зазубривали в университетах и школах, была в моих глазах не более как идеологически необходимой обороной; теперь же, как мне казалось, она испустила последний вздох под ногами демонстрантов и толп, пробивающихся через проломы в стене. Стремление к единству, которое, когда о нем заговорили вслух, перепугало многих, для меня служило лишь подтверждением того, о чем я и раньше догадывался, а именно, что под идеологической корой чувство общности законсервировалось, впечатление же, вызванное открытым признанием государства в своем экономическом банкротстве, его лишь усилило. Правда, я по-прежнему сомневался, возможно ли такое государственное объединение и желательно ли оно для европейской стабильности, но как-никак это желание переместилось в сферу осуществимого. Его можно было высказать вслух, не считая себя из-за этого фантазером. Было отменено известное табу, был отвоеван участок внутренней свободы, вдруг стал возможным

вывод, что вытеснение желаний обстоятельствами, которые представляются неизменными, принесло свои плоды.

Однако мое мнение разделяли далеко не все. Особенно в кругах интеллигенции встречались противники объединения, среди них — немало моих единомышленников, которые так же, как и я, отвергали диктатуру, однако были преданы государству и его идее больше, чем я, теперь же, когда правители уходили со сцены, провозгласили результат их правления достойным сохранения и открытым для перемен. Страна должна была превратиться в опытный полигон по созданию так до сих пор и не осуществленного синтеза социализма и демократии.

Подобным мечтам, которые я, имеющий опыт двух диктатур, вынашивать не мог, предстояло несколько недель спустя найти свое выражение в некоем «воззвании», но предвестники этого наблюдались еще до открытия стены, к примеру на встрече-протесте берлинской художественной интеллигенции в церкви Спасителя, где многие весьма чтимые мною коллеги грезили об улучшенном социализме и темпераментно рассуждали о «нашей стране», словно лишь за пять минут до развала государства обнаружили свою к нему любовь. Возможно, в ком-то еще говорила обычная осторожность. Возможно, как это бывает у супружеских пар, лишь при разводе вдруг стало ясно, чем каждый из них был для другого, или, наконец, из страха перед неизвестным люди предпочитали привычное и заученное с детства. Меня, во всяком случае, эта запоздалая идентификация больно задела. Она создавала непреодолимые противоречия, а подозрение, что другие не так уж и плохо чувствовали себя во время диктатуры, наносило удар и по уже распавшимся общностям. А еще, может быть, я просто был разочарован тем, что эти запоздалые объяснения в любви совершенно не соответствовали моему идеальному представлению о мыслях и чувствах освобожденных. В терпимом отношении к плюрализму позиций все мы, для кого доныне существовало лишь «за» или «против», отнюдь не преуспели.

Когда на другое утро после открытия стены, то есть 10 ноября, я, празднуя свободу на свой лад, посетил не переполненный Курфюрстендамм, а места моего детства, мне все время приходилось бороться с чувством нереальности происходящего, которое, верно, испытывали и другие люди, то и дело восклицавшие: «С ума сойти!» Ибо настоящих слов для того, что еще вчера казалось невозможным, пока не существовало.

За несколько лет до этого я покинул Центральный округ Берлина и для все более коротких наездов в столицу снял квартиру неподалеку от Варшауэрштрассе, в нескольких минутах ходьбы от пограничного перехода Обербаумбрюкке. Здесь, где пропускали только пешеходов, толчея хоть и не казалась столь ужасной, как на переходах более популярных, но все же была весьма велика. Еще существовали приграничные сооружения — бараки с турникетами, прожекторами, тесными камерами и узкими коридорами. Еще полагалось двигаться мимо окошечка поодиночке и предъявлять документы для отметки. Но контролеры были такие же довольные, как и контролируемые, всем своим видом они демонстрировали, что считают эти отметки бессмысленными, и все шло очень быстро, так что не приходилось долго ждать, пока перед твоими глазами возникнет мост и Шпрее, уже почти тридцать лет закрытая стеной.

Шли преимущественно молодые люди, к моменту сооружения стены их еще и на свете-то не было, теперь же они прорывались на чужую территорию, которая хоть и выглядела на городских картах белым пятном, но которую они благодаря телевидению мнили знать со всеми ее излишествами и модным блеском. Большие ожидания, написанные на лицах молодых людей, они пытались скрыть с помощью развязных реплик. Сегодня они демонстрировали пограничникам, перед которыми еще вчера были само смирение, до какой степени наглости могут дойти свободные граждане. Смутно предчувствуя, что на западном берегу они будут выглядеть бестолковыми провинциалами, здесь эти молодые люди вели себя особенно развязно и хвастливо.

Берег в Кройцберге с облезлыми фасадами и бедностью турецкой окраски наверняка был для них первым разочарованием, меня же все это вернуло в дни моего детства и подвело к банальному выводу, что скоро я войду в число тех, чей жизненный опыт инте-

ресен лишь историкам. Мои воспоминания, включая также воспоминания моих родителей, моих дедушки и бабушки, стали почти музейным экспонатом, они уходили в прошлое, к торжествам по поводу открытия этого моста, о чем рассказывала бабушка, когда мне было четыре-пять лет. Маленькая женщина, неизменно в длинных и черных платьях, была для меня неотъемлемой частью этого моста, как и кирпичные аркады, часть которых, хоть и поврежденная в войну, сохранилась до сих пор. Молодые же люди, устремляющиеся в сторону Курфюрстендамм, не удостоили мост ни единым взглядом. На меня в те времена производили глубокое впечатление зубцы и башни вильгельмовской эпохи; самого Вильгельма, любимого кайзера моей бабушки, и его сыновей с особо упоминаемыми во всех описаниях роскошными шлемами, я принимал за рыцарей и путал с королями и генералами на Кройцбергском памятнике. Но еще более прекрасные впечатления, чем эти ранние уроки истории, даровал мне парк Виктории, где я некогда собирал каштаны и желуди, это был запах гниющей листвы, который и по сей день во время осенних прогулок заставляет меня мысленно перенестись к подножию чугунного памятника работы Шинкеля.

Не только Кройцберг с его искусственным водопадом стал за минувшие годы заметно меньше, но и дома, дворы, парки моего детства в Брице. Шестнадцать миллионов, выпущенных на свободу, здесь можно было наблюдать только на сквозных шоссе, где автоколонны с ревом и вонью медленно продвигались по направлению к центру, а в стороне от этих шоссе стояла обычная тишина. Я прошел по тем дорогам, которые в детские годы приводили меня в церковь, в школу и к моим индейским охотничьим угодьям. Церковь Ангела Хранителя, где я хотел отдохнуть и вознести благодарность, оказалась заперта, я сел на скамью у деревенского пруда, я озяб, за спиной у меня стояла старая церковь, передо мной высился замок. Все прекрасно сохранилось, только выглядело более ухоженным, чем в годы моего детства, и в этот ноябрьский день оставалось безлюдным. Свежая окраска замка, заново вымощенные улицы, укрепленные берега прудов, знакомые мне хотя и в более естественном, то есть менее ухоженном виде еще с тех пор, когда я бегал здесь на коньках, а плакучие ивы склоняли над прудом свои ветви, сообщали привычной картине нечто искусственное, показное и тем усиливали впечатление нереальности, которое весь день не покидало меня. Казалось, будто за постижением новой ситуации разумом не поспевали ни чувства, ни ощущения. Имея опыт текущего столетия, трудно было представить себе, что немецкая история способна принять и счастливый оборот.

ГДР просуществовала еще примерно с год, но в моем личном календаре праздников именно этот день помечен как день ее конца, ибо тюрьма, где открывают двери и ворота, перестает быть тюрьмой. Второй раз в жизни на мою долю выпало счастье пережить крушение власти, которая сама себя провозгласила вечной. Пережить и тысячелетний рейх, и государственное воплощение целого исторического периода, включая долженствующую, по мнению Хонеккера, простоять как минимум сто лет стену, — согласитесь, это дает право ликовать. И пусть даже волшебство нового начала оказалось не столь мощным, как в мои девятнадцать лет, все равно интерес к тому, что придет, и к грядущим разоблачениям прошлого был так же велик. И снова возможность облегченно вздохнуть пришла на сей раз, благодарение богу, без разрушений и кровопролития, явилась результатом поражения, и снова граница между ликующими и скорбящими проходила не вдоль по государственной границе, а поперек через весь народ. Каждый день освобождения есть также и день поражения, и глава службы госбезопасности оценит это иначе, чем политзаключенный в Баутцене.

Окажись я уже тогда способен предвидеть, что впоследствии многие, разочарованные ходом истории люди определят всех восточных немцев как проигравших, как побежденных, я бы — поскольку не желаю, чтобы меня равняли с такими, как Мильке и Хагер, с главными цензорами и партийными функционерами, со стреляющими солдатами у стены и угодливыми судьями, — заранее почувствовал себя оскорбленным. Я выиграл на поражении, я оказался среди тех, кто в лучшем случае имеет право жаловаться на

собственные упущения, коль скоро он не намерен вступаться за интересы безработных и ни в чем не повинных жертв реституции. Сорок лет подряд я воспринимал ту, другую часть Германии, критической близости с которой я никогда не утрачивал, как более свободную, однако, прежде всего в силу своей привязанности к родным краям, туда не переехал и в конце концов все равно туда попал, не отрекшись при этом от тех мест, к которым прирос душой. Официально все произошло лишь одиннадцать месяцев спустя, но в это десятое ноября, в день немецко-немецкого братания, я уже мог на это надеяться.

Мой личный вклад в дело братания был более чем скуден. Ибо ввалиться в дом к бывшим соученикам, как я намеревался при переходе границы, показалось мне несколько бесцеремонным, а пожилой седобородый господин, который подсел ко мне на скамейку возле церкви и тотчас — уж и не знаю по каким признакам — опознал во мне человека с Востока, был так же мало расположен к изъявлениям восторга, как и я. Он был много меня старше, он лучше усвоил Библию, а поскольку он вдобавок был гораздо словоохотливее, я же не отказывался слушать, он, хоть и прозяб, как я, готов был еще долго сидеть со мной, не иссякни у меня в конце концов терпение. Мой собеседник, которому сроки, отмеренные завершающему теперь свои дни государству, напомнили о часто встречающемся в Книге всех книг числе сорок, явно страдал неспособностью удержать в памяти самые свежие впечатления, поэтому он, едва процитировав библейские строфы, где шла речь о сорока днях или сорока годах, вспоминал, что в Библии есть и еще подобные места, после чего цитировал опять то же самое, отчего мне уже было трудно снова и снова изображать удивление и восклицать: «Боже мой, до чего интересно!»

А какой вывод напрашивается из того обстоятельства, что и ветхозаветные скитания по пустыне, и дожди потопа, и пребывание в неволе, и годы существования ГДР — всё связано цифрой сорок, пожилой господин объяснить не мог. Он просто утверждал, что его открытие говорит за включенность нашей истории во взаимосвязи более высокого и глубокого порядка. И поскольку выслушивать такие мысли всегда приятно, я с ним соглашался.

Подобные мысли, связанные с цифрами и фактами, занимали меня и несколько позднее, когда толпы моих сограждан, получивших к тому времени кличку «осси», лавиной протащили меня по торговым улицам Нойкёльна и я сподобился увидеть свою старую школу, где мне когда-то раз и навсегда вбили в голову костяк исторических дат. Сорокалетние периоды, по которым обычно выстраивалась прусская история, подводили к мысли, что некоторые даты вообще способны воздействовать на ход истории. По этой причине каждый немец 9 ноября любого года в этом столетии вынужден опасаться очередных достопамятных либо роковых событий. А вот десятое ноября даже в детстве приносило мне одни лишь радости. Во-первых, потому, что это день моих именин, так как мое второе имя — Мартин, и 10 ноября я получал подарки от своих баварско-католических тетушек, хотя тягостными домашними церемониями меня не обременяли, во-вторых, потому, что в школе в этот день не было занятий, а вместо того справляли ежегодный праздник, причем посвященный не Альбрехту Дюреру, чье имя носила школа, и не Адольфу Гитлеру, что тогда тоже было в порядке вещей. Нет и нет, мы чтили Лютера и Шиллера, которые оба родились в этот день и которые для меня долго принадлежали к тому кругу, куда входят также Фридрих Великий, Шилль и Мольтке, а вместе с ними такие слова, как честь и геройская смерть.

Как совмещались эти слова и понятия со словами и понятиями из другой сферы, в которой я одновременно пребывал, мне сегодня кажется непонятным, но тем не менее я не могу припомнить, чтобы испытывал хоть какое-то моральное неудобство, приемля наряду с автором Нагорной проповеди — Лейтенского победителя[1], с Девой Марией — Орлеанскую деву, а святой Мартин, отдавший нищему половину своего плаща, был мне

[1] Лейтен — старое название деревни под Вроцлавом (Бреслау), где в 1757 году Фридрих Великий одержал победу над австрийцами.

так же близок, как Виннету или Дитрих фон Берн[1]. Позднее, когда геройская смерть лишь на волосок прошла мимо меня, не задев, и улица, где люди, получившие сугубо антикапиталистическое образование, восторгались теперь благосостоянием капитализма, уже носила имя Карла Маркса, появились другие исторические личности, которые мне хотелось бы почитать, к примеру Ганди и Альберт Швейцер, Кант, Вольтер, святой Франциск, Золя, Жан Поль или, скажем, Генрих Бёлль. Это был не столько поиск человека, которого стоило бы взять за образец, сколько поиск своей собственной сути, которую я должен постичь благодаря другим. Я хотел обнаружить родственное в почитаемых, но, так как наряду с родственным в них было и чуждое, не мог до конца отождествить себя с ними; это вело к способности понимать и противоположные позиции, это сберегало внутренние противоречия, как, например, противоречие между верой и просветительством, и не дало мне стать фанатиком или одержимым, так что теперь я даже оказался способен отыскать в той власти, которую принужден был терпеть сорок лет, нечто достойное похвалы, а именно тот факт, что, будучи вооружена до зубов, она сумела уйти без кровопролития, когда не могла далее скрывать свое банкротство.

В книжной лавке Бикхардта, где сорок пять лет назад я часами рылся в недоступных для меня по цене антикварных изданиях и благодаря Гёльдерлину сделал важное знакомство, скрипучая лестница все так же вела на антресоли. Вот и сегодня здесь царила благодатная тишина, ибо радостно возбужденная толпа, за спиной у которой якобы осталась читающая страна, безо всякого интереса катилась мимо книжных витрин. Я был уже достаточно опытным человеком, чтобы подавить свое разочарование по этому поводу, я припомнил старую политическую мудрость, согласно которой курица в горшке вполне заменяет духовную свободу, и попытался усмотреть в двух восточноберлинских студентах, которые спрашивали книги Вальзера и Энценсбергера, подтверждение моей теории о культурном единстве нации. Оба студента восторгались обилием заглавий, ужасались непривычно высокими ценами, пересчитывали еще раз свою валютную мелочь и, к моему сугубому удовольствию, в конце концов все-таки решились приобрести именно книги — а не один из тех дешевых транзисторов, которыми обзавелось большинство, чтобы вечером, возвращаясь на Восток в переполненном вагоне метро, запустить их на максимальную громкость и, заглушая этот рев, выкрикивать друг другу разные глупости, ради которых они прежде понижали голос. Итак, новая свобода помимо всего прочего возвестила о себе и оглушительным шумом. Обстановка на Обербаумбрюкке успела тем временем измениться. Не только турки воздвигли здесь временные павильончики, где возвращающиеся могли на последние гроши приобрести еще что-нибудь блестящее и совершенно ненужное. На краю набережной сидели довольные алкаши и болтали ногами, а молодежь рядком примостилась на перилах моста. На аркадах посетители вывели свои инициалы, снабженные датой. Надписи же, которые — одна подле другой, одна над другой — взывали к иностранцам, нацистам, красным и осси с требованием «вон!», появились лишь несколько дней спустя.

Перед пограничными бараками продавали жареные колбаски. В узких проходах со множеством поворотов, где раньше человек, потея от волнения, должен был сносить проверку багажа и личный досмотр, теперь вообще никого не останавливали. Окошечки были закрыты, но пограничники еще оставались на местах. Пирамидами из пивных банок они прижали к стеклу плакат. «Праздник трудового коллектива. Просьба не мешать!» — вот что было большими буквами написано на этом плакате.

■

[1] **Дитрих фон Берн** (Дитрих Бернский) — герой цикла готских сказаний. Прототипом его послужил **Теодорих Великий**.

Е. ЭТКИНД

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

О переводах французской поэзии: 1985—1995

Поэтический перевод — гордость русской литературы; он достиг высочайшего уровня в пору романтизма, когда Жуковский создал переводную поэзию, обеспечившую Шиллеру, Байрону, Уланду, Гомеру вторую родину в России. В XX веке искусство Жуковского продолжало жить и многообразно развиваться в творчестве таких мастеров, как Б. Лившиц, В. Брюсов, М. Лозинский, Б. Пастернак, С. Маршак, Н. Заболоцкий, А. Ахматова, В. Левик, Лев Гинзбург, Татьяна Гнедич, М. Донской, Э. Линецкая, В. Шор, И. Шафаренко, И. Чежегова. Расцвету переводческого искусства способствовала даже советская система: жестоко ограничивая оригинальное творчество поэтов, она заталкивала их в перевод.

В конце 80-х—начале 90-х годов наступил тяжелейший, небывалый еще до того кризис российской культуры. Рынок, не успевший утвердиться в экономике, не принесший населению страны ничего, кроме катастрофического обнищания, вдруг и мгновенно разрушил чудом сохранившийся храм Культуры. Художественный перевод пострадал первым и оказался едва ли не самой трагической жертвой новокапиталистического корыстолюбия. Издательства, прославившиеся публикацией замечательных переводных работ, либо исчезли, либо, если еще и сохранили призрачную жизнь, дышат на ладан; такова судьба «Художественной литературы», «Искусства», «Науки», «Прогресса», «Радуги» и других. Почти исчез институт редакторов, которые в области перевода играли важнейшую роль: они контролировали соответствие переводного текста оригиналу, пресекали всякое самоуправство, боролись с отсебятиной и беспомощным буквализмом, требовали оптимальных решений даже в таких случаях, которые казались неодолимыми трудностями. Коммерческие издатели, стремившиеся прежде всего к скорому и верному доходу, были заинтересованы не в качестве, а в быстроте исполнения и внешней эффектности. Стало выходить небывалое количество переводных романов в привлекательно пестрых, скандально кричащих обложках — убогие переводы убогих «триллеров», предназначенных для чтения в поезде. Рынок быстро насытился этим вздором. Однако книги-шлюхи продолжают нагромождаться на прилавках и столиках, соперничая друг с другом; побеждают в таком соперничестве самые бесстыдные, наглые, доступные, крикливые — в точности как дерущиеся за клиента проститутки.

Но за несколько десятилетий культура перевода пустила глубокие корни; их вырвать не может даже дикий рынок. Мастера уходящего поколения воспитали преданных учеников, знающих, во имя чего трудились их предшественники и трудятся они сами. Об этих учениках, из которых уже вырастают мастера, и пойдет речь ниже.

В Киеве родилось издательство, названное французским словом «Cartel». Почему? Может быть, основателям издательства вспомнились строки Пушкина:

> То был приятный, благородный
> Короткий вызов, иль *картель*:
> Учтиво, с ясностью холодной
> Звал друга Ленский на дуэль.

Или они имеют в виду «картель» как союз предприятий? Понять нельзя. Однако названия нынешних эфемерных издательств заслуживают специального изучения; среди них встречаются «Post-Scriptum», «Nota-Bene», «Vale», «Ладомир», «Ино-Пресс», «Водолей», «Terra», «Terra Fantastica», «Corvus», «Полифакс»... И еще тысячи — иноземных, русопятских, игривых, загадочных. Даже в этих названиях отражается современный разброд. В эпоху нэпа все было спокойнее: вспомним — «Время», «ЗиФ», «Academia», «Недра». Тогда не было ни «Протофакса», ни «Полифакса».

Вернемся к издательству «Cartel». Недавно, в 1996 году, оно выпустило две прелестные

© Е. Эткинд, 1998

книжки, переведенные с немецкого. Одна из них называется «Rainer Maria Rilke. Рильке в переводах русских поэтов». Другая — Франц Грильпарцер, «Праматерь». Спасибо за обе. Но на каждой из них лежит печать нашего безвременья. «Праматерь», пьеса Ф. Грильпарцера, была переведена А. Блоком в 1908 году, по предложению В. Ф. Комиссаржевской; «Cartel» воспроизводит текст Блока, предваренный предисловием переводчика и сопровожденный его же небольшой статьей. Имя переводчика — Александра Блока — названо только в выходных данных, там, где сказано: «Компьютерный набор С. Корнева». Почему не на титульном листе, не на обложке? Почему предисловие не снабжено датой? (Словно его кто-то написал для «Cartel».) Обложка красивая: голубая, а в центре — отличное фото скульптуры, изображающей некую богиню древнеафриканского племени. Какое она имеет отношение к Грильпарцеру, Блоку, графу Боротину, над замком которого тяготеет проклятье и по которому бродит тень некогда заколотой там праматери Берты? Читали ли издатели пьесу Грильпарцера? Скажу так: по отдельности все превосходно — обложка, набор, фото африканской богини; все вместе кажется плодом бреда.

Вторая книжка — «Рильке в переводах русских поэтов». Издатели заслуживают безусловной признательности за этот сборник, в который они включили впервые, в сущности, публикуемые переводы Александра Дейча (интересные), Владимира Маккавейского (удивительные) и Сары Мандельбаум (блестящие). Можно сказать, что в число русских переводчиков Рильке вошло еще два — а может быть, и три — ярких имени. Эта книжка тоже полиграфический шедевр: превосходная обложка, удачное оформление. Увы, недостатки и здесь бросаются в глаза: почему не представлен хотя бы несколькими стихотворениями Константин Богатырев, обогативший нашу поэзию феноменальными переводами Рильке? Почему нет хотя бы двух-трех переводов Тамары Сильман? В предисловии сказано: «...нам интересен не только Рильке-поэт, но и «русский Рильке» — Рильке в русском изводе»; верно (хотя я не понимаю слова «извод» в данной связи), но именно в этом случае надо было хотя бы упомянуть достойных предшественников. Справки о поэтах-переводчиках информативны и толковы, но... Но если бы у книжки был редактор, он бы спросил у комментатора, что означает сказанное о С.Мандельбаум: «Сложность и изощренность ее поэтического языка вызваны, с одной стороны, немецким воспитанием, с другой же — тотальной философичностью ее дискурсивной практики» (стр. 149). И вот что еще портит книжку: множество опечаток, главным образом в немецких текстах. Но и в русских тоже. В стихотворении о воскресшем Христе говорится о том, как он коснулся

> Женского, тяжесть понесшего
> Стойко, плеча...

— вместо «плеча» напечатано «плача», и смысл исчез. Увы, оглавление не передает состава: «Жизнь Марии» не входит в «Новые стихотворения» и состоит к тому же из многих стихотворений, не внесенных в оглавление.

В обоих случаях издания «Cartel» были бы безусловными удачами, если бы над ними поработал профессиональный редактор. Жаль, что они лишены редактора.

Рильке стал популярен в России; появилось несколько новых переводческих подборок, из которых лучшая — Константина Азадовского в журнале «Звезда» и гораздо более слабая — Вяч. Куприянова в странной «Рекламной библиотечке поэзии» (издательство «Голос»). На последней страничке этого буклета нас извещают о том, что книга переводов Куприянова из Рильке «готовится к печати *независимым* издательством «Конец века» и что она выйдет в свет «в начале 1993 года или в конце *независимого* XX века». Вероятно, это шутка? Но как ее понимать? Там же призыв «К общественности страны», где сказано, что «всеобщая коммерциализация» губит поэзию и что мы переживаем «геноцидный» для поэзии период. Все верно, но как худо выражено! Геноцид — убийство национальных, расовых или религиозных групп; образовать от этого слова прилагательное, да еще применительно к поэзии, нельзя. Где, где редактор?

За десятилетие 1985—1995 годов вышло множество новых переводных книг французской поэзии — пожалуй, больше, чем за такой же временной отрезок когда-либо прежде. Назову — в хронологическом порядке — поэтов, появившихся в новых переводах по-русски: Франсуа Вийон, Луиза Лабе, Никола Воклен-Дезивето, Сирано де Бержерак, Агриппа д'Обинье, Теофиль де Вио, Жан де Лафонтен, Пьер Корнель, Андре Шенье, Альфонс де Ламартин, Марселина Деборд-Вальмор, Альфред де Виньи, Огюст Сент-Бёв, Теофиль Готье, Поль Верлен, Артюр Рембо, Шарль Бодлер, Тристан Корбьер, Эжен Потье, Стефан Малларме, Гийом Аполлинер, Поль Валери, Макс Жакоб, Жак Превер. Здесь названо 24 поэта — на самом деле их больше. Это даже и количественно невероятное культурное явление! Подумайте только: в ту пору, когда хозяйство страны расшатано и пребывает в глубоком упадке, когда гонораров почти не платят (а если и платят, то какие-то чисто символические суммы),

когда бесчисленные издательства лопаются как мыльные пузыри, а за свой краткий жизненный срок стремятся выпустить как можно больше выгодных книжек, способных принудить массового читателя раскошелиться, так вот, в эту самую пору выходят трудные для чтения, иногда долго не поддающиеся расшифровке французские поэты от XV до XX века — среди них такие загадочные, как Малларме и Валери. Иногда высокий уровень наших переводов поэзии объясняли высокими гонорарами. В самом деле, в СССР и странах Восточной Европы платили гораздо лучше, чем на Западе, где стихи часто приравнивали к художественной прозе, а последнюю оценивали в три-четыре раза ниже, чем деловую, техническую, научную. Да, именно таковы варварские законы коммерции. Нередко рынок, игнорировавший искусство перевода, заставлял даже вполне благонамеренные издательства выпускать иностранных поэтов в прозаических (то есть фактически подстрочных) переводах. Автору этих строк удалось еще в конце 70-х годов сколотить коллектив поэтов-переводчиков, которые перевели на французский стихи и поэмы Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Катулла, Оскара Уайльда без всякой оплаты. Они это делали самоотверженно, неутомимо в течение многих лет — только из преданности культуре, из любви к поэзии.

Такое же бескорыстие явили их российские коллеги, не знавшие о подвиге французских собратьев. Что они зарабатывали этой своей труднейшей, незаметной, неблагодарной работой? Денег им почти не платили. Славу? Едва ли можно назвать славой узкую известность в узких кругах; ведь критики переводов не было и нет; даже такие признанные мастера, как В. Е. Шор, Л. В. Гинзбург, М.А. Донской, ушли из жизни, не увидев достойной критической оценки их творчества. Во имя чего же трудились (и продолжают трудиться) наследники двух-трех славных поколений — Лозинского, Маршака, Пастернака? Во имя культуры. Этот стимул оказался мощным, и мы его упорно недооцениваем. Ученики и наследники названных мастеров к халтуре не способны; платят им или не платят, прославляют их или вообще забывают печатать их имена на титульном листе — они делают свое дело. Язык и стих, любимый поэт-француз и взаимопроникновение русской и французской культур для них дороже денег, славы, признания.

Остановлюсь лишь на нескольких книгах избранного мною десятилетия, чтобы рассказать обо всех, надо написать целую книгу. Буду двигаться в хронологическом порядке.

Франсуа Вийон. Этот ярчайший поэт XV века и прежде пользовался у нас популярностью; в нашем веке его переводили И. Эренбург и Ф. Мендельсон, о нем замечательно писали Л. Пинский и О. Мандельштам. В 1963 году в Гослитиздате вышел почти полный Вийон. Но тридцать лет спустя Юрий Корнеев заново перевел все его стихи, даже такие, которых прежде переводить не отваживались: «Баллады на пестром жаргоне», то есть на языке воров. Корнеев рискнул воссоздать Вийона-бродягу, головореза, озорника, каким он и был в жизни. Книжке Вийона в его переводах[1] предпослана им же переведенная «Баллада о Вийоне» Жана Ришпена (1849—1926), первая строфа которой гласит:

Король поэтов голоштанных,
Мэтр Франсуа Вийон, таков
Ты, заводила свалок пьяных,
Любитель шлюх и кабаков,
Что блещет вкруг твоих висков,
Седых от срама и лишений,
Волшебный ореол стихов,
Плут, сутенер, бродяга, гений!

И еще приведу концовку баллады, ее «Послание»:

Бессмертен будь, к стыду врагов
Твоих немеркнущих творений,
Король поэтов-босяков,
Плут, сутенер, бродяга, гений!

Никогда еще Вийон не представал перед русскими читателями во всем своем блеске и во всем безобразии; он был гением и озорником, но не «королем босяков» — Юрий Корнеев возродил его образ, впервые решившись пересоздать по-русски французский «пестрый жаргон»:

Братва, идя на скок, не бздите,
Глушите фраеров смелей,
А погорев, не подводите
Еще не взятых корешей.
Коль их зачалят, как шишей,
Им не отмазаться никак:
Ведь урке лишь наезд пришей,
А там и тыквой в петлю шмяк.

Нужно, конечно, знать, что *зачалят, как шишей* значит арестуют, как вооруженных грабителей, да и многое другое. Так что «пестрый жаргон» нуждается в примечаниях. Но Ю. Корнеев не отступил и перед этой трудностью. Что и говорить, полный Вийон мог увидеть свет только после отмены нашей ханжеской цензуры — разве она пропустила бы призыв к «братве»: «...не бздите!»? Или — в другой балладе:

[1] *Франсуа Вийон.* Сочинения. Перевод Ю. Б. Корнеева. Санкт-Петербург, 1996. (*Здесь и далее — прим. автора.*)

На дело, жохи!
Ночь без балдохи —
Вот лучшая для нас пора.
Кирнем немножко
Перед дорожкой
И за душник возьмем бобра,
И пусть до самого утра
Тубанит он и бздит в мандраже,
Не смея даже
Провякать: «Стража!» —
Но все-таки не выйдет весь,
Чтоб нам за лоха не подсесть.

В примечаниях найдем, что *жохи* — отчаянные, смелые мошенники; что *без балдохи* значит без луны; *тубанит* — паникует; *за лоха* — то есть за жертву преступления, наивного, доверчивого человека. Не так уж часто переводчику удается обогатить язык. До сих пор чемпионом в этом отношении был Н. М. Любимов, переводчик Рабле, — и вот следом за ним в чемпионы вышел Ю. Б. Корнеев, который, кстати сказать, переводил стихи Рабле в том же издании «Гаргантюа и Пантагрюэля».

Ю. Корнеев, повторю, перевел всего Вийона, даже опускавшуюся прежде (как неудачную) оду «На рождение Марии Орлеанской». В целом это работа замечательная, хотя переводы известных баллад уступают предшествующим. Достаточно сравнить одну строфу «Баллады поэтического состязания в Блуа» с переводом Ильи Эренбурга. У И. Эренбурга она звучит так:

От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом.
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.

У Ю. Б. Корнеева:

У родника от жажды я стенаю;
Хочу сказать «Прощай!» — кричу «Привет!».
Чужбина для меня — страна родная.
Надеюсь там я, где надежды нет;
Хулу нежданно шлю хвале вослед;
Лишь тем одушевляюсь, что мертво;
Смеюсь сквозь слезы бог весть отчего;
Студь жжет меня, жара бросает в дрожь.
Нагой, как червь, я славлю щегольство,
Отвсюду изгнан и повсюду вхож.

Без подробного разбора видно, что Эренбург естественнее, живее, афористичнее Корнеева. Его строки о лебедице и вороне всем памятны, и хотя они и представляют собой вольность, они сообщают вийоновской балладе поэтическое обаяние.

Недавно в журнале «Иностранная литература» (1997, № 2) в превосходной статье Н. Мавлевич были впервые опубликованы переводы из Вийона Юрия Кожевникова (1922—1992); та же строфа звучит у него совсем иначе:

У родника я жажду в летний зной,
Я лязгаю зубами в огневице,
В своей стране — я на земле чужой,
Зимой в лесу костром не отопиться.
Я гол, как червь, одетый в багряницу,
Жду без надежды и смеюсь сквозь стон,
В покоях пышных скукою сражен,
Среди веселья жду, что слезы хлынут,
Могучий, я бессилен, как Самсон,
Я всеми принят и всегда отринут.

Перевод этот привлекателен, хотя он явно уступает эренбурговскому (строфу загромождают чуждые ей *огневица* и *багряница*, скукою *сражен*). Однако замечательно то, что в середине девяностых вышел еще один полный Вийон («Русслит», 1995) — почти одновременно с корнеевским. Вийон стал трудом последних лет Ю. А. Кожевникова; Вийон оказался и последним переводом Ю.Б. Корнеева, которому мы обязаны важнейшими эпическими поэмами Европы («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Сиде»), несколькими трагедиями Шекспира и комедиями Лопе де Вега и Кальдерона.

Уж поскольку в связи с Вийоном зашла речь о Ришпене, остановлюсь кратко на этом поэте, который многому научился именно у Вийона. По-русски его почти не было (упомяну разве что блестящий, как всегда, перевод его стихов в антологии Бенедикта Лившица «От романтиков до сюрреалистов», 1934); в антологии «Поэзия Франции. Век XIX», одной из последних работ великолепного знатока новой французской поэзии Самария Великовского (1985), опубликованы блестящие переводы из Ришпена Михаила Яснова (в той же антологии ему принадлежат переводы стихов Шарля Кро, Артюра Рембо, Тристана Корбьера). Приведу одну строфу из «Баллады сельского бродяги» Ришпена, представляющей собой явное подражание Вийону, в образцовом переводе Яснова (не сомневаюсь, что он рано или поздно подарит нас полным Вийоном, в котором соединятся достоинства умного Эренбурга, добросовестного Мендельсона, лирического Кожевникова и виртуозного Корнеева):

Здесь мне и горе не в горе,
Кров мне на каждом лугу,
Пища — на каждом подворье,
Дом — в конуре и в стогу.
Здесь, где на каждом шагу
Хитрость нужна и отвага
Жить и не гнуться в дугу,
Я — настоящий бродяга.

«Посылка» баллады:

Эй, держиморда, ку-ку!
Вылупил зенки, бедняга?
Из каталажки — сбегу!
Я — настоящий бродяга.

М. Яснов прибег к трехстопному дактилю — вместо неизменного ямба; он создал стихотворение непривычной для перевода естественной легкости, живейшей фамильярности, с дерзкими, чуть ли не наглыми оборотами («Эй, держиморда, ку-ку!») и запоминающимися афоризмами, которые искрятся идиоматикой.

Названная антология С.И. Великовского ввела в литературу большую группу переводчиков, художественный уровень которых, пожалуй, редко уступает стоящим рядом с ними известным мастерам — М. Донскому, И. Шафаренко, Б. Лившицу, В. Шору, Э. Линецкой, М. Ваксмахеру, А. Гелескулу, Д. Бродскому, А. Ревичу, Вс. Рождественскому, В. Микушевичу, И. Чежеговой, В. Левику, А. Эфрон. Из этих новых имен назову лишь некоторые: М. Яснов, И. Кузнецова, Ю. Даниэль, И. Кутик, Г. Кружков, Н. Стрижевская, В. Орел, Е. Баевская, Р. Дубровкин, Э. Шапиро, Н. Шаховская, Ю. Гинзбург. Роль С. Великовского в открытии французской поэзии послевоенной Россией очень велика — она требует специального изучения. Полагаю, что именно Великовский — у истоков того движения, о котором идет речь в настоящем обзоре.

Луиза Лабе (ок. 1524—1566) — «Лионская королева поэзии», «Прекрасная канатчица» — почти не переводилась на русский. Блистательную поэтессу XVI века заново открыли французские романтики; позднее ее переводил на немецкий Райнер Мария Рильке. Появившаяся в 1988 году книга ее произведений, включающая и стихи, ей посвященные, и обстоятельную статью И. Ю. Подгаецкой, открыла для русской литературы одну из первых в Европе женщин-поэтов — это открытие было необходимо в стране Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Кстати, нет сомнений, что и та и другая знали свою предшественницу и по французским оригиналам, и по гениальным переводам Рильке. Книга, появившаяся в серии «Литературные памятники», построена отлично: ряд элегий и сонетов даны в двух и более переводах; особо отмечу работу Марка Захаровича Гордона, до того переводившего поэтов-парнасцев (Леконта де Лиля). Его переводы элегий и сонетов Луизы Лабе во многих случаях очень хороши (хотя и сильно проигрывают при сравнении их с переводами Рильке). С М. Гордоном соперничают — иногда успешно — Э. Шапиро, Н. Шаховская, Ю. Денисов. Сонет XIV, один из самых знаменитых, дан даже в четырех вариантах; первый, Марка Гордона, несомненно лучший:

Пока могу слезами обливаться,
О радости минувшей сожалеть,
Рыданья, вздохи, боль преодолеть,
Чтоб голосом хоть сладким отозваться;

Пока могу рукою струн касаться,
Чтобы твой ум и красоту воспеть,
Пока мой разум в силах тлен терпеть
И лишь твоей душою любоваться, —

Я не хочу найти в земле покой;
Когда ж совсем затихнет голос мой,
Иссякнут слезы, ослабеют руки

И разум, в смертную ступая сень,
Не выразит моей любовной муки,
Смерть, помрачи мой самый светлый день.

Жанр сонета, заметил однажды Арагон, стал к 1555 году национальной формой французского поэтического высказывания[1]. Тем более важно было передать этот жанр во всей его целостности по-русски, на том языке, на котором уже существуют сонеты современников Л. Лабе — Ронсара и Дю Белле (Вильгельм Ле́вик) и других поэтов «Плеяды» (Ю. Верховский). Теперь французский XVI век полноценно живет в русском языке — при том, что мы имеем полноценного Рабле в великолепном переводе Н. М. Любимова.

В пору Луизы Лабе в Лионе начиналась религиозная война между католиками и гугенотами; в 1553 году на центральной площади были сожжены пять студентов, обвиненных в ереси. В 1561 году гугенот Бартелеми Ано, враг поэтов «Плеяды», был растерзан толпой католиков, кричавших: «Гугенотов — в реку!» Умирая пять лет спустя, Луиза Лабе завещала похоронить ее тайно, по католическому обряду, чтобы не дразнить гугенотов, бывших хозяевами Лиона с 1562 года. Я упоминаю об этом историческом факте для того, чтобы перейти к следующему эпизоду рассматриваемого здесь процесса.

В 1996 году в московском издательстве «Присцельс» появился полный перевод «Трагических поэм» Теодора Агриппы Д'Обинье (1552—1630), исполненный Александром Ревичем. Произведение Д'Обинье — собрание семи поэм, сложенных александрийским стихом, — представляет собой эпопею религиозных войн, написанную с позиции гугенота-кальвиниста. Агриппа Д'Обинье был воином, соратником наваррского короля Генриха, ставшего позднее королем Франции Генрихом IV; его «Трагические поэмы» (опубл. в 1616 г.), написанные в

[1] *Aragon.* Du Sonnet. Les Lettres Françaises, 1954.

перерывах между боями, часто на седле или на барабане, относятся к числу не только самых больших по объему, но и самых совершенных произведений мировой поэзии; их нередко ставят в один ряд с поэмами Данте и Мильтона. А. М. Ревич более десятилетия работал над воссозданием «Трагических поэм»; до него был отрывок из них, переведенный В. Парнахом, а также неопубликованный полный перевод, принадлежавший перу глухонемого поэта В. Г. Дмитриева и, увы, художественно неравноценный великому оригиналу. Труд А. М. Ревича — переводческий подвиг, в известном смысле близкий подвигу Татьяны Григорьевны Гнедич, которая в тюрьме МВД перевела (в 1945—1947 годах) поэму Байрона «Дон Жуан» (17 000 строк, более двух тысяч регулярных октав). Александрийские стихи могут звучать монотонно, 13 000 таких строк подряд — быть убийственно скучными. Стихи А. Ревича, неизменно близкие к оригиналу, обычно передают его сатирическую неистовость, его гневный пафос, его патетические гиперболы. Тщательный разбор этой большой работы — дело́ будущего; сейчас должно сказать, что Ревич пополнил отраженье в русском языке французской поэзии XVI века; у нас были превосходные переводы трагедий Корнеля и Расина и комедий Мольера, но не героико-эпической поэзии предшествующей им эпохи.

Я сравнил труд А. Ревича с «Дон Жуаном» Т. Гнедич. Правомерно ли такое сравнение? Гнедич переводила в тюремной камере (частично наизусть, потом — по книге); поэтическое творчество в своеобразном соавторстве с Байроном позволило ей вырваться за пределы тюрьмы, подняться выше сталинского террора и в приобщении к мировой культуре обрести пусть иллюзорную, но свободу. А. М. Ревич творил свой перевод на свободе, в московской квартире; однако и он, живя с Агриппой во Франции XVI—XVII веков, вместе с бесстрашным гугенотом воевал за справедливость, за человеческое достоинство, за честь личности, попранную в его стране, в России не только 80—90-х годов. А. Ревич был солдатом в Отечественную войну; об этом он писал в собственных стихах. «Трагические поэмы» Д'Обинье оказались продолжением его поэтической биографии.

Изданная одновременно с рассматриваемой книгой хрестоматия «Избранная европейская лирика XVII века» (С.-Петербург, «Образование», 1996 — изд. Российского государственного педагогического университета им. Герцена под маркой ЮНЕСКО) оказалась дополнением к работе А. М. Ревича и в то же время ее антиподом. Дополнением — потому что в ней представлены лирические поэты Франции, которые были у нас мало известны или совсем не переводились: Теофиль де Вио (стансы, оды, сонеты — перевод Майи Квятковской), Никола Воклан-Дезивето и Сирано де Бержерак (перевод Михаила Яснова). Антиподом — потому что, во-первых, рядом с гигантским эпосом появились небольшие лирические и сатирические стихотворения; во-вторых, потому что Агриппа Д'Обинье издан большим, роскошным томом с гравюрами Дюрера, а хрестоматия XVII века — убогая брошюрка на газетной бумаге, к тому же с ничтожным, скажем прямо, комическим тиражом... в 150 экземпляров. Между тем необходимо выразить благодарность ее составителям А. А. Скакуну и М. Д. Яснову; они же написали предисловие под заглавием «Европейская поэзия XVII века в интерпретации современных петербургских переводчиков», где говорится (в заключении) о традициях «ленинградской школы, идущих от И. Анненского, Ф. Сологуба, Н. Гумилева, М. Лозинского, Б. Лившица», и о том, что в книге представлена работа «тех переводчиков, кто генетически и эстетически связан с переводческим семинаром, который на протяжении многих лет работал при Доме писателя под руководством Эльги Львовны Линецкой» (с. 6). Эти переводчики — Виктор Андреев, Елена Баевская, Владимир Васильев, Елена Дунаевская, Майя Квятковская, Сергей Степанов, Леонид Цывьян, Михаил Яснов. Чтобы читатель понял, какие сокровища французского барокко ему открываются в этой тоненькой, малотиражной хрестоматии, приведу несколько строк из оды Теофиля де Вио (1590—1626), гугенота, приговоренного к сожжению на костре, блестящего мастера барокко, современника и соратника Агриппы Д'Обинье:

...Камни кровью налились;
Бык на колокольне распят;
Здесь медведица и аспид,
Любодействуя, сплелись;
Обратился вспять ручей;
Пожирает грифа змей;
Почернело солнца чрево;
Льдину гложут пламена;
Вижу — рушится луна
И шагнуло с места древо.

Нет сомнений, что сборник европейских поэтов XVII века обогащает наше представление о литературе Франции; вместе с «Трагическими поэмами» Агриппы Д'Обинье и стихами Луизы Лабе он позволяет нам по-новому увидеть прежде всего поэзию барокко, о которой авторы предисловия справедливо написали: «Поэзия барокко с ее подспудным трагизмом, с ее эмблематикой, с ее стилистическими оксюморонами и повышенным вниманием к собственно поэтической технике стала напрямую перекликаться с эсхатологическими настроени-

ями читающей аудитории, ее пристрастием и жаждой нового. Не «тоталитарные» устремления классицизма, не революционный пафос романтизма — а именно причудливое, тайное и не всегда добронравное бунтарство барокко оказалось созвучно гуманитарным настроениям общества, стоящего на пороге не только социальных, но и этических перемен» (с. 5). Нужно ли особо оговаривать, что авторы имеют в виду общество российское?

Рационалистический XVIII век, который не был благоприятен для поэзии, в последнее время поэтов-переводчиков не привлекал. Характерно, что сразу после Октябрьской революции новое издательство «Всемирная литература», делая первые шаги, заказало перевод поэмы Вольтера «Орлеанская девственница» — над ним в то время работали замечательные поэты Н. Гумилев, М. Кузмин, М. Лозинский. Богохульная издевка язвительного Вольтера отвечала требованиям эпохи. Теперь она оказалась несвоевременной. Как отметили авторы предисловия к рассмотренной выше хрестоматии XVII века, стилевые элементы барокко «неожиданным образом оказались злободневны и современны российскому общественному сознанию 70—80-х годов нашего столетия»; добавим к этому, что классицизм и Просвещение отодвинулись в тень. Из поэтов классицизма вспомнился лишь Пьер Корнель, да и то — не знаменитыми трагедиями, а забытыми «Стансами к маркизе», где сказано:

Страшны времен метаморфозы,
Увянет все, что расцвело,
Поблекнут так же ваши розы,
Как сморщилось мое чело.

Наш день уходит без возврата
Путем всеобщим бытия;
Таким, как Вы, я был когда-то,
Вы станете такой, как я.

Перевод Майи Квятковской

Нашему времени эти печальные стансы подходят гораздо больше, нежели триумфально-классицистические трагедии того же Корнеля.

В уже названной выше отличной антологии С. Великовского «Поэзия Франции. Век XIX» сделано немало открытий — обнаружены новые грани творчества прославленных поэтов и некоторые у нас неизвестные поэты. К первым относятся Ламартин (новые переводы Р. Дубровкина, И. Кутика, Г. Кружкова), Жерар де Нерваль (Э. Шапиро, А. Гелескул, А. Маркевич, В. Портнов, Н. Стрижевская), Шарль Бодлер (Ю. Гинзбург, А. Ревич, Ю. Даниэль, М. Ваксмахер), Стефан Малларме (о нем ниже); ко вторым — Альфонс Рабб (Ю. Гинзбург), Филотэ О'Недди (Р. Дубровкин), Жеан Риктюс (И. Кутик, Е. Кассирова), Жермен Нуво (Ю. Даниэль, И. Кузнецова, О. Чухонцев), Стюарт Мерриль (Р. Дубровкин), Жан Ришпен (М. Яснов). Но после этой антологии — после 1985 года — переводчиков и издателей привлекала только последняя четверть XIX века, символизм и постсимволизм.

Исключение представляет, пожалуй, только Теофиль Готье, который имеет особое значение для русской литературы, — он был любимым поэтом акмеистов, сборник «Эмали и камеи» целиком перевел Н. Гумилев; в 1989 году вышло в свет прекрасное издание «Эмалей и камей» в переводе Н. Гумилева и с приложением многих других переводов, перепечатанных из антологий, или иных книг (В. Бенедиктов, О. Чюмина, В. Брюсов, Б. Лившиц, В. Левик), или из собрания сочинений Т. Готье 1972 года (Ариадна Эфрон, В. Микушевич, Ю. Даниэль, М. Квятковская, А. Якобсон, В. Портнов и др.). Отмечу отличную статью Георгия Косикова, сопровождающую этот сборник, — «Готье и Гумилев»; в статье отчетливо показаны черты, общие для обоих поэтов: предметность слова, тяга к эпиграмматичности, экзотизм. Показаны и различия между ними. В своем — тоже очень хорошем — предисловии Г. Косиков сформулировал сущность поэзии Теофиля Готье, которая позволяет понять наш сегодняшний интерес к нему, вызванный не только новым открытием Гумилева. Г. Косиков пишет: «Нерв творчества Готье — отнюдь не в холодном эстетизме, но и не в обнаженном лиризме, а в тонком драматическом напряжении между ними — напряжении, питаемом утопической мечтой о том, чтобы слить грезу и действие, жизнь превратить в произведение искусства, а искусство наполнить живой силой жизни, иными словами, превратить искусство в «искусство жить» (с. 28). Эстетическая и жизненная программа такого рода для российского общества в высокой степени актуальна.

К Теофилю Готье примыкает автор сборника сонетов «Трофеи» (1893) Жозе Мариа де Эредиа, которого тоже любил и переводил Гумилев. Сборник русских переводов «Трофеев» выпустила «Наука» в 1973 году; сюда вошли и переводы, исполненные в начале 20-х годов студией М. Лозинского, а также переводы Д. Олерона, М. Волошина, Г. Шенгели, Г. Адамовича, К. Липскерова, Г. Иванова, И. Чежеговой, Вс. Рождественского, А. Оношкович-Яцыны, В. Левика, М. Травчетова, М. Гордона и др. Можно сказать, что формально совершенные исторические, философские сонеты Эредиа вызывали большой интерес у акмеистов десятых годов и в двадцатые годы, прежде всего у младоакмеистов — Лозинского, Георгия Иванова, Вс. Рождественского. Через двад-

цать лет после того сборника, в 1993 году, вышел новый перевод «Трофеев» — Владимира Портнова (С.-Петербург, издательство журнала «Звезда»). Этот перевод исполнен на уровне современной поэтической техники — каждый сонет огранен, как алмаз, каждая стиховая формула отличается эпиграмматической отточенностью; добавим к этому отличное знание истории, мифологии, искусства, необходимые для воссоздания сонетов Эредиа, объединенных разделами: *Греция и Сицилия, Рим и Варвары, Средневековье и Возрождение, Восток и Тропики, Природа и Мечта.* Чтобы был понятен художественный и общекультурный уровень работы В. Портнова, приведу, почти наудачу, один из сонетов раздела *Рим и Варвары* из триптиха «Антоний и Клеопатра»:

ВЕЧЕР БИТВЫ

Удар был яростным. И вновь, ровняя ряд
Когорт растянутых, центурионы с криком,
Как бы двоящимся на этом месте диком,
Вдыхают жар резни и едкий пот солдат.

Тела простертые считает каждый взгляд,
Усталость и тоска скользят по темным ликам,
Пока кружащихся в смятении великом
Сзывает лучников поодаль царь Фраат.

Но вот, парфянских стрел из ран не извлекая,
Летящим пурпуром и медью ла сверкая,
В крови струящейся явился, как на пир,

И встал под рев букцин, под их напев
фанфарный,
Едва смирив коня, затмив закат угарный,
На фоне огненном красавец-триумвир.

В. Портнову пришлось нелегко: на его долю выпало соревнование с мастерами. Так, приведенный сонет до него перевели Д. Олерон, Г. Шенгели, Эллис, С. Соловьев, Е. Малкина. Кроме того, именно этот сонет вызвал международный отзвук: ему многим обязан и Максимилиан Волошин, и Рубен Дарио (Никарагуа), и Хосе Сантос Чокано (Перу), и Джозуэ Кардуччи (Италия). Но В. Портнов справился с трудной задачей. Сравнение с другими переводами говорит во многом в его пользу. Например, у С. Соловьева:

...Трибуны...
Дышали воздухом отравленным и спертым.

у В. Портнова:

...центурионы...
Вдыхают жар резни и едкий пот солдат.

Насколько выразительней и точней!

Нужен ли нам в девяностые годы Эредиа? Оказывается, нужен. В его сонетах железная эстетическая дисциплина противостоит хаосу, знание истории и всемирной культуры — развязному хамству, глубина философской мысли — пустой игре словами и звуками, концентрированность мысли и речи — безответственной болтовне, целомудренная сдержанность — лихому, беспардонному сквернословию.

К сожалению, «Трофеи» в переводе В. Портнова вышли тиражом в 500 экземпляров, а набраны они, как говорится, «левой ногой»: число опечаток превышает любые допустимые нормы. Иногда эти опечатки злокачественны: *Земфирам* вместо *зефирам* (с. 75), «*уйдя от попора*» вместо *топота* (с. 56)... Бездарное издание прекрасной книги стихов (хорошо оформленной О. Маркиной) — лишний довод в пользу необходимости в наши дни высокой культуры сонетов Эредиа.

Символизм представлен сборниками Верлена, Рембо и Малларме. Скажу коротко о каждом из них.

Верлен. В издательстве «Московский рабочий» Вадим Перельмутер выпустил в 1996 году никогда не публиковавшиеся переводы Георгия Шенгели (1894—1956) — с его же предисловием и примечаниями. В издательском примечании говорится о Шенгели: «За год (1945) он перевел 75 стихотворений Верлена. Однако в те годы на книгу так и не нашлось издателя, и она оказалась затерянной в архивах. И только теперь, полвека спустя, предстает публике». Сборник этот интересен не только замечательной находкой Перельмутера — стихами Шенгели, но и приложением, озаглавленным: «Поль Верлен в переводах русских поэтов серебряного века»; это 13 стихотворений в переводе И. Анненского, 21 — Федора Сологуба, 23 — Валерия Брюсова, 6 — Бенедикта Лившица, 7 — Бориса Пастернака, 8 — Ильи Эренбурга, 2 — Сергея Шервинского. Даже такая антология делает книгу в высшей степени замечательной. Однако, разумеется, интереснее всего — неизвестные переводы Шенгели. Георгий Шенгели переводил много и неровно: его Гюго громогласен, великолепно-риторичен, иногда криклив; его Байрон тяжеловесен и неуклюж. Казалось бы, музыкальная легкость, изящество, напевность Верлена ему глубоко чужды. Так ведь нет! Шенгели тут другой — куда более обаятельный, убедительный, воздушный. Кто мог бы подумать, что это Георгий Шенгели, а не, скажем, Сологуб:

В глади зеркальной
Странно черна,
Ива печально
Отражена,
С ветровым стоном...

Грезить дано нам!

С радужно-нежной
Звездной игрой

Кроткий, безбрежный
Сходит покой
С тверди небесной...

О час прелестный!

«Белой луною...»

«Романсы без слов», «Добрая песенка» — эти циклы, почти целиком переведенные Георгием Шенгели, неожиданно превосходны. Но особенно хороши у него стихотворения земные, четкие, материальные, грубовато-прозаичные — как знаменитое «Le bruit des cabarets...»:

Трактиров пьяный шум; по тротуарам грязь;
Платаны сгорблены, под ветром оголясь;
Сквозь слякоть омнибус грохочет, севший
косо
Скрипучим кузовом на грузные колеса,
Вращая алый свой или зеленый глаз;
Рабочие, что в клуб идут, и напоказ
Полиции дымят нахальной носогрейкой;
Скользота; каплет с крыш; потеют стены
клейко;
Асфальт щербатый; слизь по стокам
через край —
Таков мой путь, а там, в конце дороги, рай!

В том же сборнике это стихотворение напечатано в переводе Бенедикта Лившица. Читатель может сравнить: перевод Шенгели, пожалуй, не уступает шедевру Лившица.

Вступительная статья Г. Шенгели — сверкающая неожиданными и парадоксальными формулами. Вот, например, как он описывает фон, на котором возникла странная, необычная поэзия Верлена:

«Франция привыкла к похожим на парад наполеоновской гвардии поэмам Гюго, с их изумительно четкой и победоносной поступью, с золотыми эполетами сверкающих рифм, в медвежьих киверах головокружительных метафор. Франция любовалась строфами Готье, похожими на ювелирные витрины, где эмаль, золото и самоцветы в брошках, браслетах и парюрах имитируют бразильских бабочек и провансальских стрекоз. Франция почтительно зябла на мраморных форумах Леконт де Лиля и слегка задыхалась в оранжерейном тепле его тропических пейзажей...»

Все так написано. И эта золотая книга не могла выйти в свет 50 лет! Почему? Вадим Перельмутер в умном, необходимом, талантливом послесловии объясняет этот привычный для русской литературы факт: «...как раз тогда, когда работа была завершена, грянуло печальной памяти августовское Постановление ЦК ВКП(б), началась травля Ахматовой, Зощенко и иже с ними, натурально перешедшая в борьбу с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом — под скрежет железного занавеса...».

Выход Верлена через 50 лет после его перевода на русский, в год столетнего юбилея Г. Шенгели и через сто лет после смерти Верлена, пришелся сейчас ко двору: такая лирика и такая религиозная философия, как у Верлена, нужны, даже необходимы нынешнему российскому читателю. Добавлю к сказанному, что в книжке превосходные портреты Верлена и, увы, опечатки в немногих французских текстах. Тираж на этот раз почтенный: 5500 экз.

Второй поэт французского символизма, друг Верлена, Артюр Рембо в 1988 году удостоен издательством «Радуга» двуязычного однотомника. Сюда вошли и широко известные прежние переводы В. Брюсова, И. Эренбурга, В. Парнаха, Б. Лившица, П. Антокольского, В. Левика, и немало новых, из которых отмечу М. Яснова, Д. Самойлова, В. Микушевича, Е. Витковского, Р. Дубровкина, В. Орла, А. Ревича. Ценная книга открывается статьей Л. Г. Андреева «Феномен Рембо», широко развертывающей тему «поэт-ясновидец»; трудно забыть, что в недавнем прошлом тот же Л. Андреев называл «Пьяный корабль» бредом безумца, — теперь для него Рембо «гениальный поэт». В целом же статья содержательная. А среди новых переводов встречаются отличные. Не могу не отметить сонета «Таможенники», переведенного М. Ясновым, — терцеты гласят:

Для нимф и для людей — един его закон.
Фра Дьяволо схватив и Фауста в потемках,
«Стой, — рявкнет, — старичье! Ну, что у вас
в котомках?»
И, глазом не моргнув, любой красотке он
Досмотр устроит: все ли прелести в порядке?
И под его рукой душа уходит в пятки!

Можно ли лучше передать последний стих Рембо:

Enfer aux Delinquants que sa paume a froles!

Несколько лет спустя, в 1994 году, издательство «С.-Петербург — XXI век» выпустило повесть Ж. М. Карре «Жизнь и приключения Жана-Артюра Рембо» в переводе Бенедикта Лившица; эта книга содержит и антологию стихов Рембо с довольно поверхностной статьей В. Балахонова. Новых переводов тут нет, а тираж — тираж почти неправдоподобный для 94 года: 15 000 экз.

Третий символист — Стефан Малларме, о котором Анатоль Франс писал: «Малларме, мечтающий о поэзии, которая будет музыкой, о стихах, которые будут восприниматься как симфонии». По-видимому, он для перевода особенно труден. В издательстве «Радуга» в 1995 году вышел том Малларме, составленный Романом Дубровкиным, который перевел, в сущности, все стихи, включенные в этот огром-

ный сборник, содержащий еще и приложение: «Стефан Малларме в переводах русских поэтов»; среди последних — Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Александр Блок, Александр Ревич, Юрий Корнеев, Сергей Петров, Марк Талов, Иван Тхоржевский, Эльга Линецкая, Вильгельм Левик, Бенедикт Лившиц, Максимилиан Волошин и другие. Малларме у нас переводили многие — редко удачно; но вот поразительный факт: молодой москвич (ныне женевец) Р. Дубровкин перевел его, преодолев немыслимые трудности. В большинстве случаев переводы Дубровкина полноценны.

Почти одновременно родилось еще два русских Малларме: один из них — перевод более десятка стихотворений (важнейших) Владимира Портнова, опубликованный в журнале «Звезда» (1995, № 7); второй — тоже большой цикл стихотворений в переводе Елены Баевской (некоторые опубликованы в журналах, остальные еще в рукописи). Три перевода главных произведений Малларме, и все три относятся к середине 90-х годов. Почему вдруг такой взрыв интереса к этому загадочному поэту? Можно ли это понять?

В советское время интерес к Малларме не поощрялся — слишком уж он был непонятен, темен, формалистичен, как любили говорить официальные критики вроде Л. Г. Андреева. Именно эта его многолетняя отверженность заставила в наши дни обратиться к нему, поэту для немногих. Прежде принято было считать, что настоящий поэт непременно народен; Малларме — для избранных, для литературных гурманов. Наступила эпоха, когда быть гурманом не возбраняется.

Роман Дубровкин написал докторскую диссертацию о Малларме в России; он с успехом защитил ее в 1996 году в Женевском университете. Книга Р. Дубровкина в ближайшее время выйдет в свет.

Несколькими годами раньше, в 1992 году, Роман Дубровкин выпустил в Москве, в издательстве «Новый путь», «Избранные стихотворения» Поля Валери (1871-1945), поэта, в России известного мало. Его появление тиражом в 10 000 экз. можно объяснить теми же соображениями: Валери, подобно Малларме, элитарен. Дубровкин приводит в предисловии слова Джорджа Оруэлла, утверждающего: «...не стоит притворяться, что в столетие, подобное нашему, хорошая поэзия может быть по-настоящему популярной. Она является и должна являться культом очень немногих людей, как наименее терпимое из искусств».

Центральное место в книжке занимает прекрасная, хотя и темная, поэма «Юная парка». Два года спустя, в 1994 году, вышел новый сборник Поля Валери — «Юная парка» (Москва, «Текст»), в котором представлены переводчики Б. Лившиц, И. Поступальский, С. Шервинский и Абрам Эфрос (он же автор вступления). И в этом сборнике в центре — «Юная парка», в двух переводах: целиком — М. Яснова, фрагмент — Бенедикта Лившица. Валери не просто загадочен, он темен «программно»; в одной из статей он писал: «Ясность представляется мне так мало распространенной, что на всем протяжении мира — и сугубо мира мысли и письма — я нахожу ее лишь в соотношении алмаза с массой планеты. Темноты, приписываемые мне, пустячны и прозрачны, в сравнении с теми, которые я открываю всюду...»

Читатель имеет возможность сопоставить, например, три превосходных перевода «Юной парки»: Б. Лившица, Р. Дубровкина и М. Яснова. Он увидит три разные загадочности, которые при сопоставлении друг с другом начнут светиться. Так или иначе, два издания Валери — утверждение новых эстетических принципов, в основе которых не массовость поэзии, а ее элитарность.

Михаил Яснов утвердился в большой литературе именно переводом «Юной парки», поставившим его в один ряд с крупнейшими поэтами-переводчиками нашего времени. Ему же мы обязаны изданием стихотворений Гийома Аполлинера (СПб., «Искусство — СПб», 1994), в котором, кроме составителя и комментатора М. Яснова, участвуют Э. Линецкая, И. Кузнецова, М. Ваксмахер, А. Гелескул и другие. Однако большую часть стихов Аполлинера перевел М. Яснов, и это отличная работа (особенно она выигрывает на фоне прежних, очень слабых переводов); выделим замечательный «Бестиарий, или Кортеж Орфея» — четверостишья, посвященные различным животным и птицам. Мне особенно по душе «Павлин»:

Хвост распуская, эта птица
Всем демонстрирует наряд:
Своей красой она кичится,
При этом обнажая зад.

Еще одна книжка М. Яснова, кажется на сегодняшний день последняя, — сборник стихов Жака Превера (СПб., «Искусство — СПб», 1995), где он выступает составителем, и комментатором, и, разумеется, переводчиком вместе с Леонидом Цывьяном. Превер (1900—1977) необыкновенно современный автор. Среди его изречений есть такие: «Нет ничего более временного, чем свобода», «Каждый узнает свою родину по ее людоедам», «Герои, вступая в Историю, не трудитесь вытирать свои ноги о половик славы». В послесловии М. Яснов написал: «Наши шестидесятые годы с их романтическим духом мерцающей свободы как нельзя кстати пришлись к лирике Превера —

или он пришелся к ним; это были годы серьезного открытия французской поэзии, и Превер в нашем восприятии явно занимал в ней главенствующее место» (с. 412). Заметим, что тираж Превера — 10 000 экз.

Последняя книга французских стихов, которую надо назвать в настоящем обзоре, — это «Избранные стихи» Макса Жакоба (1876—1944) в переводе, со статьей и комментарием Аллы Смирновой (Инапресс, СПб., 1995). Макса Жакоба А. Смирнова впервые открыла для России: переводы ее отличаются живостью и глубиной, благозвучием и той игривостью, которая характерна для многих стихов Жакоба; ее статья содержательна, широка по захвату материала и точна, благородно-точна своими обобщающими формулами. «Жакоб, — пишет А. Смирнова, — жонглирует не только звуками и словами, но и играет с самими литературными формами и размерами»; переводчица умеет играть и жонглировать иногда не хуже французского поэта. Замечательно, как эта молодая женщина — вслед за Максом Жакобом — с трагической иронией, а порою с гротескным смехом говорит о смерти, которая, как она справедливо отмечает, «одна из важнейших тем в творчестве Жакоба» (с. 23). Спасибо Алле Смирновой: она ввела в нашу поэзию мастера, которого гестапо арестовало в конце войны как еврея — Жакоб погиб в концлагере, как Мандельштам; погубили его другие палачи. Но как похожи судьбы обоих этих поэтов...

Культура в России переживает тяжелую полосу — казалось бы, она умирает от истощения. Однако она живет, и не только существует, но и растет, укрепляется, ширится. Такой вывод можно сделать, рассматривая нынешнее состояние поэтического перевода. Мы остановились на переводах только из французской поэзии, но в смежных областях, по-видимому, тоже нет оснований для пессимизма. Что и говорить, тираж в 150 или 500 экземпляров, о которых я писал выше, ничтожен. Но тот факт, что и зрелые мастера, и молодые литераторы способны на самоотверженное служение поэзии без всякой надежды на деньги и славу, внушает уверенность в будущем.

Посредник между культурами

Памяти ЛЬВА КОПЕЛЕВА

Личная и творческая судьба Льва Копелева, умершего в Кёльне в июне прошлого года, была тесно связана и с журналом «Иностранная литература». Он пришел в редакцию вскоре после возвращения из сталинских лагерей, в пору «оттепели», — бодрый, даже веселый, открытый новой жизни, и потому, наверное, написал сперва о книге Л. Франка «Слева, где сердце». Затем последовали статьи о Бюхнере, Рильке, Штриттматтере, Брехте... Лев Зиновьевич заражал своей влюбленностью в поэзию мысли и слова, неуемностью, душевностью и, конечно, раскованностью мысли. Ничто не было так ненавистно ему, как Kadavergehorsam — «трупное» послушание. Однако именно такого послушания потребовали тогда от интеллигенции. Зная тоталитаризм не понаслышке, Копелев тем не менее снова поднял свой голос в защиту человеческих прав. Снова, ибо еще в конце войны в рядах победоносной армии защищал мирных немецких жителей от грабежей и насилия. Власти ответили запретом выступать и публиковаться. Уезжая в Германию по приглашению Г. Бёлля и Марион Дёнхофф, он взял с собой горсть русской земли, будто предчувствуя, что вскоре его лишат и советского гражданства. Лишь через двадцать лет его имя вновь появилось на страницах «ИЛ». Естественно, он писал о своем немецком друге, для которого слово всегда было «оплотом и приютом свободы». Здесь, на берегах Рейна, началась многолетняя работа над Вуппертальским проектом по исследованию отношений между народами России и Германии, возникновения и развития их представлений друг о друге на протяжении последнего тысячелетия. Итог ее — десять томов материалов, подтверждающих мысль Гёте о том, что народам вовсе не обязательно думать одинаково — надо лишь постараться увидеть и понять, а коли уж нет любви, то по меньшей мере научиться терпеть друг друга. Инициатор проекта и его немецкие коллеги искали ответ на острые вопросы прежде всего в мыслях и чувствах простых людей, что и обеспечило успех столь масштабного предприятия.

Человек, отстаивавший идею, близкую «ИЛ», высокоэрудированный германист, талантливый писатель, стал членом редакционного совета журнала, а в 1996 году лауреатом соучрежденной «ИЛ» премии имени о. Александра Меня «За выдающийся вклад в духовное сближение народов». А до этого были: звание почетного доктора двух университетов, премия Мира немецких издателей и книготорговцев, перстень имени Леонгарда Франка из Вюрцбурга, премия Мира имени Э.М. Ремарка из Оснабрюка, государственная премия земли Северный Рейн-Вестфалия, медаль бременского сената.

О жизни Льва Копелева, прошедшего нелегкий путь от веры в «грядущий коммунизм» до позиции человека, отвечающего только перед собственной совестью, можно многое узнать из его трилогии «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно» и «Утоли моя печали», из книг «Мы жили в Москве» и «Мы жили в Кёльне». Последние написаны вместе с Раисой Орловой, женой и соратницей Льва Зиновьевича, которая долгие годы работала в нашем журнале.

Из написанного о Копелеве за рубежом мы выбрали небольшой, написанный в 1976 году очерк Марион Дёнхофф, немецкой писательницы, публициста, автора книг об актуальных проблемах современности, соиздателя еженедельника «Цайт». Графиня, родившаяся в 1909 году в Восточной Пруссии, принимала самое живое участие в судьбе Копелева, а он хранил в сердце благодарность человеку, «мыслящему ясно и пронзительно остро, неподдельно терпимому, верному благородным традициям прошлого и открытому настоящему в живом единстве консервативности и либеральности, аристократизма и демократичности».

О вопросах, занимавших Копелева в последние годы, некоторое представление дает, думается, его эссе «Умершие приказывают — жить долго!». Как и многие другие тексты, оно было написано в Германии на немецком и взято нами из сборника «Und dennoch hoffen» («И все же — надеяться»).

Отдавая дань памяти нашему другу с неизбежным для «толстого» журнала опозданием, вспомним еще раз великого Гёте: «Кто жил, в ничто не обратится...»

© А. Егоршев. Перевод, 1998

МАРИОН ДЁНХОФФ

ЛЕВ КОПЕЛЕВ: «ОТВЕЧАЮ ТОЛЬКО ПЕРЕД МОЕЙ СОВЕСТЬЮ»

На похоронах Бориса Пастернака в Переделкине от толпы скорбящих неожиданно отделился молодой человек, подошел к разверстой могиле и негромко прочитал короткое стихотворение поэта. За ним — второй, а затем люди стали выходить вперед один за другим, читали две-три строфы и вновь растворялись в молчаливой толпе. Во всем мире, я уверена, нет другой страны, где литература вообще и поэзия в частности играли бы в духовной жизни народа такую же роль, как в России. «Толстые» журналы, коим несть числа, раскупаются в первый же день, хотя выходят очень большими тиражами. Разговоры о литературе в дружеской компании, «на кухне», — столь же обычное явление, как и встречи читающей публики с писателями в огромных залах.

Представление об истинных масштабах любви россиян к книге я впервые получила от моего друга Льва Копелева, писателя, германиста, литературного критика, театроведа. К сожалению, некоторое время тому назад он впал в немилость, так что в Советском Союзе его работы давно уже не публиковали. Он был «реабилитирован» президентом Горбачевым лишь в августе 1990 года[1].

Я многое узнала от него. Например, что немецкие просветители XVIII века, начиная с Готшеда и кончая Шлёцером, переводили на родной язык труды русских коллег; что друзья молодого Гёте — Ленц и Клингер — переселились в Россию по влечению сердца; что Гердер переводил русских и украинских поэтов; что переводами русской лирики увлекался и Шамиссо; что Гейне, под влиянием Тютчева подумывавший о том, не перебраться ли ему в Россию, убедил своего младшего брата, медика, поступить на службу в русскую армию.

Как рассказывал Копелев, Карл Август Варнхаген фон Энзе, друг Гёте и Гейне, первый оценил место Пушкина во всемирной литературе, написал об этом блестящее эссе и первый стал переводить его сочинения на немецкий. Рильке, бывавший у Толстого и Репина, переводивший Лермонтова, Достоевского и Чехова, знавший Пастернака и Горького, и Генрих Бёлль, знакомый миллионам советских читателей, как бы определяют вехи интенсивного духовного обмена между литературами наших народов.

Разумеется, правители, всегда страшившиеся свободомыслия, были далеко не в восторге от этих контактов. Говоря об эпохе, наступившей после восстания декабристов, Копелев пишет в эссе «Фауст в России»: «Одна из придворных дам вспоминает, какой гнев охватил Николая I, когда он узнал, что его жене (дочери прусской королевы Луизы) понравился «Фауст»: «Шиллер и Гёте, эти путаники, подготовили вместе с разными прохвостами всю нынешнюю смуту».

Далее Копелев замечает: «А посему первые русские издания «Фауста» подвергались жесткой цензуре: «Пролог на небе» вычеркивали или сильно сокращали; Бог был назван Чистым духом; из спора Фауста с Мефистофелем вымарывали утверждения типа «В деянии начало бытия»; «короля» в песне о блохе превращали в «старую даму».

Когда бы ты ни пришел к Копелевым — Льву и его жене Рае, американистке, — спозаранку или за полночь, телефон в их московской квартире звонит непрерывно. Театральный режиссер просит совета: что лучше поставить в новом сезоне из Гёте? (Копелев: «Эгмонта», конечно!) Аспирант, мучающийся с диссертацией, спрашивает, что еще прочитать из немецкой литературы. (Копелев не задумываясь называет два-три раритета.) Учительница интересуется, когда и где будет лекция о Рильке и можно ли ее послушать...

«Лёва просто не может никому ни в чем отказать, — сетует Рая, — все другим, себе — ничего. Но даже при такой беспредельной чуткости и отзывчивости все равно кто-то где-то чего-то лишен. А твое здоровье страдает, силы иссякают, времени постоянно не хватает... У Лёвы же для каждого что-нибудь найдется — совет, книга и уж во всяком случае время, а ведь оно с возрастом все драгоценнее... Кандидатские работы читает все подряд, даже если там бог знает что понаписано. Ну и, конечно, никогда ничего за это не требует. Ни один нормальный рецензент не возьмет на себя столько. Уж слишком много друзей, товарищей, знакомых, коллег, и потому, бывает, приходится просто бежать из Москвы, чтобы Лёва хоть чуточку передохнул».

И Рая права: Лев — сама доброта. К тому же — всегда весел. Он смеется как никто другой, а это после десяти лет в сталинских тюрьмах и лагерях просто чудо. Когда богатырь с окладистой бородой, будто вышедший

---

[1] Предложение, вставленное автором в текст позднее, после решения опубликовать его в сборнике «Zivilisiert den Kapitalismus», вышедшем в 1997 г. в издательстве DVA. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

© 1997 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart

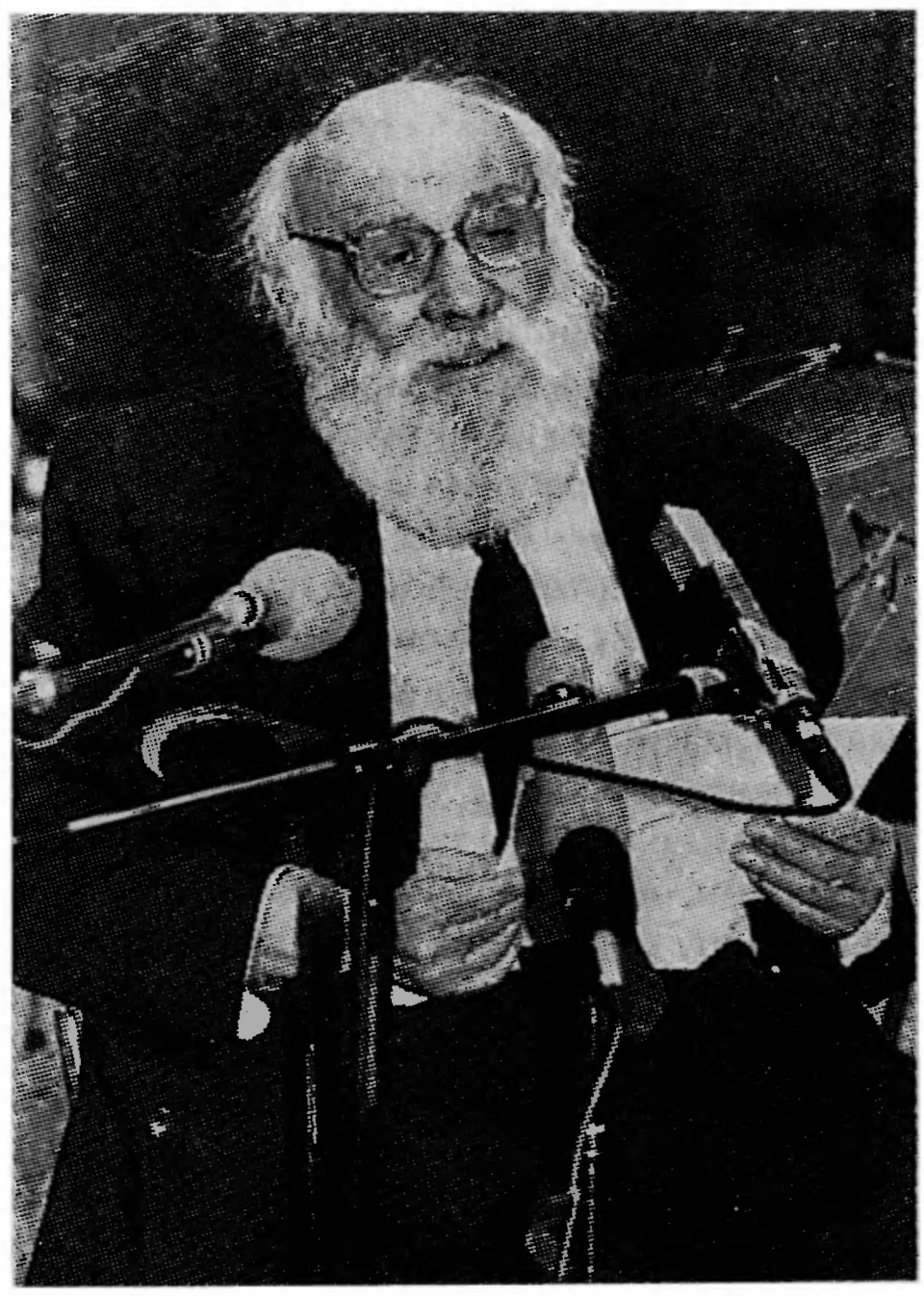
из русской былины, распахивает объятья, встречая друга, — сердце радуется!

Он всегда в ответе за все. Любой зов о помощи, похоже, адресован именно ему. И он всегда откликнется, поможет, поддержит. Типичный случай: Лев тяжело заболел, пробыл после сердечного приступа три недели в больнице. Надо было беречь себя: он стал осторожен, много лежал, врачи запретили поднимать даже тяжелый портфель и вообще заниматься какой-либо физической работой. Как-то Рая уговорила его прогуляться по берегу Москвы-реки. Солнце, легкий ветерок... И вдруг — пронзительный крик: девочка заплыла на середину реки, выбилась из сил и тонет, зовет на помощь. Воскресен: е, на пляже много народу, молодые ребята резвятся в воде. Но первым в воду бросился Лев.

Так же, не раздумывая, он спешит на выручку тем, кого преследуют за убеждения. О Синявском он только слышал, Даниэля вообще не знал, но когда их посадили на скамью подсудимых, он сразу же понял: необходимо вмешаться! И вместе с немногочисленными смельчаками подписал письмо протеста.

Другому диссиденту — Петру Григоренко, упрятанному в спецпсихбольницу, — послал повести Бёлля в оригинале и на русском, зная о его интересе к немецкому языку и проблемам художественного перевода. В письме к администрации упомянутого «учреждения» он просил обязательно передать эти книги и разрешить Григоренко пользоваться письменными принадлежностями. Копелев писал: «Я позволяю себе обратиться к вам с такой неофициальной и очень горячей просьбой, потому что принадлежу к числу тех, кто, не разделяя многих взглядов Петра Григорьевича, глубоко уважает его как самоотверженного, бескорыстного, благородного патриота, необычайно мужественного, талантливого и доброго человека. Решительное изменение его судьбы, видимо, от вас не зависит. Но от вас зависит, чтобы его жизнь в вашем учреждении была возможно менее тягостна. Петра Григоренко никогда уже не забудут ни его друзья, ни беспристрастная история и никто из людей, с ним сталкивавшихся. Не забудете его и вы. И поэтому для вас же хорошо теперь поступать так, чтоб через многие годы, вспоминая о нем, вам не пришлось испытывать угрызений совести и стыдиться перед своими детьми и внуками...» Григоренко получил книги и возможность писать. Да и кормить стали получше.

Заметив легкое недоумение в глазах собеседника, когда речь заходит о причинах его активности в вопросах правозащиты, Копелев говорит: «Я всего лишь возвращаю долги». И поясняет: «Когда меня арестовали, друзья публично выражали свое возмущение, некоторые даже писали Сталину, что в то время было связано с риском для жизни».



Еще до вступления Красной Армии на территорию Восточной Пруссии среди высших партийных функционеров шли споры о том, как относиться к гражданскому населению Германии. Когда дошло до практики, столкновение стало неизбежным. Начальники майора Копелева, включая и самого генерала, с наслаждением вкушали «законные» плоды победного продвижения войск. Копелев не мог спокойно смотреть на это. Возмущение росло. Он резко критиковал тех, кто фактически одобрял мародерство, грабежи, насилия. После приказа командующего фронтом, согласно которому такие преступления карались очень сурово, вплоть до расстрела на месте, позиция Копелева стала для его начальников опасной, даже угрожающей. Они решили принять «превентивные меры». В марте 1945 года Копелева исключили из партии, отчислили с должности старшего инструктора по работе среди войск и населения противника, а 5 апреля, под Данцигом, арестовали прямо в госпитале, где он лежал с тяжелой контузией[1].

Его обвинили в «пропаганде буржуазного гуманизма и жалости к противнику, в невыполнении приказов, в клевете на командование Красной Армии, советскую печать и писателя Эренбурга, а также в клевете на союз-

[1] При осаде крепости Грауденц Копелев немало способствовал тому, что значительная часть гарнизона сдалась, и был представлен к награде — ордену Отечественной войны I степени. Контузию получил в результате внезапного взрыва баррикады уже в мирном городе. «Твердый удар клюнул меня в поясницу, распластав, как лягушку, на мокром тротуаре», — писал Копелев в книге «Хранить вечно».

ников»[1]. Союзников? Как убежденный коммунист, Лев считал, что Черчилль и Рузвельт — империалисты, а потому могут быть лишь временными союзниками. После разгрома гитлеризма Советам придется вести непримиримую идеологическую борьбу против черчиллей и рузвельтов вместе с немецкими антифашистами и антиимпериалистами, ибо подлинными союзниками СССР должны стать немецкие рабочие и крестьяне.

Находясь, видимо, под впечатлением бед и страданий, которые война принесла и немецкому народу, фронтовой трибунал не стал рассматривать дело. Тогда смершевцы переслали бумаги в Москву, где судьи[2] были не столь сентиментальны, тем более в отсутствие обвиняемого. Из Штеттина Копелева вместе с другими без вины виноватыми отправили по этапу в лагерь на Унже, за Волгой. Узнав об этом, его родные, друзья, знакомые писали Генеральному прокурору и в ОСО, возмущались актом откровенного произвола, доказывали, что Лев ни в чем не виноват, ручались за него. Заступничество возымело действие. В августе 46-го Копелева, все еще не осужденного, доставили «на переследствие» в Бутырки. По сравнению с лагерными ужасами столичная тюрьма казалась на первых порах санаторием.

В декабре трибунал Московского военного округа вынес оправдательный приговор «за полным отсутствием состава преступления». Ранним январским утром 47 года Копелева освободили из-под стражи. Он не спеша шел по широкой пустой улице, продуваемой морозным, колючим ветром, читал афиши, видел, как в темных домах вспыхивают розово-желтые окна, курил, думал о скорой встрече с родными и — был счастлив...

Вскоре Копелев подал заявление в парткомиссию Главпура, прося восстановить его в партии. Сановники с золочеными погонами сочли это неслыханной дерзостью. Решение трибунала было отменено «как недостаточно обоснованное», а в середине марта за Копелевым пришли двое в темных пальто. На заседании трибунала он услышал уже опостылевшие слова: «клевета», «дискредитация командования», «срыв боевых заданий», «пропаганда в пользу противника» и — приговор: «три года заключения в исправительно-трудовых лагерях и два года поражения в правах». Прокурору показалось — мало. Военная коллегия Верховного суда отменила приговор «за мягкостью». В октябре 47-го Копелева, несколько месяцев проработавшего фельдшером в лагере «Большая Волга», опять привезли в трибунал[1]. Решение суда, «самого великодушного в мире», как сказал прокурор, теперь гласило: десять лет заключения и пять лет поражения в гражданских правах.

Так Копелев, лишенный к тому же звания и наград, оказался «в круге первом», вместе с Солженицыным[2].

— Ты не скрываешь, что Солженицын сделал тебя под именем Льва Рубина одним из главных персонажей своего романа? — спросила я как-то Копелева.

— А зачем скрывать? Только хочу тебе сказать, что этот малый получился у него еще наивнее и глупее меня тогдашнего.

В «круге первом» Лев пробыл до 1950 года, на волю же вышел лишь в декабре 54-го, проведя в заключении в общей сложности 9 лет и 9 месяцев. А реабилитировали его только в 56-м, кстати, одновременно с друзьями, которые после войны вступились за него и были вышвырнуты из армии и профессуры. Были уволены и понесли наказание по партийной линии и судьи: как те, что когда-то оправдали его, так и «жалостливые» — те, что дали всего три года.

То, как живет и работает Лев, всегда вызывает у меня какое-то радостное изумление. Восхищает прежде всего внутренняя свобода, органически присущая ему. Свобода, которую он не завоевывает, а — творит... «Я живу inspite of[3], — писал он мне из Москвы. — Это тоже разновидность свободы, ибо позволяет мне говорить и писать только то, что я действительно думаю. Я не отвечаю ни перед какой инстанцией — только перед моей совестью. Не состою ни в какой партии. Не отношу себя и к диссидентам. И не верю больше ни в программы — они всех к чему-то обязывают, — ни в обещания всяких харизматических личностей. Жить и действовать так, чтобы никогда не жалеть о своих словах и поступках, — вот мой категорический императив».

---

[1] «Когда я спорил, стараясь убедить — нельзя, чтобы наши солдаты убивали и мучили пленных, нельзя грабить польских и немецких крестьян, — я был озабочен прежде всего — если не только — мыслями о нашей стране, о нашем общественном строе. Какими станут потом, после войны, эти пареньки, пришедшие на фронт из школы и ничему не учившиеся, кроме как стрелять, окапываться, перебегать и переползать, швырять гранаты. Они привыкли видеть смерть, кровь, жестокость и ежедневно убеждались в том, что газеты, радио, их командиры на митингах рассказывают о войне совсем не то, что они сами видят и испытывают. Привычка к насилию и ко лжи, недоверие к слову, исходящему «сверху», должны были обратиться против нас... Как избежать этого? Меня исключили из партии и арестовали именно за такие мысли, высказанные вслух...» (Лев Копелев. «Хранить вечно»)

[2] Следственное дело Копелева было направлено в ОСО (Особое совещание при МВД СССР).

[1] «Ты, майор, в плену не был? Не был. С фронта не бегал? Не бегал. Самострел себе не делал? Нет. Ранения имеешь? Имеешь. Боевые награды имеешь? Тоже имеешь. На фронте сколько? Почти все четыре года. Так за что же тебя судят? — рассуждал капитан-комендант в «эмке» по пути в Бутырки после первого дня. — Что ты мародера мародером назвал, что не хотел, чтоб немок насильничали?.. За это спасибо надо сказать, а не судить».

[2] В спецтюрьме в Марфино.

[3] Вопреки (*англ.*).

ЛЕВ КОПЕЛЕВ

УМЕРШИЕ ПРИКАЗЫВАЮТ — ЖИТЬ ДОЛГО!

Чтобы люди стали людьми, им надо было понять: они смертны, жизнь имеет предел. Осознание этой истины неотделимо от становления как всего рода человеческого, так и отдельной личности. Отсюда — мечты о бессмертии, даже вера в него, стремление создавать нетленные ценности и передавать их новым поколениям. Человек не может, не хочет смириться с всесилием смерти, признать за ней право на победу.

Люди хотят жить всегда, и потому воображение рождает потусторонний мир: Аид и Элизиум, чистилище, ад и рай; живущие верят в нерасторжимую связь с усопшими. Такие представления свойственны сторонникам почти всех вероисповеданий во всех странах света.

В Китае культ предков во все времена был одной из основ религиозного миропонимания и восприятия всего сущего с моральных позиций. Последователи Конфуция считают, что о нравственном здоровье общества и государства можно судить по тому, как в нем помнят умерших.

В календарях всех европейских стран есть поминальные дни. Обряды и ритуалы столь же различны, как и времена года, на которые они приходятся. У славянских народов эти дни отмечаются обычно весной, между Пасхой и Троицей, но при всех различиях их объединяет благоговение перед таинством вечности, негасимой памятью, бессмертием имен и преданий, а также ощущение нерушимого единения с людьми, которые когда-то жили, боролись, страдали и тем возделывали почву, откуда непрерывно прорастает новая жизнь. Причем с нами связаны и те предки, которые творили зло, люди недобрые, бесчестные, чей пример должен отталкивать. Но именно потому, что они заблуждались, грешили, даже совершали преступления, нам и ценен их горький опыт — как предостережение, как урок, преподанный прошлым.

История Дня национального траура в Германии аллегорична, подобна знаку, под которым здесь развивались события в нашем столетии. После жестоких испытаний, выпавших на долю народа в первой мировой войне, Веймарская республика учредила День памяти павших. Католики и протестанты поминают усопших не одновременно: одни — в самом начале ноября, другие — в воскресенье перед первым адвентом. В День же национального траура решено было отдавать дань уважения всем погибшим солдатам, независимо от вероисповедания. Идея христианского всепрощения распространялась при этом и на вчерашнего противника, призывала к миру. Придя к власти, нацисты сразу же превратили День общенационального траура в День памяти павших героев. Родственникам погибших предписывали «печалиться с чувством гордости». Отныне атмосферу этого дня должен был определять не призыв к миру и взаимопониманию, но дух ненависти и мщения. После крушения третьего рейха оккупационные власти запретили отмечать столь одиозный праздник.

В Федеративной Республике Германии День национального траура исполнен иного смысла. Ее граждане чтят память всех жертв всех войн. Всех, кто убит на полях сражений, погиб в тылу, пал от насилия или политического террора.

Я приехал из Советского Союза, народы которого понесли в годы второй мировой войны тяжелые потери. Кроме того, миллионы русских, украинцев, советских граждан других национальностей были замучены и убиты в тюрьмах и лагерях, умерли в ссылке от голода и болезней до и после войны.

На войне я был красноармейцем, защищал родину от врага, грозившего поработить, а может, и уничтожить ее. Но еще на фронте я подружился со многими немецкими солдатами и офицерами из числа военнопленных и перебежчиков. Мы вели, нередко под огнем, передачи со звуковых агитмашин, готовили в антифашистской школе людей к заброске в тыл противника. А потом работал вместе с немецкими инженерами, такими же зеками, как я, на Марфинской шарашке.

Мне известны десятки случаев, когда немцы и русские становились друзьями в самые страшные годы, являя пример человеческих отношений в нечеловеческих условиях.

Летом 44-го в белорусской деревне нас

встретила толпа взбудораженных, галдящих женщин. Они вели немецкого солдата. Плача и смеясь, бабы требовали отнестись к «энтому фрицу» как к другу. «Нашу деревню спас, — вопили они. — Эсэсманы хотели всех на улицу выгнать и дома поджечь, а он не дал — орал на ихних солдат, даже автоматом грозил. И у нас остался — село от новых поджигателей защищать».

Мой друг Роман Пересветов, журналист, полюбил немку, тоже журналистку, с которой работал в редакции армейской газеты, выходившей на немецком языке. Ему пришлось дорого заплатить и за свою любовь, и за дружеские отношения с другими немецкими коллегами: после семи лет лагерей он был реабилитирован, но вскоре умер от «заработанных» там болезней.

Здесь, в Германии, я знаю пожилую женщину из небольшой нижнесаксонской деревушки, фрау Кникельбайн, вдову рабочего. С 44 года она бережно ухаживает за могилкой неизвестного русского военнопленного — в память о собственном сыне, погибшем где-то в бескрайней России.

Гитлер, создавший в Германии бесчеловечный режим, целенаправленно готовил, а затем и развязал самую жестокую в истории войну. Сталин, создавший в СССР режим не менее бесчеловечный, фактически помог ему в осуществлении чудовищного замысла. Сначала были арестованы, брошены в тюрьмы, заключены в лагеря и уничтожены десятки тысяч командиров Красной Армии и инженеров, работавших в оборонной промышленности. В результате дьявольского пакта между Молотовым и Риббентропом была раздавлена и поделена Польша. Советский Союз поставлял германским военным заводам стратегическое сырье, тем самым помогая вермахту оккупировать страны Западной Европы. Следуя указаниям Сталина, Генеральный штаб игнорировал сигналы собственных шпионов о надвигающейся опасности и обнажил западную границу страны перед противником, сконцентрировавшим там ударные армии. Идеологи сталинского режима морально разоружились, лишив народ информации антифашистского характера. Сталинские спецслужбы отдали в руки гестапо сотни немецких и австрийских коммунистов и социал-демократов, в Катыни были расстреляны тысячи польских офицеров.

22 июня 1941 года дивизии вермахта по приказу Гитлера вторглись в пределы Советского Союза. Отдав этот приказ, фюрер обрек свою империю на крушение. И — спас от крушения сталинский режим.

Для русских, украинцев, белорусов, как и большинства советских граждан других национальностей, война стала отечественной. Она пробудила в народе могучие силы, и, несмотря на тяжелейшие поражения в первый год, на колоссальные потери на фронтах и в тылу, силы эти все прибывали.

Победа, одержанная Советской Армией над вермахтом, привела как к крушению тоталитаризма гитлеровского, чего он, естественно, заслуживал, так и к незаслуженному триумфу тоталитаризма сталинского.

Ныне мы чтим память людей всех национальностей, ставших жертвами страшной войны, всех солдат, павших на поле боя или погибших в плену, скорбим о всех мужчинах, женщинах и детях, нашедших смерть в пылающих городах и селах, в концлагерях, в потоках беженцев на дорогах и на тонущих кораблях.

Ныне память об умерших не знает государственных, этнических, религиозных, идеологических границ. Однако эта всеобщность возможна и действенна только в том случае, если она коренится в национальной почве. Пушкин писал:

> Два чувства дивно близки нам,
> В них обретает сердце пищу:
> Любовь к родному пепелищу,
> Любовь к отеческим гробам.

«Отеческие гробы» и «родное пепелище» символизируют явные и тем не менее не поддающиеся определению таинственные и плодотворные силы, без коих трудно представить себе не только творчество гениальных мастеров пера, но повседневную жизнь всех людей, даже и нищих духом.

Из безусловного признания Божественного откровения, исконных традиций русского народа и дерзновенного стремления поспорить со всемогуществом смерти родилась уникальная «Философия общего дела», как назвал свое учение Николай Федоров (1828—1903). «Общим делом» всех живых должно стать воскрешение мертвых, всех, когда-либо бывших на Земле. Не только философ и теолог, но и естествоиспытатель, Федоров полагал, что воскрешение умерших можно и должно осуществить научными средствами. Его понимание философии, религии и морали оказа-

ло влияние на творчество Толстого, Достоевского, Горького, Маяковского и многих других писателей, поэтов, мыслителей. Развивая идеи Федорова, Владимир Соловьев, философ, публицист, поэт, размышлял следующим образом: если телесные силы неотвратимо одолеваются смертью, то сил духовных для победы над ней недостаточно. Лишь безграничность нравственной силы дает абсолютную полноту бытия. Сын человеческий и Божий был распят, чувствовал, что оставлен людьми и Богом, и тем не менее молился за врагов своих: Его душевные силы, очевидно, не знали границ, и ни одна частичка Его существа не стала добычей смерти. Являясь решающей победой жизни над смертью, доброго начала над злом, воскресение Христа представляет собой тем самым триумф вселенского разума. На что можно было бы надеяться, если бы такая жизнь не одолела врага? Не воскресни Христос, кто мог бы тогда воскреснуть?[1]

В царской России труды Федорова были запрещены церковью как «еретические», а в советской заклеймены как «опусы реакционного суеверного спесивца». И сегодня только кое-кто знает, что Циолковский считал себя учеником Федорова. Набрасывая эскизы космических ракет, он следовал призыву философа создать технические предпосылки для того, чтобы и другие планеты солнечной системы стали, согласно Провидению, обителью воскресших людей.

Федоровские утопии вызывали энтузиазм лишь у немногих современников, большинство же иронизировали, а то и прямо насмехались над ними. Сегодня некоторые ученые и космонавты, исследующие Вселенную, видят в гениальном мечтателе своего духовного предшественника.

Сегодня мы живем в эпоху активного освоения космического пространства. Русский первым облетел Землю на космическом корабле, американцы первыми высадились на Луне, их автоматическая станция достигла Млечного Пути. Научные открытия и чудеса техники, немыслимые полвека тому назад, стали обыденным явлением. В этом же мире, на нашей маленькой планете, по-прежнему вершат свое дело и злые, темные силы. Каждодневно и ежечасно гибнут люди, становясь жертвами «малых» войн, террора, произвола властей, религиозного фанатизма. После того как отгремели последние залпы второй мировой войны, на земном шаре полыхало пламя ста пятидесяти региональных конфликтов.

«Война не кончится, — писал Г. Бёлль в одном из ранних рассказов, — пока будет кровоточить хоть одна рана, нанесенная ею».

Старые раны не успевают зажить, а к ним прибавляются новые. Кресты у Берлинской стены — это незарубцевавшиеся раны, а новые кровоточат в Пекине, Ливане, Палестине, Северной Ирландии, Южной Африке, Сальвадоре. И потому так злободневно звучат слова, с которыми более трех столетий тому назад английский поэт Джон Донн обратился к современникам (Эрнест Хемингуэй поставил их эпиграфом к своему лучшему антивоенному роману): «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европа, и также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».

В XX столетии люди могли воочию убедиться, сколь губительны революции, перевороты и войны «во имя лучшего будущего».

Новейшая история России и Германии, Китая и Камбоджи неопровержимо доказывает, что происходит, когда в жертву политическим доктринам, якобы дарующим спасение, или имперским амбициям приносят национальные культурные ценности — под предлогом их архаичности, обветшалости и т.п. Не щадят и могил предков — святыни для Пушкина. Смотрел на днях телерепортаж из того района ГДР, где добывают бурый уголь: на месте кладбищ, по которым прошел бульдозер, теперь горы разбитых надгробных памятников — следы нашествия новых варваров. Случай далеко

---

[1] Г[-н] Z., участник «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории», говорит у Соловьева: «Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже, в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в личном воскресении Одного — и ждем будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает окончательное объяснение своего бытия в том, что оно служит все к большему торжеству добра: если смерть сильнее смертной жизни, то воскресение в жизнь вечную сильнее и того и другого».

не единичный, послевоенная история европейских и азиатских стран изобилует примерами подобного вандализма.

Приехав на Первый съезд советских писателей, Клаус Манн засвидетельствовал в дневнике безраздельную симпатию к тем, кто «утверждает в России все земное». Одно неприятно удивило его: «Рабочие рассмеялись, когда Андре Мальро спросил, как они относятся к смерти. Печаль, изначальное чувство всего живого, здесь воспринимают как пораженчество. Но ведь и для этого жизнерадостного поколения когда-нибудь будет написан «Вертер».

Участь, постигшая «жизнерадостное поколение» в последующие десятилетия, пока не нашла своего отображения ни в книге вроде гётевского «Вертера», ни в фундаментальном историческом исследовании. Поначалу искренний, хотя и бездумный, революционный оптимизм трансформировался в казенную, охранительную идеологию, исповедовать которую предписано всем и каждому. В результате общество превратилось в «коллектив» недумающих и доверчивых, циничных и корыстных исполнителей-конформистов. Последовали экономические, политические, нравственные кризисы и катастрофы... Примечательно, как на этом фоне проходит День национального траура в ФРГ. В некоторых странах павших поминают в дни юбилейных торжеств. Горькие размышления о чудовищной бессмысленности войн, рождающие такие же скорбные чувства, заглушаются громом литавр и националистическими кликами, вытесняются из сознания и души. Здесь же вспоминают о жертвах всех войн, всех злых сил, убивающих людей и в мирное время.

С глубоким волнением мы думаем сегодня о тех, кто был застрелен на внутригерманской границе, при попытке перебраться через Берлинскую стену. Но с печалью сливается благодарность — ведь они проложили дорогу тем отважным людям, которые совершили в ГДР беспрецедентную мирную революцию. Сегодня мы отдаем дань памяти и тем, кто погиб в кровопролитных боях на национальной почве в горах Кавказа, в среднеазиатских республиках, в Приднестровье, в странах, строящих, по заявлениям их лидеров, «реальный социализм».

Бесчисленные опасности подстерегают человечество, угрожают сделать нашу Землю непригодной для обитания. Люди стоят перед выбором: образумиться, проявлять миролюбие, терпимость, готовность к компромиссам или идти навстречу уничтожению всякой жизни на Земле. Первый путь оставляет нам надежду, а потому самое важное в этот день — услышать голос убиенных, погибших, умерших, призыв, обращенный к нам, живущим: мало поминовения и почестей!

Ученые, инженеры, художники, поэты, музыканты! Пришел час посвятить все силы духа защите мира. Для вооруженных конфликтов нет причин. Продолжать политику — какой бы она ни была — военными средствами недопустимо.

Политика должна быть научно и нравственно обоснована, однако и подлинная наука немыслима без соблюдения этических принципов. Человечность — вот путеводная нить любого политика и ученого. Народы же должны стремиться к тому, чтобы она стала еще и связующей.

Именно это имел в виду Рихард фон Вайцзеккер[1], когда сказал в своей речи 8 мая 1985 года: «Полного совершенства нет — ни у кого ни в одной стране! Мы, люди, вооружены знаниями, которые стали угрожать нашему собственному существованию. Но ведь и в наших же силах устранить любую угрозу».

Извещая о чьей-нибудь смерти, русские говорят: приказал долго жить...

Долго жить — завет умерших!

1989

Перевод с немецкого А. ЕГОРШЕВА

[1] Президент ФРГ в 1984 — 1994 гг.

■

ПЕТР ВАЙЛЬ

БОСФОРСКОЕ ВРЕМЯ

Стамбул — Байрон, Стамбул — Бродский

БАЗАР ЕВРАЗИИ

Стамбул издали очень современен. Минареты на расстоянии кажутся телевышками — и эти острия протыкают время, сводя сегодняшний Стамбул с доисламским Константинополем и еще более древним Византием. Главный храм христианского мира — Айя-София — стал образцом не только для церквей, особенно православных (вспомним Софии — киевскую, новгородскую, вологодскую), но и для мечетей. Поставленные по четырем углам константинопольской церкви минареты превратили ее в мусульманский храм, и началось клонирование — мечеть Сулеймана, мечеть Султана Ахмета, мечеть Баязида... Некоторые красивее, почти все грациознее поруганной Софии, но у истоков — она, и все на нее похожи. Становится понятно, как внушителен был и безминаретный Стамбул. Нынешний пассажир эгейского круиза испытывает, входя в Босфор, те же ощущения, что крестоносец Жоффруа де Виллардуэн восемь веков назад: «Многие из смотревших на Константинополь даже помыслить не могли, что может быть в мире столь богатый город, и вот увидели они сии высокие стены и богатые башни, оградившие город, и высокие церкви, и было их всех столько, что невозможно поверить, когда бы не расстилались они перед глазами... Не нашлось столь бесстрашного человека, кто не затрепетал бы при сем зрелище...»

Впечатляет и сама идея: единственный город на двух континентах. Единственный великий город с тремя именами. Ну, разве Рыбинск-Щербаков-Андропов или Юзовка-Сталино-Донецк. На что у Стамбула найдется русский ответ: четвертое имя — Царьград.

Вид города с воды внушал и внушает трепет и почтение: мало на свете рукотворных ландшафтов величественнее. Другое дело, когда прибываешь по воздуху и из аэропорта на такси режешь углы от Мраморного моря к бухте Золотой Рог, сразу погружаясь в базар, который есть город. Байрон приплыл в Стамбул на фрегате, Бродский прилетел самолетом. Думаю, это важно.

Однако корабль тоже рано или поздно пристает к берегу, и базара не миновать. Пассажирские причалы — на европейской стороне. А главный парадокс Стамбула таков: Азия тут — это Европа, а вот Европа — самая что ни на есть Азия. Карту хочется перевернуть вверх ногами — впрочем, еще и потому, что Эгейское море по отношению к Черному в культурно-политическом смысле — север.

Пересекаешь узкую полоску Босфора — и оказываешься в чистом, респектабельном европейском городе, оставляя позади, в географической Европе, бессонный, шумный, грязный азиатский базар, кружащийся наподобие дервиша вокруг ядер конденсации — мечетей и дворцов. Кружение усиливается хаотичным мельканием машин: светофоры либо отсутствуют, либо не работают, либо игнорируются. Разносчик чая со своей хрупкой подвесной конструкцией из подноса и восьми стаканчиков в безумной отваге мчится на автомобильный поток, перекрывая криком клаксоны; машины с визгом тормозят, водители высовываются по пояс и машут одобрительно руками.

На азиатской же стороне, чуть дальше аккуратного ближнего Кадыкёя — фешенебельные районы Фенербахче, Бостанджи, Гёзтепе: тут-то и селится солидный средний класс. Здесь горят огни на перекрестках, здесь следят, чтобы не рушились дома и не замусоривались улицы, — на это есть время, поскольку нет одержимости идеей продажи и показа, никто не дергает пришельца за фалды, предлагая путеводитель, шашлык, бумажные салфетки, штаны, древний камень. Здесь живут для себя, и в том, что для себя живут лучше, чем для чужеземцев, — серьезное отличие Турции от северного соседа.

Скоропалительный турист сюда не добирается, ограничиваясь босфорской прогулкой на катере и пересечением моста, связавшего два

© П. Вайль, 1998

континента, чтобы испытать действительно волнующее чувство. «До свиданья, дорогая, уезжаю в Азию и последний раз сегодня на тебя залазию» — в Стамбуле это не песня о разлуке, а гимн похотливости: до Азии двадцать минут по воде или пять по мосту.

В стамбульской Европе гуляет торговля. Известный всему миру Большой базар — как раз цивильное место, вполне пристойный торговый центр, просто громадный. Настоящий базар — за его пределами: повсеместный, беспрерывный. Вечером у Новой мечети прямо из высокой кучи на асфальте выбирают рубашки пастельных тонов — в полной темноте. По ресторанной улице на Галатасарайском рынке бродят среди столиков продавцы погремушек, статуэток дервишей, цветов, портретов Ататюрка, лотерейных билетов; всех замучил старик с потертой лисьей шкурой. Дама в балахоне с бледным накрашенным лицом разворачивает аккордеон: «Дунайские волны». Сейчас войдет Чарнота. В районе Лалели бродят недешевые «наташки». По набережным Золотого Рога — рыбная торговля под присмотром безбоязненных свиноподобных чаек: сардины, скумбрия, пеламида с рекламно вывороченными пурпурными жабрами. Жареную скумбрию продают прямо с качающихся лодок. Картина инфернальная: в лодке жаровня, пламя то и дело взметается, охватывая продавцов, они ругаются, хохочут и протягивают на берег вложенную в булку рыбу.

В мавзолее Сулеймана Великолепного настойчиво предлагают сделать взнос на поддержание гробницы султана и его русской жены Роксаны. Квитанцию за номером 0255207 серии D13 храню: как еще обернется жизнь.

Туризм — тоже торговля. Только сам товар — поскольку это недвижимость под охраной государства — продать нельзя, так что торгуют любознательностью. Твоей. Ты — одновременно покупатель и товар. Странное шизофреническое ощущение, когда тебе назойливо и агрессивно продают тебя — хочется сказать, лучшую часть тебя, одну из лучших по крайней мере.

На асфальте у воды — что-то накрытое брезентом с огромной надписью: «Тетрать — 1 kg — $2». Изводишься от любопытства, но тут приходят вялые брюнеты и стаскивают брезент: штабеля тетрадей для продажи на вес российским оптовикам. Местные торговцы сносно объясняются по-русски — благо масса общих слов. Балык — по-турецки «рыба»; обидно: выходит, любая тюлька — для нас деликатес. Зато мы отыгрались на сарае, который у них — дворец, и на алтыне, который — золото. Спорт — спор: как правильно. Ластик — шина. Я обедал на речке Чай, пил чай в местечке Чердак. Секулярная революция Ататюрка реабилитировала алкоголь: вина пока неважные, все пьют анисовую ракию и более привычное, с фонетически безупречным написанием — votka, kanyak. Стакан по-ихнему — бардак, тарелка — табак. Родная лингвистика: водки бардак да селедки табак.

Восток вообще роднее, чем запад. Европе в русском языке как раз не повезло. Прежде всего — с единственной известной к этому слову рифмой. И еще: в слове «Европа», особенно в его производных, так явственно слышен другой чуждый корень, и на слух патриота какой-нибудь «Евросоюз» только и может быть союзом масонов. Язык определяет идеологию: «евроремонт» — само существование этого слова есть сильнейший аргумент в пользу азиатскости России. Не говоря уже о том, что евроремонтом в Москве занимаются турки.

«Москва, Астрахань, Персия, Индия» — в этой мечтательной бунинской цепочке явно пропущен Стамбул: по соображениям картографической прямоты, вероятно. Жизнь откорректировала классика бойким сообщением по маршрутам Сочи — Трабзон и Новороссийск — Стамбул.

У причалов Каракёя выстроилась русская кафедра: «Профессор Щеголев», «Профессор Зубов», «Профессор Хлюстин»; профессорские матросы выходят на сухопутный торговый промысел. В Лалели полно русских вывесок: «Центр кожи», «Переговорный пункт», «Молдова—Кишинев, Одесса—Херсон». В Каракёе — ряд кабачков: «Дедушка», «Почувствуйте разницу, ё-моё!». Чувствуешь, сидя у окна: под тобой рыбный рынок, перед тобой Золотой Рог, за ним — Айя-София. Ё-моё!

Наконец-то! Исполнилась многовековая мечта. Победой прославлено имя твое, твой счет на вратах Цареграда.

СЛЕЗА НА ВЕТРУ

На базаре начинаются занимающие 284 октавы стамбульские похождения байроновского Дон Жуана. В него, попавшего в плен к пиратам и выставленного на продажу с другими рабами, влюбляется жена султана и покупает его. Переодетого женщиной Дон Жуана приводят в гарем, но он султанше отказывает: «Любовь — для свободных!» Манифест имеет по-английски и дополнительный смысл: «Любовь бесплатна», — говорит Байрон, заплативший высокую цену вечной разлуки за свою любовь к сестре Августе.

Рыночная тема любви возникает на невольничьем рынке, откуда русский переводчик убрал русских: «...Доставив на большой стам-

бульский рынок / Черкешенок, славянок и грузинок». В оригинале — Russians. Чуть дальше, уже среди рабов-мужчин — снова отсутствующие в переводе Russians. Невыносима, что ли, была мысль о пленении и продаже русских, а так — может, это и полячишки. Русские переводы, не только Байрона — волей-неволей, а иногда и прямо волей — идеологичны. Еще хуже — когда откровенно неряшливы. В «Плавании в Византию» Йейтса, которое обыгрывает Бродский в английском варианте своего эссе «Путешествие в Стамбул» — «Бегство из Византии», — фигурирует рыба. Откуда взялись в переводах «тунцы» и того пуще — «осетр» (это в Черном-то море!)? У Йейтса яснее ясного: «mackerel» — макрель, или, по-нашему, скумбрия, справились бы напротив, в Одессе. Спросишь — скажут, мелочи, главное — дух, но ведь оригинал почему-то точен. (Это еще к тому, что почти все байроновские фрагменты — из дневников, писем и даже стихов — приходится переводить заново.)

Байрону — как Йейтсу, как Шекспиру, как очень многим — у нас не повезло: он куда резче, корявее, современнее, чем в переводах. Изумляешься, сопоставив с подлинником, — во что превратились простые байроновские образы под пером байронических его перелагателей. Один из персонажей Джейн Остин говорит о расхожем романтизме: «Я назову холм крутым, а не гордым, склон — неровным и бугристым, а не почти неприступным, скажу, что дальний конец долины теряется из вида, хотя ему надлежит лишь тонуть в неясной голубой дымке». Довольно точное описание метаморфозы Байрона в русском переводе. В переводе не только буквальном, но и в идейном. Тот же остиновский герой: «Добротный фермерский дом радует мой взгляд более сторожевой башни, и компания довольных, веселых поселян мне несравненно больше по сердцу, чем банда самых великолепных итальянских разбойников». Перед нами — прозаический пересказ стихотворения Лермонтова «Родина»: «полное гумно», «изба, покрытая соломой», «пляска... под говор пьяных мужичков». Но таков самый поздний Лермонтов — каким он толком не успел стать. Лермонтов же как властитель дум — это поэтика «гордых холмов» и «неприступных склонов»: нет, не Байрон, а другой — *байрон*.

Слишком известно, как много у нас было *байронов*, — достаточно сказать, что того не избежал даже Пушкин. Значение Байрона в России — больше, чем где-либо, что объяснимо: Европе идея *личности* была уже знакома, в России она тогда и началась. «Отважный исполин, Колумб новейших дней, / Как он предугадал мир юный, первобытный, / Так ты, снедаемый тоскою ненасытной / И презря рубежи

Британское консульство в Пере. Тут находилось посольство, где бывал Байрон

боязненной толпы, / В полете смелом сшиб Иракловы столпы...» — Вяземский.

Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» выделил Байрона в специальный раздел, поставив его, таким образом, в один ряд с Кантом, Гегелем, Шопенгауэром, хотя ясно, что никакой философской системы у Байрона нет. Зато есть модель жизни. Мировоззрение, точнее — мироощущение. Не «мир и я», а «я и мир». То, что внутри, не уступает по богатству и сложности тому, что снаружи, и главное — важнее и значимее. После Ницше, Фрейда, экзистенциалистов тезис выглядит трюизмом, но первым это постулировал Байрон. Причем в наиболее доступной художественной форме: увлекательными стихами.

Сопоставимость несопоставимого, превосходство над превосходящим, нарушение элементарных законов арифметики и физики во имя торжества человека над человечеством — вот что получило зауженное и, по сути, нелепое имя «романтизм». Радикальнее открытия в людской истории не было. У истоков романтизма — того способа отношения человека с жизнью, который продолжается по сей день, — стоят три имени: Наполеон, Бетховен, Байрон. Один показал, на что способна волевая личность, второй задал темп и ритм освоения мира, третий явил образец поведения и облика.

Байрон «расширил сферу интимного до немыслимых пределов». Пожалуй, это наиболее точная и емкая формулировка его достижений (хотя Венедикт Ерофеев высказался так совсем по другому поводу).

Еще раз Остин: «Беда поэзии... в том и состоит, что редко кто наслаждается плодами ее безнаказанно и что она более всего впечатляет нас при том именно состоянии души, когда нам менее всего следовало бы ею упиваться». Взгляд настолько рациональный, что почти медицинский. Его можно принять как диагноз русского байронизма, который у нас оказался таким долговременным: от Онегина и Печори-

на до Корчагина и Мелехова. Да и дальше: до тех недавних времен, когда были растабуированы деньги. Советский романтизм уговаривал обрести крылья, российский консьюмеризм — приобрести крылышки. Прокладки с крылышками. Не крылья Советов, а крылышки полезных советов.

Примечательно, что сам Байрон о низких предметах говорил уважительно: «Деньги единственная твердая и неизменная опора, на которую следует полагаться умному человеку».

Не вяжется с байронизмом, но с Байроном — вполне. Явственная и яркая его характеристика, выступающая из дневников и писем, — здравый смысл. Пожалуй, только в «Дон Жуане» явлен тот же трезвый Байрон — дневниковый, эпистолярный. До того он сознательно и скрупулезно разрабатывал пойманные в «Чайльд Гарольде» образ и идею лихой личности, отчаянно противостоящей миру. И не менее успешно трудился над таким своим жизненным обликом.

Байрон был, вероятно, первой суперзвездой современного типа. В нем сошлось все, что выводит на первые полосы газет и в заголовки теленовостей. Родовитость — как у принца Чарльза, богатство — как у Гетти, красота — как у Алена Делона, участь изгнанника — как у Солженицына, причастность к революциям — как у Че Гевары, скандальный развод — как у Вуди Аллена, слухи о сексуальных отклонениях — как у Майкла Джексона. Не забудем и талант.

Он преуспел бы на радио: современники отмечали глубокий, бархатного тембра голос. Он покорял бы телезрителей редкой красотой, не просто данной от природы, но и которой — сам свой старательный имиджмейкер — добивался тяжелым постоянным трудом. Ел обычно раз в день, в основном рис и овощи, изнуряя себя диетой, так как был склонен к полноте. Пил, за исключением ранней молодости, очень мало, временами бросал вовсе. Целенаправленно и упорно занимался спортом: боксировал под руководством лучших бойцов того времени, по возможности ежедневно ездил верхом, совершал долгие заплывы.

Трусцой Байрон не бегал только оттого, что ходил трусцой, и врожденный дефект ступни, сделавший его хромым на всю жизнь, можно считать решающим обстоятельством в открытии романтизма. Как малорослость Наполеона и глуховатость Бетховена.

Современники отмечали магнетизм Байрона. Он знал это свое качество, но не доверял стихийному обаянию, работал над образом. И был прав. «*Толстый поэт* — мне кажется, это какая-то аномалия», — записала леди Блессингтон перед встречей с Байроном в Венеции, напуганная слухами об изменении его облика. Он не подвел.

Переплыв Дарданеллы в том самом месте, где Леандр плавал к Геро и где Геллеспонт пересек Александр Великий, Байрон написал об этом, кажется, всем своим корреспондентам. Так же, как о фразе Али-Паши в Янине: «Он сказал мне, что я человек высокого происхождения, потому что у меня маленькие уши, вьющиеся волосы и маленькие белые руки». Эти слова Байрон без устали повторял в письмах, зная, что их будут цитировать в лондонском обществе. Восхищавшийся им Стендаль тем не менее язвительно записал: «Когда лорд Байрон забывал о своей красоте, он предавался мыслям о своем высоком происхождении».

Он знал свои козыри и козырял. Его и воспринимали суперзвездой. Шелли пишет о 1816 годе на Женевском озере: «Жители домов, выходивших на озеро напротив дома лорда Байрона, пользовались подзорными трубами, чтобы следить за каждым его движением. Одна английская дама от испуга лишилась чувств, когда он вошел в гостиную».

Обморок случился, скорее всего, не только от возбуждения в присутствии кумира, но и от его демонической репутации — развратник и изгой.

На деле, говорить можно о самоизгнании, вызванном установкой на изгнаническую судьбу. Безнравственностью и промискуитетом Лондон начала XIX века удивить было трудно, и похождения Байрона ничем особенным не выделялись, хотя он действительно был развратен и в разврате азартен.

Его дневники и письма не оставляют сомнений в гомосексуальных связях — как проявлении пансексуализма, того, что по-русски изящно именуется «... все, что движется». Он не стеснялся перед друзьями: «Я отложил было перо, но обещал посвятить раздел состоянию морали, и следующий трактат на эту тему будет озаглавлен «Содомия облегчена и педерастия одобрена древними авторами и современной практикой». Или — о портовом городке Фалмуте, «прелестном месте», которое предлагает «Plen. and optabil. Coit.» (так приятели прозрачно кодировали «многочисленные и разнообразные половые сношения»): «Нас окружают Гиацинты и другие цветы самого ароматного свойства, и я намерен собрать нарядный букет, чтобы сравнить с экзотикой, которую мы надеемся встретить в Азии. Один образец я даже возьму с собой». Речь шла о юном красавце Роберте Раштоне, который был у Байрона пажом, как Гиацинт — у Аполлона. В Афинах появился новый фаворит — 15-летний Николо Жиро. Что до Азии, то Байрон упоминает «турецкую баню, мраморный рай шербета и содомии». В

Константинополе это дело было поставлено широко. Несколько позже Флобер писал о целой улице мужских борделей, о том, как их обитатели покупают засахаренный миндаль на только что полученные от клиентов деньги: «Так анус наполняет желудок, тогда как обычно все наоборот».

Однако эта сторона байроновской любовной активности, во-первых, проступает лишь при чтении всего его наследия, современникам недоступного, во-вторых, она вообще незначительна. Главным всю жизнь были женщины.

Таким образом, единственное нестандартное явление личной жизни Байрона — отношения с Августой, пусть и сводной, только по отцу, но сестрой. Правда, это были тогда лишь слухи, какие в годы регентства переносили снисходительно. Суть не в том, *что* происходит, а *как* это подается. Можно безобразничать, но нельзя хамить. Байрон же оказался сам своей собственной желтой прессой, с усердием таблоида откровенничая в гостиных о запретных — для произнесения, только для произнесения вслух — вещах. «Главным недостатком Байрона было его извращенное стремление создавать себе дурную репутацию... Не исключаю, что это было болезненное проявление тщеславия», — отмечает современник. Байроновское самоизгнание стало логическим завершением свободного словоговорения.

Подлинное его отношение к женщинам затуманено романтическими клише в стихах, эффектным скепсисом в «Дон Жуане», разговорным цинизмом в письмах. Лишь изредка прорывается нечто неожиданное — надо думать, окрашенное глубокой и трагической любовью к Августе: «Странно, как скоро мы забываем то, что не находится *постоянно* перед нами... Я исключаю воспоминания о женщинах: *им* нет забвения (будь они прокляты) более, чем любым иным выдающимся событиям, вроде «революции», или «чумы», или «вторжения», или «кометы», или «войны». В оригинале записных книжек — не «женщины»: совсем по-феминистски или, лучше сказать, по-политкорректному Байрон употребляет слово Womankind — «женское человечество».

Но он был звездой и со спортивным воодушевлением настаивал на своей репутации. О всплеске его сексуального разгула в Венеции рассказывали легенды — и он охотно уточнял. В январе 1819-го Байрон пишет друзьям о слухах, привезенных в Лондон: «Какой именно случай имеется в виду? С прошлого года я прошел через строй (sic!); идет ли речь о Таручелли, Да Мости, Спинеде, Лотти, Риццато, Элеоноре, Карлотте, Джульетте, Альвизи, Замбиери, Элеоноре де Бецци (которая была любовницей неаполитанского короля Джоаскино, по крайней мере одной из них), Терезине из Мацурати, Глеттенхейм и ее сестре, Луиджии и ее матери, Форнаретте, Санте, Калигаре, вдове Портьера, болонской танцовщице, Тенторе и ее сестре и многих других? Некоторые из них графини, некоторые жены сапожников; одни благородные, другие средние, третьи низкие — и все шлюхи... Я всех их имел; и втрое больше, если считать с 1817 года».

За несколько лет до этого всплеск случился на Востоке: «У меня было больше двухсот pl&optCs, и я едва не утомился...»

Любознательность Байрона имела и теоретическое измерение. В Стамбуле, где он провел два месяца и один день, ему — одному из очень редких европейцев — удалось, использовав посольские связи, попасть в гарем султанского дворца Топкапы. Теперь-то это доступно всякому, хотя и непросто. Даже сейчас, когда тут заведомо музей, — ажиотаж: умозрительная реализация мужских желаний, генная мечта европейца о единовластном владении гибридом бани и бардака. Леди Монтегю, автор «Константинопольских писем», поминаемая Байроном в «Дон Жуане», описала турецкие бани так, что вдохновила Энгра на его знойную эротическую картину, а завистливая фантазия превратила процесс помывки в любовные услады. В Топкапы у гаремных ворот — очереди и толпы. Выделяется слаженными абордажными приемами экипаж эсминца «Гетьман Сагайдачній», пришедшего сюда из украинского Черного моря.

В гареме пышно, Байрон уже определил это коротко: «дурной вкус». И про весь город: «Всякая вилла на Босфоре выглядит как свеженарисованная ширма или декорация». В наши дни вдоль пролива, по обе стороны — виллы замечательного вкуса, это уже новые постройки. В байроновские времена красивые жилые дома были лишь в Пере, районе, где и по сей день чаще всего селятся европейцы, хотя тогдашний запрет на их жительство среди великих мечетей, между Мраморным морем и Золотым Рогом, давно снят.

В Пере обосновался и Байрон. Он отказался от приглашения жить в британском посольстве, но принял охрану янычар. «Я был во всех главных мечетях... Проехал по Босфору к Черному морю (где скалистые известняковые берега могли напомнить ему белые скалы Дувра. — *П.В.*), вокруг стен города, и знаю его вид лучше, чем вид Лондона». Ездил кататься верхом в Белградский лес, вдоль византийских стен Феодосия, мимо кладбищ с кипарисами, которые он назвал «приятнейшими местами на земле». Сейчас у стен Феодосия — нищета, причем неприличная, потому что вызывающе неопрятная, с полным безразличием к трещинам

по фасаду, к отбитой штукатурке, к отсутствию намека на зелень и цветы, ко всему тому, что в руках не властей, а обывателя.

Пера, из-за которой Байрон назвал Стамбул «европейцем с азиатскими берегами», теперь именуется Бейоглу и как-то держится. На проспекте Истиклаль — оживленный променад среди обветшалых домов столетней давности, вроде моей гостиницы «Лондра» с антикварными печками-буржуйками и действующими говорящими попугаями. Посольства переехали в Анкару с переносом туда столицы в 20-е годы, но в зданиях остались консульства, и дряхлая заморская роскошь обступает вечернее гуляние, на три четверти состоящее из мужчин.

Утром, уже в половине восьмого, в заведениях без вывесок сидят за маленькими, с вдавленными боками, стаканчиками крепкого вкусного чая мужчины в начищенных туфлях и белых носках, неторопливо переставляя костяшки местного цифрового домино «окей», двигая шашечки местных нард «тавла», шлепая картами или просто откинувшись и надолго застыв. День начинается правильно.

Султаны знали, что делать с таким количеством незанятых мужчин. Многие об этом узнавали — Россия, Греция, Северная Африка, Балканы, даже Вена, которую тоже пыталась захватить нашедшая себе занятие конная турецкая молодежь.

Военную экспансию сменила экспансия торговая, и Евразия от Дуная до Сахалина покрылась турецким ширпотребом. В стране мужчин два достойных занятия — война и торговля.

Исламские законы в Турции упразднены, жену можно иметь лишь одну, но цивилизация — незыблемо мужская. В деревне Карахаит на стуле во дворе стоит телевизор, шесть баб смотрят свой сериал; на балкон выходит некто в халате, хлопает в ладоши, бабы споро скручивают шнур, тащат к дому телевизор, собирают стулья. На крышах сельских домов замечаешь пустые бутылки — по числу дочерей на выданье. В Конье, в глухой провинции — закутанная во все что положено женщина, погруженная в древнее искусство росписи керамической плитки, быстрым движением выхватывает из складок одежды плейер, меняет частоту — и снова смиренный наклон головы в косынке, скрывающей наушники. Свидание на площади Галатасарай, в центре Перы. К молодому человеку подходит девушка в традиционной одежде — платок до бровей, балахон до пят. Он левой рукой показывает ей с возмущением часы, а правой коротко бьет в челюсть. Зубы лязгают, время сдвигается, пара под руку отправляется по проспекту Истиклаль.

Мужчина по-турецки — бай, женщина — баян. Понятно, что бай играет на баяне, а не наоборот.

Байрону это в Стамбуле нравилось. «Я люблю женщин — Бог свидетель, — но чем больше погружаюсь в здешнюю систему, тем хуже она кажется, особенно после Турции; здесь (в Венеции. — *П.В.*) *полигамия* целиком принадлежит женщинам».

Это голос не только и даже не столько мужского начала, сколько желания определенности, незатуманенности во всем — этикете, правилах общежития, законах, регулирующих отношения, в том числе и половые. Проблема шире — насколько шире для Байрона Стамбул и Турция, ставшие репрезентацией нового мира. Восток-Юг казался выходом из системы условностей, разработанных на рафинированном Западе-Севере. Восток — реальность которого во многом была создана поэтическим воображением — представлялся свободой.

Среди тех своих великих современников, кто увлекался ориентализмом — Гёте, Гюго, Скотт, — Байрон занимает особое место: он на Востоке жил. И почувствовал вкус к простоте, к резким и оттого внятным контрастам. «Я предпочел бы Медею любой женщине» — это желание остроты, которая предпочтительнее цивилизаторской нивелировки. «Любовь — для свободных!»

Ненависть Байрона к каким бы то ни было регуляциям и канонам выливается в брюзжание по поводу своей страны — самого организованного в то время британского общества: «Терпеть не могу ваш Гайд-парк, ваши казенные дороги, мне нужны леса, ложбины, пустоши, в которых можно раствориться. Мне противно *знать*, куда ведет дорога, и отвлекаться на верстовые столбы или на мерзавца, требующего два пенса на заставе». (Сравним с раздражением россиянина на платных дорогах Америки или Франции, даром что дорогах превосходных.) В «Дон Жуане» Байрон еще резче: «Дорога в ад очень похожа на Пэлл-Мэлл». Везде в письмах с Востока он называет Британию — your country: «ваша страна». «Родственные узы кажутся мне предрассудком, а не привязанностью сердца, которое делает свой выбор без принужденья». Он и сделал непринужденный выбор в пользу восточного обычая против западного устройства.

Байрон, погибший за освобождение греков от турок, говорил удивительные вещи: «Вот слово турка — это надежное слово, а на греков полагаться нельзя...», «Мне нравятся греки, это симпатичные мошенники — со всеми пороками турок, но без их отваги», «Я провел изрядное время с греками, и хотя они уступают туркам...», «То достоинство, которое я нахожу у турок повсеместно...» и т. д.

«Он умер, как крестоносец в борьбе с мусульманами», — красиво высказался Рассел. Да, но это величайший парадокс жизни Байрона, предпочитавшего Восток Западу и не ставившего христианство выше ислама. Более того, его жена Аннабелла и Исаак Дизраэли оставили свидетельства о том, что он всерьез обсуждал идею перехода в ислам. Свободу Байрон, правда, ценил выше и Востока, и Запада, и любой из религий. За это и умер в Миссолунги официальным — по провозглашению султана — врагом своей любимой Турции.

«Душа все время влекла его на Восток», — записал со слов Байрона в 1822 году Э. Дж. Трелони.

Восток — это был *вариант*. Жизненная альтернатива. Восток как опыт (реальный и, главное, умозрительный): иного пространства — огромного, немереного, незанятого; иного времени — глубже древность, дольше день, медленнее ритм; иного человека — подчиненного своим неведомым условностям, оттого казавшегося безусловнее, первозданнее, свободнее.

Неизбежно путешественник ощущал себя концом грандиозной цепи, наследником Библии, Александра, крестоносцев, Наполеона. Отсюда — новый для западного сознания размах ориенталистских поэм Байрона, отсюда его необычные, поразившие воображение столь многих и породившие столь много подражаний сюжеты и герои «Гяура», «Абидосской невесты», «Корсара», «Лары», вдохновленного Востоком «Чайльд Гарольда», освоившего Восток «Дон Жуана».

Лотофаг Байрон в пять промежуточных британских лет — между путешествием и самоизгнанием, — едва что-то шло не так, заводил речь о Юге и Востоке: он уже знал, как нужно бороться с прославленным им же самим сплином.

Словно о Байроне через полтора века после его смерти написал Бродский:

> ...В кошачьем мешке у пространства хитро
> прогрызаешь дыру,
> чтобы слез европейских сушить серебро
> на азийском ветру.

ПИДЖАКИ НА МОСТУ

У самого Бродского, в двадцать два написавшего эти строки о себе, жизнь сложилась ровно наоборот. Двумя годами позже в сочиненных по мотивам Байрона «Новых стансах к Августе» он — как оказалось позже, полемически и пророчески — сформулировал: «Мне юг не нужен». Ему в самом деле нужен и дорог всегда был Запад и Север, а не Восток и Юг. Он и в Ялту, и в Венецию ездил — зимой. «Я предпочел бы Медею любой женщине», — сказал Байрон. По Бродскому, Медея — внедрение восточной дикости в эллинскую цивилизацию: наведение ужаса. И перемещение из Турции в Грецию — антибайроновское. Под «Путешествием в Стамбул» значится: «Стамбул — Афины, июнь 1985», и эта строка — не справка, а важный эпилог с обозначением культурных и эмоциональных полюсов, где тире — выдох: выход. Возвращение к норме. Турция сопрягается с Грецией — по-байроновски, только с обратным знаком.

Эссе написано под Афинами, на Сунийском мысу, где на колонне изящнейшего храма Посейдона видна глубоко процарапанная подпись Байрона. Тот расписывался всюду. Я видел его автограф на руинах храма в Дельфах: он почти незаметен, но опытные гиды смачивают мрамор водой, и имя проступает. Байрон был настоящий турист: «Должен сказать, я никогда не считал удачной мыслью Nil admirari». Этот антитуристический принцип — «ничему не удивляться» — в равной степени чужд и Бродскому. Он начисто лишен столь распространенного среди соотечественников снобизма, этакой оттопыренной губы: «видали».

Тем более примечательно его раздражение, уже почти брюзжание по поводу увиденного и пережитого в Стамбуле.

Бродский — путешественник, восторгавшийся глухими страшноватыми городками Сицилии, обожавший шумный, грязный, опасный Неаполь, находивший очарование в неприглядных мексиканских базарах, — решительно не воспринимает Стамбул. При этом никаких особых неприятных обстоятельств не было: короткий визит протекал гладко и стандартно.

Бродский жил в пяти минутах ходьбы от британского консульства, где бывал Байрон, — в гостинице «Пера палас», напротив моей «Лондры». Украшенная теперь сателлитной тарелкой на крыше, «Пера» — по-прежнему самый примечательный отель Стамбула, как и во времена, когда тут жили Грета Гарбо и Агата Кристи, с тяжелой гаремной роскошью интерьера арт-нуво. Вечером в ресторане какой-то гнесинский виртуоз за роялем чередует «Очи черные», шопеновский вальс, «Из-за острова на стрежень». В меню — шиш-кебаб Карс. Как протянулись турецкие щупальца: в самом деле, Карс-то у них, как и Арарат.

Бродский вспоминает в эссе самаркандские мечети — но этот абрис знаком ему с детства: импозантное сооружение на Петроградской стороне. Не чета жалкой московской мечети в Выползовом переулке, единственной на огромный город советских времен, в котором татары занимали второе место по численности пос-

ле русских: грязный двор, сломанные двери в сортире с узкогорлыми кувшинами для подмывания, но в скромном молельном зале — вдруг роскошные синие ковры, подарок иранского шаха. Ленинградская мечеть напоминает стамбульские — может, и это сыграло роль?

Так или иначе, что-то ведь побуждает Бродского сказать про одно из значительнейших мест мировой истории: «...Город этот — все в нем — очень сильно отдает Астраханью и Самаркандом». И еще усугубляя, уточняя за счет знакового имени: «...Помесь Астрахани и Сталинабада».

Тень Сталина неизбежно осеняет российского человека в Турции. А ведь Бродский не видал мавзолей Ататюрка в Анкаре — высокий, широкий и пустой город на холме над столицей не сравнить с крохотными кубиками на Красной площади. Впрочем, культ Ататюрка — в стране повсюду. Бюсты у любого казенного заведения, будь то полицейский участок или школа. На сувенирных тарелках в обрамлении одинакового орнамента — Ататюрк, Сулейман Великолепный, Ататюрк, Богоматерь с младенцем, Ататюрк. Фотографии вождя в каждой парикмахерской, овощной лавке, автобусе — чего не было с образом Сталина, который не позволяли так профанировать. Здесь же демократия и свобода, запретить или навязать портрет нельзя — значит, это любовь.

Отсюда, надо думать, и всплыл Сталинабад. Но Стамбул не виноват. Виноват — Константинополь.

Второй Рим, за которым последовал Третий.

Империя, рухнувшая ровно за полтысячи лет до смерти могущественнейшего из императоров XX века.

«Путешествие в Стамбул» — самое, вероятно, уязвимое сочинение Бродского: с точки зрения историка, богослова, филолога, логика.

Гостиница «Пера палас», построенная в конце XIX века, осталась такой же, какой была, когда тут останавливались Кемаль Ататюрк, Сара Бернар, Агата Кристи, Грета Гарбо. В 85-м — Бродский

Эссе, временами почти статья, едва не трактат, существует по законам лирического стихотворения. Неуязвимость же «Путешествия» в том, что автор то и дело — как ни в одном из своих сочинений — признается в субъективности. И главное — постоянно перемежает утверждения самоопровержениями. Эссе о Стамбуле — наглядный пример той жизненной позиции, которую Бродский сформулировал в обращенном к Томасу Венцлове «Литовском ноктюрне»: «...Вся жизнь как нетвердая честная фраза на пути к запятой». Запятая необходима и после названия города, о котором идет речь, — перед уточняющим историческим его именем.

Для Бродского Стамбул — город, который был Константинополем. Не зря он, сравнив мечети с жабами, а минареты с угрожающими ракетами, все же оговаривается: «На фоне заката, на гребне холма, их силуэты производят сильное впечатление...»; не зря оправдывается: «Наверное, следовало... взглянуть на жизнь этого места изнутри, а не сбрасывать местное население со счетов как чуждую толпу... психологическую пыль». Говоря о том, что на Востоке нет «хоть какого-нибудь подобия демократической традиции», он подчеркивает: «Речь... идет о Византии до турецкого владычества... о Византии христианской».

В позднем, 92 года, стихотворении «К переговорам в Кабуле» — снова антивосточная, антиисламская декларация. И снова понятно, что речь не собственно о Востоке и исламе как таковых, а о подавлении личности, об авторитарности, всяческой несвободе вообще.

«Путешествие в Стамбул» разбито на сорок три короткие главки — от четверти до двух страниц. Как нигде, Бродский иллюстрирует здесь свой тезис о сугубой важности композиции — «самое главное, что за чем идет», как он выражался. Чередование живых зарисовок и «теоретических» фрагментов. Первые — стихи в прозе: «Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени пророка. Здесь ничего не растет опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света...» Вторые — суть историко-этико-эстетические обоснования яростного неприятия Стамбула-Византии.

У Льва Лосева, лучшего знатока Бродского, есть стихотворение, герой которого, легко опознаваемый поэт, говорит: «...Оскорбительны наши святыни, / все рассчитаны на дурака, / и живительной чистой латыни / мимо нас протекала река». Река с живым течением — антитеза церемониальной неподвижности византийской культуры. За то тысячелетие, что существовала Византия, на Западе были Августин и «Беовульф», Вестминстерское аббатство и «Песнь о Роланде», Абеляр и Болонский университет,

трубадуры и Нотр-Дам, Марко Поло и Данте, Джотто и Боккаччо, Ганза и Чосер, Гус и Брунеллески, Жанна д'Арк и Гутенберг. Речь — о колоссальном многообразии явлений. Византия на восточный, почти на японский, лад наслаждалась изысками нюансов.

С. Аверинцев называет «загадочной» византийскую «отрешенность от содержательной связи с историческим временем. Каким образом обитатель богохранимого града Константинополя, родившийся через полтысячелетия после окончательной победы христианской веры, сумел с такой легкостью надеть маску язычника?..» Не предположить ли в этой «чрезвычайно знаменательной черте «византинизма» известное равнодушие к категории содержательности вообще? И не усмотреть ли в византийском происхождении истоки той легкости, с которой пала тысячелетняя христианская вера в 17 году? Мгновенность распада подтверждается множеством разных свидетельств — «Окаянными днями» Бунина, «Десятью днями» Рида, мемуарами Коковцева, стихами Георгия Иванова, дневниками Чуковского... Ярче всего — «Апокалипсисом наших дней» Розанова: «Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три... Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей». Ритуал сменился ритуалом.

Имя Аверинцева возникает здесь не случайно. Есть ощущение (хоть и нет прямых тому подтверждений), что Бродский полемизирует с ним, давая оценку следствиям исторического явления, которое Аверинцев описал так: «Христианство смогло стать духовным коррелятом абсолютистского государства». Бродский в «Путешествии в Стамбул» настаивает: «...Политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию. Ежели можно представить себе человека непредвзятого, то ему, из одного только инстинкта самосохранения исходя, политеизм должен быть куда симпатичнее монотеизма».

На этом инстинкте самосохранения — нравственного! — стоит задержаться. Тезис Аверинцева: «Мудрость Востока — это мудрость битых, но бывают времена, когда, по пословице, за битого двух небитых дают. На пространствах старых восточных деспотий был накоплен такой опыт нравственного поведения в условиях укоренившейся политической несвободы, который и не снился греко-римскому миру...» Бродский против такого кошмарного сна, тем более — яви, «мира с совершенно отличными представлениями о ценности человеческого существования, нежели те, что были в ходу на Западе». Против мазохистской установки на «битость». Любопытно подыскать тут Бродскому неожиданного союзника — Солженицына. Герой и пациент «Ракового корпуса» Костоглотов разговаривает с интеллигентной санитаркой о западных людях и их литературе: «Какая-то легкомысленная их перебросочка. Так и хочется их осадить: эй, друзья! а — вкалывать вы как? а на черняшке без приварка, а? — Это несправедливо. Значит, они ушли от черняшки. Заслужили».

Страшный «опыт нравственного поведения», вызванный условиями деспотии, не возвышает, а унижает. Растворяет в массе — уже почти и не человеческой. Награждает «почетным статусом жертвы истории» — саркастически пишет Бродский. отказываясь от этого статуса: «Я... жертва географии. Не истории, заметьте себе, географии. Это то, что роднит меня до сих пор с державой, в которой мне выпало родиться...»

«Роднит с державой» — фигура не противо-, но сопоставления. Бродский — не беглец, не жертва политических репрессий, а изгнанник, не откуда-то, а вообще. Свой самый лирический сборник — единственную в русской словесности книгу, все стихотворения которой посвящены одной женщине, — он назвал «Новые стансы к Августе», с обложки введя мотив принципиального байроновского изгнанничества.

В этой теме и в самой его позиции изгнанника «Путешествие в Стамбул» занимает особое место. Евразийская судьба Руси, сравнение СССР с Оттоманской империей, Суслова — с Великим муфтием и т.д. В тех сорока пяти стихотворениях и циклах Бродского, которые можно отнести к жанру путешествия, не найти столь прямого — и сразу — обозначения идейной точки отсчета, какой у русских авторов в этом жанре выступает родина. В эссе уже во второй главке отмечено, что Ленинград и Стамбул — почти на одном меридиане. И на протяжении всего длинного (35 страниц) сочинения автор ни на миг об этом не забывает. Стамбулу достается не по заслугам: город расплачивается за Россию и Советский Союз, или, как всегда говорил Бродский, избегая обоих названий, — за отечество.

Точка отсчета в этом «Путешествии» совпадает с гипотетической точкой прибытия, тем местом, которое Бродский не называл ни «Ленинградом», ни «Петербургом», предпочитая — «родной город». Таким умозрительным совмещением можно объяснить болезненную остроту его стамбульских ощущений: раздражение и гнев вызывает лишь небезразличное, близкое, родное. Заостряя — и в этом следуя примеру эссе Бродского, — можно сказать, что в Стамбуле он прорепетировал возвращение в родной город.

Поэт уже по роду своих занятий — эксцент-

рик и изгой, и тем более драматизируется его судьба, когда метафизическая чуждость дополняется и усугубляется физическим изгнанием или самоизгнанием: Овидий, Данте, Гюго, Байрон... Плеяда русских после 17-го. Бродский.

Прожив на Западе около четверти века, он так и не съездил в Россию. Тема невозвращения, нежелания вернуться — хоть на короткое время — как неотъемлемая часть поэтического образа всегда будет волновать и побуждать к догадкам. При жизни Бродского можно было задать вопрос, и он отвечал: говорил о том, что туристом в отечестве быть не хочет, что если ехать, то навсегда, а это по многим причинам невозможно. Может быть, «Путешествие в Стамбул» — путешествие в Стамбул — дает некоторое уточнение.

О побудительных мотивах поездки на Босфор («плавания в Византию») Бродский не говорит — вернее, называет опять-таки много причин, что обычно скрывает одну истинную. Все перечисленные в начале эссе самому автору представляются «легкомысленными и второ-, третьестепенными», включая «главную» — проверку гипотезы крестного знамения императору Константину: этот повод Бродский называет «верхом надуманности». И тут же мельком, походя, роняет: «В конце концов, я прожил 32 года в Третьем Риме, примерно с год — в Первом. Следовало — для коллекции — добрать Второй». Не предположить ли, что в такой почти проговорке и содержится основная причина: испытать то, что невозможно было в 85-м испытать в отечестве, в родном городе; проверить вариант возвращения, что было тогда даже не гипотезой, а фантастикой.

Примечательно беглое просторечие — «добрать до коллекции». Небрежность — смысловая, стилистическая — встречается в эссе постоянно: автор настаивает на необязательности своих суждений, высказанных нарочито легким тоном, именно для того, чтобы снизить градус собственной страстности, столь необычной для Бродского-прозаика, чтобы затушевать степень личной заинтересованности, одержимости предметом. Слишком явственно Бродский увидал за Вторым Римом — Третий. «Взглянуть на отечество извне можно, только оказавшись вне стен отечества». Репетиция возвращения состоялась. Результат известен.

Разумеется, Стамбул — метафора. Нагнетание стамбульских ужасов — жара и вонь, теснота и узость, грязь и пыль и т.п. — резко преувеличенное: я был в Стамбуле тремя месяцами позже — в конце лета 85-го. В прекрасной статье «Путешествие из Петербурга в Стамбул» Т. Венцлова, перечисляя атрибуты ада в эссе Бродского, указывает на более глубокую, чем просто геополитическая, метафору, говорит о катабазисе, нисхождении в царство мертвых.

Метафора — несомненно. Но есть и неприятие эстетики. Оскорбление зрения, обоняния, слуха. Есть простая нелюбовь к неряшливому выбросу эмоций, базару чувств. (Снова Лев Лосев: «Не люблю этих пьяных ночей, / покаянную искренность пьяниц, / достоевский надрыв стукачей...»)

Обрушиваясь на целый народ и страну, Бродский дает беглое афористичное пояснение: «Расизм? Но он всего лишь форма мизантропии».

Мотив принципиальной — расовой — чуждости в связи со Стамбулом оказался устойчивым. В стихотворении «Ritratto di donna», написанном восемь лет спустя, тезисы эссе словно прессуются в краткие стихотворные строчки:

...Зима. Стамбул.
Ухмылки консула. Настырный гул
базара в полдень. Минареты класса
земля-земля или земля-чалма
(иначе — облако). Хурма, сурьма.
Другая раса.

Можно даже предположить, кто этот консул, во всяком случае, кто это мог бы быть — Константин Леонтьев, умерший в тот год, когда Россия получила свободный проход через Босфор (Достоевский не дожил до своей заветной мечты десяти лет). О Леонтьеве вспоминает Бродский в «Путешествии» — о его «крике, раздавшемся именно в Стамбуле, где он служил при русском посольстве: «Россия должна править бесстыдно!» Что мы слышим в этом паскудном пророческом возгласе? Дух века? Дух нации? Или дух места?»

Если и был таков дух места, то он сильно переменился: когда видишь в Стамбуле — Стамбул.

С утренних паромов, которые приходят к Галатскому мосту из разных районов города, выгружаются толпы, распределяясь по автобусам и долмушам. Это маршрутные такси, и когда я впервые попал в Стамбул в 85-м, долмуши были — «бьюики» 40—50-х, полученные по плану Маршалла. Все, отдаленно напоминавшее роскошь, выдиралось изнутри, и в «бьюик» набивалось до двенадцати человек — зависело от толщины пассажиров, громоздкости багажа, дальности рейса. Такой автороскоши, смутно памятной по американской выставке в Москве (одна из эффектных побед Штатов в холодной войне), в Стамбуле уже почти не осталось. Теперь долмуши — аккуратные желтые микроавтобусы.

С минаретов кричат громкоговорители голосами муэдзинов, по Галатскому мосту через Золотой Рог движется огромная однородная масса в кепках — вспомнилась Махачкала. Настоящий мусульманин не может носить голов-

ной убор с полями или козырьком, потому что во время молитвы надо касаться лбом пола, не обнажая головы. Так что нынешние кепки — яркий знак вольнодумства страны. Кепка как инакомыслие: ничего для нас удивительного — а узкие брюки, а длинные волосы?

Кепки и темные пиджаки — почти униформа. Я вдруг понял: это и есть та «пиджачная цивилизация», которой страшился Константин Леонтьев, не догадываясь о ее будущем реальном облике, — он-то имел в виду пиджаки парижских буржуа. Увидел бы эти в своем любимом Константинополе — отрекся бы от тезки-города.

Нынешний усредненный базар — не то, о чем Леонтьев, пожив в Стамбуле, тосковал всю жизнь; не то, что привлекало Байрона, бывшего для Леонтьева образцом. «Пишут поэзию, а сами ее не соблюдают в жизни... Очень некрасива физически нынешняя слава писателей. Вот слава и жизнь — это Байрона... Этому можно и позавидовать, и порадоваться. Странствия в далеких местах Турции, фантастические костюмы, оригинальный образ жизни, молодость, красота, известность такая, что одной поэмы расходилось в 2 недели 40 000 экземпляров... Сама ранняя смерть в Миссалонгах, хотя и не в бою, — венец этой прекрасной, хотя, разумеется, нехристианской жизни».

Характерная оговорка в конце. Леонтьев считал, что «Байрон для христианства истинного очень вреден» — языческой красотой жизни и отношения к жизни, надо думать. Но «вредность» Байрона — это уже леонтьевский предпоследний год, Оптина пустынь, перед пострижением. Прежде он скорбел о тщетности великолепных Байроновых усилий, о том, что он выбрал не ту сторону баррикад: «...Интересная Греция «Корсара»... — есть лишь плод азиатского давления, спасительного для поэзии, и освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет болтать всякий вздор на скамьях афинской «говорильни».

Логика Леонтьева византийски безжалостна: «Пока было жить страшно, пока турки часто насиловали, грабили, убивали, казнили... пока христианин был собака, он был более человек». Леонтьевская «цветущая сложность» более всего страшится пиджака и носителей пиджака, которые пытаются «разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной...».

Иосиф Бродский знал то, чего не мог знать Леонтьев, тем более — Байрон. За Бродским — опыт XX века, с его страшными героями, масштабы и деяния которых не мнились деспотам Востока. «Цветущая сложность» оборачивалась таким образом, что единственным — бескровным и достойным — противовесом оказывалась «пиджачная цивилизация».

Отношение Бродского к контрастам бытия лучше всего выражено в его эссе с декларативным заглавием «Похвала скуке», в американских стихах, которые он однажды прокомментировал: «Ощущение скуки, которое здесь описано, действительное. Но это было и замечательно. Мне именно это и нравилось. Жизнь на самом деле скучна. В ней процент монотонного выше, чем процент экстраординарного. И в монотонности, вот в этой скуке — гораздо больше правды, хотя бы Чехова можно вспомнить... В этой скуке есть прелесть. Когда тебя оставляют в покое, ты становишься частью пейзажа... Нам всё пытаются доказать, что мы — центр существования, что о нас кто-то думает, что мы в каком-то кино в главной роли. Ничего подобного».

В знаменитом стихотворении Бродского есть строка: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». В этих словах — и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, видим вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлые, настоящие, будущие равнины и низменности — идти по которым трудно и скучно, но надо.

Учитывая место, о котором идет речь, можно назвать такой пафос — антилеонтьевским. Антибайроновским, в конечном счете.

От этого отношения и пострадал Стамбул. Бродский, обыгравший в английской версии своего эссе стихотворение Йейтса, по-иному истолковал дух времени, о котором в йейтсовском «Плавании в Византию» сказано — «рукотворная вечность». Город, так напоминающий об империи к северу — империи, по всем тогдашним признакам вечной, — размещен на пространстве, которое вызывает физическое отвращение автора, он не жалеет эпитетов и деталей, описывая шум, грязь и особенно пыль.

Пространство, по Бродскому, вообще иерархически ниже времени, подчиненнее, несущественней: ставка на пространство — характеристика кочевника, завоевателя, разрушителя; на время — цивилизатора, философа, поэта. К тому же стамбульское пространство присыпано пылью. В «Путешествии» навязчива тема пыли — вещи, безусловно, негативной, противной. Однако вспомним, что в стихах Бродского пыль именуется «загар эпох». Время у него отождествляется чаще всего с тремя материальными субстанциями, способными покрывать пространство: это пыль, снег и вода. Снег в Стамбуле редкость, но воды и пыли — сколько угодно. Времени на Босфоре — в избытке. То есть — истории.

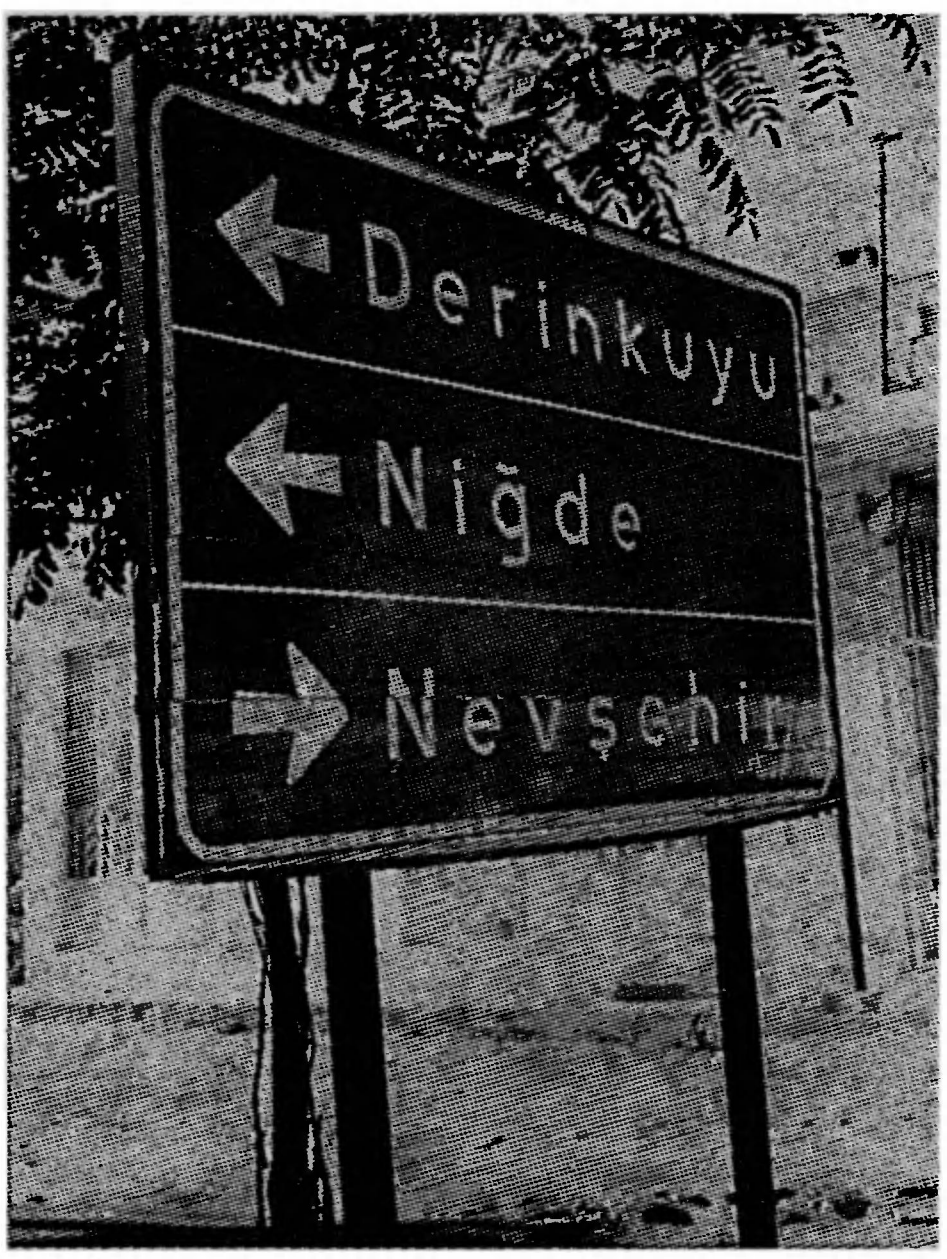
КАППАДОКИЯ. НИГДЕ

Из Стамбула летишь в Анкару, где половину времени убиваешь на мавзолей Ататюрка, но не жалко, потому что после вспоминаешь. Помимо родных ощущений, поучительно и смешно: следуя заветам Ататюрковых секулярных преобразований, преемники так увлеклись истреблением исламских аллюзий, что мемориал получился фантазией на тему греческого храма.

Дальше путь лежит в глубь Анатолии, которая всего лишь — азиатская Турция. Но привыкнуть к этой книжной античности непросто. Звонишь в справочную, чтоб уточнить номер, барышня спрашивает: «Стамбул-Анатолия или Стамбул-Фракия?»

Долго едешь на юго-восток по Галатии и Каппадокии, по непроглядным степям, где монотонность ландшафта каждые тридцать километров прерывается руинами караван-сараев, мимо огромного соляного озера, на берегу которого стоит сувенирный сарай, торгующий комками соли на память, — к плато Юргуп, к долине Гёреме.

Здесь, в Каппадокии — одно из диковиннейших мест на свете. Горы из мягкого вулканического туфа обдувались ветрами и веками, превращаясь в то, что кажется фокусами Антонио Гауди, — в фигуры причудливых плавных очертаний, которые, за неимением леса, служили укрытием и жильем. Дерево шло только на двери. В этих скалах вырубали квартиры и целые многоквартирные дома со времен хеттов. Но особенно здешнее жилищное строительство процвело с приходом ранних христиан, и Каппадокия связана с именами отцов церкви — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Назианзина. Камень, как бы мягок он ни был, долговечнее других строительных материалов: скальные и подземные дома, склады, церкви, города на тысячи обитателей — уцелели.



Тут, я думаю, никакой подписи не надо

Надивившись, пускаешься в обратный путь по Анатолии — через Киликию, Ликаонию, Фригию, Лидию — к морю. Фантастический пятачок жилых скал остается позади, слева отдаленным фоном — высокий Таврийский хребет, впереди и вокруг — ровно. Только уж совсем на западе, в близости моря, где среди хлопковых полей вьется чуждым здесь греческим орнаментом полувысохший Меандр, появляются оливы, дубы, жидковатые сосны, персиковые сады, холмы.

В каппадокийских степях вертикалей нет, но внезапно из ниоткуда возникают двухсот-, трехсоттысячные города — и уходят назад, как марево. Вдруг понимаешь, что страна сопоставима с гигантским соседом к северу, который теперь не такой уж гигант, а турецких 65 миллионов — это больше Британии, Италии, Франции. Некстати вспомнил, как в армии, в отдельном полку радиоразведки, подслушивал переговоры натовских баз, в том числе здесь, в Турции: в Измире, в Инджирлыке. Майор Кусков тычет в карту: «Гнезда, понимаете, свили под самым носом, названия, понимаете, даже противные — Инжырлик!»

Названия — небывалые. Оторопев, въезжаешь в город Нигде. Надо запомнить: когда пошлют туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, — это здесь.

Ничего не понять: Нигде и стоит нигде. Безрадостный плоский пейзаж. Напоминая о том, что за ним море, с юга так все и нависает Тавр. Неказистые деревни, кладбища с обелисками, кощунственно напоминающими манекены в шляпных магазинах, придорожные мазанки с пышным именем «Бахчисарай» на кривой вывеске и неизменным кебабом из замечательной, как во всей стране, баранины. Редкие деревья вспыхивают, словно огоньки светофоров, которых нет в помине.

За что тут сражались великие державы, зачем сюда приходили? За чем? За дынями? За тыквами? Десятки километров полей с полосатыми эллипсоидами и желтыми шарами, которые столетиями покрывают эту землю. И глинобитные домики были точно такие, и, задумчиво расслабившись, не сразу замечаешь на крышах сателлитные тарелки и солнечные батареи (установка 150 долларов — и полгода без забот). Ну да, сейчас приходят за дынями: Турция завалила Восток материей и кожей, а Запад — консервами и фруктами.

Раньше сюда не приходили — здесь оказы-

вались. Сюда несла центробежная сила империй. В этих пустых местах был наместником Цицерон, здесь Кир бился с Артаксерксом, Сулла с Митридатом, арабы с византийцами, здесь проходили гоплиты и пелтасты Ксенофонта, который написал об этом походе «Анабазис» — великую книгу, простую и волнующую. Сюда поместил Бродский действие своего стихотворения о природе и истории, о природе истории — «Каппадокия».

Как и Нигде, из ничего выплывает Конья, древний Иконий, перекресток завоеваний, а теперь — большой новый город, бурлящий вокруг изумрудного купола мавзолея Мевланы, центра секты кружащихся дервишей. Увидеть их в действии нелегко, но может повезти.

Расчисленное рациональное радение, расписанное по секундам и па, — завораживает. Под резкие звуки саза дервиши разворачиваются, как бутоны. Вращение начинается медленно, со скрещенными на груди руками, скорость нарастает, руки разводятся в стороны — правая ладонь раскрыта вверх, к Богу, левая повернута вниз, к людям, все через себя, для себя ничего — ноги переступают, как в балетном фуэте, фалды длинных разноцветных кафтанов взметаются лепестками, образуя подрагивающие круги, колпаки-пестики кажутся неподвижными, только мелькает в кружении отрешенное лицо с остановившимся взглядом. Волчки Аллаха. Живой ковер. Пестрые цветы экстаза.

Экстаза ждут, к нему готовятся, к нему готовы. Как к приливу вдохновения — поэт, которого так охотно сравнивал*и* с дервишем, с юродивым, чей смысл — быть бездумным проводником (ладонь вверх, ладонь вниз) божественного глагола.

Нет ничего дальше от поэтической позиции Бродского. Поэт — хранитель. Остается только то, что заметил художник: «...Полотно — стезя попасть туда, куда нельзя попасть иначе» («Ritratto di donna» — «Портрет женщины»).

...Она сама
состарится, сойдет с ума,
умрет от печени, под колесом, от пули.
Но там, где не нужны тела,
она останется какой была
тогда в Стамбуле.

Фиксация в вечности дается поэтическим заклинанием. То же относится к историческим событиям и природным явлениям.

В стихотворении «Каппадокия» наблюдающий за битвой орел, «паря в настоящем, невольно парит в грядущем и, естественно, в прошлом, в истории...» Время сжимается, напоминая о байроновской метафоре: «История, со всеми ее огромными томами, состоит из одной лишь страницы...» У Бродского страницы истории исчезают вместе с человеком: «...Войска идут друг на друга, как за строкой строка захлопывающейся посредине книги...»

Только в присутствии человека обретает смысл природа: «Местность... из бурого захолустья преображается временно в гордый бесстрастный задник истории». Временно — потому что с исчезновением человека «местность, подобно тупящемуся острию, теряет свою отчетливость, резкость».

«Все мы, так или иначе, находимся в зависимости от истории», — пишет Бродский. Но и история — от нас.

История жива словом. Носители слова обеспечивают истории вечность. «Это уносят с собой павшие на тот свет черты завоеванной Каппадокии». Так унес с собой Иосиф Бродский — Каппадокию, женщину со стамбульского портрета, Стамбул: все то, чего коснулся взглядом и пером, о чем успел сказать.

■

АЛЬБЕР КАМЮ МЕЖДУ ЧАСТНЫМ И ОБЩИМ

Olivier Todd. Albert Camus, une vie. Paris, Gallimard, 1996.

Об Альбере Камю еще при жизни — а прожил он всего 46 лет — вышло четыре книги, но то были актуально-критические очерки, во многом вызванные к жизни его Нобелевской премией 1957 года. После смерти Камю научная литература о нем нарастает как снежный ком, но первая серьезная биография писателя появилась далеко не сразу: ее выпустил в 1978 году (по-французски, а в следующем году по-английски) американский журналист и историк Герберт Р. Лоттман. Прошло еще почти два десятилетия, и другой журналист и писатель, Оливье Тодд, издал новую биографию Камю — огромный восьмисотстраничный том, чрезвычайно плотно заполненный фактами, подробностями, цитатами. Истекшее время способствовало обогащению материала: с отступлением в прошлое описываемых событий и смертью многих действующих лиц становятся более разговорчивы оставшиеся свидетели, обнаруживаются и открываются для изучения эпистолярные архивы, публикуются ранее неизвестные тексты самого Камю (например, роман «Первый человек» в 1995 году[1]), накапливается библиографическая информация. Одновременно, правда, многие когда-то общеизвестные вещи — обстоятельства истории и быта 30—50-х годов — постепенно забываются, и их приходится вкратце напоминать читателю, что и делает О. Тодд.

Вообще, его книга — *популярная* биография, требующая от читателя минимальной подготовки (все необходимые факты сообщаются в самой книге) и не отвлекающая специально-научными процедурами проверки фактов, обозрения источников, критики уже имеющихся работ и версий: весь этот аппарат сокращен до минимума и упрятан в примечания к книге, основной же текст представляет собой чистое повествование. И хотя здесь нет дешевых «романических» домыслов, сама структура нарративной биографии производит кое-какие смысловые сдвиги, расставляет символические акценты.

Вот, например, как «решен» в книге финальный эпизод жизни Камю — его гибель в автокатастрофе 4 января 1960 года. Сама авария машины, управлявшейся Мишелем Галлимаром (племянником и сотрудником знаменитого издателя), в которой вместе с его женой, дочерью и собакой Камю возвращался из Прованса в Париж, изложена образцово лаконичным стилем репортажа: «В двадцати четырех километрах от Санса, на национальном шоссе № 5, между Шампиньи-на-Йонне и Вильнёв-ла-Гюйяр, «фасель-вегу» занесло, она съехала с прямой дороги, врезалась в платан, ударилась о другое дерево и развалилась на части. Мишель был тяжело ранен (он умер через несколько дней. — *С.З.),* Жанин осталась невредима, Анна тоже. Собака бесследно исчезла. Альбер Камю погиб на месте. Найденные в поле часы из приборной доски автомобиля остановились на цифре 13.55».

За «подробностями аварии и гипотезами о ее причинах» биограф отсылает к книге своего предшественника Лоттмана, а сам зато подробно воссоздает последние дни и часы перед злосчастной поездкой, полные роковых предзнаменований. В двух письмах Камю, отправленных в Париж накануне, фигурировали слова «это мое последнее письмо» (он хотел сказать: «последнее перед нашей встречей...»); сперва он предполагал ехать поездом, но Галлимар настоял на том, чтобы воспользоваться его машиной, и на вокзал отправились только жена и дети Камю; едва не уговорили ехать на машине еще и соседа и друга писателя — выдающегося поэта Рене Шара, так что если бы в «фасель-веге» нашлось свободное место, французская литература могла бы в один день понести двойную утрату; расставаясь с Шаром, Камю преподнес ему символический сувенир — черновой листок своего эссе о нем, где подчеркнул загадочные слова: «Повинуйтесь силам, которые у вас остаются»...

Во всем этом нет никакой подтасовки фактов, никакой личной предвзятости биографа — работает «жанровая предвзятость» романизированной биографии, превращающей частное в общее, житейские случайности в провиденциальные знаки судьбы.

---

[1] См. «ИЛ», 1995, № 5.

Частное и общее, конкретное и абстрактное вообще составляло ключевую проблему судьбы Камю, и некоторые аспекты этой проблемы выразительно прорисованы в книге О. Тодда.

Альбер Камю был одиночкой. Общительный и непринужденный человек, счастливый любовник, футболист и актер-любитель, выходец из демократической алжирской бедноты, он всю жизнь болезненно ощущал свою отчужденность от других людей, и героя повести «Чужой» он, несомненно, наделил многими своими психологическими чертами (как, кстати, и «судью на покаянии» из повести «Падение» — Оливье Тодд тонко выявляет в этом провокативно-сатирическом тексте целый ряд автобиографических мотивов). Знаком отверженности стал для него еще в юности туберкулез, который в дальнейшем периодически обострялся, создавая ощущение отмеренности дней, отнимая физическую радость жизни, так ярко воссозданную в ранних текстах Камю. Летом 1958 года, путешествуя по Греции на яхте все того же Мишеля Галлимара, он с горечью вынужден был отказаться от купания в море — нарушенное дыхание не позволяло ему плавать. Все, кто помнит патетические сцены «объятий» со средиземноморскими волнами в «Брачном пире» и «Счастливой смерти», легко поймут, что значило для молодого еще писателя такое лишение.

Болезнь сочеталась и с социальным одиночеством Камю — бедняка, взлетевшего на вершину славы, алжирского француза («черноногого», как звали таких в метрополии), вынужденного работать в неуютном для него Париже. Осенью 1939 года он дважды проходил военно-медицинскую комиссию, пытаясь добровольцем пойти на фронт начавшейся войны, — помешал опять-таки туберкулез. Три периода активной журналистской работы (в газете «Альже репюбликен» конца 30-х годов, в «Комба» середины 40-х и в «Экспрессе» середины 50-х) давали чувство непосредственной действенности своего слова, но всякий раз продолжались недолго. Короткий миг единения с народом в период Сопротивления и сразу после войны сменился тягостным отчуждением в 50-е годы, когда Камю тщетно пытался посредничать в гражданской войне, разгоравшейся в его родном Алжире...

Страдая депрессиями, периодически теряя способность писать, мечтая навсегда покинуть Европу и помышляя о самоубийстве, Камю и в интимной жизни оставался каким-то «маргиналом». Он был великим донжуаном (и в «Мифе о Сизифе» специально описывал донжуанство как один из жизненных проектов «абсурдного человека»), но странным образом, отмечает О. Тодд, самые близкие, самые важные для него женщины обычно не были «француженками из Франции» — сначала алжирские подруги его юности, затем знаменитая актриса-испанка Мария Казарес, жена английского писателя Артура Кёстлера, американская студентка Патрисия Блейк, художница-датчанка, до сих пор фигурирующая в книге под именем «Ми», которым называл ее Камю... Он был дважды женат на алжирских француженках, и обе жены — выбирал их по сходству с собой? — страдали психическими расстройствами: одна кололась наркотиками, другая покушалась на самоубийство, выпрыгнув из окна клиники... Когда вторая жена, Франсин Фор, родила ему близнецов — мальчика и девочку, он... чуть не забыл их в роддоме: посадил в машину молодую мать, погрузил ее чемодан и сказал: «Поехали!»

Ярким памятником депрессивного состояния писателя осталась «пражская» глава его раннего романа «Счастливая смерть». Ее биографическая подоплека ныне выяснена: во время семейного путешествия по Европе летом 1936 года Альбер Камю из случайно перехваченного письма узнал о неверности своей тогдашней супруги Симоны Ие, и первый, самый болезненный период переживания разрыва пришелся на несколько дней, проведенных в Праге; ни в чем не повинный город стал для него символом невыносимости бытия. А в следующем году Камю перенес другую утрату — за сочувствие левым арабским националистам его исключили из алжирской коммунистической партии как «троцкистского провокатора». «За двадцать месяцев Камю потерял жену и партию», — комментирует О. Тодд, и такое сближение не должно вызывать улыбки: недолгий «коммунистический» эпизод в жизни Камю (позднее, уже будучи знаменитым писателем и отправляясь с лекциями в США, он вынужден был солгать в визовой анкете, будто «никогда не был членом коммунистической партии», — что, впрочем, не избавило его от слежки со стороны бдительного ФБР) — одна из попыток восстановить экзистенциальный союз, единство с миром; недаром Камю до конца боролся за членство в партии, мужественно пройдя все ступени унизительной процедуры исключения, в то время как иные его друзья просто бросали партбилет на стол или даже в сердцах рвали его в клочья... Последовательный антикоммунизм Камю 50-х годов, стоивший ему враждебности «левой интеллигенции», был, конечно, обусловлен ясным сознанием угрозы миру со стороны советского тоталитаризма, но среди его мотивов фигурировала и эта неудачная

попытка юного алжирца «ангажироваться», «встать в ряды передового пролетариата».

Болезненно (хотя, быть может, не вполне осознанно) переживал Камю и свою чуждость настоящей философской культуре: «Камю повторял, что он не философ и тем более не экзистенциалист, но, жертва свойственного французской культуре кокетства, он недостаточно на этом настаивал», — пишет биограф. В молодости будущий писатель всерьез изучал философию в университете, готовился к экзаменам на агрегацию — высшее ученое звание для преподавателей средней школы — и даже написал дипломное сочинение на амбициозную тему «Христианская метафизика и неоплатонизм. Плотин и блаженный Августин». В конце концов к экзаменам его не допустили все из-за того же туберкулеза, а дипломное сочинение так и осталось школярской компиляцией. Позднейшие философские эссе Камю — «Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» — имели успех у публики, но вызывали сдержанную реакцию у друзей писателя, профессионально знавших эту науку; он был философом лишь для нефилософов, и дальнейшее развитие французской философии пошло по совсем другим, не-эссеистическим путям. Не снискал он лавров и в литературной критике: его статьи ценны только как личностные документы, одно время он руководил одной из книжных серий в издательстве Галлимара — без больших удач. Похоже, что философский дилетантизм Камю оказался и одной из движущих сил его нашумевшей ссоры в 1952 году с Жан-Полем Сартром, когда их закадычно дружеские прежде отношения сменились резкой враждой после критики «Бунтующего человека» в журнале Сартра «Тан модерн». Оливье Тодд тщательно восстанавливает историю этого скандала, подчеркивая идеологическую зашоренность сартровской критики, ее бесцеремонный и оскорбительный для Камю тон; однако он дает ощутить и еще один ее мотив, проявившийся уже в первом, вполне благожелательном отзыве Сартра на повесть Камю «Чужой», — Сартр пишет о Камю *как профессор об ученике,* как профессионал о любителе. Сам «литератор» и политический публицист (если угодно, даже политический игрок), Сартр все же оставался профессионально мыслящим философом, и это превосходство обижало писателя и журналиста Камю, втайне ощущавшего, что крыть ему нечем.

«Вы — левый интеллигент?» — спросили у Камю в ходе его последней публичной беседы 14 декабря 1959 года. «Я не уверен, что я — интеллигент, — ответил он. — А что до остального, то я за левых, вопреки себе и вопреки им самим». Его биограф разъясняет, что Камю имел в виду неприятие макиавеллизма «левых интеллигентов» типа Сартра, ради абстрактных «целей» социалистической революции закрывавших глаза на недостойные политические «средства». Проблема абстрактной и конкретной морали особенно остро встала при попытках Камю воздействовать на ход трагических алжирских «событий» 50-х годов. В Стокгольме, встречаясь со студентами после вручения ему Нобелевской премии, он в ответ на запальчивую реплику какого-то оказавшегося там араба бросил фразу, которую долго потом склоняли на все лады: «Я верю в справедливость, но я буду защищать сначала свою мать, а потом уже справедливость». И вновь Оливье Тодд, защищая своего «героя», поясняет: «справедливость» в данном контексте саркастически обозначает «правое дело» алжирских националистов (в свое время симпатия к их куда более умеренным предшественникам стоила Камю изгнания из компартии), их кровавый террор на городских улицах, чьей жертвой могла оказаться и мать писателя, остававшаяся в Алжире. В основание политической морали Камю пытался положить не отвлеченный идеал, а конкретное нравственное cogito — родственно-близкое начало материнства; однако в контексте вооруженной борьбы вокруг «французского Алжира» это фатально прозвучало защитой «почвенных» ценностей. В январе 1956 года он предпринял отчаянную попытку непосредственного действия ради примирения в Алжире. Он прилетел туда в критический момент — во Франции только что прошли выборы в парламент, предстояло создать новое правительство, и удачная акция примирения могла повлиять на его состав (сам Камю делал ставку на Пьера Мендес-Франса, незадолго до того прекратившего войну в Индокитае). Собрав представителей арабской и европейской общин, он устроил митинг за «гражданское перемирие», за обоюдное прекращение террористических актов и армейских репрессалий против населения, что могло бы сбить взаимное озлобление и открыть путь к мирной федерализации Алжира... В гостиницу ему звонили, угрожая смертью, во время митинга в окна зала летели камни, на улицах рядовые члены двух общин чуть не устроили кровавое побоище между собой, а их лидеры, хоть и пришедшие на митинг, сами не верили в перемирие, понимая, что оно в любом случае не продержится и недели. Затея Камю потерпела фиаско: Мендес-Франс не был назначен премьер-министром, и война пошла дальше по нарастающей. В дальнейшем Камю отказался от любых общих деклараций по ал-

жирской проблеме и лишь систематически, не афишируя этого, добивался от властей помилования осужденных алжирских боевиков — так же как после Освобождения он требовал помилования писателей-коллаборационистов, считая несправедливым карать людей за убеждения.

Парадокс Камю-писателя заключается в том, что, последовательно отстаивая в публицистике конкретность морали против дурной отвлеченности политики, он в своем *творчестве* культивировал как раз отвлеченно-символические сюжеты («Калигула», «Чума», «Праведники», «Осадное положение»...). Абстракция, изгоняемая из социальных поступков, брала реванш в художественном вымысле. Анализ этого творчества, разумеется, выходит за рамки *биографии* Камю (хотя, скажем, «Чужому» и «Падению» здесь посвящены специальные главы); но проблема эта имела и обратное отражение в писательской биографии, с чем связана, пожалуй, моя единственная претензия к книге О. Тодда. Можно понять, что в ней не много конкретного говорится об отношениях юного Камю с алжирскими националистами в 30-х годах (очевидно, мало сохранилось данных и просто живых свидетелей); можно понять, что слабо документирована деятельность писателя в газете «Комба» в период оккупации — газета выходила в подполье и не афишировала своих авторов. Но вот один позднейший и немаловажный эпизод *творческой биографии* писателя, вполне документированный, почему-то даже не упоминается в книге Оливье Тодда (как, впрочем, и в работе Герберта Р. Лоттмана): это обмен открытыми письмами в 1955 году между Альбером Камю и Роланом Бартом — «левым интеллигентом» нового, более зоркого и принципиального склада, упрекавшим автора «Чумы» именно в отступлении от конкретного «реализма» ради аллегорической абстрактности притчи. Не будучи опосредована и просвечена оригинальной философской культурой, дурная обобщенность упрямо преследовала Камю, накладывая трагическую краску на его конкретно-чувственный, «средиземноморский» талант.

Детальное знание житейских обстоятельств и поступков этого одного из самых влиятельных по сей день французских писателей XX века помогает понять один из важнейших аспектов этой трагической двойственности. Поэтому трудно переоценить значение новой содержательной биографии такого «публичного», «ангажированного» писателя, моралиста и публициста, каким был Альбер Камю.

С. ЗЕНКИН

«МИФОЛОГИИ» СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Ролан Барт. Мифологии. Перевод с французского, вступительная статья и комментарии Сергея Зенкина. М., Изд-во имени Сабашниковых, 1996.

Представлять Ролана Барта читающей публике сейчас уже, к счастью, не требуется: имя этого блестящего критика, мэтра французского структурализма, хорошо известно у нас благодаря таким изданиям, как «Избранные работы» (М., Прогресс, 1989) и «S/Z» (Ad Marginem, 1994). О значимости рецензируемой книги говорит тот факт, что сразу после появления она уже успела удостоиться одной из самых престижных наград — премии им. Анатоля Леруа-Больё, учрежденной посольством Франции и журналом «Иностранная литература», и, вероятно, следует ожидать приличествующий таким случаям второй тираж.

Полный перевод «Мифологий» (1957) — второй крупной книги после «Нулевой степени письма» — не только открывает нам ранний период Барта, но и показывает совершенно новую сферу его мысли: прикладную семиотику, искусство толкования мелких знаков повседневной жизни.

История же этой книги такова. На протяжении нескольких лет, в 1952—1956 годах, Барт печатал в периодике, главным образом в «Леттр нувель», очерки на разные темы. Написанные остроумно и легко, эти статьи воспринимались в русле классической традиции французской эссеистики от Монтеня до Алена. Поводом для его размышлений могли стать последние газетные сплетни, реклама стиральных порошков, фотография актрисы Греты Гарбо, состязания по борьбе... В этой радужной пестроте повседневной жизни Барт пытался выловить сгустки «само-собой-разумеющегося» («ce-qui-va-de-soi»), элементарные частицы мифа, скрывающие, по его мнению, идеологический обман: «Отправной точкой размышлений чаще всего служило ощущение, что я не могу вынести той «естественности», в которую пресса, искусство и здравый смысл постоянно облачают реальность, меж тем как реальность эта, хоть и образует нашу жизненную среду, тем не менее сугубо исторична; одним словом, мне нестерпимо было глядеть, как в изложении наших текущих событий дня сплошь и рядом смешиваются Природа и История»...

Когда Барт получил от издательства «Сёй» предложение составить из очерков книгу, первым делом встал вопрос, как объединить столь

разнородный материал. Летом 1956 года Барт уехал на юг вместе со своим приятелем Бернаром Дором, который, как надеялся Барт, должен был сыграть роль интеллектуального собеседника. Однако этим надеждам было не суждено оправдаться, поскольку Бернар предпочитал проводить дни на пляже и забегал домой в основном для того, чтобы отведать черносмородинной наливки, которую превосходно готовила мама Ролана. В перерывах между наливкой и морскими купаниями он успел подать лишь один провокационный совет: написать вместо общей обзорной статьи собственную автобиографию, поскольку он считал своего друга скорее писателем, нежели ученым.

Барт, отказавшись от сей соблазнительной идеи, все-таки сел писать научную статью, в которой он пытался определить, что такое миф как особое знаковое устройство. Однако советы Бернара не прошли даром: Барт описывал миф, исходя прежде всего из собственных интеллектуальных пристрастий, внимательно отмечая исходные пункты и координаты своей мысли. (Впрочем, в 1975 году он наконец позволил себе расслабиться и осуществил давний план, выпустив книгу с программным названием «Ролан Барт».)

Реакция критики на «Мифологии» была неоднозначной. Умберто Эко проницательно ощутил в книге «явно случайные страницы», хотя, по его мнению, автор обладает «отличным инстинктом системы». Правая критика была в ярости и обличала «бредовые интерпретации» и «заумный жаргон», зато левая («Монд») пришла в восторг — еще бы, ведь «Мифологии» пестрели ссылками на Маркса, Брехта и даже товарища Жданова, обличающего советского философа Александрова. Ей импонировала четкая классовая установка: разоблачение мелкобуржуазного сознания французского обывателя. При этом Барт снискал себе репутацию «хорошего левого», поскольку не был сталинистом.

Сам Барт позднее описывал свою позицию этого периода как «первую семиологию»: «Для меня семиология началась с сугубо эмоционального толчка: мне показалось (это было примерно в 1954 году), что наука о знаках может способствовать активизации социальной критики и что Сартр, Брехт и Соссюр могли бы встретиться при осуществлении подобной задачи». Привилегированным объектом тогда выступал «язык, над которым уже работает власть», — поле деятельности мифолога, анализирующего анонимные социальные смыслы с помощью инструментария структурной лингвистики.

В середине 50-х Барт увлекался идеями Ф. Соссюра и Л. Ельмслева, к чтению которых его приобщил Греймас, а позднее — трудами Р. Якобсона и Э. Бенвениста. Правда, в «Мифологиях» он пока в основном оперирует понятием коннотации как дополнительного значения и пытается последовательно описать риторический дискурс буржуазного мифа. Его основные черты — «прививка» (признание частного вреда и маскировка основных противоречий); изъятие из истории и подмена исторического якобы вечными изначальными «природными» ценностями; игнорирование или экзотизация Другого; страсть к тавтологиям и так далее.

Предпринятая Бартом демистификация буржуазного сознания оказалась необычайно плодотворной для французской интеллектуальной традиции. Тот же «вирус эссенциализма» впоследствии не раз становился объектом критического анализа в работах М. Фуко (концепция «знания-власти»), с которым Барт был дружен; Ж.-Ф. Лиотара (идея «большого повествования» — «grand récit») и Ж. Деррида («деконструкция логоцентризма»).

«Мифологиям» была суждена долгая жизнь не только в университетской среде, но и в самых широких читательских кругах благодаря масс-культурной тематике и относительно (в сравнении с другими структуралистскими трудами того же Барта) популярному стилю. Сразу после появления книги журнал «Экспресс» включил ее в список литературы, рекомендуемой читателям для чтения на отдыхе. В шестидесятые годы влияние «Мифологий» уже ощутимо и в элитарном искусстве — достаточно назвать такой фильм Ж.-Л. Годара, как «Замужняя женщина», или роман Ж. Перека «Вещи», главные герои которого Жером и Сильвия являют собой идеальную пародию на мелкобуржуазные вкусы.

В философском плане традицию структурной критики общества потребления продолжает Жан Бодрийар, опубликовавший в 1968 году «Систему вещей» — эта книга также недавно появилась на русском языке в прекрасном переводе Сергея Зенкина, но, к сожалению, без предисловия и научного аппарата.

Русское издание «Мифологий» как раз в этом аспекте отвечает всем критериям, предъявляемым к добротной научной публикации, и это — заслуга С. Зенкина, чьи работы неизменно демонстрируют высший пилотаж профессиональности и интеллектуального изящества. Перевод отличается исключительной точностью и выверенностью стиля, предисловие содержит интереснейший анализ позиции Барта — «теоретика и практика мифологий».

Особенно удачны, на мой взгляд, раздел, посвященный мотиву пелены и гладкости, а также главка о феноменологии тела. Комментарии реально проясняют ближний и дальний контекст бартовской мысли, причем С. Зенкин, не опускаясь до «мелкобуржуазных», согласно Барту, тавтологий типа «Аталия» — пьеса Расина», иногда все же лестно переоценивает эрудицию читателя, не объясняя, к примеру, в чем же все-таки специфика правил в «кетче».

Особенно аккуратно С. Зенкин подходит к проблеме политической ангажированности Барта, трактуя его финальную позицию как театральную маску, дистанцированный образ автора и в конечном счете подтверждая его «роль *свободного человека*». Однако современному российскому читателю, увы, все же очень режут слух некоторые откровенно левые пассажи. Когда Барт пытается аргументировать, почему «революция тождественна отсутствию мифа», или говорит, что левый миф несущностный, привходящий и скудный, так и вспоминаются повсеместные социалистические лозунги, триумфальная иллюстрация к концепту «Язык, над которым уже работает власть», или роскошные аппетитные картинки из увесистого сталинского шедевра — «Книги о вкусной и здоровой пище», перед которыми бледнеет «орнаментальная кулинария» журнала «Эль»...

Ключевой вопрос здесь состоит в «мифологии мифолога», как ее формулировал сам Барт, или в проблеме вненаходимости исследовательского сознания, в поиске места, откуда можно говорить. Если в 50-е Барт пытался описать идеального мифолога как своего рода романтического ироника, для которого «предпосылкой истины может оказаться сарказм», то позднее он адресовал по сути те же полномочия писателю: «Писатель всегда находится в слепой точке системы, он постоянно дрейфует, он — словно джокер, мана, нулевая степень, «выходящий» в бридже: он необходим, чтобы в игре (в сражении) был смысл, но сам при этом лишен любого определенного смысла». Все тот же фейерверк метафор, все тот же напряженный импульс саморефлексии и оправдания «удовольствия от текста», хотя эти слова взяты из гораздо более поздней работы.

О том, чем кончаются тщательно выстроенные претензии на свободное искусство и критическую независимость в XX веке, говорит небольшой эпизод из биографии Барта как раз периода «Мифологий».

После шумного успеха книги среди поклонников Барта обнаружился некий Жорж Пенину, заведующий крупным рекламным агентством Publicis. Он ходил на семинары Барта и старался внедрить его методы анализа рекламы в работу своих сотрудников. Он подружился с Бартом (их сблизили воспоминания о туберкулезной молодости) и вскоре предложил ему почитать лекции для сотрудников агентства. А вслед за этим поступило предложение: сделать исследование автомобильной рекламы для заводов Рено. Барт согласился, и контракт был подписан. Этот эпизод, как деликатно выразился биограф Барта Луи-Жан Кальве, оставляет «странный привкус во рту»...

Сорок лет спустя «Мифологии» не утратили своей злободневности. Скажем, в теперешнем российском контексте как никогда актуален анализ языка рекламы — эссе о стиральных порошках, проникающих «на всю глубину», читается так, будто оно было написано вчера. Описание «народного стриптиза» немедленно вызывает в памяти телешоу «Империя страсти» Николая Фоменко, а «Африканская грамматика» заставляет вспомнить такие эвфемизмы, как «боевики», «бандиты», «сепаратисты», «вооруженные формирования», популярные в прессе во время войны с Чечней. Каждый читатель наверняка найдет пищу для своих собственных «мифологических» параллелей и размышлений — так что спешите получить удовольствие от текста.

ОЛЬГА ВАЙНШТЕЙН

ОТКУДА ЧТО

Ш. Массон. Секретные записки о России. М., Новое литературное обозрение, 1996.

Вроде бы в «Пушкинском доме» Андрей Георгиевич Битов поведал нам байку про источник. Фильм Пазолини «Евангелие от Матфея» (1964) показывали в Москве. Ну, где-то там, на закрытых просмотрах. И набежавший народ поделился надвое: кому нравится, а кому не очень. Выяснилось: фильм принимает публика, с Евангелием незнакомая. А которые ознакомились — не принимают.

Источник, определяет словарь, есть «то, из чего берется, что дает начало, служит основой».

Шарль Франсуа Филибер Массон (1762—1807) в Россию приглашен Екатериной, выслан Павлом и не возвращен Александром, секретарем которого был. К дочери изгнанного Массона адресовался юноша Пушкин:

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,
Как же ласки и обиды
Расточать привыкла ты!

Бог весть, кого там обидела легкомысленная Ольга, покуда не вышла за могилевского исправника, но отец ее во Франции действительно затаился в обиде. Он оставил книгу — кладезь для историков и беллетристов. Одно его неосторожное замечание возбудило вековую филологическую распрю: причастен ли Александр Николаевич Радищев к трудам молодого Крылова.

Решался, в частности, тот самый вопрос, что возник ныне относительно Нобелевского лауреата: способен ли был двадцатилетний Шолохов осилить громадину «Тихого Дона»?.. И соответственно: находясь в возрасте Шолохова, был ли Ваня Крылов единственным автором «Почты духов» — журнала, по мнению Массона, «наиболее колкого из всех, какие когда-либо осмеливались публиковать в России»?

Вослед Массону ряд авторитетных ученых (А. Н. Пыпин, Алексей Н. Веселовский...) безосновательно приписали Радищеву крыловскую «Почту духов», и Борис Иванович Коплан, погибший в блокаду питерский литературовед, восстановил истину накануне войны.

Десятая глава «Записок», посвященная «жертве политической инквизиции» — Радищеву, не вошла в рецензируемую книгу. Издатели заново отредактировали и просмотрели старый перевод, включающий пять глав с дополнением, плюс вступительная статья, комментарии, примечания, именной указатель...

Мемуары Массона датированы 1800—1802 годами. Их рукописное переложение на «язык родных осин» циркулировало в тогдашнем «самиздате», а французский оригинал хранился в различных частных собраниях, например в библиотеке Пушкина... И вот мы читаем у классика:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

В черновом варианте, комментирует Лотман, крепостническая практика подчеркнута резче: «Секала... брила лбы». И снова: «Служанок секла, брила лбы...»

Массон: «В деревне мужеподобность женщины была еще заметнее... Покупка, продажа и мена рабов, распределение между ними работы, наконец, присутствие при сечении... многим женщинам приходится часто заниматься этим...»

Речь, само собой, не о том, что Пушкин «зарифмовал» Массона. У них общий источник — окружающая действительность. Внеся наблюдение иноземца в свою «энциклопедию русской жизни», наш классик не повторил его, а подтвердил — заверил как поэт, удостоверил как очевидец.

То же — Тургенев. Сравните хрестоматийную сцену из рассказа «Бурмистр» («насчет Федора... распорядиться») с репликой Массона: «<...> хозяин во время обеда за легкий проступок холодно приказывал, как нечто обычное, отсчитать лакею сто палочных ударов. Провинившегося сейчас же уводят на двор или просто в переднюю, и наказание приводится в исполнение...»

Пойдем дальше: «Павел с первого дня своего восшествия на престол <...> велел устроить нечто вроде почтового ящика <...>, куда любой мог бросать свои письма. Он приказал напечатать в газетах, что читает все эти просьбы и после необходимой проверки вынесет решение <...>. Между тем ящик наполнился, и Павел, найдя там, вопреки ожиданиям, больше жалоб, чем доносов, возымел к ним отвращение <...>. Все было вновь ввергнуто в первоначальный хаос...» (Массон).

> Он вывесил ящик для жалоб и писем <...>, потому что ведь он, а не кто другой, был отцом отечества. Сначала ящик пустовал — и это его огорчало, потому что отечество должно разговаривать с отцом. Потом в ящике было найдено подметное письмо, в котором его называли «батька курносый» и угрожали.
>
> Он посмотрел тогда в зеркало.
>
> — Курнос, сударики, точно курнос, — прохрипел он и велел снять ящик.
>
> *Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже»*

Историк Ключевский неоднократно ссылается на Массона в своих лекциях «Западное влияние в России после Петра». Сообщая тот или иной факт, прямо указывает на полях: Массон. Однако же из-за сложности жизни, а зачастую по личным мотивам (застенчивость?) не все исследователи столь щепетильны. И «некая Посникова» из давней книжки Яцевича «Крепостные в Петербурге» оборачивается вдруг «госпожой Поздняковой» в мемуарах Массона. Изобретательная барыня!

> Ежегодно, по ее приказанию, <...> доставлялись самые красивые и стройные девочки, достигшие десяти-двенадцати лет. Они воспитывались у нее в доме под надзором особой гувернантки и обучались полезным и приятным искусствам <...>. В пятнадцать лет она их продавала: наиболее ловкие попадали горничными к дамам, наиболее красивые — к светским развратникам <...>. И так как она брала до 500 рублей за штуку, это давало ей определенный ежегодный доход, половина которого по меньшей мере составляла чистую прибыль!

Рабство есть рабство, даже если освящено традицией и законом. Незадолго до Массона прибился к невскому берегу Джованни Джакомо Казанова. И тотчас, без лишней сентиментальности, приобрел по сходной цене крестьянскую девочку тринадцати лет. Жил с нею душа в душу, возил в Москву, поднатаскал в итальянском, а после сосватал строителю Мраморного дворца знаменитому архитектору Антонио Ринальди... И никакого рабства! Жизнь как жизнь. Бытовой уклад. Рядовой случай. Одной законной супругою больше.

Прав Александр Федорович Керенский: «Университетское образование необходимо. И не только потому, что вынуждает мыслить самостоятельно, а потому, что заставляет приводить свои суждения в соответствии с *первоисточником*». Курсив, извините, наш — тех, кто не избегнул советского образования, но угробил жизнь, чтобы мыслить самостоятельно и докопаться до первоисточников.

В школьные годы, посредством старушки-библиотекарши, наткнулся я на детгизовскую книжку «Крепостная бабушка». Там помещалась картинка «Отдых барыни», что иллюстрировала следующий текст: «Спать идет — ноги ей растирать да чесать прикажет. Чешешь, чешешь, а коли задремлешь (думаешь, заснула), так она ногами в зубы».

Ничего похожего в нашей классике не найти (разве что у Щедрина и вскользь у Гоголя, где Чичиков навещает Коробочку). Хотя сам обычай неистребим — так развлекаются в «Колымских рассказах» Шаламова. Ведь рабство преходяще как социально-экономическая формация и непреходяще как психологический феномен. В этом смысле толкуем мы Аристотеля, что «люди, в большинстве, рабы» и что «подлец человек ко всему привыкает» (Достоевский). И не тешьте себя надеждой, что привыкает именно «подлец», — нет, если завтра, по закону исторической обратимости, наступит рабство, пускай в древнеримском варианте, население, представьте себе, приспособится. А иначе просто не выживет.

В главке «Гинекократия» — термин, который Ключевский переводит как «женовластие», — пишет Массон: «Русские дамы проводят время лежа на диване, окруженные рабами, которые должны не только исполнять, но угадывать каждое их желание». И в сноске: «Дама, лежащая таким образом на диване или софе, часто бывает окружена толпой рабынь; одна из них рассказывает ей что-нибудь, другая чешет голову или пятки, а шут смешит ее. Это персидские нравы из арабских сказок».

Последнее слово — *сказки* — напоминает заглавие первой (дипломной) работы того же Василия Осиповича Ключевского «Сказания иностранцев о России». Для ясности набираем курсивом: *сказания*...

> Среди экзотических мест мира, — отмечает современный исследователь, — Россия играла свою, традиционно почетную, роль <...>. Фурье в своих мечтах о политико-сексуальной утопии пересказывал неправдоподобные слухи об аристократическом клубе, где обнаженные московиты из знатных родов предавались «ангелическим оргиям».
>
> *Александр Эткинд. «Содом и Психея»*

Откуда же почерпнул мечтатель француз свои утопические сведения? Натурально, у земляка Массона:

> Обнаруженное несколько лет тому назад в Москве сообщество <...> ясно показывает всю испорченность, скотство и падение нравов <...>. Посвященные мужчины и женщины собирались в определенные дни и беспорядочно предавались самому постыдному разврату. Мужья вводили туда своих жен, братья — сестер. От мужчин требовались крепость и здоровье, от женщин — красота и молодость. Вступающий посвящался только после испытания и освидетельствования. Мужчины принимали женщин, а женщины — мужчин. После блестящего пиршества пары распределялись по жребию.

Спокон веку сокрушаются моралисты: что за времена теперь настали. И все же история, полагал Карамзин, — источник утешения. Она примиряет с несовершенством мира как с обыкновенным явлением, ободряет в бедствиях, ибо и прежде бывали подобные, бывали даже еще ужаснейшие...

Товарищ Сталин, на нашей памяти, произвел денщика в генералы. Так ведь и Захария Константинович Зотов, камердинер Екатерины II, был ДСС — действительный статский советник (штатский генерал).

Товарищ Сталин, не иначе как по навету, заточил денщика в тюрьму... и чуть ли не сутки, после сердечного приступа, пролежал в одиночестве: обслуга боялась войти. Когда же с царицей-матушкой случился удар, «...Захария Константинович, — пишет Массон, — обеспокоившись, что его не зовут и что из комнаты не доносится ни звука, открыл наконец дверь» и «с ужасом увидел, что императрица распростерта на полу <...> без сознания и без движения». И точно как сталинский денщик, угодил в крепость, где и сошел с ума.

Любовные похождения Берии сопоставимы с такими же Валериана Зубова и Петра Салты-

кова. «Они, — свидетельствует Массон, — похищали девушек на улице, насиловали их, если находили красивыми, а если нет, оставляли слугам, которые должны были воспользоваться ими в их присутствии».

6 января 1911 года в Петербурге, в Мариинском театре, состоялась премьера «Бориса Годунова» в постановке Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Едва раздвинулся занавес, стражники на сцене принялись разгонять толпу...

> <...> откуда взял это господин Мейерхольд? — спрашивал рецензент «Нового времени». — Я думаю, господин Мейерхольд взял приставов с кнутьями из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого (в «Борисе Годунове») нет ни приставов, ни кнутьев. Господину Мейерхольду и той кучке инородцев, в чьих руках императорская сцена, видимо, хотелось подчеркнуть глубокое рабство, в котором (будто бы) пребывала древняя Россия.

Возмущенный рецензент — Михаил Осипович Меньшиков, нововременский публицист, расстрелянный чекистами в 1918 году. Через двадцать лет иные чекисты ликвидировали Мейерхольда.

Нет, дело не в инородчестве. Новиков и Радищев — коренные, тутошние. И, глядя окрест себя, испытывают боль. А Массон — ужас:

> Полуобразованный русский — самый презренный человек; <...> в нем больше рабства, чем деспотизма в его правительстве <...>. В России до тех пор не вспыхнет стихийная революция, пока там не образуется многочисленный просвещенный класс, страдающий за угнетенный рабством народ.

Вот-вот, отсюда все и пошло: декабристы разбудили Герцена. И т.д. и т.п., вплоть до тяжелого коржавинского вздоха: «Какая сука разбудила Ленина...» Но при чем же, простите, «самка домашней собаки»? Если виноват женский род, то — по нашей грамматике — мировая история. Если средний, то — во множественном числе — местные обстоятельства. А если мужской, то — среди прочих — республиканец Массон, француз швейцарского происхождения...

P. S. Чайная ложечка дегтя. На странице тридцать седьмой: «Екатерина получила с пароходом, пришедшим из Любека...»

Стоп! Минуточку! Екатерина скончалась в 1796 году, а Фултон пустил свой пароход в 1807-м... Оплошка? Недоразумение? Куда же несешься ты, публикатор?

Не дает ответа. Ни комментарий, ни вступительная статья.

ЭДУАРД ШУЛЬМАН

■

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР (JOSEPH HELLER; род. в 1923 г.) — американский писатель. Автор романов «Уловка-22» («Catch-22», 1961; рус. перев. 1967), «Что-то случилось» («Something Happened», 1974; главы из романа напечатаны в «ИЛ», 1978, № 4), «Чистое золото» («God as Gold», 1979), «Видит Бог» («God Knows», 1984); «Поэтика» («Poetics», 1987), «Пора закрываться» («Closing Time», 1994) — продолжение романа «Уловка-22».
Роман «Вообрази себе картину» издан в США в 1988 г. («Picture This». New York, G.P. Putnam's Sons.)

ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ (JANUSZ GLOWACKI; род. в 1938 г.) — польский прозаик, драматург. С 1981 года живет в США. Лауреат многих литературных премий. Автор сборников рассказов и фельетонов «Водоворот абсурда» («Wirówka nonsensu», 1968), «Новый танец ля-ба-да» («Nowy taniec la-ba-da», 1970), «Охота на мух и другие рассказы» («Polowanie na muchy i inne opowiadania», 1974), «Возвращение графа Монте-Кристо» («Powrót hrabiego Monte-Christo», 1975), повестей «My Sweet Raskolnikow» (1977; рус. перев. в журнале «Новая юность», 1993, № 2), «Мощь рушится» («Moc truchleje», 1981); пьес «Наказанное прелюбодеяние» («Cudzołóstwo ukarane», 1972), «Матч» («Mecz», 1976), «Охота на тараканов» («Polowanie na karaluchy», 1986). В театрах нашей страны ставились пьесы «Замарашка» («Kopciuch», 1979), «Фортинбрас спился» («Fortynbras się upił», 1990) и «Антигона в Нью-Йорке» («Antygona w Nowym Jorku», 1992).
Публикуемые рассказы и эссе взяты из книги «Клоаки. Жабы. Тараканы. Почти полное собрание сочинений» («Ścieki. Skrzeki. Karaluchy. Utwory prawie wszyskie». Warszawa, издательство БГВ, 1996.)

АУРА КРИСТИ (AURA CHRISTI; род. в 1967 г. в Кишиневе, с 1993 г. живет в Румынии, работает в редакции бухарестского еженедельника «Контемпоранул») — поэтесса, автор сборников стихов «По ту сторону тени» («De partea cealălaltă a umbrei», 1993), «Церемония ослепления» («Ceremonia orbirii», 1996), «Долина королей» («Valea regilor», 1997).
Поэма «Колыбельная» («Cântes de leagăn») взята из сборника «Против меня» («Impotriva mia». Bucureşti, Ed. Ecce Homo, 1995).

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН (GÜNTER DE BRUYN; род. в 1926 г.) — немецкий писатель. Его первые повести «Встреча на Шпрее» («Wiedersehen an der Spree») и «Свадьба в Вельцове» («Hochzeit in Weltzow») появились в 1960 г. Затем вышли сборник рассказов «Черное, бездонное озеро» («Ein schwarzer, abgrundtiefer See», 1962) и роман «Овраг» («Der Hohlweg», 1963). Широкую известность принесли писателю романы «Буриданов осел» («Buridans Esel», 1968; рус. перев. в «ИЛ», 1969, № 11, 12) и «Присуждение премии» («Preisverleihung», 1972; рус. перев. в «ИЛ», 1973, № 5). В «ИЛ» напечатаны также роман Г. де Бройна «Новое благоденствие» («Neue Herrlichkeit», 1983; перев. 1988, № 1) и повесть «Бранденбургские изыскания» («Märkische Forschungen», 1978; перев. 1982, № 1). Творчество Г. де Бройна отмечено литературными премиями имени Генриха Манна, Лиона Фейхтвангера, Генриха Бёлля.
Книга «Сорок лет. Повесть о жизни» вышла в Германии в 1996 г. («Vierzig Jahre. Ein Lebensbericht». Frankfurt am Main, S. Fischer Verlag).

ЭТКИНД ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ (род. в 1918 г.) — литературовед, доктор филологических наук. В 1974 г. был вынужден эмигрировать. В том же году стал профессором Парижского университета и в 1976 г. защитил докторскую диссертацию в Сорбонне. Автор книг «Поэзия и перевод» (1963), «Об искусстве быть читателем» (1964), «Семинарий по французской стилистике» тома 1 и 2 (1960, 1964), «Разговор о стихах» (1970), «Бертольт Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973), «Записки незаговорщика» (Лондон, 1977), «Материя стиха» (1978), «Кризис одного искусства. Опыт поэтики поэтического перевода» (1982), «Очерк истории советской поэзии. 1917—1984», «Иосиф Бродский: суд над поэтом» (1988), «Симметрические композиции у Пушкина» (1988). Составитель антологий на русском, французском («Русская по-

эзия», 1983) и немецком языках (1981 и 1987).
Статья «Вопреки всему. О переводах французской поэзии: 1985—1995» получена от автора в рукописи.

ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) — литературный критик, журналист. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Неоднократно публиковался в «ИЛ» (1990, № 8; 1995, № 6; 1996, № 1, 3); ведущий авторской рубрики «Гений места» (1995, № 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 9, 11, 12).

■Переводчики:

ИЛЬИН СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (род. в 1948 г.) — переводчик с английского. В его переводе издавались романы «Подлинная жизнь Себастьяна Найта», «Под знаком незаконнорожденных», «Бледное пламя», «Ада», «Прозрачные вещи» В. Набокова; «Король былого и грядущего» Т. Х. Уайта; «Волшебная сказка Нью-Йорка» Д. П. Донливи; «Каббала» Т. Уайлдера.

БУХОВ ЛЕОНАРД СЕМЕНОВИЧ (род. в 1925 г.) — переводчик с польского и немецкого языков. В его переводе публиковались и ставились в театрах пьесы «Эмигранты», «Стриптиз», «Летний день», «Портрет» С. Мрожека, «Мария» И. Иредыньского, «Тихая ночь» Г. Мюллера; изданы рассказы С. Мрожека, повесть «My Sweet Raskolnikow» Я. Гловацкого. В «ИЛ» в его переводе опубликованы роман «Начало, или Прекрасная пани Зайденман» А. Щиперского (1992, № 2), фрагменты книги «Три дамы К. рассказывают истории» Х. Зандер (1993, № 3), пьеса «Любовь в Крыму» С. Мрожека (1994, № 10; поставлена в Московском Художественном театре имени Чехова), рассказы Д. Дёрри (1997, № 11).

КОВАЛЬДЖИ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1930 г.) — поэт, прозаик, критик, переводчик с румынского и молдавского языков. Его первый сборник стихов «Испытание» вышел в 1955 г., затем последовал ряд поэтических сборников, повесть «Пять точек на карте», роман «Лиманские истории», рассказы. Произведения К. Ковальджи переведены на многие европейские языки.
В «ИЛ» печатались его статьи и переводы стихов румынских поэтов Никиты Стэнеску (1972, № 5), Вирджила Теодореску (1976, № 4), Мирчи Динеску (1981, № 7), Нины Кассиан (1996, № 3) и др.

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА — переводчик с немецкого и скандинавских языков. В ее переводе публиковались романы «Дом без хозяина» Г. Бёлля, «Погонщик волов», «Оле Бинкоп» («ИЛ», 1965, № 7—10 совместно с Н. Ман), «Лавка» Э. Штриттматтера; «Мы не пыль на ветру» и повесть «Солдат и женщина» М. В. Шульца («ИЛ», 1979, № 10), «Правосудие» («ИЛ», 1988, № 6) и фрагменты романа «Пенсионер» («ИЛ», 1996, № 4) Ф. Дюрренматта, «Жестяной барабан» (книга первая) Г. Грасса («ИЛ», 1995, № 11), новеллы С. Цвейга, К. Гамсуна, А. Стриндберга, рассказы Й. Рединга («ИЛ», 1982, № 2).

ЕГОРШЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1935 г.) — журналист-германист, переводчик с немецкого. В «ИЛ» напечатаны в его переводе книги «Великое переселение» (1994, № 9), «Взгляд на гражданскую войну» (1995, № 6) и статья «Роскошь — прежде и теперь, или Кое-что об излишествах» (1997, № 9) Х.М. Энценсбергера, речь В. Бирмана при присуждении ему премии им. Генриха Гейне (1994, № 9), «Вчера, полвека тому назад» — переписка Г. Грасса и Кэндзабуро Оэ (1997, № 2). Им переведены роман «Бегство от гостей» Р. Леттау, повесть П. Хэртлинга «Божена» и несколько рассказов К. Хайна. В Германии в его переводе на немецкий опубликована повесть русского писателя В. Панова «Филипп фон Цезен».

■

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1998, №2 , 1 — 256.

ИНДЕКС 70394